

7

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

7

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

**Собрание сочинений
в десяти томах**



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1984

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

**Собрание сочинений
в десяти томах**

ТОМ СЕДЬМОЙ

**АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ
ЮНОШЕСКИЙ РОМАН**



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1984

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

К $\frac{4702010200-448}{028(01)-84}$ подписное

© «Алмазный мой венец».
Издательство «Советский
писатель», 1979 г.
«Юношеский роман».
Издательство «Советский
писатель», 1983 г.

АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ

...таким образом, оставив далеко и глубоко внизу фезральскую вьюгу, которая лепила мокрым снегом в переднее стекло автомобиля, где с трудом двигались туда и сюда стрелки стеклоочистителя, сгребая мокрый снег, а встречные и попутные машины скользили юзом по окружающему шоссе, мы снова отправились в погоню за вечной весной...

В конце концов, зачем мне эта вечная весна? И существует ли она вообще?

Думаю, что мне внушил идею вечной весны (и вечной славы!) один сумасшедший скульптор, с которым я некогда познакомился в закоулках Монпарнаса, куда меня на несколько недель занесла судьба из советской Москвы.

Он был знаменитостью сезона. В Париже всегда осенний сезон ознаменован появлением какого-нибудь гения, о котором все кричат, а потом забывают.

Я сделался свидетелем недолгой славы Брунсвика. Кажется, его звали именно так, хотя не ручаюсь. Память мне изменяет, и я уже начинаю забывать и путать имена.

Его студия, вернее довольно запущенный сарай в глубине небольшого садика, усеянного разбитыми или недоконченными скульптурами, всегда была переполнена посетителями, главным образом приезжими англичанами, голландцами, американцами, падкими на знакомства с парижскими знаменитостями. Они были самыми лучшими покупателями модной живописи и скульптуры. У Брунсвика (или как его там?) не было отбоя от покупателей и заказчиков. Он сразу же разбогател и стал ка-

призничать: отказываться от заказов, разбивать свои творения.

У него в студии всегда топилась чугунная печурка с коленчатой трубой. На круглой конфорке кипел чайник. Он угощал своих посетителей скупко заваренным чаем и солеными английскими бисквитами. При этом он сварливым голосом произносил отрывистые, малопонятные афоризмы об искусстве вааяния. Он поносил Родена и Бурделя, объяснял упадок современной скульптуры тем, что нет достойных сюжетов, а главное, что нет достойного материала. Его не устраивали ни медь, ни бронза, ни чугун, ни тем более банальный мрамор, ни гранит, ни бетон, ни дерево, ни стекло. Может быть, легированная сталь? — да и то вряд ли. Он всегда был недоволен своими шедеврами и разбивал их на куски молотком или распиливал пилой. Обломки их валялись под ногами среди соломенных деревянских стульев. Это еще более возвышало его в глазах ценителей, «Фигаро» отвела ему две страницы. На него взирали с обожанием, как на пророка.

Я был свидетелем, как он разбил на куски мраморную стилизованную чайку, косо положенную на кусок зеленого стекла, изображающего средиземноморскую волну, специально для него отлитую на стекольном заводе.

Словом, он бушевал.

Он был полиглотом и умел говорить, кажется, на всех языках мира, в том числе на русском и польском, — и на всех ужасно плохо, еле понятно. Но мы с ним понимали друг друга. Он почему-то обратил на меня внимание — может быть, потому, что я был выходцем из загадочного для него мира советской Москвы, — и относился ко мне весьма внимательно и даже дружелюбно. Он уже и тогда казался мне стариком. Вечным стариком-гением. Я рассказывал ему о советской России, о нашем искусстве и о своих друзьях — словом, обо всем том, о чем вы прочтете в моем сочинении, которое я в данный момент начал переписывать набело.

Брунsvик был в восхищении от моих рассказов и однажды воскликнул:

— Я вас вполне понял. Вы, ребята, молодцы. Я больше не хочу делать памятники королям, богачам, героям, вож-

дям и великим гениям. Я хочу ваять малых сих. Вы все — моя тема. Я нашел свою тему! Я предаю всех вас вечности. Клянусь, я это сделаю. Мне только надо найти подходящий материал. Если я его найду... О, если я его только найду... тогда вы увидите, что такое настоящая скульптура. Поверьте, что в один из дней вечной весны в парке Монсо среди розовых и белых цветущих каштанов, среди тюльпанов и роз вы наконец увидите свои изваяния, созданные из неслыханного материала... если я его, конечно, найду...

Он похлопал меня по спине своей могучей старческой рукой, и мы оба рассмеялись...

...образ Брунсвика (или как его там) пропал в провалах моей памяти.

И вот теперь, лет через пятьдесят, мы с женой полулежали в креслах с откинутыми спинками, в коридоре между двух рядов двойных, герметически закупоренных иллюминаторов, напоминавших прописное О, которое можно было истолковать как угодно, но мною они читались как заглавные буквы некоторых имен и фамилий.

Пожалуй, один из иллюминаторов я мог бы прочесть даже как прописное Ю. Ключик. Но мешало отсутствие впереди палочки, без которой Ю уже не Ю, — не ключик, а всего лишь ноль, зеро, знак пустоты, или в данном случае начало бесконечной колодезной пустоты, в глубине которой ничего невозможно было разглядеть, кроме мутного воздуха, туманно обещавшего вечную весну, где монотонно двигалась темная полоска — тень нашего длинного самолета.

Мы незаметно передвигались в среде, которая еще не может считаться небом, но уже и не земля, а нечто среднее, легкое, почти отвлеченное, где незаметно возникают изображения самого отдаленного прошлого, например футбольная площадка, лишенная травяного покрова, где в клубах пыли центрофорвард подал мяч на край, умело подхваченный крайним левым.

Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и ринулся вперед — маленький, коренастый, в серой форменной куртке Ришельевской гимназии, без пояса, нос

башмаком, волосы, упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, косо летящий, как яхта на крутом повороте.

С поворота он бьет старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего голкипера в ворота. Ворота — два столба с верхней перекладиной, без сетки.

Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький риншельевец победоносно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе:

— Браво, я!

(Вроде Пушкина, закончившего «Бориса Годунова». Ай да Пушкин, ай да сукин сын!)

Как сказали бы теперь, «был забит завершающий победный гол» этого рядового гимназического матча, об окончании которого возвестил рефери сигналом принятого в то время трехзвучного судейского свистка.

Впрочем, нельзя сказать, что это был ничем не замечательный матч: в нем принимал участие тощий, золотушного вида риншельевец в пенсне на маленьком носике, будущая мировая знаменитость, центрфорвард сборной команды России, как сказали бы теперь — «нападающий века», «суперстар» мирового футбола, Богемский. Но тогда он был лишь старшеклассником и, надо сказать, прескверным учеником с порочной улыбкой на малокровном лице.

Его имя до сих пор легенда футбола.

В ту пору я тоже был гимназистом, посещал спортивную площадку и, подобно множеству моих сверстников, сочинял стишки и даже печатал их в местных газетах, разумеется бесплатно.

— Кто забил гол? — спросил я.

И тогда второй раз в жизни услышал имя и фамилию ключика. В первый раз я его, впрочем, не услышал, а увидел под стихами, присланными по почте для альманаха в пользу раненых, который я составлял по поручению редакции одной из газет. Можете себе представить, какую кучу стихотворного хлама обрушили на меня все городские графоманы: до сих пор помню одно стихотворение на военно-патриотическую тему, выведенное писарским по-

черком с нажимами и росчерками; в нем содержалось следующее бессмертное двустишие:

«Уланский конь скакает в поле по окровавленным телам».

Альманах не вышел ввиду затруднений военного времени, которые уже начали ощущаться.

Стихи же, привлечшие мое внимание, были написаны на канцелярской бумаге, уже вполне устоявшимся почерком: круглые крупные буквы с отчетливыми связками. Они были подписаны полным именем и фамилией, уже и тогда ничем не отличаясь от тех факсимиле, которые мы привыкли теперь видеть под портретом на его посмертных книгах.

Тогда я никак не мог предположить, что маленький серый рিশельевец, забивший левой ногой такой прекрасный гол, и автор понравившихся мне стихов — одно и то же лицо.

Мы учились в разных гимназиях. Все гимназисты нашего города за исключением рিশельевцев носили форму черного цвета; рিশельевцы — серого. Среди нас они слыли аристократами. Хотя их гимназия формально ничем не отличалась от других казенных гимназий и называлась Одесская первая гимназия, все же она была некогда Рিশельевским лицеем и славилась тем, что в ее стенах побывали как почетные гости Пушкин, а потом и Гоголь.

Я был в черной куртке, он — в серой.

Я подошел к нему, подбрасывая на тамбурине резиновый мячик. По моим вискам струился пот. Я еще не остыл после проигранной партии.

Я назвал себя. Он назвал себя. Так состоялось наше формальное знакомство. Мы оба были приятно удивлены. Мне было семнадцать, ему пятнадцать. Мне нравились его стихи, хотя они были написаны по моде того времени немножко под Северянина. Теперь одному из нас восемьдесят, а другого вообще уже нет на свете. Он превратился в легенду. Но часть его души навсегда соединилась с моей: нам было суждено стать самыми близкими друзьями — ближе, чем братья, — и долго прожить рядом, развиваясь и мужая в магнитном поле революции, при-

ближепие которой тогда еще даже не предчувствовали, хотя она уже стояла у наших дверей.

Только что я прочел в черновых записях Достоевского: «Что такое время? Время не существует, время есть цифры, время есть отношение бытия к небытию»...

Я знал это уже до того, как прочел у Достоевского. Но каково? Более чем за сто лет до моей догадки о несуществовании времени! Может быть, отсюда моя литературная «раскованность», позволяющая так свободно обращаться с пространством.

Теперь плечом к плечу со своей женой я стоял среди старинного протестантского кладбища, где на небольших аккуратных могильных плитах были изваяны мраморные раскрытые книги — символы не дочитанной до конца книги человеческой жизни,— а вокруг живописно простирались вечнозеленые луга и пригорки чужой, но милой страны, и хотя весна еще не явилась, но ее вечное присутствие в мире было несомненно: всюду из-под земли вылезали новорожденные крокусы и мальчики бегали по откосам, запуская в пустынное, почти уже весеннее небо разноцветные — не совсем такие, как у нас в России,— бумажные змеи с двумя хвостами.

Я знал, что этот европейский ландшафт уже был когда-то создан в воображении маленького рিশельевца.

Прижав к себе локоть жены, я наяву наблюдал этот ландшафт глазами, мокрыми от слез.

...Что-то я на склоне лет стал сентиментален...

Время не имеет надо мной власти хотя бы потому, что его не существует, как утверждал «архискверный» Достоевский. Что же касается ассоциативного метода построения моих сочинений, получившего у критиков определение «раскованности», то это лично мое. Впрочем, как знать? Может быть, ассоциативный метод давным-давно уже открыт кем-нибудь из великих и я не более чем «изобретатель велосипеда».

Глядя на бумажные змеи и на зеленые холмы, я подумал, что ту книгу, которая впоследствии получила название «Ни дня без строчки», ключик однажды в разговоре со мной хотел назвать гораздо лучше и без претензий на

затрепанное латинское *nulla dies sine linea*, использованное древними, а вслед за ними и Золя; он хотел назвать ее «Прощание с жизнью», но не назвал, потому что просто не успел.

Я же, вероятно, назову свою книгу, которую сейчас переписываю набело, «Вечная весна», а вернее всего «Алмазный мой венец», как в той сцене из «Бориса Годунова», которую Пушкин вычеркнул, и, по-моему, напрасно.

Прелестная сцена: готовясь к решительному свиданию с Самозванцем, Марина советуетя со своей горничной Рузей, какие надеть драгоценности.

«Ну что ж? Готово ли? Нельзя ли поспешить?» — «Позвольте, наперед решите выбор трудный: что вы наденете, жемчужную ли нить иль полумесяц изумрудный?» — «Алмазный мой венец». — «Прекрасно! Помните? Его вы надевали, когда изволили вы ездить во дворец. На бале, говорят, как солнце вы блистали. Мужчины ахали, красавицы шептали... В то время, кажется, вас видел в первый раз Хоткевич молодой, что после застрелился. А точно, говорят: на вас кто ни взглянул, тут и влюбился». — «Нельзя ли поскорей»...

Нет, Марине не до воспоминаний, она торопится. Отвергнута жемчужная нить, отвергнут изумрудный полумесяц. Всего не наденешь. Гений должен уметь ограничивать себя, а главное, уметь выбирать. Выбор — это душа поэзии.

Марина уже сделала свой выбор. Я тоже: все лишнее отвергнуто. Оставлен «Алмазный мой венец». Торопясь к фонтану, я его готов надеть на свою плешистую голову.

Марина — это моя душа перед решительным свиданием. Но где этот фонтан? Не в парке же Монсо, куда меня некогда звал сумасшедший скульптор?

Я ошибся, думая, что на острове, омываемом теплым течением Гольфстрим — или, как его называли в старых гимназических учебниках, Гольфштрем, что мне нравится гораздо больше, — весна обычно является на глаза в феврале. Но был год дракона, в мире происходили ужасные события: войны, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, авиационные катастрофы, эпидемии гонконгского гриппа, внезапные смерти...

Меня преследовали неудачи.

Баба-яга в докторском халате, сидевшая за письменным столом с тремя телефонами и аппаратом для измерения кровяного давления, даже не потрудилась меня исследовать. Она лишь слегка повернула узкое лицо к моей жене, окинула ее недобрый взглядом и категорически отказалась выдать справку о здоровье, а затем повернулась всем своим костлявым телом, пробормотав сквозь вставные зубы:

— Это не *ему*, а *вам* хочется попутешествовать. Лично я не рекомендую.

С этими словами она показала свою тощую спину.

Я был настолько уверен в отличном состоянии своего здоровья, что, услышав роковой приговор врача, запрещающий нам лететь в страну вечной весны, сначала не поверил ушам, а потом едва не потерял сознание: все вокруг меня сделалось как при наступлении полного солнечного затмения. Если бы не клочок ваты, смоченный нашатырным спиртом, поднесенный к моим ноздрям чьей-то милосердной рукой, то я бы, чего доброго, хлопнулся в обморок.

К счастью, затмение постепенно заканчивалось, и в прояснившейся комнате явилась добрая фея, положила меня на клеенчатую лежанку, велела спустить штаны и как можно крепче поджать колени под живот. Фея была тоже в медицинском халате, но профессорском, более высокого ранга — белоснежно накрахмаленном, из-под которого виднелись оборочки нарядного платья и стройные, элегантно обутые ноги, — чуть было не написал «ножки», что было бы весьма бестактно по отношению к профессору.

Ее лицо было строго-доброжелательно, хотя и вполне беспристрастно. Не оборачиваясь, она повелительным жестом королевы протянула назад руку, в которой вдруг как бы сам собой очутился стерильный пакет с парой полупрозрачных хирургических перчаток. Она вынула одну из них и натянула на правую руку. Продолжая процедуру исследования, она осталась вполне довольной, по-королевски скупно улыбнулась, после чего уже ничто не могло помешать нам лететь...

Деревья мало знакомых мне пород, хотя среди них попадались пирамидальные тополя, как в Полтаве, стояли

голые, по-зимнему черные. Судя по крокусам, весна уже была где-то совсем близко, рядом, на подходе. Это несомненно. Но что-то тормозило ее приближение, не давало ей наступить. О, проклятый год дракона! Все вокруг еще дышало мучительно медленно умирающей зимой.

В моем представлении Англия была страной мягкой зимы и ранней, очень-очень ранней, нежной весны. Вероятно, это всего лишь игра воображения.

Но неужели воображение не сильнее метеорологии?

Поэзия — дочь воображения. А может быть, наоборот; воображение — дочь поэзии. Для меня, хотя и не признанного, но все же поэта, поэзией прежде всего было ее словесное выражение, то есть стихи.

О, как много чужих стихов накопилось в моей памяти за всю мою долгую жизнь! Как я их любил! Это было похоже на то, что, как бы не имея собственных детей, я лелеял чужих. Чужие стихи во множестве откладывались в моем мозгу, в том его еще мало исследованном отделе, который называется механизмом запоминания, сохраняющим их навсегда наряду с впечатлениями некогда виденных картин, слышанной музыки, касаний, поцелуев, пейзажей, пробежавших за вагонным окном, различных элементов морского прибое — его цвета, шума, подводного движения массы ракушек и камешков, многообразия его форм и цветов, его хрупкого шлейфа, временами закрывающего мокро-лиловый песок мировых пляжей Средиземного и Черного морей, Тихого и Атлантического океанов, Балтики, Ла-Манша, Лонг-Айленда...

Англия помещалась где-то среди слоев этих накопленных памяти и была порождением воображения некоего поэта, которого я буду называть с маленькой буквы эскесс, написавшего:

«Воздух ясен, и деревья голы. Хрупкий снег, как голубой фаянс. По дорогам Англии веселой вновь трубит старинный дилижанс. Догорая над высокой крышей, гаснет в небе золотая гарь. Старый гномик над оконной нишей вновь зажег решетчатый фонарь».

Конечно, в этих строчках, как у нас принято было говорить, «переночевал Диккенс», поразивший однажды

воображение автора, а потом через его стихи поразил воображение многих других, в том числе и мое.

Не было вокруг ни хрупкого снега, похожего на голубой фаянс, ни старинного дилижанса, трубящего на дорогах Англии, совсем не показавшейся мне веселой, не было и гнома, зажегшего решетчатый фонарь. Но все эти элементы были мутно нарисованы синькой на веджвудском фаянсе во время нашего брекфеста в маленькой лондонской гостинице недалеко от Гайд-парка.

Мы видели очень быстрое движение автомобилей на хорошо накатанном бетонном шоссе с белыми полосами, которые через ровные промежутки вдруг резко обрубались, с тем чтобы через миг возникнуть снова и снова обрубиться. Мы видели по сторонам коттеджики, одинаковые, как близнецы, но в то же время имеющие каждый какие-то неповторимые особенности своих деталей, как и те английские семейства, которые в них обитали.

В одном из промелькнувших домиков действительно над оконной нишей гном держал решетчатый фонарь.

Над высокой крышей другого могла гаснуть в небе золотая гарь, и на ее фоне чернели рога араукарии.

Черные, как бы обугленные деревья, настолько мертвые, что, казалось, дальше так продолжаться не может и они должны или перестать существовать, или наконец воскреснуть: хоть немножко зазеленеть.

А между тем во многих крошечных палисадниках мимо нас проносились кусты, сплошь осыпанные желтыми цветами, но без малейшей примеси зелени. Никаких листьев, только цветы; уже явно не зимние, но еще далеко и не весенние, а какие-то странные, преждевременные выходцы из таинственной области вечной весны.

Нас сопровождал длинный индустриальный пейзаж высокоразвитой страны: трубы заводов, пробежавшие мимо поодиночке, попарно, по три, по четыре, по шесть вместе, целыми семьями; силуэты крекингов, запутанные рисунки газопроводов, ультрасовременные фигуры емкостей различного назначения, иногда посеребренных... Однако в темных, закопченных маленьких кирпичиках иных фабричных корпусов наглядно выступала старомодность девятнадцатого века викторианской Англии, Великобритана-

нии, повелительницы полумира, владычицы морей и океанов, именно такая, какую ее видел Карл Маркс.

Движущиеся мимо прозрачно-сумрачные картины не затрагивали воображения, занятого воссозданием стихов все того же эскесса:

«Вы плачете, Агнесса, вы поете, и ваше сердце бьется, как и встарь. Над старой книгой в темном переплете весна качает голубой фонарь»...

Весна уже начинала качать голубой фонарь, и мне не было никакого дела до Бирмингема, мимо которого мы проезжали со скоростью шестидесяти километров в час.

Ах, этот голубой фонарь вечной весны, выдуманый эскессом в пору моей юности.

Он был, эскесс, студентом, евреем, скрывавшим свою бедность. Он жил в большом доме, в нижней части Дерibasовской улицы, в «дорогом районе», но во втором дворе, в полуподвале, рядом с дворницкой и каморкой, где хранились иллюминационные фонарики и национальные бело-сине-красные флаги, которые вывешивались в царские дни. Он жил вдвоем со своей мамой, вдовой. Никто из нас никогда не был у него в квартире и не видел его матери. Он появлялся среди нас в опрятной, выглаженной и вычищенной студенческой тужурке, в студенческих диагональных брюках, в фуражке со слегка вылинявшим голубым околышем. У него было как бы смазанное жиром лунообразное лицо со скептической еврейской улыбкой. Он был горд, ироничен, иногда высокомерен и всегда беспощаден в оценках, когда дело касалось стихов. Он был замечательный пародист, и я до сих пор помню его пародию на входившего тогда в моду Игоря Северянина:

«Кто говорит, что у меня есть муж, по кафедре истории прозектор. Его давно не замечаю уж. Не на него направлен мой прожектор. Сейчас ко мне придет один эскесс, так я зову соседа с ближней дачи, мы совершим с ним сладостный процесс сначала так, а после по-собачьи»...

Свою пародию эскесс пел на мотив Игоря Северянина, растягивая гласные и в наиболее рискованных местах сладострастно жмурясь, а при постыдных словах «сладост-

ный процесс» его глаза делались иронично-маслеными, как греческие маслины.

Он был поэт старшего поколения, и мы, молодые, познакомились с ним в тот жаркий летний день в полутемном зале литературного клуба, в просторечии «литературки», куда Петр Пильский, известный критик, пригласил через газету всех начинающих поэтов, с тем чтобы, выбрав из них лучших, потом возить их напоказ по местным лиманам и фонтанам, где они должны были читать свои стихи в летних театрах.

Эскесс уже тогда был признанным поэтом и, сидя на эстраде рядом с полупьяным Пильским, выслушивал наши стихи и выбирал достойных.

На этом отборочном собрании, кстати говоря, я и познакомился с птицеловом и подружился с ним на всю жизнь.

Петр Пильский, конечно, ничего нам не платил, но сам весьма недурно зарабатывал на так называемых вечерах молодых поэтов, на которых председательствовал и произносил вступительное слово, безбожно перевирая наши фамилии и названия наших стихотворений. Перед ним на столике всегда стояла бутылка красного бессарабского вина, и на его несколько лошадином лице с циническими глазами криво сидело пенсне со шнурком и треснувшим стеклом.

Рядом с ним всегда сидел ироничный эскесс.

Я думаю, он считал себя гениальным и носил в бумажнике письмо от самого Александра Блока, однажды похвалившего его стихи.

Несмотря на его вечную иронию, даже цинизм, у него иногда делалось такое пророческое выражение лица, что мне становилось страшно за его судьбу.

Его мама боготворила его. Он ее страстно любил и боялся. Птицелов написал на него следующую эпиграмму:

«Мне мама не дает ни водки, ни вина. Она твердит: вино бросает в жар любовный; мой Сема должен быть как камень хладнокровный, мамашу слушаться и не кричать со сна».

Он действительно не пил вина, и у него не было явных любовных связей, хотя он был значительно старше всех нас, еще гимназистов.

Одно из его немногочисленных стихотворений (кажется, то, которое понравилось Блоку) считалось у нас шедевром. Он сам читал его с благоговением, как молитву:

«Прибой утих. Молите бога, чтоб был обилен ваш улов. Трудна и пениста дорога по мутной зелени валов. Все холодней, все позже зори. Плывет сентябрь по облакам. Какие сны в открытом море приснятся бедным рыбакам? Опасны пропасти морские. Но знает кормчий ваш седой, что ходят по морю святые и посят звезды над водой»...

У меня уже начала разрушаться память, и некоторые волшебные строчки выпали из полузабытых стихов, как кирпичи из старинных замков эпохи Возрождения, так что пришлось их заменить другими, собственного изготовления. Но, к счастью, лучшие строчки сохранились.

...еще там упоминался святой Николай с темным лицом и белой бородой, покровитель моряков и рыбаков...

Почему нас так волновали эти стихи? Может быть, мы и были этими самыми бедными ланжероновскими рыбаками, и сентябрь ярусами плыл по низким облакам, и нам снились несказанные блоковские сны, и по морю, где-то далеко за Дофиновкой, ходили святые и над водой носили звезды: Юпитер, Вегу, Сириус, Венеру, Полярную звезду...

Настало время, и мы все один за другим покинули родной город в поисках славы. Один лишь эскесс не захотел бросить свой полуподвал, свою стареющую маму, которая привыкла, астматически дыша, тащиться с корзиной на Привоз за скумбрией и за синенькими, свой город, уже опаленный огнем революции, и навсегда остался в нем, поступил на работу в какое-то скромное советское учреждение, кажется даже в губернский транспортный отдел, называвшийся сокращенно юмористическим словом «Губтрасмот», бросил писать стихи и впоследствии, во время Великой Отечественной войны и немецкой оккупации, вместе со своей больной мамой погиб в фашистском концлагере в раскаленной печи с высокой трубой, откуда день и ночь валил жирный черный дым...

...теперь из всей нашей странной республики гениев, прорсков, подлинных поэтов и посредственных стихотворцев, ремесленников и неудачников остался, кажется, я

один. Почти все ушли в ту страну вечной весны, откуда нет возврата...

...нет возврата!..

„Но, безвозвратно исчезая, они навсегда остались в моей памяти, и я обречен никогда не расставаться с ними, а также со многими большими и малыми гениями из других республик и царств, даривших меня своей дружбой, ибо между поэтами дружба — это не что иное как вражда, вывернутая наизнанку.

Не могу взять грех на душу и назвать их подлинными именами. Лучше всего дам им всем прозвища, которые буду писать с маленькой буквы, как обыкновенные слова: ключик, птицелов, эскесс... Исключение сделаю для одного лишь Командора. Его буду писать с большой буквы, потому что он уже памятник и возвышается над Парижем поэзии Эйфелевой башней, представляющей собой как бы некое заглавное печатное А. Высокая буква над мелким шрифтом вечного города.

А, например, щелкунчик будет у меня, как и все прочие, с маленькой буквы, хотя он, может быть, и заслуживает большой буквы, но ничего не поделаешь: он сам однажды, возможно даже бессознательно, назвал себя в автобиографическом стихотворении с маленькой буквы:

«Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой! Ох, как крошится наш табак, щелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, засть ореховым пирогом... Да, видно, нельзя никак».

Он сам напророчил свою гибель, мой бедный, полусумасшедший щелкунчик, дружок, дурак.

Ю. О. я уже назвал ключиком. Ведь буква Ю — это, в конце концов, и есть нечто вроде ключика. А остальные прописные О иллюминаторов были заглавные буквы имен его матери и жены.

Как странно, даже противоестественно, что в мире существует порода людей, отмеченных божественным даром жить только воображением.

Мы были из этой породы.

Подобно донне Анне, скрестившей на сердце руки, мы

видели неземные сны, но, проснувшись, тотчас забывали их. Забытые сновидения, как призраки, являлись в наших стихах, и трудно было понять, из каких глубин сознания они взялись.

...некогда, давным-давно, еще до первой мировой войны, до моего знакомства с ключиком, птицелов стоял на сцене дачного театра. Отсутствие гимназического пояса, а также гимназическая куртка со светлыми пуговицами, обшитыми для маскировки серой материей, делали его похожим на выгнанного ученика или экстерна: предосторожность не лишняя, так как учащимся средних учебных заведений строго запрещались публичные выступления. За это беспощадно выгоняли с волчьим билетом.

Я тоже участвовал в «вечере молодых поэтов», происходившем днем, и так же, как и птицелов, скрывал, что я гимназист. Наш товарищ из аристократов, барон-фон, одолжил мне свою визитку, шелковый галстук с модным рисунком «павлиний глаз», и я со своей головой, стриженной под нуль, выглядел чучело чучелом.

— Нам с башен рыдали церковные звоны, для нас подымали узорчатый флаг, а мы заряжали, смеясь, мушкетоны и воздух чертили ударами шпага,—

рыча и брызгая слюной, выкрикивал птицелов в полупустой, полутемный зал, освещенный стрелами летнего солнца, бившего сквозь дощатые стены и дырочки от выпавших сучков.

Его руки с напряженными бицепсами были полусогнуты, как у борца, косой пробор растрепался, и волосы упали на низкий лоб, бодлеровские глаза мрачно смотрели из-под бровей, зловеще перекошенный рот при слове «смеясь» обнаруживал отсутствие переднего зуба. Слова «чертили ударами шпага» он подкреплял энергичными жестами, как бы рассекая по разным направлениям балаганный полусвет летнего театра воображаемой шпагой, и даже как бы слышался звук заряжаемых мушкетонов, рыдание церковных звонов с каких-то башен — по всей вероятности, зубчатых — и прочей, как я понял впоследствии, «гумиллятины».

Птицелов принадлежал к той элите местных поэтов, которая была для меня недоступна. Это были поэты более старшего возраста, в большинстве своем декаденты и сим-

волисты. На деньги богатого молодого человека — сына банкира, мецената и дилетанта — для этой элиты выпускались альманахи квадратного формата, на глянцевой бумаге, с шикарными названиями «Шелковые фонари», «Серебряные трубы», «Авто в облаках» и прочее в этом роде. В эти альманахи, где царили птицелов и эскесс как звезды первой величины, мне с моими реалистическими провинциальными стихами ходу не было.

Еще бы! Они даже свою группу называли «Аметистовые уклоны». Где уж мне!

— Когда наскучат ей лукавые новеллы и надоест лежать в плетеных гамаках, она приходит в порт смотреть, как каравеллы плывут из смутных стран на зыбких парусах,—

читал птицелов с упоением свою знаменитую «Креолку»,—

от палуб кораблей так смутно тянет дегтем...
И прочее.

Видимо, все это он позаимствовал из пиратских романов Стивенсона, которые читал на уроках, пряча под парту журнал «Мир приключений».

Несмотря на всю мою приверженность к русской классической литературе, поэзии Кольцова, Некрасова, Никитина, не говоря уж о Пушкине и Лермонтове, несмотря на увлечение Фетом, Полонским, впоследствии Буниным, я не мог не восхищаться и даже завидовать моему новому другу, романтической манере его декламации, даже его претенциозному псевдониму, под которым писал сын владельца мелочной лавочки на Ремесленной улице. Он уютился вместе со всеми своими книгами приключений, а также толстым томом «Жизни животных» Брема — его любимой книги — на антресолях двухкомнатной квартирки (окнами на унылый, темный двор) с традиционной бархатной скатертью на столе, двумя серебряными подсвечниками и неистребимым запахом фаршированной щуки.

Его стихи казались мне недостижимо прекрасными, а сам он гением.

— Там, где выступ, холодный и серый, водопадом свер-

гается вниз, я кричу у безмолвной пещеры: Дионис! Дионис! Дионис! —

декламировал он на бис свое коронное стихотворение...

— Утомясь после долгой охоты, запылив свой пурпурный наряд, ты ушел в бирюзовые грсты выжимать золотой виноград.

Эти стихи были одновременно и безвкусны и необъяснимо прекрасны.

Казалось, птицелов сейчас захлебнется от вдохновения. Он выглядел силачом, атлетом. Впоследствии я узнал, что с детства он страдает бронхиальной астмой и вся его как бы гладиаторская внешность — не что иное как не без труда давшаяся поза.

Даже небольшой шрам на его мускулисто напряженной щеке — след детского пореза осколком оконного стекла — воспринимался как зарубцевавшаяся рана от удара пиратской шпаги.

Откуда он выкопал Диониса, его пурпурный наряд, запылившийся во время охоты? Откуда взялись какие-то бирюзовые гроты и выступ мало того что холодный и серый, но еще и «водопадом свергающийся вниз»?

Необъяснимо.

Впоследствии он стал писать по-другому, более реалистично, и, медленно созревая, сделался тем прославленным поэтом, имя которого — вернее, его провинциальный псевдоним — принимается как должное: к нему просто привыкли.

Прошло более полувека, и однажды я — все в той же погоне за вечной весной — очутился в Сицилии, куда мы прилетели из Рима, предварительно пройдя все зловещие процедуры в аэропорту Фьюмачино.

Угон самолетов уже стал делом обыкновенным. Воздушное пиратство. Поэтому всех пассажиров тщательно обыскивали и надо было проходить через какую-то электромагнитную раму, реагирующую на присутствие всякого

металлического предмета, например ручного пулемета или бомбы. Так как Сицилия считается центром всемирной мафии, то осмотр производился особенно строго.

Единственное исключение агенты полиции сделали для пожилой монахини с тяжелым саквояжем в руках. Ее пропустили без осмотра. По всем законам авантюрного жанра именно эта монахиня и была наиболее опасным членом мафии и в ее саквояже, конечно, должен был находиться автомат или какое-нибудь взрывное устройство.

Во время всего короткого перелета Рим — Палермо я не спускал глаз с монахини, равнодушно перебиравшей четки, а когда она открыла свой чемодан и, надев очки, стала в нем копаться, я проклял судьбу, угораздившую посадить нас именно в этот проклятый самолет, который могут угнать куда-нибудь к черту на рога — в Африку — или даже взорвать в воздухе.

Я не обращал внимания на красоту расстилавшегося под самолетом Тирренского моря и перестал волноваться лишь после того, как наш самолет «алиталия» пошел на посадку, и мимо нас побежали прибрежные скалы, холмы, покрытые апельсиновыми рощами, желтая полоса пляжа на кружевной кромке до слез синего моря, и мы покатались по бетонной полосе небольшого провинциального аэродрома.

Не помню, был ли я прежде в Палермо, но этот город показался мне знакомым. Не буду его описывать. В памяти сохранился лишь какой-то людный перекресток с раковиной фонтана, вделанной в угол старого итальянского дома. Из львиной пасти в эту мраморную раковину лилась не слишком обильная струя воды. Но раковина была переполнена — видно, что-то засорилось. Водопровод был дряхлый, вероятно его чинили в последний раз в начале двадцатого века. Из раковины на тротуар изливалась вода; натекла большая лужа, по которой шлепали прохожие, проклиная отдел коммунального хозяйства. Весь перекресток был покрыт синей утренней тенью.

Перед входом в дряхлый величественный собор росла целая роща африканских пальм. Пахло светильным газом, горячим кофе, ванилью, и во всем этом было столько староитальянского, сицилианского, что я вспомнил давнее-предавнее время и наше путешествие с папой и маленьким моим братом, братиком, на пароходе из Одессы

в Неаполь с заходом в разные порты. В Палермо, кажется, не заходили. Заходили в Катанию и Мессину. Но все равно — теперь, когда в памяти все смешалось, я перенесся в ту неизмеримо далекую пору своей жизни, когда впервые увидел Италию, старую, королевскую с осликами или даже мулами с красными чехольчиками на ушах и черными шорами, что делало их как бы слепыми; с тесными лавчонками, где продавался вкусный ледяной оранжад и шипучий лимонад в бутылочках, закупоренных вместо пробок маленькими матово-стеклянными шариками, которые нужно было протолкнуть внутрь...

Теперь, как и тогда, переходя по диагонали перекресток (не все ли равно, где это было — в Катании или Палермо) из синей тени на залитую почти африканским солнцем сторону, я промочил туфли возле раковины углового фонтана с мадонной в нише, украшенной цветами и разноцветными лампадками.

Но это не важно. Извините, я отвлекся. Важно то, что в туристском автобусе мы объехали треугольник Сицилии, окруженный со всех сторон аливариновой синевой Средиземного моря, останавливаясь по дороге возле древнегреческих храмов, но не из белого мрамора, как в Греции, а из местного желтого камня, возле мраморных развалин римских городов, поверженных в прах войсками карфагенян, — ужасный след Ганнибала, шагнувших под трубный рев боевых слонов через Сицилию на Апеннинский полуостров по дороге к золотым воротам Рима, — а может быть, разрушенных землетрясениями в те дни, когда вдруг просыпалась Этна, извергая из своих семи кратеров огонь и дым и швыряя в небо раскаленные каменные бомбы, заставляя трескаться землю, обжигая лавой виноградники и обволакивая остров клубами сернистых газов, озаренными снизу отсветами преисподней...

Кто знает, какая нечеловеческая сила разрушила циклопические постройки древней Сицилии? И почему иные из них остались почти нетронутыми, не поверженными во прах?

Но теперь громадные кубические камни разрушенных городов заросли кустами одуряюще-душистой седой полыни, такой зловеще серебряной на фоне пустынного моря, почерневшего от дождевых туч, надвигавшихся откуда-то из Ливии, из Туниса, из Карфагена, от которого

почти ничего не осталось, кроме легенды, кроме флоренской «Саламбо».

Здесь под ливнем, внезапно обрушившимся на мраморные развалины, в толпе американских туристов, как стадо испуганных лошадей, бегущих к автобусу, я ощутил страшное одиночество, тщету человеческих цивилизаций, поглощаемых одна за другой непознаваемой бездной тысячелетий, по сравнению с которыми моя жизнь не более чем мгновенное сновидение.

...Перечитываю написанное. Мало у меня глаголов. Вот в чем беда. Существительное — это изображение. Глагол — действие. По соотношению количества существительных с количеством глаголов можно судить о качестве прозы. В хорошей прозе изобразительное и повествовательное уравновешено. Боюсь, что я злоупотребляю существительными и прилагательными. Существительное, впрочем, включает в себя часто и эпитет. К слову «бриллиант», например, не надо придавать слово «сверкающий». Оно уже заключено в самом существительном. Излишества изображений — болезнь века, мовизм. Почти всегда в хорошей современной прозе изобразительное превышает повествовательное.

Нас окружает больше предметов, чем это необходимо для существования.

Писатели восемнадцатого века — да и семнадцатого — были в основном повествователи. Деятнадцатый век украсил голые ветки повествования цветными изображениями.

Наш век — победа изображения над повествованием. Изображение присвоили себе таланты и гении, оставив повествование остальным.

Метафора стала богом, которому мы поклоняемся. В этом есть что-то языческое. Мы стали язычниками. Наш бог — материя... Вещество...

Но не пора ли вернуться к повествованию, сделав его носителем великих идей? Несколько раз я пытался это сделать. Увы! Я слишком заражен прекрасным недугом мною же выдуманного мовизма. Ведь даже Библия сплошь повествовательна. Она ничего не изображает. Библейские изображения появляются в воображении читателя из го-

лых ветвей повествования. Повествование каким-то необъяснимым образом вызывает картину, портрет. В Библии не описана внешность Каина. Но я его вижу как живого.

Единственно, что меня утешает — это Гомер, который был великим изобразителем, изображение у него несет службу повествования. Он даже эмпиричен, как и подobaет подлинному мовисту: что увидел, то и нарисовал, не стараясь вылизать свою картину.

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины»...

Оказывается, простой список кораблей — это не статистика, а поэзия.

А вообще ничего не поделаешь. Каждый пишет как может, а главное, как хочет. Терпение! И знайте, что все мои изображения в конце концов лишь элементы повествования, которое я продолжаю:

...в конце концов мы очутились в Сиракузах. Распахнув окно с решетчатыми жалюзи, мы увидели все то же Средиземное море и порт, куда как раз в это время входил длинный старомодный пароход моего детства, черного цвета, с суриково-красной полосой ватерлинии, но так как пароход был мало загружен, то красная полоса была довольно широкой; а из-за горизонта, из Африки, дул все тот же октябрьский теплый ветер и гнал, все гнал, все гнал синие до черноты средиземноморские волны.

Мы ходили в стаде туристов по ярусам знаменитого на весь мир древнегреческого театра, удивляясь, как хорошо сохранился его полуциркульный амфитеатр, вырубленный из одного гигантского каменного монолита. Перепрыгивая со ступени на ступень как по каменной лестнице его рядов, мы спустились вниз и ходили по плитам сценической площадки, и наши голоса отчетливо слышались в самых верхних рядах, где камень уже соприкасался с ярким, безоблачным античным небом, так что — чудо акустики! — текст древних трагедий, произносимый актерами на котурнах и в большеротых масках, доходил до всех зрителей одинаково ясный, не искаженный пространством, непреложный, как ужасные веления рока. Здесь умирали герои, но это была не настоящая смерть, а

лишь ее геатральное изображение, в то время как рядом, в древнеримском цирке, — так же удивительно сохранившемся — грубо, варварски, дико властвовала подлинная смерть, лишенная поэтической оболочки: из каменных загонов на арену выпускали диких зверей. Под рев низменной римской черни львы разрывали на части рабов-гладиаторов или христиан, простиравших к небу свои белые окровавленные руки:

наглядное свидетельство того, как некогда высокогуманная древнегреческая культура была попрапа и поглощена низменной культурой завоевателей-римлян, превративших Сицилию в дачную местность Рима, куда патриции, богачи, приезжали на каникулы на своих триремах с красными парусами и золочеными мачтами целыми семьями, вместе с рабами, и блаженствовали на своих виллах, от которых до наших дней сохранились лишь мозаичные полы многочисленных комнат. Рисунок каждого пола соответствовал назначению комнаты. На полу столовой были изображения рыб, фазанов, лангуст, мурен, блюда дичи, амфоры вина... На полу комнаты для гимнастических упражнений можно было рассмотреть изображения молодых девушек в коротких туниках, делающих, быть может, утреннюю зарядку, некоторые даже держали в руках гантели и гимнастические палки... Особая комната для любви имела пол с изображением высокого ложа, окруженного амурами... В детской — мозаичные изображения игрушек... Видимо, и в самой жизни все у них было строго регламентировано, как в государстве.

Но все эти туристские впечатления не трогали моей души и оказались пустяком в сравнении с тем, что ожидало меня через несколько минут.

...Пройдя сквозь субтропический сад с померанцевыми деревьями, смоковницами, странными невиданными цветами, мы почувствовали сырую теплоту застоявшегося воздуха и очутились перед естественной каменной стеной необыкновенной высоты. Можно было подумать, что это навсегда окаменевший гладкий серый водопад, неподвижно свергающийся откуда-то с высот безоблачного сицилийского неба. В этот миг мне показалось, что я уже когда-то видел эту серую стену или, по крайней мере, слышал о ней...

Но где? Когда?

В стене сверху донизу темнела трещина, глубокая щель, естественный вход в некую пещеру — даже, может быть, сказочную, — откуда тянуло подземным холодом. Пол этого таинственного коридора, уводящего во мрак, был покрыт тонким неподвижным слоем бирюзовой воды, из которой росли какие-то странные, я бы даже сказал малокровные, растения декадентски изысканных форм, неестественно бледного болотно-бирюзового цвета. Цветы мифического подземного царства, откуда нет возврата.

...нет возврата!..

Этой картине должна была сопутствовать какая-то неземная, печальная музыка и какие-то слова, выпавшие из памяти.

Но какие?

Выпадение из памяти всегда мучительно. Вы слышите хорошо знакомую музыку, но как она называется — забыли. Идет хорошо вам знакомый человек, но его имя выпало из памяти. Распалась ассоциативная связь, которую так мучительно трудно наладить.

Я окаменел от усилия вернуть забытые, но некогда хорошо известные слова, вероятно даже стихи.

Вдруг все объяснилось. Наш гид произнес:

— Синьоры, внимание. Перед вами гротто Дионисо, грот Диониса.

...в тот же миг восстановилась ассоциативная связь. Молния озарила сознание. Да, конечно, передо мной была не трещина, не щель, а вход в пещеру — в грот Диониса. Я услышал задыхающийся астматический голос молодого птицелова — гимназиста, взывающего из балаганной дневной полутьмы летнего театра к античному богу:

«Дионис! Дионис! Дионис!»

«Там, где выступ, холодный и серый, водопадом свергается вниз, я кричу у безмолвной пещеры: Дионис, Дионис, Дионис!»

Теперь он был передо мной наяву, этот серый гладкий каменный водопад со входом в грот Диониса, откуда слышался тонкий запах выжатого винограда.

— Здесь, синьоры,— сказал гид в клетчатом летнем костюме, с нафабранными усами,— бог Дионис впервые выжал виноград и научил людей делать вино.

Ну да!

«Он ушел в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград...»

Я не удивился, если бы вдруг тут сию минуту увидел запыленный пурпуровый плащ выходящего из каменной щели кудрявого бога в венке из виноградных листьев, с убитой серной на плече, с колчаном и луком за спиной, с кубком молодого вина в руке — прекрасного и слегка во хмелю, как сама поэзия, которая его породила.

Но каким образом мог мальчик с Ремесленной улицы, никогда не уезжавший из родного города, проводивший большую часть своего времени на антресолях, куда надо подниматься из кухни по крашеной деревянной лесенке и где он, изнемогая от приступов астматического кашля, в рубашке и кальсонах, скрестив по-турецки ноги, сидел на засаленной перине и, наклонив лохматую нечесаную голову, запоем читал Стивенсона, Эдгара По или любимый им рассказ Лескова «Шер-Амур», не говоря уж о Бодлере, Верлене, Артюре Рембо, Леконте де Лиле, Эредиа, и всех наших символистов, а потом акмеистов и футуристов, о которых я тогда еще не имел ни малейшего представления,— как он мог с такой точностью вообразить себе грот Диониса? Что это было: телепатия? ясновидение? Или о гроте Диониса рассказал ему какой-нибудь моряк торгового флота, совершавший рейсы Одесса — Сиракузы?

Не знаю. И никогда не узнаю, потому что птицелова давно нет на свете. Он первый из нас, левантинцев, ушел в ту страну, откуда нет возврата, нет возврата...

А может быть, есть?

Раз уж я заговорил о птицелове, то не могу не вспомнить тот день, когда я познакомил его с королевичем,

Кажется, они — птицелов и королевич — понравились друг другу. Во всяком случае, королевич — уже тогда очень знаменитый — доброжелательно улыбался провинциальному поэту, хотя, конечно, еще не прочитал ни одной его строчки.

Разговорившись, мы подошли к памятнику Пушкину и уселись на бронзовые цепи, низко окружавшие памятник, который в то время еще стоял на своем законном месте, в голове Тверского бульвара, лицом к необыкновенно изящному Страстному монастырю нежно-сиреневого цвета, который удивительно подходил к его маленьким золотым луковкам.

...До сих пор болезненно ощущаю отсутствие Пушкина на Тверском бульваре, невосполнимую пустоту того места, где он стоял.

Привычка.

Недаром же Командор написал, обращаясь к Александру Сергеевичу:

«На Тверском бульваре очень к вам привыкли».

Привыкли, добавлю я, также и к старинным многоруким фонарям, среди которых фигура Пушкина со склоненной курчавой головой, в плаще с гармоникой прямых складок так красиво рисовалась на фоне Страстного монастыря.

Не уверен, что во время свидания двух поэтов — птицелова и королевича — Страстной монастырь еще существовал. Кажется, его уже тогда снесли. Будем считать в таком случае, что в пустоте остался отсвет его бледно-сиреновой окраски.

Для людей моего поколения есть два памятника Пушкину. Оба одинаковых Пушкина стоят друг против друга, разделенные шумной площадью, потоками автомобилей, светофорами, жезлами регулировщиков. Один Пушкин призрачный. Он стоит на своем старом, законном месте, но его видят только старые москвичи. Для других он незрим. В незаполнимой пустоте начала Тверского бульвара они видят подлинного Пушкина, окруженного фона-

рями и бронзовой цепью, на которой, сидя рядом и покачиваясь, разговаривали в начале двадцатых годов два поэта и третий — я, их современник.

А Пушкин сегодняшний для меня лишь призрак.

Желая поднять птицелова в глазах знаменитого королевича, я сказал, что птицелов настолько владеет стихотворной техникой, что может, не отрывая карандаша от бумаги, написать настоящий классический сонет на любую заданную тему. Королевич заинтересовался и предложил птицелову тут же, не сходя с места, написать сонет на тему Пушкин.

Птицелов взял у королевича карандаш и на обложке толстого журнала «Современник», который был у меня в руках, написал «Сонет Пушкину» по всем правилам: пятистопным ямбом с цезурой на второй стопе, с рифмами А Б Б А в первых двух четверостишиях и с парными рифмами в двух последних терцетах. Все честь по чести. Что он там написал — не помню.

Королевич завистливо нахмурился и сказал, что он тоже может написать экспромтом сонет на ту же тему. Он долго думал, даже слегка порозовел, а потом наковырял на обложке журнала несколько строчек.

— Сонет? — подозрительно спросил птицелов.

— Сонет, — запальчиво сказал королевич и прочитал вслух следующее стихотворение:

— Пил я водку, пил я виски, только жаль, без вас, Быстрицкий! Мне не нужно адов, раев, лишь бы Валя жил Катаев. Потому нам близок Саша, что судьба его как наша.

При последних словах он встал со слезами на голубых глазах, показал рукой на склоненную голову Пушкина и поклонился ему низким русским поклоном.

(Фамилию птицелова он написал неточно: Быстрицкий, а надо было...)

Журнал с двумя бесценными автографами у меня не сохранился. Я вообще никогда не придавал значения документам. Но поверьте мне на слово: все было именно так, как я здесь пишу.

...Смешно и трогательно...

Теперь на том месте, где все это происходило, — пусто-та. С этим мне трудно примириться. Да и улица Горького в памяти навсегда осталась Тверской из «Евгения Онегина».

...«вот уж по Тверской возок несется сквозь ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачужки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах»...

Почти такой увидел я Москву, когда после гражданской войны приехал с юга. Впрочем, Москва уже была не вполне онегинская. Хотя львы на воротах и стаи галок на крестах, а также аптеки, фонари, бульвары и прочее еще имелись в большом количестве. Но, конечно, трамваи были уже не онегинские.

Москва пушкинская превращалась в Москву Командора.

«Проезжие прохожих реже. Еще храпит Москва деляг, Тверскую жрет, Тверскую режет сорокасильный кадил-ляк».

Это тоже призрак.

Память разрушается, как старый город. Пустоты перестраиваемой Москвы заполняются новым архитектурным содержанием. А в провалах памяти остаются лишь призраки ныне уже не существующих, упраздненных улиц, переулков, тупичков...

Но как устойчивы эти призраки некогда существовавших здесь церквей, особнячков, зданий... Иногда эти призраки более реальны для меня, чем те, которые их заменили: эффект присутствия!

Я изучал Москву и навсегда запомнил ее в ту пору, когда еще был пешеходом. Мы все были некогда пешеходами и основательно, не слишком торопясь, вглядывались в окружающий нас мир Города во всех его подробностях.

Это была география Столицы, еще так недавно пережившей уличные бои Октябрьской революции.

Два многоэтажных обгоревших дома с зияющими окнами на углу Тверского бульвара и Большой Никитской, сохранившаяся аптека, куда носили раненых, несколько погнутых трамвайных столбов, пробитых пулями, поцарапанные осколками снарядов стены бывшего Александровского военного училища — здание Реввоенсовета республики, — две шестидюймовки во дворе Музея Революции, бывшего Английского клуба, еще так недавно обстреливавшие с Воробьевых гор Кремль, где засели юнкера.

Множество стареньких, давно не ремонтируемых церквушек неопишимо прекрасной древнерусской архитектуры, иные со снятыми крестами, как бы обезглавленные.

Каждый новый день открывал для пешехода новые подробности города, ставшего центром мировой революции.

Я давно уже перестал быть пешеходом. Езжу на машине. Московские улицы, по которым я некогда проходил, останавливаясь на перекрестках и озирая дома, теперь мелькают мимо меня, не давая возможности всматриваться в их превращения.

Командор был тоже прирожденным пешеходом, хотя у него у первого из нас появился автомобиль — вывезенный из Парижа «рено», но он им не пользовался. На «рено» разъезжала по Москве та, которой он посвятил потом свои поэмы. А он ходил пешком, на голову выше всех прохожих, изредка останавливаясь среди толпы, для того чтобы записать в маленькую книжку только что придуманную рифму или строчку.

Город начал заново отстраиваться с пригородов, с подмосковных бревенчатых деревенек, с пустырей, со свалок, с оврагов, на дне которых сочились сточные воды, поблескивали болотца, поросшие ряской и всякой растительной дрянью. На их месте выстроены новые кварталы, районы, целые города клетчатых, ребристых домов-транзисторов, домов-башен, издали ни дать ни взять напоминающие губную гармонику, поставленную вертикально...

Я люблю проезжать мимо них, среди разноцветных пластмассовых балконов, гордясь торжеством своего государства, которое с неслыханной быстротой прев-

ратило уездную Россию в мировую индустриальную сверхдержаву, о чем в нашей юности могло только мечтаться.

Теперь это кажется вполне естественным.

До поры до времени старую Москву, ее центральную часть не трогали. Почти все старые московские уголки и связанные с ними воспоминания оставались примерно прежними и казались навечно застывшими, кроме, конечно, Тверской, превратившейся в улицу Горького и совершенно переменившейся. Впрочем, к улице Горького я почему-то скоро привык и уже с трудом мог восстановить в памяти, где какие стояли церкви, колокольни, магазины, рестораны. Преображение Тверской не слишком задевало мои чувства, хотя я часто и грустил по онегинской Тверской, по ее призраку.

Я был житель другого района.

Другой район являлся, в сущности, совсем другим миром.

Я почти неощутимо пережил эпоху новых мостов через Москву-реку и передвижение громадных старых домов с одного места на другое, эпоху строительства первых линий метрополитена, исчезновение храма Христа Спасителя, чей золотой громадный купол, ярко блестящий на солнце, можно было разглядеть, как золотую звезду над лесом, когда до Москвы еще оставалось верст шестьдесят.

Теперь вместо него плавательный бассейн с вечной шапкой теплого пара над его изумрудной водой, теплой — можно купаться даже в лютые морозы.

...Но на месте плавательного бассейна я до сих пор вижу призрак храма Христа Спасителя, на ступенях которого перед бронзовой дверью сижу я, обняв за плечи синеглазку, и мы оба спим, а рассвет приливает, где-то вверху жужжит аэроплан, и мне кажется, что все вокруг, весь город умерщвлен каким-то новым газом так, как якобы уже началась новая война, и мы с синеглазкой тоже уже умерщвлены, нас уже нет в живых, а мы только две обнявшиеся тени...

Потом наступила более тягостная эпоха перестановки и уничтожения памятников. Незримая всевластная рука переставляла памятники, как шахматные фигуры, а иные из них вовсе сбрасывала с доски.

Она переставила памятник Гоголю работы гениального Андреева, тот самый памятник, где Николай Васильевич сидит, скорбно уткнувши свой длинный птичий нос в воротник бронзовой шинели — почти весь потонув в этой шинели, — с Арбатской площади во двор особняка, где по преданию сумасшедший писатель сжег в камине вторую часть «Мертвых душ», а на его место водрузила другого Гоголя — во весь рост, в коротенькой пелеринке, на скучном официальном пьедестале, не то водевильный артист, не то столоначальник, лишенный всякой индивидуальности и поэзии.

Когда я приехал впервые в Москву, улица Кирова была еще Мясницкой и по ней, кривой и извилистой, я ехал с Курского вокзала на извозчичьих санках, на так называемом «ваньке» из числа тех, на которых еще ездил Антон Чехов, застегнувшись суконкой — проеденной молью полостью на рыбьем меху.

Москва еще казалась мне непознаваемой, как страшный сон.

Несмотря на мартовский снег, кружившийся среди незнакомых мне столичных домов, я уже слышал в воздухе что-то, обещающее весну.

Сани ныряли с ухаба на ухаб, увозя меня по неведомым улицам неведомо куда — в метель, в только что зажегшиеся страусовые яйца голубоватых электрических фонарей на Лубянской площади, посередине которой возвышался засыпанный снегом итальянский фонтан, а извозчик в каstorовой шляпе-цилиндре с металлической пряжкой время от времени почмокивал губам, понукая свою клячу, и приговаривал традиционную извозчичью притказку:

— С горки на горку, барин даст на водку.

А барин-то был в потертом пальтишке, перешитом из солдатской шинели, и в ногах у него стояла плетеная корзинка, запертая вместо замочка карандашом, а в корзинке этой лежали рукописи и пара солдатского белья.

Начинался третий год революции.

Впоследствии Мясницкую переименовали в улицу Первого мая, потом как-то незаметно в шуме нэпа она опять стала Мясницкой и оставалась ею до тех пор, пока не получила окончательное название — улица Кирова, вероятно в память того сумрачного декабрьского денька, когда посередине улицы по неубранному снегу, издавая тягостный звук мельничного жернова, поворачивались колеса пушечного лафета с низко установленным гробом с телом убитого Кирова, перевозившегося с Ленинградского вокзала в Колонный зал Дома Союзов, а за лафетом темной толпой шли провожающие, наступая на хвойные крестики и матерчатые цветочки, падающие с венков на свинцовый декабрьский снег.

...по воле случая я шел в похоронной процессии, ужасаясь зрелищу, свидетелем которого мне довелось стать...

Эту картину память принесла мне из сравнительно недавнего прошлого, а еще раньше, в то время, когда улица называлась Мясницкой, мне суждено было судьбой жить в ее районе...

...вдруг тормоза взвизгнули, машина резко затормозила перед красным светофором. Если бы не пристегнутые ремни, я бы мог стукнуться головой о ветровое стекло. Это, несомненно, был перекресток Кировской и Бульварного кольца, но какая странная пустота открылась передо мной на том месте, где я привык видеть Водопьяный переулок. Его не было. Он исчез, этот Водопьяный переулок. Он просто больше не существовал. Он исчез вместе со всеми домами, составлявшими его. Как будто их всех вырезали из тела города. Исчезла библиотека имени Тургенева. Исчезла булочная. Исчезла междугородная переговорная. Открылась непомерно большая площадь — пустота, с которой трудно было примириться. Пустота казалась мне незаконной, противоестественной, как то непонятное, незнакомое пространство, которое иногда приходится преодолевать во сне: все вокруг знакомо, но вместе с тем совсем незнакомо и не знаешь, куда надо идти, чтобы вернуться домой, и ты забыл, где твой дом, в каком направлении надо идти, и ты идешь одновременно по разным направлениям, но каждый раз оказываешься все дальше и дальше от дома, а между тем ты отлично зна-

ешь, что твой дом где-то совсем рядом, рукой подать, он есть, существует, но его не видно, он как бы в другом измерении. Он стал невидимкой.

Реконструкция знакомого перекрестка была сродни выпадению из памяти. В Москве уже стали выпадать целые кварталы. Выпала добрая половина перекрестка, к которому издавна тяготел тот особый старомосковский мир поэтов и художников, куда меня случайно занесло в первый же день пребывания в Москве и долго потом держало в плену.

Пока мы стояли у красного светофора, пропуская поперечный транспорт, я все никак не мог смириться с мыслью, что Водопьяного переулка больше не существует.

Не существует дома, где проходила большая часть жизни Командора в той странной нигилистической семье, где он был третий и где помещался штаб лефов, гонявших чай с вареньем и пирожными, покулавшимися отнюдь не в Моссельпроме, который они рекламировали, а у частных — известных еще с дореволюционного времени кондитеров Бартельса с Чистых прудов и Дюваля с Покровки, угол Машкова переулка.

Не существует и входной двери, ведущей с грязноватой лестницы в их интеллигентное логово со стеллажами, набитыми книгами, и с большим чайным столом, покрытым камчатной скатертью.

Дверь эта, выбеленная мелом, была исписана вдоль и поперек автографами разных именитых и неименитых посетителей, тяготевших к ЛЕФу, среди которых какая-то коварная рука умудрилась отчетливо вывести анилиновым карандашом стихотворный пасквиль.

Командор в одной из своих поэм описал эту часть Москвы следующими скупыми словами. Он тогда стремился к простоте и лаконизму и даже однажды сказал: «Язык мой гол».

«Лубянский проезд. Водопьяный. Вид вот. Вот фон».

Он делил свою жизнь между Водопьяным переулком, где принужден был наступать на горло собственной песне, и Лубянским проездом, где в многокорпусном доход-

ном, перенаселенном доме, в коммунальной квартире у него была собственная маленькая холостяцкая комнатка с почерневшим нетопленным камином, шведским бюро с задвигающейся шторной крышкой и на белой стене вырезанная из журнала и прикрепленная кнопкой фотография Ленина на высокой трибуне, подавшегося всем корпусом вперед, с протянутой в будущее рукой.

Здесь, оставаясь наедине сам с собой, он уже не был главнокомандующим Левым фронтом, отдающим гневные приказы по армии искусств:

«А почему не атакован Пушкин? А прочие генералы классики?»

Здесь он не писал «нигде кроме, как в Моссельпроме» и «товарищи девочки, товарищи мальчики, требуйте у мамы эти мячики», подаваемые теоретиками из Водопьяного переулка чуть ли не как сверхновая форма классовой борьбы, чуть ли не как революционная пропаганда нового мира и ниспровержение старого, от которого «нами остаются только папиросы „Ира“».

Здесь он писал:

«...я себя под Лениным чищу».

Здесь же он поставил и точку в своем конце.

И сейчас еще слышатся мне широкие, гулкие шаги Командора на пустынной ночной Мясницкой между уже не существующим Водопьяным и Лубянским проездом, переименованным в проезд Серова.

К перекрестку Мясницкая — Бульварное кольцо тяготеет несколько зданий, ныне исторических.

Не говоря уже о Главном почтамте, географическом центре Москвы, откуда отсчитывались версты дорог, идущих в разные стороны от белокаменной, первопрестольной, здесь находился Вхутемас, в недавнем прошлом Школа ваяния и зодчества, прославленная именами Серова, Врубеля, Левитана, Коровина.

Сюда заглаживал молодой Чехов, водивший дружбу с московскими живописцами, своими сверстниками.

Здесь обитал художник Л. Пастернак и рос его сын, который, вспоминая свою юность, впоследствии написал:

«Мне четырнадцать лет. Вхутемас еще школа ваянья... Звон у Флора и Лавра сливается с шарканьем ног... Раздается звонок, голоса приближаются: Скрыбин. О, куда мне бежать от шагов моего божества!»

Помню маленькую церквушку Флора и Лавра, ее шатровую колокольню, как бы прижавшуюся к амбирным колоннам полукруглого крыла Вхутемаса. Церковка эта вдруг как бы на моих глазах исчезла, превратилась в дощатый барак бетонного завода Метростроя, вечно покрытый слоем зеленоватой цементной пыли.

Да, еще рядом с Вхутемасом, против Почтамта, чайный магазин в китайском стиле, выкрашенный зеленой масляной краской, с фигурами двух китайцев у входа. Он существует и до сих пор, и до сих пор, проходя мимо, вы ощущаете колониальный запах молотого кофе и чая.

...А потом уже не помню что...

...во дворе Вхутемаса, куда можно было проникнуть с Мясницкой через длинную темную трубу подворотни, было, кажется, два или три высоких кирпичных нештукатуренных корпуса. В одном из них находились мастерские молодых художников. Здесь же в нетопленной комнате существовал как некое допотопное животное — мамонт! — великий поэт, председатель земного шара, будетлянин, странный гибрид панславизма и Октябрьской революции, писавший гениальные поэмы на малопонятном древнерусском языке, на клочках бумаги, которые без всякого порядка засовывал в наволочку, и если иногда выходил из дома, то нес с собой эту наволочку, набитую стихами, прижимая ее к груди.

Вечно голодный, но не ощущающий голода, окруженный такими же, как он сам, нищими поклонниками, прозелитами, он жил в своей запущенной комнате.

Тут же рядом гнезвился левейший из левых, самый непонятный из всех русских футуристов, вьюн по природе, автор легендарной строчки «Дыр, бул, щир». Он питался кашей, сваренной впрок на всю неделю из пайкового риса, хранившейся между двух оконных рам в десятифунтовой стеклянной банке из-под варенья. Он охотно кормил этой холодной кашей своих голодающих знакомых. Вьюн — так мы будем его называть — промышлял

перекупкой книг, мелкой картежной игрой, собирал автографы никому не известных авторов в надежде, что когда-нибудь они прославятся, внезапно появлялся в квартирах знакомых и незнакомых людей, причастных к искусству, где охотно читал пронзительно-крикливым детским голосом свои стихи, причем приплясывал, делал рапирные выпады, вращался вокруг своей оси, кривлялся своим остроносым лицом мальчика-старичка.

У него было пергаментное лицо скопца.

Он весь был как бы заряжен неким отрицательным током антипоэтизма, иногда более сильным, чем положительный заряд общепринятой поэзии.

По сравнению с ним сам великий бюджетлянин иногда казался несколько устаревшим, а Командор просто архаичным.

В общежитии обитали ученики Вхутемаса, которым Октябрьская революция открыла двери в искусство, «принадлежавшее народу». Все эти обросшие бородами молодые провинциалы оказались в живописи крайне левыми. Даже кубизм казался им слишком буржуазно-отсталым. Перемахнув через Пикассо голубого периода и через все его эксперименты с разложением скрипки в разных плоскостях, молодые вхутемасовцы вместе со своим же собратом московским художником Кандинским изобрели новейшее из новейших течений в живописи — абстракционизм, который впоследствии перекочевал в Париж, обосновался на Монпарнасе, где, к общему удивлению, держится до сих пор, доживая, впрочем, свои последние дни.

Но тогда, в нищей, голодной, зажатой в огненном кольце наступающей со всех сторон контрреволюции Советской России, в самом ее сердце, в красной Москве, в центре Москвы, против Главного почтамта, в общежитии Вхутемаса это сверхреволюционное направление буйно процветало. Все стены были увешаны полотнами и картами без рам с изображениями различных плоскостных геометрических фигур: красных треугольников на зеленом фоне, лиловых квадратов на белом фоне, интенсивно оранжевых полос и прямоугольников, пересекающихся на фоне берлинской лазури.

К этому времени относится посещение Лениным Вхутемаса, о котором только и шло разговоров в ту раннюю весну, когда я приехал в Москву.

Говорили, что Владимир Ильич и Надежда Константиновна в вязаном платке поверх меховой шапочки приехали во Вхутемас на извозчичьих санях. Воображаю, какое было выражение лица у Ленина, когда он увидел на стенах картины с разноцветными треугольниками и квадратами!

Теперь это уже стало общеизвестным фактом, историей. А тогда еще ходило среди жителей перекрестка как легенда.

Но один лишь факт, что где-то здесь совсем недавно и совсем недалеко от угла Мясницкой и Бульварного кольца, в доме, знакомом всем, побывал сам Ленин, — уже одно это казалось мне чудом и как бы еще больше приобщило меня к революции.

Во дворе Вхутемаса, в другом скучном, голом, кирпичном корпусе, на седьмом этаже, под самой крышей жил со своей красавицей женой Ладой бывший соратник и друг мулата по издательству «Центрифуга», а ныне друг и соратник Командора — замечательный поэт, о котором Командор написал:

«...есть у нас еще Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя. Но ведь надо заработать сколько! Маленькая, но семья».

...но мы еще с вами поднимемся на седьмой этаж, в комнату соратника.

Справа от упомянутого перекрестка, если стать лицом к Лубянке, за маленькой площадью с библиотекой имени Тургенева, прямо на Сретенский бульвар выходили громадные оранжевокирпичные корпуса бывшего страхового общества «Россия», где размещались всякие лито-, тео-, музо-, киноорганизации того времени, изображенные Командором в стихотворении «Прозаседавшиеся», так понравившемся Ленину. В том же доме в Главполитпросвете работала Крупская по совместительству с работой в Наркомпросе РСФСР — по другую сторону перекрестка, в особняке на Чистых прудах, под началом Луначарского.

Крупскую и Луначарского можно было в разное время запросто встретить на улице в этих местах: ее — себреяно поседевшую, гладко причесанную, в круглых очках с увеличительными стеклами, похожую на пожилую сельскую учительницу; его — в полувоенном френче фасона Февральской революции, с крупным дворянским носом, как бы вырубленным из дерева, на котором сидело сугубо интеллигентское пенсне в черной оправе, весьма не подходившее к полувоенной фуражке с мягким козырьком вроде той, которую так недолго нашивал Керенский, но зато хорошо дополняющее темные усы и эспаньолку а-ля «Анри катр», — типичного монпарнасского интеллектуала, завсегдатая «Ротонды» или «Клозери де Лиля», знатока всех видов изящных искусств, в особенности итальянского Возрождения, блестящего оратора, умевшего без подготовки, экспромтом, говорить на любую тему подряд два часа, ни разу не запнувшись и не запутавшись в слишком длинных придаточных предложениях.

Рядом с Наркомпросом находился товарный двор Главного почтамта, куда въезжали в то время еще не грузовики, а ломовики, нагруженные почтовыми посылками, и оттуда потягивало запахом сургуча, пенькового шпагата, рогож, конского навоза, крупными дымящимися яблоками валившегося из-под хвостов першеронов к неопишуемой радости откормленных чистопрудных, вполне старорежимных воробьев.

Напротив же, если по прямой линии пересечь Чистопрудный бульвар, где в июне густо цветущие липы разливали медовый, глубоко провинциальный аромат вечной весны, можно было попасть в тот самый Харитоньевский переулок, куда некогда из деревни привезли бедную Таню Ларину на московскую ярмарку невест.

В Харитоньевский переулок выходило еще несколько других переулков, в одном из которых — Мыльниковом — поселился я, приехав в Москву, а следом за мною через мою комнату прошли почти все мои друзья, ринувшиеся с юга, едва только кончилась гражданская война, на завоевание Москвы: ключик, брат и друг, итицелов, наследник и прочие.

Мыльников переулок был известен тем, что в другом его конце от Харитония находилось здание бывшего училища Фидлера, хранившее на своих стенах следы артил-

лерийского обстрела еще времен первой революции 1905 года, когда здесь был штаб боевых дружин и его обстреливали из пушек карательные войска полковника Римана.

Следующим за Мыльниковым в Харитоньевский выходил Машков переулоч. Здесь в высоком, многоквартирном, богатом доме предреволюционной постройки в несколько скандинавском стиле, что было тогда модно, в барских апартаментах Екатерины Павловны Пешковой, жены Максима Горького, в самый разгар гражданской войны, отвлекшись на часок от своих дел, Ленин слушал «Апассионату» Бетховена, опустив голову на руку и полузакрыв узкие глаза — весь отдавшийся во власть музыки, тревожившей и вместе с тем усыплявшей воображение.

Вероятно, очень много выпало из моей памяти.

Запомнилось, как однажды по Харитоньевскому переулочу ехал старомодно высокий открытый автомобиль и на заднем сиденье среди каких-то полувоенных заметно возвышалась худая фигура Максима Горького, с любопытством посматривавшего вокруг. Он был в своей общеизвестной шляпе. Из его пшеничных солдатских усов над бритым подбородком торчал мундштук с дымящейся египетской сигареткой.

Великий пролетарский писатель только что вернулся на родину после долгого пребывания в Сорренто и, пережив волнение и восторг всенародной встречи на площади Белорусско-Балтийского вокзала, уже став национальным героем, ехал к себе домой, на старую квартиру в Машков переулоч.

Лицо и руки его были оранжевыми от итальянского загара.

Обо многом мог бы еще поведать — и, надеюсь, поведает в этом сочинении — перекресток Мясницкой и Бульварного кольца, по которому, рассыпая из-под колес искры, катились провинциальные вагончики трамвая буквы А, в просторечии «Аннушки».

Но лучше всего запомнился мне Архангельский переулоч, выходивший рядом с Наркомпросом на Чистые пруды, которые в ту пору я считал как бы своей вотчиной.

Архангельский переулочек впадал в Кривоколенный. В Кривоколенном, в этом самом изломанном, длиннейшем и нелепейшем переулке во всей Москве, помещалась редакция первого советского толстого журнала «Красная новь», основанного по совету самого Ленина. Туда часто заходили почти все писатели тогдашней Москвы.

Заходил, вернее забегал, также и я.

И вот однажды по дороге в редакцию в Архангельском переулке я и познакомился с наиболее опасным соперником Командора, широкоизвестным поэтом — буду его называть с маленькой буквы королевичем, — который за несколько лет до этого сам предсказал свою славу:

«Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт».

Он не ошибся, он стал знаменитым русским поэтом.

Я еще с ним ни разу не встречался. Со всеми знаменитыми я уже познакомился, со многими подружился, с некоторыми сошелся на ты. А с королевичем — нет. Он был в своей легендарной заграничной поездке вместе с прославленной на весь мир американской балериной-босоножкой, которая была в восхищении от русской революции и выбегала на сцену московского Большого театра в красной тунике, с развернутым красным знаменем, исполняя под звуки оркестра свой знаменитый танец «Интернационал». У нее в Москве в особняке на Пречистенке была студия молодых балерин-босоножек, и ее слава была безгранична. Она как бы олицетворяла собой вторжение советских революционных идей в мир увядающего западного искусства.

В области балета она, конечно, была новатором. Луначарский был от нее в восторге. Станиславский тоже.

Бурный роман королевича с великой американкой на фоне пуританизма первых лет революции воспринимался в московском обществе как скандал, что усугубилось довольно значительной разницей лет между молодым королевичем и босоножкой бальзаковского возраста. В совсем молодом мире московской богемы она воспринималась чуть

ли не как старуха. Между тем люди, ее знавшие, говорили, что она была необыкновенно хороша и выглядела гораздо моложе своих лет, слегка по-англосакски курносенькая, с пышными волосами, божественно сложенная.

Так или иначе, она влюбила в себя рязанского поэта, сама в него влюбилась без памяти, и они улетели за границу из Москвы на дюралевом «юнкерсе» немецкой фирмы «Люфтганза». Потом они совершили турне по Европе и Америке.

Один из больших остряков того времени пустил по этому поводу эпиграмму, написанную в нарочито архаической форме александрийского шестистопника:

«Такого-то куда вознес аэроплан? В Афины древние, к развалинам Дункан».

Это было забавно, но несправедливо. Она была далеко не развалина, а еще хоть куда!

Изредка доносились слухи о скандалах, которые время от времени учинял русский поэт в Париже, Берлине, Нью-Йорке, о публичных драках с эксцентричной американкой, что создало на Западе громадную рекламу бесшабашному крестьянскому сыну, рубахе-парню, красавцу и драчуну с загадочной славянской душой.

Можно себе представить, до каких размеров вырастали эти слухи в Москве, еще с грибоедовских времен сохранившей славу первой сплетницы матушки России.

Но вот королевич окончательно разодрался со своей босоножкой и в один прекрасный день снова появился в Москве — «как денди лондонский, одет».

Все во мне вздрогнуло: это он!

А рядом с ним шел очень маленький, ростом с мальчика, с маленьким носиком, с крупными передними зубами, по-детски выступающими из улыбающихся губ, с добрыми, умными, немного лукавыми, лучистыми глазами молодой человек. Он был в скромном москвошвеевском костюме, впрочем при галстукe, простоватый на вид, да себе на уме. Так называемый человек из народа, с кото-

рым я уже был хорошо знаком и которого сердечно любил за мягкий характер и чудные стихи раннего революционного периода, истинно пролетарские, без подделки поэзия чистой воды: яркая, весенняя, как бы вечно первомайская.

«Мой отец — простой водопроводчик, ну, а мне судьба судила петь. Мой отец над сетью труб хлопочет, я стихов вызываю сеть».

Вот как писал этот поэт — сын водопроводчика из Немецкой слободы:

«Живей, рубанок, шибче шаркай, шушукай, пой за верстаком, чеши тесину сталью жаркой, стальным и жарким гребешком... И вот сегодня шум свиданья — и ты, кудрявась второях, взвиваешь теплые воспоминанья о тех возлюбленных кудрях»...

Как видите, он уже не только был искушен в ассонансах, внутренних рифмах, звуковых повторах, но и позволял себе разбивать четырехстопный ямб инородной строчкой, что показывало его знакомство не только с обязательным Пушкиным, но также с Тютчевым и даже Андреем Белым.

Окинувши нас обоим лучезарным взглядом, он не без некоторой торжественности сказал:

— Познакомьтесь.

Мы назвали себя и пожали друг другу руки. Я не ошибся. Это был он. Но как он на первый взгляд был не похож на того молодого крестьянского поэта, самородка, образ которого давно уже сложился в моем воображении, когда я читал его стихи: молодой нестеровский юноша, почти отрок, послушник, среди леса тонких молодых березок легкой стопой идущий с котомкой за плечами в глухой, заповедный скит, сочинитель «Радуницы». Или бешабашный рубаха-парень с тальянкой на ремне через плечо. Или даже Ванька-ключник, злой разлучник, с обложки лубочной книжки. Словом, что угодно, но только не то, что я увидел:

молодого мужчину, я бы даже сказал господина, одетого по последней парижской моде, в габардиновый светлый костюм — пиджак в талию, — брюки с хорошо выгла-

женной складкой, новые заграничные ботинки, весь с иголочки, только новая фетровая шляпа с широкой муаровой лентой была без обычной вмятины и сидела на голове аккуратно и выпукло, как горшок. А из-под этой парижской шляпы на меня смотрело лицо русского херувима с пасхально-румяными щечками и по-девичьи нежными голубыми глазами, в которых, впрочем, я заметил присутствие опасных чертиков, нечто настороженное: он как бы пытался понять, кто я ему буду — враг или друг? И как ему со мной держаться? Типичная русская, крестьянская черта.

Я это сразу почувствовал и, сердечно пожимая ему руку, сказал, что полюбил его поэзию еще с 1916 года, когда прочитал его стихотворение «Лисица».

— Вам понравилось? — спросил он, оживившись. — Теперь мало кто помнит мою «Лисицу». Всё больше восхищаются другим — «Плюйся, ветер, охапками листьев, — я такой же, как ты, хулиган». Ну и, конечно, «с бандитами жарю спирт...».

Он невесело усмехнулся.

— А я помню именно «Лисицу». Какие там удивительные слова, определения.

«Тонкой прошвой кровь отмежевала на снегу дремучее лицо».

У подстреленной лисицы дремучее лицо! Во-первых, замечательный эпитет «дремучее», а во-вторых, не морда, а лицо. Это гениально! А как изображен выстрел из охотничьего ружья!

«Ей все бластился в колючем дыме выстрел, колыхалась в глазах лесная топь. Из кустов косматый ветер взбыстрил и рассыпал звонистую дробь».

Что ни слово, то находка!

Я вспомнил январь 1916 года, прифронтовую железнодорожную станцию Молодечно. Неслыханная красота потонувшего в снегах Полесья. В нетопленном станционном помещении я купил в киоске несколько иллюстрированных журналов, с тем чтобы было что почитать в зем-

лянке на позициях, куда я ехал добровольцем. Уже сидя в бригадных санях, под усыпляющий звон валдайского колокольчика я развернул промерзший номер журнала «Нива» и сразу же наткнулся на «Лисицу» — небольшое стихотворение, подписанное новым для меня именем, показавшимся мне слишком бедным, коротким и невыразительным.

Но стихи были прекрасны.

Я увидел умирающую на снегу подстреленную лисицу:

«Как желна, над нею мгла металась, мокрый вечер липок был и ал. Голова тревожно подымалась, и язык на ране застывал».

Я был поражен достоверностью этой живописи, удивительными мастерскими инверсиями: «...мокрый вечер липок был и ал». И наконец — «желтый хвост упал в метель пожаром, на губах — как прелая морковь»...

Прелая морковь доконала меня. Я никогда не представлял, что можно так волшебным образом пользоваться словом. Я почувствовал благородную зависть — нет, мне так никогда не написать! Незнакомый поэт запросто перешагнул через рубеж, положенный передо мною Буниным и казавшийся окончательным.

Самое же главное было то, что я ехал на фронт, быть может на смерть. Вокруг меня розовели, синели, голубели предвечерние снега, завалившие белорусский лес. Среди векового бора, к которому я неумолимо приближался, сочилось кровью низкое закатное солнце, и откуда-то доносились приглушенные пространством редкие пушечные выстрелы...

...я мог бы назвать моего нового знакомого как угодно: инок, мизгирь, лель, царевич... Но почему-то мне казалось, что ему больше всего, несмотря на парижскую шляпу и лайковые перчатки, подходит слово «королевич»... Может быть, даже королевич Елисей...

Но буду его называть просто королевич, с маленькой буквы.

Пока я объяснялся ему в любви, он с явным удовольствием, даже с нежностью смотрел на меня. Он понимал, что я не лщу, а говорю чистую правду. Правду всегда можно отличить от лести. Он понял, что так может говорить только художник с художником.

— А я,— сказал он, отвечая любезностью на любезность,— только недавно прочитал в «Накануне» замечательный рассказ «Железное кольцо», подписанный вашей фамилией. Стало быть, будем знакомы.

Мы еще раз обменялись рукопожатием и с этой минуты стали говорить друг другу ты, что очень понравилось сыну водопроводчика. Он сиял своими лучистыми глазами и сказал, как бы навек скрепляя нашу дружбу:

— Вот так — очень хорошо. А то я боялся, что вы не сойдетесь: оба вы уж больно своенравны. Но, слава богу, обошлось.

Теперь, застрывши перед красным светофором на перекрестке Кировская — Бульварное кольцо, я так ясно представил себе тротуар короткого Архангельского переулка, вижу рядом странную, какую-то нерусскую колокольню — круглую башню и церковь, как говорят, посещавшуюся масонами соседней ложи, и зеленоватые стволы деревьев, которые в моей осыпающейся памяти запечатлелись как платаны со стволами, пятнистыми как легавые собаки, чего никак не могло быть на самом деле: где же в Москве найдешь платаны? Вероятно, это были обыкновенные тополя, распускавшие по воздуху хлопья своего пуха.

А в начале Чистых прудов, как бы запирая бульвар со стороны Мясницкой, стояло скучное двухэтажное здание трактира с подачей пива, так что дальнейшее не требует разъяснений.

Помню, что в первый же день мы так искренне, так глубоко сошлись, что я не стесняясь спросил королевича, какого черта он спутался со старой американкой, которую, по моим понятиям, никак нельзя было полюбить, на что он, ничуть на меня не обидевшись, со слезами на хмельных глазах, с чувством воскликнул:

— Богом тебе клянусь, вот святой истинный крест!—

Он искал глазами и перекрестился на старую трактирную икону.— Хошь верь, хошь не верь: я ее любил. И она меня любила. Мы крепко любили друг друга. Можешь ты это понять? А то, что ей сорок, так дай бог тебе быть таким в семьдесят!

Он положил свою рязанскую кудрявую голову на мокрую клеснку и заплакал, бормоча:

— ...и какую-то женщину сорока с лишним лет... называл своей милой...

Вероятно, это были заготовки будущего «Черного человека».

Уже тогда, в первый день нашей дружбы, в трактире на углу Чистых прудов и Кировской, там, где теперь я видел станцию метро «Кировская» и памятник Грибоедову, я предчувствовал его ужасный конец. Почему? Не знаю!

Примерно года за полтора до самоуничтожения королевича мне удалось вытащить в Москву птицелова. Казалось, что, подобно эскесу, он навсегда останется в Одессе, ставшей украинским городом.

Он уже был женат на вдове военного врача. У него недавно родился сын. Он заметно пополнил и опустился. Жена его, добрая женщина, нежно его любила, берегла, шила из своих старых платьев ему толстовки — так назывались в те времена длинные верхние рубахи вроде тех дворянских охотничьих рубах, которые носил Лев Толстой, но только со складками и пояском. Он жил стихотворной, газетной поденщиной в тех немногочисленных русских изданиях, которые еще сохранились. Украинский язык ему не давался. Он жил в хибарке на Молдаванке. Его пожирала бронхиальная астма. По целым дням он по старой привычке сидел на матраце, поджав по-турецки ноги, кашлял, задыхался, жег специальный порошок против астмы и с надсадой вдыхал его селитренный дым.

Но стихи «для души» писать не бросил.

По-прежнему в небольшой комнате с крашеным полом, среди сохнувших детских пеленок и стука швейной машинки, среди птичьих клеток его окружали молодые поэты, его страстные и верные поклонники, для которых

он был божеством. Он читал им свои и чужие стихи, тряся нестриженной, обросшей головой со следами бывшего пробора, и по-борцовски напрягал бицепсы полусогнутых рук.

Приехав из Москвы и увидев эту картину, я понял, что оставаться птицелову в Одессе невозможно. Он погибнет. Ему надо немедленно переезжать в Москву, где уже собрался весь цвет молодой русской советской литературы, где гремели имена прославленных поэтов, где жизнь была ключом, где издавались русские книги и журналы.

На мое предложение ехать в Москву птицелов ответил как-то неопределенно: да, конечно, это было бы замечательно, но здесь тоже недурно, хотя в общем, паршиво, но я привык. Тут Лида и Севка, тут хорошая брынза, дыни, кавуны, вареная пшенка... и вообще есть литературный кружок «Истоки», ну и, сам понимаешь...

— К черту! — сказал я. — Сейчас или никогда!

К счастью, жена птицелова поддержала меня:

— В Москве ты прославишься и будешь зарабатывать.

— Что слава? Жалкая зарплата на бедном рублище певца, — вяло сострил он, понимая всю несостоятельность этого старого жалкого каламбура. Он произнес его нарочито жлобским голосом, как бы желая этим показать себя птицеловом прежних времен, молодым бесшабашным остряком и каламбуристом.

— За такие остроты вешают, — сказал я с той беспощадностью, которая была свойственна нашей компании. — Говори прямо: едешь или не едешь?

Он вопросительно взглянул на жену. Она молчала. Он посмотрел на увеличенный фотографический портрет военного врача в полной парадной форме — покойного мужа его жены.

Птицелов чрезвычайно почтительно относился к своему предшественнику и каждый раз, глядя на его портрет, поднимал вверх указательный палец и многозначительным шепотом произносил:

— Канцлер!

Он вопросительно посмотрел на портрет «канцлера». Но канцлер — строгий, с усами, в серебряной португее

через плечо и с узкими серебряными погонами — молчал.

Птицелов подумал, потряс головой и солидно сказал: — Хорошо. Еду. А когда?

— Завтра, — отрезал я, понимая, что надо ковать железо, пока горячо.

— А билеты? — спросил он, сделав жалкую попытку отдалить неизбежное.

— Билеты будут, — сказал я.

— А деньги? — спросил он.

— Деньги есть.

— Покажи.

Я показал несколько бумажек.

Птицелов еще более жалобно посмотрел на жену.

— Поедешь, поедешь, нечего здесь... — ворчливо сказала она.

— А что я надену в дорогу?

— Что есть, в том и поедешь, — грубо сказал я.

— А кушать? — уже совсем упавшим голосом спросил он.

— В поезде есть вагон-ресторан.

— Ну это ты мне не заливай. Дрельщик! — сказал он, искренне не поверив в вагон-ресторан. Это показалось ему настолько фантастичным, что он даже назвал меня этим жаргонным словом «дрельщик», что обозначало фантазер, выдумщик, врунишка.

— Вообрази! — сказал я настолько убедительно, что ему ничего не оставалось как сдаться, и мы условились встретиться завтра на вокзале за полчаса до отхода поезда.

...Солнце жгло крашенный пол, и на крашенных подоконниках выскочили волдыри...

Я хорошо изучил характер птицелова. Я знал, что он меня не обманет и на вокзал придет, но я чувствовал, что в последний момент он может раздумать. Поэтому я приготовил ему ловушку, которая, по моим расчетам, должна была сработать наверняка.

Незадолго до отхода поезда на перроне действительно появился птицелов в сопровождении супруги, которая несла узелок с его пожитками и едой на дорогу. По его уклончивым взглядам я понял, что в последнюю минуту он улизнет.

Мы прохаживались вдоль готового отойти поезда. Птицелов кисло смотрел на зеленые вагоны третьего класса, бормоча что-то насчет мучений, предстоящих ему в жестком вагоне, в духоте, в тряске и так далее, он даже вспомнил при сей верной okazji Блока:

«...молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели»...

Он не хотел ехать среди пенья и плача.

— Знаешь,— сказал он, надуваясь, как борец-тяжеловес,— сделаем лучше так: ты поедешь, а я пока останусь. А потом приеду самостоятельно. Даю честное слово. Бенимунис,— не мог не прибавить он еврейскую клятву и посмотрел на свою жену.

Она, в свою очередь, посмотрела на птицелова, на его угнетенную фигуру, и ее нежное сердце дрогнуло.

— Может быть, действительно...— промямлила она полувопросительно.

Ударил первый звонок.

Тогда я выложил свою козырную карту.

— А ты знаешь, в каком вагоне мы поедем?

— А в каком? Наверное, в жестком, бесплацкартном.

— Мы поедем вот в этом вагоне,— сказал я и показал пальцем на сохранившийся с дореволюционного времени вагон международного общества спальных вагонов с медными британскими львами на коричневой деревянной обшивке, натертой воском, как паркет.

О существовании таких вагонов — «слипинг кар» — птицелов, конечно, знал, читал о них в книжках, но никак не представлял себе, что когда-нибудь сможет ехать в таком вагоне. Он заглянул в окно вагона, увидел двухместное купе, отделанное красным полированным деревом на медных винтах, стены, обтянутые зеленым рытым бархатом, медный абажур настольной электрической лампочки, тяжелую пенельницу, толстый хрустальный графин, зеркало и все еще с недоверием посмотрел на меня.

Я показал ему цветные плацкартные квитанции международного общества спальных вагонов, напечатанные на двух языках, после чего, печально поцеловавшись с женой и попросив ее следить за птичками и за сыном,

неуклюже протиснулся мимо проводника в коричневой форменной куртке в вагон, где его сразу охватил хвойный запах особой лесной воды, которой регулярно пульверизировался блистающий коридор спального вагона с рядом ярко начищенных медных замков и ручек на лакированных, красного дерева дверях купе.

Чувствуя себя крайне сконфуженным среди этого комфорта в своей толстовке домашнего шитья, опасаясь в глубине души, как бы все это не оказалось мистификацией и как бы нас с позором не высадили из поезда на ближайшей станции, где-нибудь на Раздельной или Бирзуле, птицелов вскарабкался на верхнюю полку с уже раскрытой постелью, белеющей безукоризненными скользкими прохладными простынями, забился туда и первые сто километров сопел, как барсук в своей норе, упруго подбрасываемый международными рессорами.

До Москвы мы ехали следующим образом:

я захватил с собой несколько бутылок белого сухого бессарабского, в узелке у птицелова оказались хлеб, брынза, завернутые в газету «Моряк», и в течение полутора суток, ни разу не сомкнув глаз, мы читали друг другу свои и чужие стихи, то есть занимались тем, чем привыкли заниматься всегда, и везде, и при любых обстоятельствах: дома, на Дерибасовской, на Ланжероне, в Отраде и даже на прелестной одномачтовой яхте английской постройки «Чайка», куда однажды не без труда удалось затащить птицелова, который вопреки легенде ужасно боялся моря и старался не подходить к нему ближе чем на двадцать шагов.

Я уж не говорю о купании в море: это исключалось.

...на «Чайку» налетел с Дофиновки внезапный шквал. Яхту бросало по волнам. Наши девушки спрятались в каюте. А птицелов лежал пластом на палубе лицом вниз, уцепившись руками за медную утку, проклиная все на свете, поносил нас последними словами, клялся, что никогда в жизни не ступит на борт корабля, и в промежутках читал, кажется, единственное свое горькое любовное стихотворение, в котором, сколько мне помнится, «металась мокрая листва» и было «имя Елены строгое» или нечто подобное.

Значит, и он тоже перенес некогда неудачную любовь, оставившую на всю жизнь рубец в его сердце, в его сознании, что, может быть, даже отразилось на всей его поэзии. Недаром же в его стихах о Пушкине были такие слова:

«...рассыпанные кудри Гончаровой и тихие медовые глаза».

Не думаю, чтобы у Натальи Николаевны были рассыпанные кудри и медовые глаза. Судя по портретам, у нее были хорошо причесанные волосы а-ля директорша, а глаза были отнюдь не тихие медовые, а черносморозинные, прелестные, хотя и слегка близорукие.

...А рассыпанные кудри и медовые глаза были у той единственной, которую однажды в юности так страстно полюбил птицелов и которая так грубо и открыто изменила ему с полупьяным офицером...

Я думаю, у всех нас, малых гениев, в истоках нашей горькой поэзии была мало кому известная любовная драма — чаще всего измена любимой, крушение первой любви, — рана, которая уже почти никогда не заживала, кровоточила всю жизнь.

У ключика тоже. Об этом я еще расскажу, хотя это скорее материал для психоанализа, а не для художественной прозы.

...в купе международного вагона, попивая горьковатое белое бессарабское, налитое в тяжелые стаканы с подстаканниками, которые дробно позванивали друг о друга в темпе мчавшегося курьерского, птицелов читал свои новые, еще не известные мне стихи.

...слышу его задыхающийся голос парнасца, как бы восхищенного красотой созданных им строф. Отрывки стихов сливались с уносящимися телеграфными столбами и пропадали среди искалеченных еще во время гражданской войны станционных водокачек, степных хуторов, местечек, черноземных просторов, где некогда носилась конница Котовского, — словом, там, где сравнительно недавно гремела революция, в которую мы так страстно были влюблены.

Строфы разных стихотворений смешивались между собой, превращаясь в сумбурную, но прекрасную поэму нашей молодости.

...«Вот так бы и мне в налетающей тьме усы раздуть, развалясь на корме, да видеть звезду над бушпритом склоненным, да голос ломать черноморским жаргоном, да слушать сквозь ветер холодный и горький мотора дозорного скороговорку... и петь, задыхаясь на страшном просторе: «Ай, Черное море, хорошее море!...»

«За проселочной дорогой, где затих тележный грохот, над прудом, покрытым ряской, Дидель сети разложил. И пред ним, зеленый снизу, голубой и синий сверху,— мир встает огромной птицей, свищет, щелкает, звенит. Так идет веселый Дидель с палкой, птицей и котомкой через Гарц, поросший лесом, вдоль по рейнским берегам. По Тюрингии дубовой, по Саксонии сосновой, по Вестфалии бузинной, по Баварии хмельной. Марта, Марта, надо ль плакать, если Дидель ходит в поле, если Дидель свищет птицам и смеется невзначай!»

...ему хотелось быть и контрабандистом, и чекистом, и Диделем... Ему хотелось быть Виттингтоном...

«Мы сваи поднимали в ряд, дверные прорубали ниши, из листьев пальмовых накат накладывали вместо крыши. Мы балки поднимали ввысь, лопатами срывали скалы... «О, Виттингтон, вернись, вернись»,— вода у взморья ворковала. Прокладывали наугад дорогу среди степных прибрежий. «О, Виттингтон, вернись назад»,— нам веял в уши ветер свежий. И с моря доносился звон, гудевший нежно и невнятно: «Вернись обратно, Виттингтон, о, Виттингтон, вернись обратно!»

Он был каким-то Виттингтоном, которого нежный голос жены звал вернуться обратно. Но время было необратимо. Он мчался к славе, и возврата к прошлому не было.

Никогда он больше не увидит крашеный подокопник, раскаленный южным солнцем до пузырей.

Никогда уже больше мы не были с птицеловом так душевно близки, как во время этой поездки. Во времена Пушкина о нас бы сказали, наверное, так:

«Пленники Бахуса и Феба».

На горизонте, за подмосковными лесами нам уже блеснула на солнце звезда золотого купола Христа Спасителя и две тени — ее и моя, — сидевшие на ступенях храма, а за нами величественно возвышалась массивная бронзовая дверь.

Она прижалась ко мне так доверчиво, так печально. Она положила на мое плечо свою голову в самодельной шелковой шляпке с большими полями на проволочном каркасе. Шляпа мешала и ей и мне: она не позволяла нам поцеловаться. Почему-то ей не пришло в голову снять и положить шляпу на гранитные ступени.

Мы не спали почти целые сутки, навсегда прощались и все никак не могли оторваться друг от друга. Нам казалось невероятным, что мы уже никогда не увидимся. В этот мучительно длинный летний день мы любили друг друга сильнее, чем за все время нашего знакомства. Казалось, мы не сможем прожить и одного дня друг без друга. И в то же время мы знали, что между нами навсегда все кончено.

Какая же страшная сила разлучала нас?

Не знаю. Не знал ни тогда, ни теперь, когда пишу эти строки. Она тоже не знала. И никогда не узнает, потому что ее уже давно нет на свете. Никто не знал. Это было вмешательство в человеческую жизнь роковой силы как бы извне, не подвластной ни человеческой логике, ни простым человеческим чувствам.

Нами владел рок. Мы были жертвами судьбы.

Мы старались как могли отдалить минуту разлуки. Держась за руки, как играющие дети, мы ходили по городу, садились в трамваи, ехали куда-то, пили чай в трактирах, сидели на деревянных скамейках вокзалов, заходили на дневные сеансы кинематографов, смотрели картины, ничего не понимая, кроме того, что скоро будем навеки разлучены.

Каким-то образом мы очутились в самый разгар паллящего дня этого московского, как сказал бы щелкун-

чик — буддийского, лета в Сокольническом запущенном парке, в самой глуши леса, в безлюдье, в высокой траве, в бурьяне, пожелтевшем от зноя, среди поникших ромашек, по которым ползали муравьи, трудолюбиво выполняя свою работу.

Она сняла и отбросила в сторону шляпу, портившую ее прелестное круглое личико восемнадцатилетней девушки. Лежа на спине, она неподвижно смотрела синими невинными глазами в небо. Совсем девочка, прилежная школьница с немного выдающимся кувшинчиком нижней губы, что придавало выражению ее милого, мягко сточенного лица, неуловимо похожего на лицо старшего брата, нечто насмешливое, но не ироничное, а скорее светящееся умным юмором, свойственным интеллигентным южным семьям, выписывающим «Новый Сатирикон» и любящим Лескова и Гоголя.

Я подsunул руку под ее нежную шею. Она полуоткрыла жаркие губы, как бы прося напиток: над нами парами летали некрасивые московские бабочки. И я не знаю, как бы сложилась в дальнейшем наша жизнь, если бы вдруг мимо нас, с трудом пробираясь по плечи в траве, под звуки барабана не прошел маленький отряд пионеров в белых рубашках и красных галстуках.

Мы отпрянули друг от друга.

И когда пионеры скрылись в зарослях Сокольнического леса, мы поняли, что бессильны противостоять той злой таинственной силе, которая не хотела, чтобы мы навсегда принадлежали друг другу.

Она поправила щелкнувшую подвязку, надела шляпу, села.

А знойный день все продолжался и продолжался, переходил в вечер, потом в душную ночь с зарницами, и мы ходили по Москве, по ее Садовому кольцу, которое в то время было еще действительно садовым, так как сплошь состояло из садиков перед маленькими домиками, потом по Бульварному кольцу, мимо Пушкина, Тимирязева с голубем на голове, мимо Гоголя, потонувшего в своей бронзовой шинели, потом по древним переулкам, мимо особняков Сивцева Вражка и Собачьей площадки, иногда целовались, плакали, пока наконец не очутились возле храма Христа Спасителя и сели, измученные, на его гранитные ступени, еще не остывшие после дневной жары, прижались друг к другу, немного вздремнули...

Близился рассвет. Город был пуст и мертв. Только где-то очень далеко и очень высоко слышался звук невидимого самолета, и мне показалось, что уже произошла непоправимая катастрофа, началась всемирная война и город вокруг нас был уже умерщвлен какими-то бесшумными химическими или физическими средствами, что нас — ни ее, ни меня — уже нет в живых, наши души отлетели и только остались два неподвижных тела, прижавшихся друг к другу в вечном сне на гранитной лестнице мертвого храма, лишённого божества, хотя мертвый золотой купол в лучах только что взошедшего мертвого солнца все еще продолжал жарко сиять над вымершей Москвой, над вымершими лесами Подмосковья, тот самый легендарный купол храма Христа Спасителя, который мы с птицеловом уже видели из окна международного вагона.

Легко представить то удовольствие, с которым я, считая себя старым москвичом, показывал приезжему провинциалу все достопримечательности столицы молодого Советского государства.

Сломивши сопротивление птицелова, я повел его сначала на Сухаревку, где купил ему более или менее приличные ботинки на картонной подошве — изделие известных кимрских сапожников, — а потом повел на Тверскую и чуть ли не насильно втолкнул в магазин готового платья, откуда птицелов вышел в тесноватом костюме с длинноватыми брюками.

Мне удалось заставить его постричься в парикмахерской, вымыть голову шампунем, и он ходил со мной по Москве сравнительно прилично одетый, стуча по тротуарам новыми ботинками.

Я водил его по редакциям, знакомил с известными поэтами и писателями, щеголяя перед моим еще мало известным в Москве другом своей причастностью к литературной жизни столицы.

Птицелов был молчалив, исподлобья посматривал по сторонам, многозначительно тряс головой, как бы поддакивая и желая сказать:

«Так-так... Да, да... очень хорошо... Прекрасно.. Посмотрим, посмотрим»...

Впрочем, он принадлежал к тем счастливицам, которым не приходится гоняться за славой. Слава сама гонялась за ними.

Я и глазом не успел моргнуть, как имя птицелова громко прозвучало на московском Парнасе. Молва о нем покатила широкой волной. И моя слабенькая известность сразу же померкла рядом со славой птицелова.

Однако когда мы сидели на бронзовой цепи возле памятника Пушкину и сочиняли сонеты, молва о птицелове еще не дошла до ушей знаменитого королевича.

Беседа наша была душевной. Королевич, ничуть не кичась своей всероссийской известностью, по-дружески делился с нами, как теперь принято выражаться, творческими планами и жаловался на свою судьбу, заставившую его, простого деревенского паренька, жить в городе, лишь во сне мечтая о родной рязанской деревне.

Тут он, конечно, немного кокетничал, так как не таким уж простым был он парнем, успел поучиться в университете Шанявского, немного знал немецкий язык, потерял еще в Санкт-Петербурге среди знаменитых поэтов, однако время от времени в нем вспыхивала неодолимая жажда вернуться в Константиново, где на пороге рубленой избы с резными рязанскими наличниками на окошках ждала его старенькая мама в ветхом шушуне и шустрая сестренка, которую он очень любил.

...мы очутились в пивной, где жажда родной рязанской земли вспыхнула в королевиче с небывалой силой...

Стихи, которые мы, перебивая друг друга, читали, вдруг смолкли, и королевич, проливая горькие слезы и обнимая нас обеими руками, заговорил своим несколько надсадным голосом как бы даже с некоторым иностранным акцентом (может быть, чуть-чуть немецким), неточно произнося гласные: «э» вместо «а», «е» вместо «и», «ю» вместо «у» и так далее. Акцент этот был еле заметен и не мешал его речи звучать вполне по-рязански.

— Братцы! Родные! Соскучился я по своему Константину. Давайте плюнем на все и махнем в Рязань! Чего там до Рязани? Пустяки. По железке каких-нибудь три часа. От силы четыре. Ну? Давайте! А? Я вас познакомлю

с моей мамой-старушкой. Она у меня славная, уважает поэтов. Я ей все обещаю да обещаюсь приехать, да все никак не вырвусь. Заел меня город, будь он неладен...

...несмотря на наши возражения, что, мол, как же это так вдруг, ни с того ни с сего ехать в Рязань?.. А вещи? А деньги? А то да се?

Королевич ничего и слышать не хотел. У него уже выработался характер капризной знаменитости: коли чего-нибудь захочется, то подавай ему сию же минуту. Никаких препятствий его вольная душа не признавала.

Вынь да положь!

Деньги на билеты туда, если скинуться, найдутся. До Рязани доедем. А от Рязани до Константинова каким образом будем добираться? Ну, это совсем пустое дело. На базаре в Рязани всегда найдется попутная телега до Константинова. И мужик с нас ничего не возьмет, потому что меня там каждый знает. Почтет за честь. Поедем на немазаной телеге по лесам, по полям, по березнячку, по родной рязанской земле!.. С шиком въедем в Константиново! А уж там не сомневайтесь. Моя старушка примет вас как родных. Драчен напечат. Самогону выставит на радостях. А назад как? Да очень просто: тут же я ударю телеграмму Воронскому в «Красную новь». Он мне сейчас же вышлет аванс. За это я вам ручаюсь! Ну, братцы, поехали!

Он был так взволнован, так настойчив, так убедительно рисовал нам жизнь в своем родном селе, которое уже представлялось нам чем-то вроде русского рая, как бы написанного кистью Нестерова. Мы с птицеловом заколебались, потеряв всякое представление о действительности, и вскоре очутились перед билетной кассой Казанского вокзала, откуда невидимая рука выбросила нам три картонных проездных билета, как бы простреленных на вылет дробинкой, и королевич сразу же устремился на перрон, с тем чтобы тут же, не теряя ни секунды, сесть в вагон и помчаться в Рязанскую губернию, Рязанский уезд, Кузьминскую волость, в родное село, к маме.

Однако оказалось, что поезд отходит лишь через два часа, а до этого надо сидеть в громадном зале, расписанном художником Лансере.

Г Лицо королевича помрачнело.

Ждать? Это было не в его правилах. Все для него должно было совершаться немедленно — по щучьему велению, по его хотенью.

Полет его поэтической фантазии не терпел преград. Однако законы железнодорожного расписания оказались непреодолимыми даже для его капризного гения.

Что было делать? Как убить время? Не сидеть же здесь, на вокзале, на скучных твердых скамейках.

В то время возле каждого московского вокзала находилось несколько чайных, трактиров и пивных. Это были дореволюционные заведения, носившие особый московский отпечаток. Они ожили после суровых дней военного коммунизма — первые, еще весьма скромные порождения нэпа.

После покупки билетов у нас еще осталось немного денег — бутылки на три пива.

Мы сидели в просторной прохладной пивной, уставленной традиционными елками, с полом, покрытым толстым слоем сырых опилок. Половой в полотняных штанах и такой же рубахе навыпуск, с полотенцем и штопором в руке, трижды хлопнув пробками, подал нам три бутылки пива завода Корнеева и Горшанова и поставил на столик несколько маленьких стеклянных блюдец-розеток с традиционными закусками: виртуозно нарезанными тончайшими ломтиками тараньки цвета красного дерева, моченым сырым горохом, крошечными кубиками густо посоленных ржаных сухариков, такими же крошечными мятными пряничками и прочим в том же духе доброй старой, дореволюционной Москвы. От одного вида этих закусок сама собой возникала такая дьявольская жажда, которую могло утолить лишь громадное количество холодного пива, игравшего своими полупрозрачными загогулинами сквозь зеленое бутылочное стекло.

Снова началось безалаберное чтение стихов, дружеские улыбки, поцелуи, клятвы во взаимной любви на всю жизнь.

Время от времени королевич выбегал на вокзальную площадь и смотрел на башенные часы Николаевского вокзала, находившегося против нашего Казанского.

Время двигалось поразительно медленно. До отхода поезда все еще оказывалось около полутора часов.

Между тем наше поэтическое застолье все более и более разгоралось, а денег уже не оставалось ни копейки.

Тогда птицелов предложил вернуть обратно в кассу его билет, так как он хотя и рад был бы поехать в Рязань, да чувствует приближение приступа астмы и лучше ему остаться в Москве. Он вообще был тяжел на подъем.

Мы охотно согласились, и билет птицелова был возвращен в кассу, что дало нам возможность продлить поэтический праздник еще минут на двадцать. Тогда королевич, который начал читать нам свою длиннейшую поэму «Анна Снегина», печально махнул рукой и отправился в кассу сдавать остальные два билета, после чего камень свалился с наших душ: слава богу, можно уже было не ехать в Рязань, которая вдруг в нашем воображении из нестеровского рая превратилась в обыкновенный пыльный провинциальный город, и королевич, забыв свою старушку-маму в ветхом шушуне и шуструю сестренку и вообще забыв все на свете, кроме своей первой разбитой любви, продолжал прерванное чтение поэмы со всхлипами и надсадными интонациями:

— Когда-то у той вон калитки мне было шестнадцать лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково: «Нет!» Далекие, милые были. Тот образ во мне не угас...

При этих щемящих словах королевич всхлипнул, заплакал горючими слезами, по моим щекам тоже потекли ручейки, потому что и я испытывал горечь своей первой любви, повторял про себя такие простые и такие пронзительно-печальные строчки:

«Мы все в эти годы любили, но мало любили нас».

Даже холодный парнасец птицелов, многозначительно поддакивая каждой строфе «Анны Снегиной», опустил свою лохматую голову и издал носом горестное мычание: видно, и его пронзили эти совсем простые, но такие правдивые строчки, напомнив ему «тихие медовые глаза», давно уже как бы растворившиеся в магической дымке прошлого, не совсем, впрочем, далекого, но невозвратимого, невозвратимого, невозвратимого...

Одним словом, вместо Константинова мы, уже глубокой ночью, брели по Москве, целовались, ссорились, дрались, мирились, очутились в глухом переулке, где у королевича всюду находились друзья — никому не известные простые люди.

Мы разбудили весь дом, но королевича приняли по-царски, сбегали куда-то за водкой, и мы до рассвета пи- ровали в маленькой тесной комнатке какого-то многосе- мейного мастерового, читали стихи, плакали, кричали, хо- хотали, разбудили маленьких детей, спавших под одним громадным лоскутным одеялом, пестрым, как арлекин, ну и так далее.

А потом скрежет первых утренних трамваев, огибаю- щих бульвары кольца А и тогда еще не вырубленные палисадники кольца Б, в которых весной гнездились со- ловьи, будя на рассвете разоспавшихся москвичей, и где рядом с садом «Аквариум» возвышался громадный, мно- гоквартирный доходный дом, принадлежавший до рево- люции крупному московскому домовладельцу по фамилии Эльпит. После революции этот дом был национализирован и превращен в рабочую коммуны, которая все же сохра- нила имя прежнего владельца, и стал называться «дом Эльпит-рабкоммуна».

...не так-то легко расставались дома с фамилиями сво- их владельцев. Десятиэтажный дом в Большом Гнездни- ковском переулке, казавшийся некогда чудом высотной архитектуры, чуть ли не настоящим американским небо- скребом, с крыши которого открывалась панорама низко- рослой старушки Москвы, долго еще назывался «дом Нирзее» — по имени его бывшего владельца. Гастроном № 1 на улице Горького еще до сих пор кое-кто называет «магазин Елисеева», а булочную невдалеке от него — «бу- лочной Филиппова», хотя сам Филиппов давно уже эми- грировал и, говорят, мечтал о возвращении ему советской властью реквизированной булочной и даже писал из Па- рижа своим бывшим пекарям просьбу выслать ему хотя бы немножко деньжонок, о чем Командор написал стишок, напечатанный в «Красном перце»:

«...в архив иллюзии сданы, живет Филиппов липово,
отоцал Филиппов, и штаны протерлись у Филиппова»...

Хотя штаны и протерлись, но булочная долго называ- лась булочной Филиппова.

Что касается дома «Эльпит-рабкоммуна», то о нем был напечатан в газете «Накануне» весьма острый, ядовитый очерк, написанный неким писателем, которого я впредь

буду называть синеглазым — тоже с маленькой буквы, как простое прилагательное.

Впоследствии романы и пьесы синеглазого прославились на весь мир, он стал общепризнанным гением, сатириком, фантастом...

...а тогда он был рядовым газетным фельетонистом, работал в железнодорожной газете «Гудок», писал под разными забавными псевдонимами вроде Крахмальная Манишка. Он проживал в доме «Эльшит-рабкоммуна» вместе с женой, занимая одну комнату в коммунальной квартире, и у него действительно, если мне не изменяет память, были синие глаза на худощавом, хорошо вылепленном, но не всегда хорошо выбритом лице уже не слишком молодого блондина с независимо-ироническим, а иногда даже и надменным выражением, в котором тем не менее присутствовало нечто актерское, а временами даже и лисье.

Он был несколько старше всех нас, персонажей этого моего сочинения, тогдашних гудковцев, и выгодно отличался от нас тем, что был человеком положительным, семейным, с принципами, в то время как мы были самой отчаянной богемой, нигилистами, решительно отрицали все, что имело хоть какую-нибудь связь с дореволюционным миром, начиная с передвижников и кончая Художественным театром, который мы презирали до такой степени, что, приехав в Москву, не только в нем ни разу не побывали, но даже понятия не имели, где он находится, на какой улице.

В области искусств для нас существовало только два авторитета: Командор и Мейерхольд. Ну, может быть, еще Татлин, конструктор легендарной «башни Татлина», о которой говорили все, считая ее чудом ультрасовременной архитектуры.

Синеглазый же, наоборот, был весьма консервативен, глубоко уважал все признанные дореволюционные авторитеты, терпеть не мог Командора, Мейерхольда и Татлина и никогда не позволял себе, как любил выражаться ключик,

«колебать мировые струны».

А мы эти самые мировые струны колебали непрерывно, низвергали авторитеты, не считались ни с какими общепринятыми истинами, что весьма коробило синеглазо-

го, и он строго нас за это отчитывал, что, впрочем, не мешало нашей дружбе.

В нем было что-то неуловимо провинциальное. Мы бы, например, не удивились, если бы однажды увидали его в цветном жилете и в ботинках на пуговицах, с прионелевым верхом.

Он любил поучать — в нем было заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой жизни. Он принадлежал к тому довольно распространенному типу людей никогда и ни в чем не сомневающих, которые живут по незыблемым, раз навсегда установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового заветов.

Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской втайне очень честолюбивого, влюбчивого и легкоранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти.

Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный талант, который мы угадывали в нем, он был, как я уже говорил, в чем-то немного провинциален.

Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциалом.

Впоследствии, когда синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прионелевым верхом, и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами «Двенадцати стульев» «княгиней Белорусско-Балтийской».

Синеглазый называл ее весьма великосветски на английский лад Напси.

Но тогда до этого было еще довольно далеко.

Несмотря на все несходство наших взглядов на жизнь, нас сблизила с синеглазым страстная любовь к Гоголю, которого мы, как южане, считали своим, полтавским, даже

как бы отчасти родственником, а также повальное увлечение Гофманом.

Эти два магических Г — Гофман и Гоголь — стали нашими кумирами. Все явления действительности предстали перед нами как бы сквозь магический кристалл гоголевско-гофманской фантазии.

А мир, в котором мы тогда жили, как нельзя более подходил для этого. Мы жили в весьма странном, я бы даже сказал — противоестественном, мире нэпа, населенном призраками.

Только вооружившись сатирой Гоголя и фантазией Гофмана, можно было изобразить то, что тогда называлось «гримасами нэпа» и что стало главной пищей для сатирического гения синеглазого.

...Он не был особенно ярко-синеглазым. Синева его глаз казалась несколько выцветшей, и лишь изредка в ней вспыхивали дьявольские огоньки горячей серы, что придавало его умному лицу нечто сатанинское.

Это он пустил в ход словечко «гофманиада», которым определялось каждое невероятное происшествие, свидетелем или даже участником коего мы были.

Нэп изобиловал невероятными происшествиями.

В конце концов из нашего узкого кружка слово «гофманиада» перешло в более широкие области мелкой газетной братии. Дело дошло до того, что однажды некий репортер в кругу своих друзей за кружкой пива выразился приблизительно так:

— Вообразите себе, вчера в кино у меня украли калоши. Прямо какая-то гофманиада!

Впоследствии один из биографов синеглазого написал следующее:

«Он поверил в себя как в писателя поздно — ему было около тридцати, когда появились первые его рассказы».

Думаю, он поверил в себя как в писателя еще на школьной скамье, не написавши еще ни одного рассказа.

Уверенность в себе как в будущем писателе была свойственна большинству из нас; когда, например, мне было

лет девять, я разграфил школьную тетрадку на две колонки, подобно одностолбчатому собранию сочинений Пушкина, и с места в карьер стал писать полное собрание своих сочинений, придумывая их тут же все подряд: элегии, стансы, эпиграммы, повести, рассказы и романы. У меня никогда не было ни малейшего сомнения в том, что я родился писателем.

Хотя синеглазый был по образованию медик, но однажды он признался мне, что всегда мыслил себя писателем вроде Гоголя. Одна из его сатирических книг по аналогии с гофманиадой так и называлась «Дьяволиада», что в прошлом веке, вероятно, было бы названо более по-русски «Чертовщина»: история о двух братьях Кальсонерах в дебрях громадного учреждения с непомерно раздутыми штатами читалась как некая «гофманиада», обильно посыпанная гоголевским перцем.

Синеглазый вообще был склонен к общению со злыми духами, порождениями ада.

Ненависть наша к нэпу была так велика, что однажды мы с синеглазым решили издавать юмористический журнал вроде «Сатирикона». Когда мы выбирали для него название, синеглазый вдруг как бы сделал стойку, понюхал воздух, в его глазах вспыхнули синие огоньки горячей серы, и он торжественно, но вместе с тем и восхищаясь собственной находкой, с ядовитой улыбкой на лице сказал:

— Наш журнал будет называться «Ревизор»!

Издатель нашелся сразу: один из тех мелких капиталистов, которые вдруг откуда-то появились в большом количестве и шныряли по Москве, желая как можно выгоднее поместить неизвестно откуда взявшиеся капиталы. Можно ли было найти что-нибудь более выгодное, чем сатирический журнал с оппозиционным оттенком под редакцией синеглазого, автора нашумевшей «Дьяволиады»?

(Впрочем, не ручаюсь, возможно это было еще до появления «Дьяволиады».)

Вообще в этом сочинении я не ручаюсь за детали. Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров. Повторяю. Это свободный полет

моей фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть может, и не совсем точно сохранившихся в моей памяти. В силу этого я избегаю подлинных имен, избегаю даже выдуманных фамилий. Стихи, приведенные мною, я цитирую исключительно по памяти, считая, что это гораздо жизненнее, чем проверять их точность по книгам, хотя бы эти цитаты были неточны. Магический кристалл памяти более подходит для того жанра, который я выбрал, даже — могу сказать — изобрел.

Не роман, не рассказ, не повесть, не поэма, не воспоминания, не мемуары, не лирический дневник...

Но что же? Не знаю!

Недаром же сказано, что мысль изреченная есть ложь. Да, это ложь. Но ложь еще более правдивая, чем сама правда. Правда, рожденная в таинственных извилинах механизма моего воображения. А что такое воображение с научной точки зрения, еще никто не знает. Во всяком случае, ручаюсь, что все здесь написанное чистейшая правда и в то же время чистейшая фантазия.

И не будем больше возвращаться к этому вопросу, так как все равно мы не пойдем друг друга.

...Мы с синеглазым быстро накатали программу будущего журнала и отправились в Главполитпросвет, где работал хорошо известный мне еще по революционным дням в Одессе товарищ Сергей Ингулов, наш общий друг и доброжелатель...

Надо заметить, что в то время уже выходило довольно много частных периодических изданий — например, журнальчик «Рупор», юмористическая газетка «Тачка» и многие другие, — так что я не сомневался, что Сергей Ингулов, сам в прошлом недурной провинциальный фельетонист, без задержки выдаст нам разрешение на журнал, даже придет в восторг от его столь счастливо найденного названия.

Мы стояли перед Ингуловым — оба в пальто — и мяли в руках шапки, а Ингулов, наклонивши к письменному столу свое красное лицо здоровяка-сангвиника, пробегал глазами нашу программу. По мере того как он читал, лицо

синеглазого делалось все озабоченнее. Несколько раз он поправлял свой аккуратный пробор прилежного блондина, искоса посматривая на меня, и я заметил, что его глаза все более и более угасают, а на губах появляется чуть заметная ироническая улыбочка — нижняя губа немного вперед кувшинчиком, как у его сестренки-синеглазки.

— Ну, Сергей Борисович, как вам нравится название «Ревизор»? Не правда ли, гениально? — воскликнул я, как бы желая поощрить Ингулова.

— Гениально-то оно, конечно, гениально, — сказал Сергей Борисович, — но что-то я не совсем понимаю, кого это вы собираетесь ревизовать? И потом, где вы возьмете деньги на издание?

Я оживленно объяснил, кого мы хотим ревизовать и кто нам обещал деньги на издание.

Ингулов расстегнул ворот своей вышитой рубахи под пиджаком, почесал такую же красную, как лицо, будто распаренную в бане грудь и тяжело вздохнул.

— Идите домой, — сказал он совсем по-родственному и махнул рукой.

— А журнал? — спросил я.

— Журнала не будет, — сказал Ингулов.

— Да, но ведь какое название! — воскликнул я.

— Вот именно, — сказал Ингулов.

— Странно, — сказал я, когда мы спускались по мраморной зашарканной лестнице.

Синеглазый нежно, но грустно назвал меня моим уменьшительным именем, укоризненно покачал головой и заметил:

— Ай-яй-яй! Я не думал, что вы такой наивный. Да и я тоже хорош. Поддался иллюзии. И не будем больше вспоминать о покойнике «Ревизоре», а лучше пойдем к нам есть борщ. Вы, наверное, голодный? — участливо спросил он.

Жена синеглазого Татьяна Николаевна была добрая женщина и нами воспринималась если не как мама, то, во всяком случае, как тетя. Она деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа, безалаберных холостяков.

Об этих трудных минутах написал привезенный мною в Москву птицелов:

«И пыльные буквы «МСПО» расцветают сами собой над этой оголтелой жратвой (рычи, желудочный сок!)... и голод сжимает скулы мои, и зудом ноет в зубах, и мыльной мышью по горлу вниз падает в пищевод... и я содрогаюсь от скрипа ногтей, от мышшей возни — хвоста, от медного запаха слюны, заливающего гортань... И на что мне божественный слух совы, различающий крови звон? И на что мне сердце, стучащее в лад шагам и стихам моим?! Лишь поет ницета у моих дверей, лишь в печурке юлит огонь, лишь иссякла свеча — и луна плывет в замерзающем стекле...»

Это было, конечно, написано птицеловом со свойственной ему гиперболичностью.

У нас дело до таких ужасов голода не доходило. Однако... Однако...

Не могу не вспомнить с благодарностью и нежностью милую Татьяну Николаевну, ее наваристый борщ, крепкий чай внакладку из семейного самовара, который мне выпадало счастье ставить в холодной, запущенной кухне вместе с приехавшей на зимние каникулы из Киева к своему старшему брату молоденькой курсисткой, которая, как и ее брат, тоже была синеглазой, синеглазкой.

Мы вместе, путаясь холодными руками, засовывали пучок пылающих лучин в самовар: из наставленной трубы валил зеленый дым, вызывавший у нас веселые слезы, а сквозняк нес по ногам из-под кухонной двери. Голая лампочка слабого накала свисала с темного потолка не ремонтировавшейся со времен первой мировой войны квартиры в доме «Эльпит-рабкоммуна».

У синеглазого был настоящий большой письменный стол, как полагается у всякого порядочного русского писателя, заваленный рукописями, газетами, газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки.

Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, даже, может быть, классика, и дома ходил в полосатой байковой пижаме, стянутой сзади резинкой, что не скрывало его стройной фигуры, и, конечно, в растоптанных шлепанцах.

На стене перед столом были наклеены разные курьезы

из иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также заголовок газеты «Накануне» с переставленными буквами, так что получалось не «Накануне», а «Нуненака».

В Москве находилась контора «Накануне», куда мы и сдавали свои материалы, улетавшие в Берлин на дюралевом «юнкерсе» или «дорнье комет», а потом тем же путем возвращавшиеся в Москву уже напечатанными в этой сменовеховской газете.

Мы все подрабатывали в «Накануне», в особенности синеглазый, имевший там большой успех и шедший, как говорится, «первым номером».

Описание отличного украинского борща и крепкого чая с сахаром опускаю, хотя и должен отметить, что в отличие от всех нас чай подавался синеглазому как главе семьи и крупному писателю в мельхиоровом подстаканнике, а всем прочим просто так, в стаканах.

Иногда случалось, что борщ и чай не насыщали нас. Хотелось еще чего-нибудь вкусенького, вроде твердой копченой московской колбасы с горошинами черного перца, сардинок, сыра и стакана доброго вина. А денег, конечно, не было. Тогда происходило следующее:

синеглазого и меня отправляли на промысел. Складывали последние копейки. Выходило рубля три. В лучшем случае пять. И с этими новыми, надежными рублями, пришедшими на смену бумажным миллионам и даже миллиардам военного коммунизма, называвшимися просто «лимонами», мы должны были идти играть в рулетку, с тем чтобы выиграть хотя бы червонец — могучую советскую десятку, которая на мировой бирже котировалась даже выше старого доброго английского фунта стерлингов: блистательный результат недавно проведенной валютной реформы.

Мы с синеглазым быстро одевались и, так сказать, «осенив себя крестным знамением», отправлялись в ночь.

Современному читателю может показаться странным, даже невероятным, что два советских гражданина запросто отправляются в казино играть в рулетку. Но не забудь-

те, что ведь это был нэп,— и верьте не верьте! — в столице молодого Советского государства, центре мировой революции, имелось два игорных дома с рулеткой: одно казино в саду «Эрмитаж», другое на теперешней площади Маяковского, а тогда Триумфальной, приблизительно на том месте, где сейчас находятся Зал имени Чайковского, Театр сатиры и сад «Аквариум», а тогда был цирк и еще что-то, то есть буквально в двух шагах от дома, где жил синеглазый.

Вот, братцы, какие дела!

Над Триумфальной площадью с уютным садиком, трамвайной станцией и светящимися часами, под которыми назначались почти все любовные свидания, в размытом свете качающихся электрических фонарей косо неслась выюжная ночь, цыганская московская ночь.

Иногда в метели с шорохом бубенцов и звоном валдайских колокольчиков проносились, покрикивая на прохожих, как бы восставшие из небытия дореволюционные лихачи, унося силуэты влюбленных парочек куда-то вдоль Тверской, в Петровский парк, к «Яру», знаменитому еще с пушкинских времен загородному ресторану с рябчиками, шампанским, ананасами и пестрым крикливым цыганским хором среди пальм и папоротников эстрады.

У подъезда казино тоже стояли лихачи, зазывая прохожих:

— Пожа, пожа! А вот прокачу на резвой!..

Их рысистые лошади, чудом уцелевшие от мобилизаций гражданской войны, перебирали породистыми, точеными ножками, и были покрыты гарусными синими сетками, с капором на голове, и скалились и косились на прохожих, как злые красавицы.

Откуда-то долетали звуки ресторанного оркестра. В двери казино входили мутные фигуры игроков.

— Прямо-таки гофманиада! — сказал я.

— Не гофманиада, а пушкиниана,— пробурчал синеглазый,— даже чайковщина. «Пиковая дама». Сцена у Лебязьей канавки. «Уж полночь близится, а Германа все нет»...

Он вообще был большой поклонник оперы. Его любимой оперой был «Фауст». Он даже слегка наигрывал в обращении с нами оперного Мефистофеля; иногда грустно напевал: «Я за сестру тебя молю», что я относил на свой счет.

...С бодрыми восклицаниями, скрывавшими неуместную робость, мы вошли в двери казино и стали подниматься по лестнице, покрытой кафешантанной ковровой дорожкой, с медными прутьями.

— Эй, господа молодые люди! — кричали нам снизу бородатые, как лесные разбойники, гардеробщики в синих поддевках. — Куда же вы прете не раздевшись!

Но мы, делая вид, что не слышим, уже вступали в своих потертых пальто в игорный зал, где вокруг громадного овального стола сидели игроки в рулетку и молодой человек с зеркальным пробором и лицом сукина сына, так называемый крупье, раскладывал лопаткой с длинной ручкой ставки и запускал белый шарик в карусель крутящегося рулеточного аппарата с никелированными ручками. При этом он гвардейским голосом провозглашал:

— Гэспэда, делайте вашу игру. Мерси. Ставок больше нет.

Вокруг стола сидели и стояли игроки, страшные существа с еще более страшными названиями — «частники», «нэпманы» или даже «совбуры», советские буржуи. На всех на них лежал особый отпечаток какого-то временного, незаконного богатства, жульничества, наглости, мещанства, смешанных со скрытым страхом.

Они были одеты в новенькие выглаженные двубортные шевиотовые костюмы, короткие уютнообразные брючки, из-под которых блестели узконосые боксовые полуботинки «от Зеленкина» из солодовниковского пассажа.

Перстни блистали на их коротких пальцах. Пробраться к столу было нелегко. Но нам с синеглазым все-таки удалось протереться в своих зимних пальто к самому столу, а я, заметив освободившееся место, умудрился даже сесть на стул, что могло посчитаться большой удачей.

Впрочем, нэпман, занимавший доселе этот стул и отлучившийся лишь на минутку в уборную за малой нуждой, вернулся, застегиваясь, увидел меня на своем стуле и сказал:

— Пardon. Это мое стуло. Вас здесь не сидело.— И, отстранив меня рукой, занял свое законное место.

Прежде чем поставить нашу единственную трешку, мы долго совещались.

— Как вы думаете, на что будем ставить? На черное или на красное? — озабоченно спросил синеглазый.

(Конечно, об игре на номера, о трансверсале и о прочих комбинациях мы и не помышляли. Нас устраивал самый скромный выигрыш: получить за три рубля шесть и скорее бежать к Елисееву за покупками — таков был наш план, основанный на том традиционном предположении, что первая ставка всегда выигрывает.)

— Ставим на красное,— решительно сказал я.

Синеглазый долго размышлял, а потом ответил:

— На красное нельзя.

— Почему?

— Потому что красное может не выиграть,— сказал он, пророчески глядя вдаль.

— Ну тогда на черное,— предложил я, подумав.

— На черное? — с сомнением сказал синеглазый и задумчиво вздохнул.— Нет, дорогой...— Он назвал мое уменьшительное имя.— На черное нельзя.

— Но почему?

— Потому что черное может не выиграть.

В таком духе мы долго совещались, пытаясь как-нибудь обхитрить судьбу и вызывая иронические взгляды и даже оскорбительные замечания богатых нэпманов.

Мы молча сносили наше унижение и не торопились. Мы знали, что дома нас ждут друзья и нам невозможно вернуться с пустыми руками.

Конечно, мы могли бы в одну минуту проиграть свой трояк. Но ведь без риска не было шанса на выигрыш. Мы медлили еще и потому, что нас подстерегало злое зеро, то есть ноль, когда все ставки проигрывали. Естественно, что именно ради этого злое зеро Помгол — Комиссия помощи голодающим Поволжья — и содержал свои рулетки.

Однако судьба почти всегда была к нам благосклонна.

Мы ставили на черное или на красное, на чет или на нечет и почему-то выигрывали. Быть может, нам помогала нечистая сила, о которой впоследствии синеглазый написал свой знаменитый роман.

Не делая второй ставки и схватив свои шесть рублей, мы тут же бежали по выюжной Тверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие батоны и сыр чеддер,— непременно чеддер! — который особенно любил синеглазый и умел выбирать, вынюхивая его своим лисьим носом, ну и, конечно, бутылки две настоящего заграничного портвейна.

Представьте себе, с какой надеждой ожидала нас в доме «Эльпит-рабкоммуна» в комнате синеглазого вся наша гудковская компания, а также и синеглазка, в которую я уже был смертельно влюблен и прелесть которой все никак не мог объяснить ключику, сказавшему мне как-то в ответ на мои любовные излияния:

— Ты напрасно стараешься. Я тебе могу в одной строчке нарисовать портрет синеглазки: девушка в шелковой блузке с гладкими пуговичками на рукавах. Понимаешь? Пуговички белые, без дырочек, гладкие, пришивающиеся снизу. Очень важно, что они именно гладкие. Это типично для почти всех хороших, милых, порядочных девушек. Заметь себе это и не делай излишних иллюзий.

С тех пор у меня навсегда сохранился четкий и точный портрет девушки с гладкими пуговичками на манжетах шелковой блузки, что лишний раз вызвало во мне ревнивую зависть к моему другу, умевшему увидеть то главное, на что не обращал внимания никто другой.

Ах, моя незабвенная синеглазка!

Как быстро пролетели для нас рождественские каникулы. Мы уже не могли прожить друг без друга ни часа. Мы ходили по холодным, пустынным залам музеев западной живописи (Морозова и Щукина), два провинциала, внезапно очарованные французскими импрессионистами, доселе нам неизвестными. Мы сидели в тесных дореволюционных киношках, прижавшись друг к другу, и я поражался, до чего синеглазка похожа на Мери Пикфорд, что, впрочем, не соответствовало истине — разве только реснички... И пучок пыльного света, в котором, как в ткацком станке, передвигались черные и белые нити, озаряя нимбом ее распушившиеся, обычно гладко причесанные волосы.

Мы смотрели в Театре оперетты «Ярмарку невест», и ария «Я женщину встретил такую, по ком я тоскую» уже отзывалась в моем сердце предчувствием тоски, и, гуляя в антракте по фойе рядом с синеглазкой, я не мог оторвать взгляда от раковинки ее ушка, розовевшего среди русых волос, а вокруг нас ходили зрители того времени — нэпманы, среди которых так чужеродно выглядели френчи и сапоги красных офицеров и их бинокли, но не маленькие театральные, а полевые «цейсы» в кожаных футлярах, висевшие на груди, иногда рядом с орденом Боевого Красного Знамени на алой шелковой розетке.

...и мы слушали «Гугенотов» в оперном театре Зимина, и я чувствовал прикосновение к рукаву ее белой шелковой блузки, до озноба холодной снаружи и по-девичьи горячей внутри, и я не мог себе представить, что скоро она должна уехать в Киев, где, как она уже мне призналась, у нее есть жених, которого она до приезда в Москву любила, а теперь разлюбила и на всю жизнь любит только меня, и в ожидании следующего свидания я как одержимый писал ночью в Мыльниковом переулке:

«Голова к голове и к плечу плечо. Неужели карточный дом? От волос и глаз вокруг горячо, но ладони ласкают льдом. У картинного замка, конечно, корь: бредят окна, коробит пульс, и над пультами красных кулисных зорь заблудился в смычках Рауль. Заблудилась в небрежной прическе бровь, и запутался такт в виске. Королева, перчатка, Рауль, любовь — все повисло на волоске. А над темным партером повис балкон и барьер, навалясь, повис, — но не треснут, не рухнут столбы колонн на игрушечный замок вниз. И висят... и не рушатся... Бредит пульс... скрипка скрипке доносит весть: «Мне одной будет скучно без вас, Рауль». «До свиданья: я буду в шесть»...»

Из всех этих строф, казавшихся мне такими горькими и такими прекрасными, щелкунчик признал достойной внимания только одну-единственную строчку:

«...и барьер, навалясь, повис...»

Остальное же с утчивым презрением он отверг, сказав, что это — вне литературы.

...Он расхаживал по своей маленькой нищей комнатке на Тверском бульваре, 25, во флигеле дома, где некогда жил Герцен, горделиво закинув вверх свою небольшую верблюжью головку, и в то же время жмурился, как избалованный кот, которого чешут за ухом. Я ему помешал. Как раз в это время он диктовал новое стихотворение «Нашедший подкову» и уже дошел до того места, которое, видимо, особенно ему нравилось и особенно его волновало. Мое появление сбilo его с очень сложного ритма, и он зажмурился с несколько раздраженной кошачьей улыбкой, что, впрочем, не мешало ему оставаться верблюдиком.

Незрелое любовное стихотворение, поспешно прочитанное мною, было наскоро отвергнуто, и щелкунчик, собравшись с мыслями, продолжал диктовать высокопарно-шепелявым голосом с акмеистическими завываниями:

— ...свой благородный груз...— Он нагнулся, взял из рук жены карандаш и написал собственноручно несколько следующих строк.

Это была его манера писания вместе с женой, даже письма знакомым, например мне, из Воронежа.

— ...свой благородный груз,— шепеляво прочел он еще раз, наслаждаясь рождением такой удачной строчки.— С чего начать? — продолжал он, как бы обращаясь к толпе слушателей, хотя эта толпа состояла только из меня и его жены, да, пожалуй, еще из купы деревьев сада перед домом Герцена, шевелящихся за маленьким окном.

«...Все трещит и качается. Воздух дрожит от сравнений. Ни одно слово не лучше другого, земля гудит метафорой, и легкие двуколки, в броской упряжи густых от натуги птичьих стай, разрываются на части, соперничая с храпящими любимцами ристалищ»...

Я восхищался темным смыслом его красноречивого синтаксиса, украшенного изысканной звукописью.

Впрочем, в тот раз он диктовал, кажется, что-то другое. Может быть:

«...И военной грозой потемнел нижний слой помраченных небес, шестируких летающих тел слюдяной перепончатый лес... И, с трудом пробиваясь вперед, в чешуе искалеченных крыл, под высокую руку берет побежденную твердь Азраил...»

Не эти ли стихи погрузили меня тогда, на рассвете, на ступеньках храма Христа Спасителя, в смертельное оцепенение, в предчувствие неизбежной мировой катастрофы...

Но нет! Тогда были не эти стихи. Тогда были другие, чудные своей грустью и человеческой простотой в этой маленькой комнатке. Стансы:

«Холодок щекочет темя, и нельзя признаться вдруг,— и меня срезает время, как скосило твой каблук. Жизнь себя перемогает, понемногу тает звук, все чего-то не хватает, что-то вспомнить недосуг. А ведь раньше лучше было, и, пожалуй, не сравнишь, как ты прежде шелестила, кровь, как нынче шелестишь. Видно, даром не проходит шевеленье этих губ, и вершина колобродит, обреченная на сруб».

Никогда до этих пор я не слышал от него таких безнадежно-отчаянных стихов.

Я тоже переживал тогда мучительные дни, но это была вспышка любовной горячки, банальные страдания молодого безвестного поэта, почти нищего, «гуляки праздного», с горьким наслаждением переживающего свою сердечную драму с поцелуями на двадцатиградусном морозе у десятого дерева с краю Чистопрудного бульвара, возле катка, где гремела музыка и по кругу как заводные резали лед конькобежцы с развевающимися за спиной шерстяными шарфами, под косым светом качающихся электрических ламп; с прощанием под гулким куполом Брянского вокзала; с отчаянными письмами; с клятвами; с бессонницей и нервами, натянутыми как струны; и, наконец, с ничем не объяснимым разрывом — сжиганием пачек писем, слезами, смехом,— как это часто бывает, когда влюбленность доходит до такого предела, когда уже может быть только «все или ничего».

А потом продолжение жизни, продолжение все той же бесконечной зимы, все тех же Чистых прудов с музыкой,

с конькобежцами, но уже без нее — маленькой, прелестной, в теплом пальто, с детски округлым, замерзшим, как яблоко, лицом, — с мучительной надеждой, что все это блаженство любви может каким-то волшебным образом возродиться из пепла писем, сожженных в маленькой железной печке времен военного коммунизма, в узенькой девичьей комнатке в Киеве на каком-то — кажется, на Владимирском — спуске, в запущенной старой квартире, где, может быть, синеглазый делал первые наброски «Белой гвардии»...

...и на хрупком письменном столике в образцовом порядке были разложены толстые словари прилежной курсистки, освещенные трепещущими крыльями отсветов пламени, сжигавшего пачку нашей любовной переписки...

Как, должно быть, мое душевное волнение было не похоже на душевное волнение щелкунчика.

Щелкунчик уже вступил в тот роковой возраст, когда человек начинает ощущать отдаленное, но уже заметное приближение старости: поредевшие волосы, не защищающие от опасного холодка, женский каблук, косо сточенный временем...

...Как сейчас вижу этот скошенный каблук поношенных туфель... Слышу склеротический шумок в ушах, вижу дурные, мучительные сны и, наконец, чувствую легкое головокружение верхушки, обреченной на сруб, верхушки, которая все еще продолжает колобродить...

Щелкунчик всегда «колобродил».

Я смотрел на него, несколько манерно выпевавшего стихи, и чувствовал в них нечто пророческое, и головка щелкунчика с поредевшими волосами, с небольшим хохолком над скульптурным лбом казалась мне колобродящей верхушкой чудного дерева.

Он был уже давно одним из самых известных поэтов. Я даже считал его великим. И все же его гений почти не давал ему средств к приличной жизни: комнатка почти без мебели, случайная еда в столовках, хлеб и сыр на расстеленной бумаге, а за единственным окошком первого этажа флигелька — густая зелень сада перед ампириным московским домом с колоннами по фасаду.

Ветер качал купы разросшихся, давно уже не стриженных деревьев, кажется лип, а может быть, тополей, и мне чудилось, что они тоже колобродят, обреченные на сруб.

Глядя в окно на эту живую, шевелящуюся под дождем листву, щелкунчик однажды сочинил дивное стихотворение, тут же, при мне записанное на клочке бумаги, названное совсем по-детски мило «Московский дождик».

«...Он подает куда как скупой свой воробьиный холодок — немного нам, немного купам, немного вишням на лоток. И в темноте растет кипенье — чайнок легкая возня, — как бы воздушный муравейник пирует в темных зеленях. И свежих капель виноградник зашевелился в мураве, как будто холода рассадник открылся в лапчатой Москве!»...

Что-то детское мелькнуло при этом в его бритых шевелящихся губах, в его верблюжьей, высокомерно вскинутой головке, в его опущенных веках, в его улыбке жмурящегося от удовольствия кота.

Я пришел к щелкунчику и предложил ему сходить вместе со мной в Главполитпросвет, где можно было получить заказ на агитстихи.

При слове «агитстихи» щелкунчик поморщился, но все же согласился, и мы отправились в дом бывшего страхового общества «Россия» и там предстали перед Крупской.

Надежда Константиновна сидела за чрезмерно большим письменным столом, вероятно реквизируемым во время революции у какого-нибудь московского богача. Во всяком случае, более чем скромный вид Крупской никак не соответствовал великолепию этого огромного стола красного дерева, с синим сукном и причудливым письменным прибором.

Ее глаза, сильно увеличенные стеклами очков, ее рано поседевшие волосы стального цвета, закрученные на затылке узлом, из которого высывались черные шпильки, несколько неодобрительное выражение ее лица — все это, по-видимому, не очень понравилось щелкунчику. Он был преувеличенного мнения о своей известности и, вероятно,

полагал, что его появление произведет на Крупскую большое впечатление, в то время как Надежда Константиновна, по моему глубокому убеждению, понятия не имела, кто такой «знаменитый акмеист».

Я опасался, что это может привести к нежелательным последствиям, даже к какой-нибудь резкости со стороны щелкунчика, считавшего себя общепризнанным гением.

(Был же, например, случай, когда, встретившись с щелкунчиком на улице, один знакомый писатель весьма дружелюбно задал щелкунчику традиционный светский вопрос:

— Что новенького вы написали?

На что щелкунчик вдруг совершенно неожиданно точно с цепи сорвался.

— Если бы я что-нибудь написал новое, то об этом уже давно бы знала вся Россия! А вы невежда и пошляк! — закричал щелкунчик, трясаясь от негодования, и демонстративно повернулся спиной к бестактному беллетристу.)

Однако в Главполитпросвете все обошлось благополучно.

Надежда Константиновна обстоятельно, ясно и популярно объяснила нам обстановку в современной советской деревне, где начинали действовать кулаки. Кулаки умудрялись выдавать наемных рабочих — батраков — за членов своей семьи, что давало им возможность обходить закон о продналоге. Надо написать на эту тему разоблачительную агитку.

Мы приняли заказ, получили небольшой аванс, купили на него полкило отличной ветчины, батон белого хлеба и бутылку телиани — грузинского вина, некогда воспетого щелкунчиком.

Придя домой, мы сразу же приступили, как тогда принято было говорить, к выполнению социального заказа.

Будучи в подобных делах человеком опытным, я предложил в качестве размера беспшашный четырехстопный хорей, рассчитывая расправиться с агиткой часа за полтора.

— Кулаков я хитрость выдам, расскажу без лишних слов, как они родни под видом укрывают батраков, — бодро начал я и предложил щелкунчику продолжить, но он с

презрением посмотрел на меня и, высокомерно вскинув голову, почти пропел:

— Я удивляюсь, как вы с вашим вкусом можете предлагать мне этот сырой, излишне торопливый четырехстопный хорей, лежащий совершенно вне жанра и вообще вне литературы!

После этого он сообщил мне несколько интересных мыслей о различных жанрах сатирических стихов, причем упомянул имена Ювенала, Буало, Вольтера, Лафонтена и наконец русских — Дмитриева и Крылова.

Я сразу понял, что наше предприятие под угрозой. Между тем щелкунчик, видимо, все более и более вдохновлялся, отыскивая в истории мировой поэзии наиболее подходящую форму. Он высказал мысль, что для нашей темы о хитром кулаке и его работнице-батрачке более всего подходит жанр крыловской басни: народно и поучительно.

Он долго расхаживал по комнате от окна к двери, напевая что-то про себя, произносил невнятно связанные между собой слова, останавливался, как бы прислушиваясь к голосу своей капризной музы, потом снова начинал ходить взад-вперед.

Жена его тем временем приготовила бумагу и карандаш.

Щелкунчик пробормотал нечто вроде того, что

«...есть разных хитростей у человека много, и жажда денег их влечет к себе, как вол»...

Он призадумался.

Пауза длилась ужасно долго. Рука жены вопросительно повисла с карандашом в пальцах над бумагой. Я никак не мог вообразить, чем все это кончится.

И вдруг щелкунчик встрепенулся и, сделав великолепный ложноклассический жест рукой, громко, но вкрадчиво пропел, назидательно нахмурив брови, как и подобало великому баснописцу:

— Кулак Пахом, чтоб не платить налога...— Он сделал эффектную паузу и закончил торжественно: — *На ложницу* себе завел!

Я махнул рукой, понимая, что из нашей агитки ничего не получится.

На этом и кончилось покушение щелкунчика включиться в агитпоэзию Главполитпросвета.

Мы с удовольствием раздавили бутылочку прославленного грузинского вина за упокой души нашего хитрого кулака Пахома и его наложницы.

А я зализывал свои сердечные раны и продолжал ходить по редакциям в поисках заработка — существование случайное, ненадежное, но по сравнению с тем знойным, ужасным летом поволжского голода 1921 года, которое мы пережили в Харькове вместе с ключиком, теперешняя моя жизнь казалась раем.

Можно ли забыть те дни?

Многое ушло навсегда из памяти, но недавно один из оставшихся в живых наших харьковских знакомых того времени поклялся, что однажды — и он это видел собственными глазами — мы с ключиком вошли босиком в кабинет заведующего республиканским отделом агитации и пропаганды Наркомпроса, а может быть, и какого-то культотдела — уже не помню, как называлось это центральное учреждение республики, столицей которой в те времена был еще не Киев, а Харьков.

Да, действительно, мы шли по хорошо натертому паркету босые. Мало того. На нас были только штаны из мешковины и бязевые нижние рубахи больничного типа, почему-то с черным клеймом автобазы.

И тем не менее мы вовсе не были подонками, босяками, нищими. Мы были вполне уважаемыми членами общества, состояли в штате центрального республиканского учреждения ЮгРОСТА, где даже занимали видные должности по агитации и пропаганде.

Просто было такое время: разруха, холод, отсутствие товаров, а главное, ужасный, почти библейский поволжский голод. Об этом уже забыли, а тогда это было неслыханным бедствием, обрушившимся на Советскую республику, только что закончившую гражданскую войну. Сейчас трудно представить всю безвыходность нашего положения в чужом городе, без знакомых, без имущества, одиноких, принужденных продать на базаре ботинки, для того чтобы не умереть с голоду.

Вообще-то мы обычно питались по талонам три раза в день в привилегированной, так называемой вуциковской столовой, где получали на весь день полфунта сырого чер-

ного хлеба, а кроме того, утром кружку кипятка с морковной заваркой и пять совсем маленьких леденцов, в обед какую-то затируху и горку ячной каши с четвертушкой крутого яйца, заправленной зеленым машинным маслом, а вечером опять ту же ячную кашу, но только сухую и холодную.

Это по тем временам считалось очень приличной, даже роскошной едой, которой вместе с нами пользовались народные комиссары и члены ВУЦИКа.

Жить можно!

Но однажды, придя утром в столовую, мы увидели на дверях извещение, что столовая закрыта на ремонт на две недели.

Мы жили в бывшей гостинице «Россия», называвшейся Домом Советов, в запущенном номере с двумя железными кроватями без наволочек, без простынь и без одеял, потому что мы их мало-помалу меняли на базаре у приезжих крестьян на сало. В конце концов мы даже умудрились продать оболочки наших тюфяков, а морскую траву, которой они были набиты, незаметно и постепенно выбросили во двор, куда выходило наше окно.

Внизу у конторки бывшего портье сидел на табурете печальный старик еврей, продававший с фанерного лотка поштучно самодельные папиросы. Сначала мы эти папиросы покупали за наличные, а потом стали брать в кредит, и наш долг вырос до таких размеров, что нам стало неловко проходить мимо старика, и мы норовили проскользнуть, как призраки, и были очень довольны, что подслеповатый старик нас не замечает.

Мы не подозревали, что он нас отлично видит, но жалеет и делает из деликатности вид, что не замечает.

Потом, когда времена изменились к лучшему и мы расплатились, он нам в этом простодушно признался.

Итак: есть было нечего, курить было нечего, умываться было нечем.

...знойный августовский день в незнакомом городе, где почти пересохла жалкая речушка — забыл ее название, — посредине которой разлагалась неизвестно как туда попавшая дохлая корова со зловонно раздутым боком, издали похожим на крашеную деревянную ложку.

Было воскресенье. Церковь на задах нашей гостиницы

возле базарной площади трезвонила всеми своими колоколами, как тройка застоявшихся лошадей.

Мы голодали уже второй день. Делать было решительно нечего. Мы вышли на сухую замусоренную площадь, раскаленную полуденным украинским солнцем, и вдруг увидели за стеклом давно не мытой, пыльной витрины телеграфного агентства выставленный портрет Александра Блока. Он был в черно-красной кумачовой раме.

Мы замерли, как бы пораженные молнией:

нашей сокровенной мечтой было когда-нибудь увидеть живого Блока, услышать его голос. Мы прочитали выставленную рядом с портретом телеграмму, где коротко сообщалось о смерти Блока.

Мысль о том, что нам никогда не суждено будет увидеть поэта, изображенного на уже успевшей выгореть большой фотографии — кудрявая голова, прекрасное лицо, белые пророческие глаза, отложной воротник байроновской рубашки, — такой противоестественной среди этого зноя, пыли, провинциального мусора на запущенной площади города, оглушенного воскресным трезвоним базарной церкви, что мы ужаснулись тому необратимому, что произошло.

В один миг в нашем воображении пронеслись все музыкальные и зрительные элементы его поэзии, ставшие давно уже как бы частью нашей души.

«Во рву некошеном... красивая и молодая... Нет имени тебе, мой дальний, нет имени тебе, весна... О доблестях, о подвигах, о славе... Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!.. И Кельна дымные громады... Донна Анна спит, скрестив на сердце руки, донна Анна видит сны... Дыша духами и туманами... И шляпа с траурными перьями и в кольцах узкая рука... Далеко отступило море, и розы оцепили вал... Окна ложные на небе черном, и прожектор на древнем дворце. Вот проходит она — вся в узорном и с улыбкой на смуглом лице. А вино уж мутит мои взоры, и по жилам огнем разлилось. Что мне спеть в этот вечер, синьора? Что мне спеть, чтоб вам сладко спалось... Только странная воцарилась тишина... Отец лежит в Аллее роз...»

Это все написал он, он...

Нас охватило отчаяние. Мы вдруг ощутили эту смерть как конец революции, которая была нашим божеством. Не в духе того времени были слезы. Мы разучились плакать.

Мы с ключиком не плакали.

Потом мы молча пошли сквозь адский зной этого августовского полудня в изнемогающий от жажды безлюдный, пыльный городской сад или даже, кажется, парк — не все ли равно, как он назывался? — шаркая босыми ногами по раскаленному гравию дорожек, и легли на дотла выгоревшую траву совсем желтого газона, несколько лет уже не поливавшегося, вытоптанного.

Мы лежали рядом, как братья, вверх лицом к неистовому солнцу, уже как бы невесомые от голода, ощущая единственное желание — покурить. На дорожках мы не нашли ни одного окурка. Мы как бы висели между небом и землей, чувствуя без всякого страха приближение смерти.

Чего же еще мы могли ожидать?

— Я никогда не думал, что смерть может быть так прекрасна: вокруг нас мир, в котором уже нет Блока, — сказал ключик со свойственной ему патетичностью.

Ничто не мешало нам перестать существовать.

Солнце и голод превращали нас еще при жизни в мощи. Мы чувствовали себя святыми. Может быть, мы и впрямь были святыми?

Сколько времени мы лежали таким образом на выжженной траве, я не знаю. Но душа все еще не хотела оставлять нашего тела. Солнце, совершая свой мучительно медленный кругообразный путь, опускалось в опаленную листву мертвого парка.

Наступали сумерки, такие же жгучие, как и полдень. Можно было думать, что они шли из вымершего Заволжья.

А мы все еще, к нашему удивлению, были живы.

— Ну что ж, пойдем, — сказал ключик с безжизненной улыбкой.

Мы с трудом поднялись и побрели в свою осточертевшую нам гостиницу. У нас даже не хватило сил проюркнуть мимо старика, продающего папиросы, который со скрытым укором посмотрел на нас.

Потом мы лежали на своих твердых кроватях и, желая заглушить голод, громко пели, не помню уже что. Откуда-то с улицы доносились звуки дряхлой дореволюционной шарманки, надрывавшие сердце, усиливавшие наше почерневшее отчаяние.

В голой лампочке под потолком стали медлительно

накаливаться, краснеть вольфрамовые нити, давая представление о стеклянном яйце, пыльной колбочке, в котором проклеывается цыпленок чахлого света.

Из коридора иногда доносились

«...шаги глухие пехотинцев и звон кавалерийских шпор»...

Это проходили постояльцы гостиницы, по преимуществу бывшие военные, еще не снявшие своей формы, ныне советские служащие. Звук этих шагов еще более усиливал наше одиночество.

Но вдруг дверь приоткрылась и в комнату без предварительного стука заглянул высокий красивый молодой человек, одетый в новую, с иголки красноармейскую форму: гимнастерка с красными суконными «разговорами», хромовые высокие сапоги, брюки галифе, широкий офицерский пояс, а на голове расстегнутая крылатая буденовка с красной суконной звездой. Если бы на рукаве были звезды, а на отложном воротнике ромбы, то его можно было бы принять по крайней мере за молодого комбрига или даже начдива — легендарного героя закончившейся гражданской войны.

— Разрешите войти? — спросил он, вежливо стукнув каблуками.

— Вы, наверное, не туда попали, — тревожно сказал я.

— Нет, нет! — воскликнул, вдруг оживившись, ключик. — Я уверен, что он попал именно сюда. Неужели ты не понимаешь, что это наша судьба? Шаги судьбы. Как у Бетховена!

Ключик любил выражаться красиво.

— Вы такой-то? — спросил воин, обращаясь прямо к взъерошенному ключику, и назвал его фамилию.

— Ну? — не без торжества заметил ключик. — Что я тебе говорил? Это судьба! — А затем обратился к молодому воину голосом, полным горделивого шляхетского достоинства: — Да. Это я. Чем могу служить?

— Я, конечно, очень извиняюсь, — произнес молодой человек на несколько черноморском жаргоне и осторожно вдвинулся в комнату, — но, видите ли, дело в том, что послезавтра именины Раисы Николаевны, супруги Нила Георгиевича, и я бы очень просил вас...

— Виноват, а вы, собственно, кто? Командарм? — прервал его ключик.

— Никак нет, отнюдь не командарм.

— Ну раз вы не командарм, то, значит, вы ангел. Скажите, вы ангел?

Молодой человек замялся.

— Нет, нет, не отпирайтесь, — сказал ключик, продолжая лежать в непринужденной позе на своей жесткой кровати. — Я уверен, что вы ангел: у вас над головой крылья. Если бы вы были Меркурием, то крылья были бы у вас также и на ногах. Во всяком случае, вы посланник богов. Вас послала к нам богиня счастья, фортуна, со знайтесть.

Ключик сел на своего конька и, сыпля мифологическими метафорами, совсем обескуражил молодого человека, который застенчиво улыбался.

Наконец, улучив минутку, он сказал:

— Я, конечно, очень извиняюсь, но дело в том, что я хотел бы заказать вам стихи.

— Мне? Почему именно мне, а не Горацию? — спросил ключик.

Но, видимо, молодой человек был лишен чувства юмора, так как ответил:

— Потому что до меня дошли слухи, будто, выступая в одной воинской части нашего округа, вы в пять минут сочинили буриме на заданную тему и это произвело на аудиторию, а особенно на политсостав такое глубокое впечатление, что... одним словом, я хотел бы вам заказать несколько экспромтов на именины Раисы Николаевны, супруги нашего командира... Ну и, конечно, на некоторых наиболее важных гостей... командиров рот, их жен и так далее... Конечно, вполне добродушные экспромты, если можно, с мягким юмором... Вы меня понимаете? Хорошо было бы протащить тещу Нила Георгиевича Оксану Федоровну, но, разумеется, в легкой форме. Обычно в таких случаях мне пишет экспромты один местный автор-куплетист, по — антр ну суа ди — в последнее время я уже с его экспромтами не имел того успеха, как прежде. Я вам выдам приличный гонорар, но, конечно, эти стихи перейдут в полную мою собственность и будут считаться как бы моими... Обычно я имею успех... и это очень помогает мне по службе.

Молодой человек заалел как маков цвет, и простодушная улыбка осветила его почти девичье лицо симпатичного пройдохи.

Дело оказалось весьма простым: молодой интендант

территориальных войск делал себе карьеру души общества, выступая с экспромтами на всяческих семейных вечеринках у своего начальства.

Ключик сразу это понял и сурово сказал:

— Деньги вперед.

— О, какие могут быть разговоры? Конечно, конечно. Только вы меня, бога ради, не подведите,— жалобно промолвил молодой человек и выложил на кровать ключика целый веер розовых миллионных бумажек, как я уже, кажется, где-то упоминал, более похожих на аптекарские этикетки, чем на кредитки.

— Завтра я найду за материалом ровно в семнадцать ноль-ноль. Надеюсь, к этому времени вы уложите.

— Можете зайти через тридцать минут ноль-ноль. Мы уложимся,— холодно ответил ключик.— Тем более что нас двое.

Ключик нехотя встал с кровати, сел к столу и под диктовку молодого человека составил список именинных гостей, а также их краткие характеристики, после чего молодой человек удалился.

Можно себе представить, какую чечетку мы исполнили, едва затворилась дверь за нашим заказчиком, причем ключик время от времени восклицал:

— Бог нам послал этого румяного дурака!

Мы сбегали на базар, который уже закрывался, купили у солдата буханку черного хлеба, выпили у молочницы по глечичку жирного молока, вернулись в свою гостиницу, предварительно расплатившись с удивленным евреем, взяли у него два десятка папирос и быстро накатали именные экспромты, наполнив комнату облаками табачного дыма.

Наши опысы имели такой успех, что нашего доброго гения повысили в звании, и он повадился ходить к нам, заказывая все новые и новые экспромты.

Мы так к нему привыкли, что каждый раз, оставаясь без денег, что у нас называлось по-черноморски «сидеть на декохте», говорили:

— Хоть бы пришел наш дурак.

И он, представьте себе, тотчас являлся как по мановению черной палочки фокусника.

Эта забавная история закончилась через много лет, когда ключик сделался уже знаменитым писателем, имя которого произносилось не только с уважением, но даже с некоторым трепетом. О нем было написано раза в четыре

больше, чем он написал сам своей чудесной нарядной прозы.

Мы довольно часто ездили (конечно, всегда в международном вагоне!) в свой родной город, где мальчишки вместо «абрикосы» говорили «аберкосы» и где белый Воронцовский маяк отражался в бегущих черноморских волнах, пенящихся у его подножия.

Мы всегда останавливались в лучшем номере лучшей гостиницы с окнами на бульвар и на порт, над которым летали чайки, а вдали розовел столь милый нашему сердцу берег Дофиновки, и мы наслаждались богатством, и славой, и общим поклонением, чувствуя, что не посрамили чести родного города.

И вот однажды рано утром, когда прислуга еще не успела убрать с нашего стола вчерашнюю посуду, в дверь постучали, после чего на пороге возникла полузабытая фигура харьковского дурака.

Он был все таким же розовым, гладким, упитанным, красивым и симпатичным, с плутоватой улыбкой на губах, которые можно было бы назвать девичьими, если бы не усики и вообще не какая-то общая потертость — след прошедших лет.

— Здравствуйте. С приездом. Я очень рад вас видеть. Вы приехали очень кстати. Я уже пять лет служу здесь, и вообразите — какое совпадение: командир нашего полка как раз послезавтра выдает замуж старшую дочь Катю. Так что вы с вашей техникой вполне успеете. Срочно необходимо большое свадебное стихотворение, так сказать, эпиталама, где бы упоминались все гости, список которых...

— Пошел вон, дурак, — равнодушным голосом сказал ключик, и нашего заказчика вдруг как ветром сдуло.

Больше мы его уже никогда не видели.

— Ты понимаешь, что в материальном мире ничто не исчезает. Я всегда знал, что наш дурак непременно когда-нибудь возникнет из непознаваемой субстанции времени, — сказал ключик, по своему обыкновению вставив в свое замечание роскошную концовку — «субстанцию времени», причем бросил на меня извиняющийся взгляд, понимая, что «субстанция времени» не лучшая из его метафор. В конце концов, может быть, это была действительно «субстанция времени», кто его знает: жизнь загадочна!

Хотя в принципе я и не признаю существования времени, но как рабочая гипотеза время может пригодиться, ибо что же как не время скосило, уничтожило и щелкунчика, и ключика, и птицелова, и мулата, и всех остальных и превратило меня в старика, путешествующего по Европе и выступающего в славянских отделениях разных респектабельных университетов, где любознательные студенты, уже полурусские потомки граждан бывшей Российской империи, уничтоженной революцией, непременно спрашивают меня о ключике.

Ключик стал знаменитостью.

И я, озирая аудиторию потухшим взглядом, говорю по-русски со своим неистребимым черноморским акцентом давно уже обкатанные слова о моем лучшем друге.

— Ключик,— говорю я,— родился вопреки укоренившемуся мнению не в Одессе, а в Елисаветграде, в семье польского — точнее литовского — дворянина, проигравшего в карты свое родовое имение и принужденного поступить на службу в акцизное ведомство, то есть стать акцизным чиновником. Вскоре семья ключика переехала в Одессу и поселилась в доме, как бы повисшем над спуском в порт, в темноватой квартире, выходившей окнами во двор, где постоянно выбивали ковры.

Семья ключика состояла из отца, матери, бабушки и младшей сестры.

Отец, на которого сам ключик в пожилом возрасте стал похож как две капли воды, продолжал оставаться картежником, все вечера проводил в клубе за зеленым столом и возвращался домой лишь под утро, зачастую проигравшись в пух, о чем извещал короткий, извиняющийся звонок в дверь.

Мать ключика была, быть может, самым интересным лицом в этом католическом семействе. Она была, вероятно, некогда очень красивой высокомерной брюнеткой, как мне казалось, типа Марины Мнишек, но я помню ее уже пожилой, властной, с колдовскими жгучими глазами на сердитом, никогда не улыбающемся лице. Она была рождена для того, чтобы быть хозяйкой замка, а стала женой акцизного чиновника. Она говорила с сильным польским акцентом, носила черное и ходила в костел в перчатках и

с кожаным молитвенником, а дома читала польские романы, в которых, я заметил, латинская буква L была перечеркнута кривой черточкой, что придавало печатному тексту нечто религиозное и очень подходило к католическому стилю всей семьи.

Ключик ее боялся и однажды таинственно и совершенно серьезно сообщил мне, что его мать настоящая полеская ведьма и колдунья.

Она была владычицей дома.

Бабушка ключика была согбенная старушка, тоже всегда в черном, и тоже ходила в костел мелкими-мелкими неторопливыми шажками, метя юбкой уличную пыль. Она тоже, несомненно, принадлежала к породе полесских колдуний, но только была добрая, дряхлая, отжившая, в железных очках.

Сестру ключика я видел только однажды, и то она как раз в это время собиралась уходить и уже надевала свою кастровую гимназическую шляпу с зеленым бантом, и я успел с нею только поздороваться, ощутить теплое пожатие девичьей руки,— робкое, застенчивое, и заметил, что у нее широкое лицо и что она похожа на ключика, только милевиднее.

Как это ни странно, но я сразу же тайно влюбился в нее, так как всегда имел обыкновение влюбляться в сестер своих товарищей, а тут еще ее польское имя, придававшее ей дополнительную прелесть. Мне кажется, мы были созданы друг для друга. Но почему-то я ее больше никогда не видел, и мое тайное влюбление прошло как-то само собой.

Ей было лет шестнадцать, а я уже был молодой офицер, щеголявший своей раненой ногой и ходивший с костылем под мышкой.

Вскоре началась эпидемия сыпного тифа, она и я одновременно заболели. Я выздоровел, она умерла.

Ключик сказал мне, что в предсмертном бреду она часто произносила мое имя, даже звала меня к себе.

Теперь, когда все это кануло в вечность памяти, я понимаю, что меня с ключиком связывали какие-то тайные нити, может быть, судьбой с самого начала нам было предназначено стать вечными друзьями-соперниками или даже влюбленными друг в друга врагами.

Судьба дала ему, как он однажды признался во хмелю, больше таланта, чем мне, зато мой дьявол был сильнее его дьявола.

Что он имел в виду под словом «дьявол», я так уже никогда и не узнаю. Но, вероятно, он был прав.

...я забыл, что нахожусь в узкой переполненной аудитории славянского отделения Сорбонны в Гран-Пале... Я видел в высоком французском окне до пола вычурно-массивные многорукие фонари моста Александра Третьего и еще голые конские каштаны с большими надутыми почками, как бы намазанными столярным клеем, уже готовые лопнуть, но все еще не лопнувшие, так что я обманулся в своих ожиданиях, хотя всем своим существом чувствовал присутствие вечной весны, но она еще была скрыта от глаз в глубине почти черных столетних стволов, где уже несомненно двигались весенние соки.

...громадные стеклянные куполообразные крыши Гран-Пале, его ужасный стиль девятнадцатого века, неистребимая память дурного вкуса Всемирной парижской выставки...

Впрочем, в Северной Италии вечная весна тоже еще не наступила, хотя вдоль шоссе по дороге из Милана в Равенну в отдаленном альпийском тумане светилась пасхальная зелень равнины и в снежном дыхании невидимой горной цепи слышался неуловимый запах рождающейся весны, несмотря на то, что ряды фруктовых деревьев, пробежавших мимо нас, — дыцлята-табака шпалерных яблонь и распятия старых виноградных лоз — по-прежнему оставались черными, лишенными малейших признаков зелени, и все же мне казалось, что я уже вижу ее незримое присутствие.

Стоит ли описывать древние итальянские города-республики, это дивное скопление покосившихся башен, кирпичных дворцов-крепостей, окруженных рвами, по пятьсот залов в некоторых, со специальными пологими лестницами для конницы, с мраморными и бронзовыми статуями владык, поэтов и святых, с гранитными плитами площадей и железными украшениями колодцев и фонтанов, с бал-

конами, говорящими моему воображению о голубой лунной ночи и шепоте девушки с распущенными волосами в маленькой унизанной жемчугами ренессансной шапочке.

Потемки древних храмов и базилик, где при зареве целых снопов белоснежных свечей можно было с трудом разглядеть выпуклые девичьи лбы мадонн со старообразными младенцами на руках, чьи головы напоминали скорее головы епископов, чем веселых малюток...

Только один ключик сумел бы найти какой-нибудь единственный, неотразимый метафорический ход, чтобы вместить в несколько строк впечатление обо всем этом ренессансном великолепии, я же в бессилии кладу свою шариковую ручку.

Мы промчались, прошуршали по безукоризненным бетонным дорогам, мимо архитектурных бесценностей, как бы созданных для того, чтобы в них играли Шекспира и ставили «Трех толстяков» ключика.

Впрочем, здесь нельзя было найти площадь Звезды. Для этого следовало вернуться в Париж и на метро направления Венсенн — Нейи доехать на колесах с дутыми шинами до площади Этуаль (ныне Де Голль), где от высокой Триумфальной арки с четырьмя пролетами расходятся как лучи двенадцать сияющих авеню.

Очевидно, туда стремилась фантазия ключика, когда он заставил своего Тибула идти по проволоке над площадью Звезды.

Меня же влекла к себе Равенна, одно имя которой, названное Александром Блоком, уже приводило в трепет.

С юношеских лет я привык повторять магические строки:

«Все, что минутно, все, что бrenно, похоронила ты в веках. Ты, как младенец, спишь, Равенна, у сонной вечности в руках».

О, как мне хотелось, отбросив от себя все, что минутно, все, что бrenно, уснуть самому у сонной вечности в руках и увидеть наяву, как передо мною

«...Далёко отступило море, и розы оцепили вал, чтоб спящий в гробе Теодорик о буре жизни не мечтал»...

Больше всего поражала нас, особенно ключика, неслышанная магия строчки «и розы оцепили вал». Здесь присутствовала тайная звукопись, соединение двух согласных «з» и «ц», как бы сцепленных между собой необъяснимым образом. Сила этого сцепления между собою роз вокруг какого-то вала мучила меня всю жизнь, и наконец я приблизился к разгадке этой поэтической тайны.

Я увидел на земле нечто вроде купола, сложенного из диких камней. Это был склеп Теодорика, действительно окруженный земляным валом, поросшим кустами еще не проснувшихся роз, цеплявшихся друг за друга своими коралловыми шипами.

Вечная весна еще не наступила и здесь. Но, сцепленные в некий громадный венок вокруг склепа Теодорика, они были готовы выпустить первые почки. Местами они уже даже проклевывались.

Мы поднялись по каменной лестнице и вошли в мавзолей, посредине которого стоял гроб Теодорика. Но гроб был открыт и пуст, подобный каменной ванне. Я так привык представлять себе блоковского спящего в гробе Теодорика, что в первое мгновение замер как обворованный. Отсутствие Теодорика, который не должен был мечтать о бурях жизни, а спать мертвым сном на дне своей каменной колоды,— эти два исключаящих друг друга отрицания с наглядной очевидностью доказали мне, что семьдесят пять лет назад поэт, совершая путешествие по Италии и посетив Равенну, по какой-то причине не вошел в мавзолей Теодорика, ограничившись лишь видом роз, оцепивших вал, а Теодорика, спящего для того, чтобы не мечтать о бурях жизни, изобрела его поэтическая фантазия — неточность, за которую грех было бы упрекнуть художника-визионера.

Зато я понял, почему так чудесно вышло у Блока сцепление роз.

Когда мы выходили из мавзолея и столетний старик сторож, которого несомненно некогда видел и Блок, протянул нам руку за лирами, я заметил по крайней мере десяток кошек со своими котятами, царапавших землю возле площадки с молоком.

Старик любил кошек.

Очевидно, Блок видел кошек старика, который тогда еще не был стариком, но уже любил окружать себя кошками.

Цепкие когти кошек и цепкие шипы роз вокруг мавзолея Теодорика родили строчку «и розы оцепили вал».

Ну а что касается моря, то оно действительно отступило довольно далеко, километров на десять, если не больше, но, плоское и серое, оно не представляло никакого интереса: дул холодный мартовский ветер, за брекватером кипели белые волны Адриатики, на пристани стояли на стапелях яхты и моторные боты, которых готовили к весенней навигации. И пахло масляной краской, едким нитролаком, суриком, бензином. Только не рыбой.

На обратном пути мы посетили церковь святого Франциска, снова попали в тьму и холод католического собора с кострами свечей. Я бросил в автомат монетку, и вдруг перед нами, как на маленькой полукруглой сцене, ярко озарилась театральная картина поклонения волхвов: малютка Христос, задрав пухлые ножки, лежал на коленях нарядной мадонны, справа волхвы и цари со шкатулками драгоценных даров, слева — коровы, быки, овцы, лошади, на небе хвостатая комета. И все это вдруг задвигалось: волхвы и цари протянули маленькому Христу свои золотые дары; коровы, быки, лошади потянули к нему головы с раздутыми ноздрями, богородица с широко висящими рукавами синего платья нежно и неторопливо движениями марионетки наклонилась толчками к малютке, а на заднем плане два плотника все теми же марионеточными движениями уже тесали из бревен крест и римский воин поднимал и опускал копьё с губкой на острие. Это повторилось раз десять и вдруг погасло, напомнив стихотворение, сочиненное мулатом, кажется «Поклонение волхвов», где хвостатая звезда сравнивается со снопом.

— Ключик, — говорил я несколько дней спустя в старинном Миланском университете с внутренними дворами, зеленеющими сырыми газонами, окруженными аркадами с витыми ренессансными мраморными колоннами, студентам, собравшимся в тесном классе славянского отделения, — ключик, — говорил я, — был человеком выдающимся. В гимназии он всегда был первым учеником, круглым пятерочником, и если бы гимназия не закрылась, его

имя можно было бы прочесть на мраморной доске, среди золотых медалистов, окончивших в разное время Ришельевскую гимназию, в том числе и великого русского художника Михаила Врубеля.

Ключик всю жизнь горевал, что ему так и не посчастливилось сиять на мраморной доске золотом рядом с Врубелем.

Он совсем не был зубрилой. Науки давались ему легко и просто, на лету. Он был во всем гениален, даже в тригонометрии, а в латинском языке превзошел самого латиниста. Он был начитан, интеллигентен, умен. Единственным недостатком был его малый рост, что, как известно, дурно влияет на характер и развивает честолюбие. Люди небольшого роста, чувствуя как бы свою неполноценность, любят упоминать, что Наполеон тоже был маленького роста. Ключика утешало, что Пушкин был невысок ростом, о чем он довольно часто упоминал. Ключика также утешало, что Моцарт ростом и сложением напоминал ребенка.

При маленьком росте ключик был коренаст, крепок, с крупной красивой головой с шапкой кудрявых волос, причесанных а-ля Титус, по крайней мере в юности.

Какой-то пошляк в своих воспоминаниях, желая, видимо, показать свою образованность, сравнил ключика с Бетховеном.

Сравнить ключика с Бетховеном — это все равно что сказать, что соль похожа на соль.

В своем сером форменном костюме Ришельевской гимназии, немного мешковатом, ключик был похож на слоненка: такой же широкий лоб, такие же глубоко сидящие, почти детские глаза, ну а что касается хобота, то его не было. Был утиный нос. Впрочем, это не очень бросалось в глаза и не портило впечатления. Таким он и остался для меня на всю жизнь: слоненком. Ведь и любовь может быть слоненком!

«Моя любовь к тебе сейчас — слоненок, родившийся в Берлине или Париже и топаящий ватными ступнями по комнатам хозяина зверинца. Не предлагай ему французских булок, не предлагай ему кочней капустных, он мо-

жет съесть лишь дольку мандарина, кусочек сахара или конфету. Не плачь, о нежная, что в тесной клетке он делается посмеяньем черни»...

Ну и так далее. Помните?

«Нет, пусть тебе приснится он под утро в парче и ме-ди, в страусовых перьях, как тот Великолепный, что когда-то нес к трепетному Риму Ганнибала».

Я уверен, что именно таким — Великолепным — ключик сам себе и снился: в страусовых перьях, на подступах к вечному Риму всемирной славы.

Едва сделавшись поэтом, он сразу же стал иметь дьявольский успех у женщин, вернее у девушек — курсисток и гимназисток, постоянных посетительниц наших литературных вечеров. Они окружали его, щебетали, называли уменьшительными именами, разве только не предлагали ему с розовых ладошек дольку мандарина или конфетку. Они его обожали. У него завязывались мимолетные платонические романчики — предмет наших постоянных насмешек.

Он давал своим возлюбленным красивые имена, так как имел пристрастие к роскошным словам.

Так, например, одну хорошенькую юную буржуазку, носившую ранней весной букетик фиалок, прищипленный к воротнику кротовой шубки, ключик называл Фиордализой.

— Я иду сегодня в Александровский парк на свиданье с Фиордализой, — говорил он, слегка шепелявя, с польским акцентом.

Можно себе представить, как мы, его самые близкие друзья — птицелов и я, — издевались над этой Фиордализой, хотя втайне и завидовали ключику.

Как и подавляющее большинство поэтов нашего города, ключик вырос из литературы западной. Одно время он был настолько увлечен Ростаном в переводе Щепкиной-Куперник, что даже начал писать рифмованным шестистопным ямбом пьесу под названием «Двор короля поэтов», явно подражая «Сирано де Бержераку».

Я думаю, что опус ключика рождался из наиболее полюбившейся ему строчки:

«Теперь он ламповщик в театре у Мольера».

Помню строчки из его стихотворения «Альдебаран»:
«...смотри,— по темным странам, среди миров, в пол-
ночной полумгле, течет звезда. Ее Альдебараном живу-
щие назвали на земле»...

Слово «Альдебаран» он произносил с упоением. Наверное, ради этого слова было написано все стихотворение.

Потом настало время Метерлинка. Некоторое время ключик носился с книгой, кажется, Уолтера Патера, «Вображаемые портреты», очаровавшей его своей раскованностью и метафоричностью. Зачитывался он также «Крестовым походом детей», если не ошибаюсь Марселя Швоба. Всю жизнь ключик преклонялся перед Эдгаром По, считал его величайшим писателем мира, что не мешало ему в то же время очень ловко сочинять поэмы под Игоря Северянина, а позже даже восхищаться песенками Вертинского; это тогда считалось признаком дурного тона, и совершенно напрасно. Странность, которую я до сих пор не могу объяснить.

Ключик упорно настаивал, что Вертинский — выдающийся поэт, в доказательство чего приводил строчку: «Аллилуйя, как синяя птица».

Самое поразительное было то, что впоследствии однажды сам неумолимый Командор сказал мне, что считает Вертинского большим поэтом, а дожидаться от Командора такой оценки было делом нелегким.

Ключик опередил нас независимостью своих литературных вкусов. Он никогда не подчинялся общему мнению, чаще всего ошибочному.

Увлекался ключик также и Уэллсом, которого считал не только родоначальником целого громадного литературного направления, но также и великим художником, несравненным изобретателем какой-то печально-волшебной Англии начала двадцатого века, так не похожей на Англию Диккенса и вместе с тем на нее похожей.

Не знаю, заметили ли исследователи громадное влияние

Уэллса-фантаста на Командора, автора почти всегда фантастических поэм и «Бани» с ее машиной времени.

Не говорю уж о постоянном, устойчивом влиянии на ключика Толстого и Достоевского, как бы исключаящих друг друга, но в то же время так прочно слившихся в творчестве ключика.

Воздух, которым дышал ключик, всегда был перенасыщен поэзией Блока. Впрочем, тогда, как и теперь, Блоку поклонялись все.

Однажды я прочитал ключику Бунина, в то время малоизвестного и почти никем не признанного. Ключик поморщился. Но, видно, поэзии Бунина удалось проникнуть в тайное тайных ключика; в один прекрасный день, вернувшись из деревни, где он жил репетитором в доме степного помещика, ключик прочитал мне новое стихотворение под названием «В степи», посвященное мне и написанное «под Бунина».

«Иду в степи под золотым закатом... Как хорошо здесь! Весь простор — румян и все в огне, а по далеким хатам ползет, дымясь, сиреневый туман» — ну и так далее.

Я был очень удивлен.

Это было скорее «под меня», чем «под Бунина», и, кажется, ключик больше никогда не упражнялся в подобном роде, совершенно ему не свойственном: его гений развивался по совсем другим законам.

Думаю, что влиял на ключика также и Станислав Пшибышевский — польский декадент, имевший в то время большой успех. «Под Пшибышевского» ключик написал драму «Маленькое сердце», которую однажды и разыграли поклонники его таланта на сцене местного музыкального училища. Я был помощником режиссера, и в сцене, когда некий «золотоволосый Антек» должен был застрелиться от любви к некой Ванде, я должен был за кулисами выстрелить из настоящего револьвера в потолок. Но, конечно, мой револьвер дал осечку и некоторое время «золотоволосый Антек» растерянно вертел в руках бутафорский револьвер, время от времени неуверенно прикладывая его то к виску, то к сердцу, а мой настоящий револьвер как нарочно давал осечку за осечкой. Тогда я трахнул подвернувшимся табуретом по доскам театрального пола. «Золотоволосый Антек», вздрогнув от неожиданности, поспешил

приложить бутафорский револьвер к сердцу и с некоторым опозданием упал под стол, так что пьеса в конечном итоге закончилась благополучно, и публика была в восторге, устроила ключику овацию, и он выходил несколько раз кланяться, маленький, серенький, лобастенький слоненок, сияя славой, а я аккуратно дергал за веревку, раздвигая и задвигая самодельный занавес.

Барышня, игравшая главную роль роковой женщины Ванды, помнится мне, выходя на вызовы, на глазах у всех поцеловала ключику руку, что вызвало во мне жгучую зависть. Барышня-гимназистка была очень хорошенькая.

«Черт возьми, везет же этому ключику! Что она в нем нашла, интересно? Пьеска так себе, под Пшибышевского, декадентщина, а сам ключик просто серый слоненок!»

Вообще взаимная зависть крепче, чем любовь, всю жизнь привязывала нас друг к другу начиная с юности.

Однажды ключик сказал мне, что не знает более сильного двигателя творчества, чем зависть.

Я бы согласился с этим, если бы не считал, что есть еще более могучая сила: любовь. Но не просто любовь, а любовь неразделенная, измена или просто любовь неудачная, в особенности любовь ранняя, которая оставляет в сердце рубец на всю жизнь.

В истоках творчества гения ищите измену или неразделенную любовь. Чем опаснее нанесенная рана, тем гениальнее творения художника, приводящие его в конце концов к самоуничтожению.

Я не хочу приводить примеры. Они слишком хорошо известны.

Однако надо иметь в виду, что самоуничтожение не всегда самоубийство. Иногда оно принимает другие, более скрытые, но не менее ужасные формы: дуэль Пушкина, уход Толстого из Ясной Поляны.

Переживши рядом с ключиком лучшую часть нашей жизни, я имел возможность не только наблюдать, но и участвовать в постоянных изменениях его гения, все время толкавшего его в пропасть.

Я был так душевно с ним близок, что нанесенная ему некогда рана оставила шрам и в моем сердце. Я был свидетелем его любовной драмы, как бы незримой для окружа-

ющих: ключик был скрытен и самолюбив; он ничем не выдал своего отчаяния. Идеалом женщины для него всегда была Настасья Филипповна из «Идиота» с ее странной, неустроенной судьбой, с ее прекрасным, несколько скуластым лицом меццанской красавицы, с ее чисто русской сумасшедшиной.

Он так и не нашел в жизни своего литературного идеала. В жизни обычно все складывается вопреки мечтам.

Подругой ключика стала молоденькая, едва ли не семнадцатилетняя, веселая девушка, хорошенькая и голубоглазая. Откуда она взялась, не имеет значения. Ее появление было предопределено.

Только что, более чем с двухлетним опозданием, у нас окончательно установилась советская власть, и мы оказались в магнитном поле победившей революции, так решительно изменившей всю нашу жизнь.

Впервые мы почувствовали себя освобожденными от всех тягот и предрассудков старого мира, от обязательств семейных, религиозных, даже моральных; мы опьянели от воздуха свободы: только права и никаких обязанностей. Мы не капиталисты, не помещики, не фабриканты, не кулаки. Мы дети мелких служащих, учителей, акцизных чиновников, ремесленников.

Мы — разночинцы.

Нам нечего терять, даже цепей, которых у нас тоже не было.

Революция открыла для нас неограниченные возможности.

Может быть, мы излишне идеализировали революцию, не понимая, что и революция накладывает на человека обязательства, а полная, химически чистая свобода настанет в мире еще не так-то скоро, лишь после того, когда на земном шаре разрушится последнее государство и «все народы, распри позабыв, в единую семью соединятся».

Но тогда нам казалось, что мы уже шагнули в этот отдаленный мир всеобщего счастья.

Некоторые из нас ушли из своих семейств и поселились в отдельных комнатах по ордерам губжилотдела. Мы были ближе к Фурье, чем к Марксу. Образовалась коммуна поэтов.

В реквизированном особняке при свете масляных и вальных коптилок мы читали по вечерам стихи, в то время как в темных переулках города, лишенного электрического тока, возле некоторых домов останавливались авто-

мобили ЧК с погашенными фарами и над всем мертвым и черным городом светился лишь один ярко горевший электричеством семиэтажный дом губчека, где решались судьбы последних организаций, оставленных в подполье бежавшей из города контрреволюцией, а утром на стенах домов и на афишных тумбах расклеивались списки расстрелянных.

Я даже не заметил, с чего и как начался роман ключика. Просто однажды рядом с ним появилась девушка, как нельзя более соответствующая стихам из «Руслана и Людмилы»:

«...есть волшебники другие, которых ненавижу я: улыбка, очи голубые и голос милый — о друзья! Не верьте им: они лукавы! Страшитесь, подражая мне, их упоительной отравы...»

Вероятно, читатель с неудовольствием заметил, что я злоупотребляю цитатами. Но дело в том, что я считаю хорошую литературу такой же составной частью окружающего меня мира, как леса, горы, моря, облака, звезды, реки, города, восходы, закаты, исторические события, страсти и так далее, то есть тем материалом, который писатель употребляет для постройки своих произведений.

Для меня Пушкин — великое произведение природы вроде грозы, бури, метели, летучей гряды облаков, лунной ночи, чувыканья соловьев, даже чумы.

Я его цитирую, так же как цитирую множество других прекрасных авторов и явлений природы.

Прочитывал же Толстой предутреннюю летнюю луну, похожую на кусок ртути. Именно на *кусок*. Хотя ртуть в обычных земных условиях существует как шарик.

Так что примиригесь с этой моей манерой; почему же мне не цитировать других в том случае, когда я сам не могу создать лучшего?

Итак:

«...улыбка, очи голубые и голос милый...»

Такова была подруга ключика, — его первая любовь! — а то, что «она лукава», выяснилось позже и нанесло ключику незаживающую рану, что оставила неизгладимый

след на всем его творчестве, сделала его гениальным и привела в конце концов к медленному самоуничтожению. Это стало вполне ясно только теперь, когда ключика уже давно не существует на свете и только его тень неотступно следует за мною. Мне кажется, что я постиг еще не обнаруженную трагедию ключика.

Ах, как они любили друг друга — ключик и его дружок, дружок, как он ее называл в минуты нежности. Они были неразлучны, как дети, крепко держащиеся за руки. Их любовь, не скрытая никакими условностями, была на виду у всех, и мы не без зависти наблюдали за этой четой, окруженной облаком счастья.

Не связанные друг с другом никакими обязательствами, нищие, молодые, нередко голодные, веселые, нежные, они способны были вдруг поцеловаться среди бела дня прямо на улице, среди революционных плакатов и списков расстрелянных. Они осыпали друг друга самыми ласковыми прозвищами, и ключик, великий мастер слова, столь изобретательный в своих литературных произведениях, ничего не мог придумать более оригинального, чем «дружок, дружок».

Он бесконечно спрашивал:

— Скажи, ведь ты мой верный дружок, дружок, дружок?

На что она также, беспечно смеясь, отвечала:

— А ты ведь мой слоненок, слоник?

Никому в голову не могло прийти, что в это время у ключика в семье разыгрывается драма. Считалось, что всякого рода семейные драмы ушли в прошлое вместе со старым миром. Увы, это было не так.

Семья ключика собиралась уезжать в Польшу, провозглашенную независимым государством. Поляки возвращались из России на родину. И вдруг оказалось, что ключик решительно отказывается ехать с родителями. Несмотря на то, что он всегда даже несколько преувеличенно гордился своим шляхетством, он не захотел променять революционную Россию на панскую Польшу.

В упрямстве ключика его семья обвинила девушку, с которой ключик не хотел расстаться. Мать ключика ее возненавидела и потребовала разрыва. Ключик отказался. Властная полька, католичка, «полесская ведьма» прокляла сына, променявшего Польшу на советскую девушку, с которой ключик даже не был обвенчан или, в крайнем случае, зарегистрирован.

Произошла драматическая сцена между матерью и сыном, который до этого случая был всегда почтительным и послушным. Но вдруг взбунтовался. В нем заговорила материнская кровь. Нашла коса на камень.

Семья ключика уехала в Польшу. Ключик остался. Его любовь к дружочку не изменила наших отношений. Но теперь нас уже было не двое, а трое. Впрочем, когда нас перевели в Харьков на работу в УГРОСТ для укрепления пропагандистского сектора, дружочек на некоторое время осталась в Одессе, так что самые тяжелые, голодные дни не испытала, но времена переменялись и скоро она перебралась к ключику в Харьков. Мы жили втроем, нанимая две комнаты на углу Девичьей и Черноглазовской, престльстивших нас своими поэтическими названиями.

Дела наши поправились. Мы прижились в чужом Харькове, уже недурно зарабатывали, иногда вспоминая свой родной город и некоторые проказы прежних дней, среди которых видное место занимала забавная история брака дружочка с одним солидным служащим в губпродкоме. По первым буквам его имени, отчества и фамилии он получил по моде того времени сокращенное название Мак. Ему было лет сорок, что делало его в наших глазах стариком. Он был весьма приличен, вежлив, усат, бородат и, я бы даже сказал, не лишен некоторой приятности. Он был, что называется, вполне порядочный человек, вдовец с двумя обручальными кольцами на пальце. Он был постоянным посетителем наших поэтических вечеров, где и влюбился в дружочка.

Когда они успели договориться, неизвестно.

Но в один прекрасный день дружок с веселым смехом объявила ключику, что она вышла замуж за Мака и уже переехала к нему.

Она нежно обняла ключика, стала его целовать, роняя прозрачные слезы, объяснила, что, служа в продовольственном комитете, Мак имеет возможность получать продукты и что ей надоело влачить полуголодное существование, что одной любви для полного счастья недостаточно, но что ключик навсегда останется для нее самым светлым воспоминанием, самым-самым ее любимым друзиком, слоником, гением и что она не забудет нас и обещает нам продукты.

Тогда я еще не читал роман аббата Прево и не понял, что дружочек — разновидность Манон Леско и что тут уж ничего не поделаешь.

Ключик в роли кавалера де Грие грустно поник головой. Он начитался Толстого и был непротивленцем. Я же страшно возмутился и наговорил дружочку массу неприятных слов, на что она, весело смеясь, блестя голубыми глазами, сказала, что понимает, какую глупость совершила, и согласна в любой миг бросить Мака, но только стесняется сделать это сама. Надо, чтобы она была насильно вырвана из рук Мака, похищена.

— Это будет так забавно, — прибавила она, — и я опять вернусь к моему любимому слоненку.

Так как ключик по своей природе был человек воспитанный, не склонный к авантюрам, то похищение дружочка я взял на себя как наиболее отчаянный из всей нашей компании.

В условленное время мы отправились с ключиком за дружочком. Ключик остался на улице, шагая взад-вперед перед подъездом, хмурый, небритый, нервный, как ревнивый гном, а я поднялся по лестнице и громко постучал в дверь кулаком.

Дверь открыл сам Мак. Увидев меня, он засуетился и стал теребить бородку, как бы предчувствуя беду.

Вид у меня был устрашающий: офицерский френч времен Керенского, холщовые штаны, деревянные сандалии на босу ногу, в зубах трубка, дымящая махоркой, а на бритой голове красная турецкая феска с черной кистью, полученная мною по ордеру вместо шапки в городском вещевом складе.

Не удивляйтесь: таково было то достославное время — граждан снабжали чем бог послал, но зато бесплатно.

— Где дружочек? — грубым голосом спросил я.

— Видите ли... — начал Мак, теребя шнурок пенсне.

— Слушайте, Мак, не валяйте дурака, сию же минуту позовите дружочка. Я вам покажу, как быть в наше время синей бородой! Ну, поворачивайтесь живее!

— Дружочек! — блеющим голосом позвал Мак, и нос его побелел.

— Я здесь,— сказала дружок, появляясь в дверях буржуазно обставленной комнаты.— Здравствуй.

— Я пришел за тобой. Нечего тебе здесь прохлаждаться. Ключик тебя ждет внизу.

— Позвольте...— пробормотал Мак.

— Не позволю,— сказал я.

— Ты меня извини, дорогой,— сказала дружок, обращаясь к Маку.— Мне очень перед тобой неловко, но ты сам понимаешь, наша любовь была ошибкой. Я люблю ключика и должна к нему вернуться.

— Идем,— скомандовал я.

— Подожди, я сейчас возьму вещи.

— Какие вещи? — удивился я.— Ты ушла от ключика в одном платье.

— А теперь у меня уже есть вещи. И продукты,— прибавила она, скрылась в плюшевых недрах квартиры и проворно вернулась с двумя свертками.— Прощай, Мак, не сердись на меня,— милым голосом сказала она Маку.

У Мака на испуганном лице показались слезы.

— И смотрите у меня,— сказал я на прощанье, погрозив Маку трубкой,— чтобы этого больше не повторялось!

Мы с дружочком спустились по лестнице на улицу, где я передал нашу Манон Леско с рук на руки кавалеру де Грие.

Читателю все это может показаться невероятным, но таково было время. Паспортов не существовало, и браки легко заключались и расторгались в отделе актов гражданского состояния на Дерibasовской в бывшем табачном магазине Стамболи, где еще не выветрился запах турецкого табака. Браки заключались по взаимному согласию, а разводы в одностороннем порядке.

Как ни странно, но всю эту историю с Маком мы тогда воспринимали всего лишь как забавное приключение, не понимая всей серьезности того, что случилось.

Не прошло и года, как ключик вспомнил об этом, но уже было поздно.

Во всяком случае, еще долгое время история с Маком служила поводом для веселых импровизаций и дружок не без юмора рассказывала, как она была замужней дамой.

Через некоторое время, уже в Москве, в моей комнате в Мыльняниковом переулке раздался телефонный звонок и оживленный женский голос сказал:

— Здравствуй. Как поживаешь?

Я узнал голос дружочка.

— Можешь меня поздравить, я уже в Москве,— сказала она.

— А ключик? — спросил я.

— Остался в Харькове.

— Как! Ты приехала одна?

— Не совсем,— проговорила дружочек, и я услышал ее странный смешок.

— Как это не совсем? — спросил я, предчувствуя недоброе.

— А так! — услышал я беспечный голос.— Жди нас.

И через полчаса в мою комнату вбежала нарядно одетая, в модной шляпке, с сумочкой, даже, кажется, в перчатках дружочек, а следом за ней боком, криво, как бы расталкивая воздух высоко поднятым плечом, прошел в дверь человек в новом костюме и в соломенной шляпе-канотье — высокий, с ногой, двигающейся как на шарнирах.

Это был колченогий — так я буду его называть в дальнейшем — одна из самых удивительных и, может быть, даже зловещих фигур, вдруг появившихся среди нас, странное порождение этой эпохи.

Остатки деникинских войск были сброшены в Черное море; обезумевшие толпы беглецов из Петрограда, Москвы, Киева — почти все, что осталось от российской Вандеи, — штурмовали пароходы, уходившие в Варну, Стамбул, Салоники, Марсель.

Контрразведчики, не сумевшие пробиться на пароход, стрелялись тут же на пристани, среди груды брошенных чемоданов. Город, взятый с налета конницей Котовского и регулярной московской дивизией Красной Армии, одетой в новые оранжевые полушубки, был чист и безлюден, как бы вычищенный железной метлой от всей его белогвардейской нечисти, многочисленных ярких вывесок магазинов, медных досок консульств и банков, золотых букв гостиниц и ресторанов...

Город, приняв огненное крещение, как бы очистился от скверны, помолодел и замер в ожидании начала новой жизни.

Пароходы с эмигрантами еще чернели на горизонте как выброшенная куча дымящегося шлака, а уже новая власть занимала опустевшие особняки, размещалась в городской управе, в штабе военного округа, в Воронцовском дворце, в редакциях газет, получивших новые названия и новое содержание.

В помещении деникинского Освага возникло новое советское учреждение ОдукРОСТа, то есть Одесское бюро украинского отделения Российского телеграфного агентства, с его агитотделом, выпускавшим листовки, военные сводки, стенные газеты и плакаты, тут же изготовлявшиеся на больших картонных и фанерных листах, написанные клеевыми красками. Плакаты эти тут же, еще не высохнув, разносились и развозились по всему городу на извозчиках и велосипедах. На плакатах под картинками помещались агитстихи нашего сочинения. Например:

«По небу полуночи Врангель летел, и грустную песню он пел. Товарищ! Барона бери на прицел, чтоб ахнуть барон не успел».

С утра до вечера в ОдукРОСТе кипела работа, стучали пишущие машинки, печатая сводки двух последних фронтов — польского и врангелевского, крымского.

Положение новой, советской власти все еще было неопределенным, хотя окончательная победа уже явно ощущалась.

Нашей ОдукРОСТой руководил прибывший вместе с передовыми частями Красной Армии странный человек — колченогий. Среди простых, на вид очень скромных, даже несколько серых руководящих товарищей из губревкома, так называемой партийно-революционной верхушки, колченогий резко выделялся своим видом.

Во-первых, он был калека.

С отрубленной кистью левой руки, культяпку которой он тщательно прятал в глубине пустого рукава, с перебитым во время гражданской войны коленным суставом, что делало его походку странно качающейся, судорожной, несколько заикающийся от контузии, высокий, казавшийся костлявым, с наголо обритой головой хунхуза, в громадной лохматой папахе, похожей на черную хризантему, чем-то напоминающий не то смертельно раненного гладиатора, не

то падшего ангела с прекрасным демоническим лицом, он появлялся в машинном бюро ОдукРОСТы, вселяя любовный ужас в молоденьких машинисток; при внезапном появлении колченогого они густо краснели, опуская глаза на клавиатуры своих допотопных «ундервудов» с непомерно широкими каретками.

Может быть, он даже являлся им в грешных снах.

О нем ходило множество непроверенных слухов. Говорили, что он происходит из мелкопоместных дворян Черниговской губернии, порвал со своим классом и вступил в партию большевиков. Говорили, что его расстреливали, но он по случайности остался жив, выбрался ночью из-под кучи трупов и сумел бежать. Говорили, что в бою ему отрубили кисть руки. Но кто его так покалечил — белые, красные, зеленые, петлюровцы, махновцы или гайдамаки, было покрыто мраком неизвестности.

Во всяком случае, у него был партийный билет и все тогдашние чистки он проходил благополучно.

Он принадлежал к руководящей партийной головке города и в общественном отношении для нас, молодых беспартийных поэтов, был недосыгаем, как звезда.

Между нами и им лежала пропасть, которую он сам не склонен был перейти.

У него были диктаторские замашки, и свое учреждение он держал в ежовых рукавицах.

Но самое удивительное заключалось в том, что он был поэт, причем не какой-нибудь провинциальный дилетант, графоман, а настоящий, известный еще до революции столичный поэт из группы акмеистов, друг Ахматовой, Гумилева и прочих, автор нашумевшей книги стихов «Аллилуйя», которая при старом режиме была сожжена как кощунственная по решению Святейшего Синода.

Это прибавляло к его личности нечто демоническое.

Вскоре в местных «Известиях» стали печататься его стихи. Вот, например, как он изображал революционный переворот в нашем городе:

«...от птичьего шеврона до лампаса полковника все погрузилось в дым. О, город Рিশелье и Де Рибаса! Забудь себя, умри и стань другим».

Птичьим шевроном поэт назвал трехцветную ленточку, нашитую на рукаве белогвардейского офицера в форме ижицы или римской пятерки, напоминая условное изображение птички, так сказать, галочку.

Эта поэтическая инверсия — «птичий шеврон» — привела нас в восхищение. Мы все страдали тогда детской болезнью поэтической левизны.

Помню еще отличное четверостишие колченогого того периода:

«Щедроты сердца не разменены, и хлеб — все те же пять хлебов, Россия Разина и Ленина, Россия огненных столбов».

Это и впрямь было прекрасное, хотя и несколько мистическое изображение революции.

Должен, кстати, опять предупредить читателей, что все стихи в этой книге я цитирую исключительно по памяти, так что не ручаюсь за их точность, а проверять не хочу, даже если это стихи Пушкина, так что рассматривать мое сочинение как научное пособие нельзя. Это чисто художественное отражение моего внутреннего мира. Чужую поэзию я воспринимаю как свою и делаю в ней поправки. Сделал же поправку Толстой, цитируя стихи Пушкина: «...и горько жалуясь и горько слезы лью, но строк постыдных не смываю». А у Пушкина не «постыдных», а «печальных». Толстой превратил их в постыдные и был прав, так как имел обыкновение пропускать все явления мира, в том числе и поэзию, *через себя*.

Первое время между колченогим и нами не было никакой товарищеской связи. Но ведь все же и мы и он, кроме всего прочего, были поэты, то есть братья по безумию, так что мало-помалу мы не могли не сблизиться: ничто так не сближает людей, как поэзия.

Он стал изредка захаживать на наши поэтические собрания. Сначала свои стихи не читал, явно стеснялся, лишь изредка делая замечания, относящиеся к чужим стихам.

Его речь была так же необычна, как и его наружность. Его заикание заключалось в том, что часто в начале и в середине фразы, произнесенной с некоторым староукраин-

ским акцентом, он останавливался и вставлял какое-то беспомощное, бессмысленное междометие «ото... ото... ото»...

— С точки... ото... ото... ритмической,— говорил он,— данное стихотворение как бы написано... ото... ото... сельским писарем...

Едучи впоследствии с колченогим в одном железнодорожном вагоне по пути из Одессы в Харьков, куда нас перебрасывали для усиления харьковского агитпропа, я слышал такую беседу колченогого с одним весьма высокопарным поэтом-классиком. Они стояли в коридоре и обсуждали бегущий мимо них довольно скучный новороссийский пейзаж.

Поэт-классик, носивший пушкинские бакенбарды, некоторое время смотрел в окно и наконец произнес свой приговор пейзажу, подыскав для него красивое емкое слово, несколько торжественное:

— Всколмления!..

На что колченогий сказал:

— Ото... ото... скудоумная местность.

Он был вроничен и терпеть не мог возвышенных выражений.

Его поэзия в основном была грубо материальной, вещественной, нарочито корявой, немзыкальной, временами даже косноязычной. Он умудрялся создавать строчки шестистопного ямба без цезуры, так что тонический стих превращался у него в архаическую силлабику Кантемира.

Но зато его картины были написаны не чахлой акварелью, а густым рембрандтовским маслом.

Колченогий брал самый грубый, антипоэтический материал, причем вовсе не старался его опоэтизировать. Наоборот. Он его еще более огрублял. Эстетика его творчества состояла именно в полном отрицании эстетики. Это сближало колченогого с Бодлером, взявшим, например, как материал для своего стихотворения падаль.

На нас произвели ошеломляющее впечатление стихи, которые впервые прочитал нам колченогий своим запинаящимся, совсем не поэтическим голосом из только что вышедшей книжки с программным названием «Плоть».

В этом стихотворении, называющемся «Предпасхаль-

ное», детально описывалось, как перед пасхой «в сарае, рыхлой шкурой мха покрытом», закалывают кабана и режут индюков к праздничному столу. Были блестяще описаны и кабан, и индюки, и предстоящее пасхальное пиршество хозяина-помещика.

Там были такие строки, по-моему пророческие:

«...и кабану, уж вялому от сала, бронированному тяжко им, ужель весна хоть смутно подсказала, что ждет его холодный нож и дым?.. Молчите, твари! И меня прикончит, по рукоять вогнав клинок, тоска, и будет выть и рыскать сухой гончей душа моя, ребенка-старичка»...

В этих ни на что не похожих, неуклюжих стихах мы вдруг ощутили вечное отчаяние колченогого, предчувствие его неизбежного конца.

«Плоть» была страшная книга.

«Ну, застрелюсь. И это очень просто: нажать курок и выстрел прогремит. И пуля виноградиной-наростом застрянет там, где позвонок торчит... А дальше что?.. И вновь, теперь уже как падаль,— вновь распотрошенного и с липкой течкой бруснично-бурой сукровицы, бровь задравшего разорванной уздечкой, швырнут меня... Обиду стерла кровь, и ты, ты думаешь, по нем вздыхая, что я приставлю дуло (я!) к виску?.. О, безвозвратная! О, дорогая! Часы спешат, диктуя жизнь: «ку-ку». А пальцы, корчась, тянутся к виску»...

Нам казалось, что ангел смерти в этот миг пролетел над его наголо обритой головой с шишкой над дворянской бородавкой на его длинной щеке.

Я не буду цитировать еще более ужасных его стихотворений, способных довести до сумасшествия.

Нет, колченогий был исчадием ада.

Может быть, он действительно был падшим ангелом, свалившимся к нам с неба в черном пепле сгоревших крыл. Он был мелкопоместный демон, отверженный богом революции. Но его душа тяготела к этому богу. Он хотел и не мог искупить какой-то свой тайный грех, за который его уже один раз покарали отсечением руки, но он чувствовал,

что рано или поздно за этой карой последует другая, еще более страшная, последняя.

Недаром же он писал:

«Как быстро высыхают крыши. Где буря? Солнце припекло. Градиной вихрь на церкви вышиб под самым куполом стекло. Как будто выхватив проворно остроконечную звезду — метавший ледяные зерна, гудевший в небе на лету. Овсы лохматы и корявы, а рожью крытые поля: здесь пересечены суставы, колена каждого стебля. Христос! Я знаю, ты из храма сурово смотришь на Илью: как смел пустить он градом в раму и тронуть скинию твою? Но мне — прости меня, я болен, я богохульствую, я лгу — твоя раздробленная голень на каждом чудится шагу».

Теперь, когда я пишу эти строки, колченогого никто не помнит. Он забыт.

Но тогда он был известен только нам, тем, из которых остался в живых, кажется, только я один.

В Харькове после смерти Блока, после исчезновения Гумилева, после поволжского голода мы настолько сблизились с колченогим, что часто проводили с ним ночи напролет, пили вино, читая друг другу стихи, — ключик, дружок и я, еще не отдавая себе отчета, чем все это может кончиться.

Я первый уехал в Москву.

И вот я уже стою в тесной редакционной комнате «Красной нови» в Кривоколенном переулке и смотрю на стычку королевича и мулата. Королевич во хмелю, мулат трезв и взбешен. А сын водопроводчика их разнимает и уговаривает: ну что вы, товарищи...

Испуганная секретарша, спасая свои бумаги и прижимая их к груди, не знала, куда ей бежать: прямо на улицу или укрыться в крошечной камерке кабинета редактора Воронского, который сидел, согнувшись над своим шведским бюро, черный, маленький, носатый, в очках, сам

похожий на ворону, и делал вид, что ничего не замечает, хотя «выясняли отношения» два знаменитых поэта страны.

Королевич совсем по-деревенски одной рукой держал интеллигентного мулата за грудки, а другой пытался дать ему в ухо, в то время как мулат — по ходячему выражению тех лет, похожий одновременно и на араба и на его лошадь, — с пылающим лицом, в развевающемся пиджаке с оторванными пуговицами с интеллигентной неумелостью ловчился ткнуть королевича кулаком в скулу, что ему никак не удавалось.

Что между ними произошло?

Так я до сих пор и не знаю. В своих воспоминаниях мулат, кажется, упомянул об отношениях с королевичем и сказал, что эти отношения были крайне неровными: то они дружески сближались, то вдруг ненавидели друг друга, доходя до драки.

По-видимому, я попал как раз на взрыв взаимной ненависти.

Не знаю, как мулат, но королевич всегда ненавидел мулата и никогда с ним не сближался, по крайней мере при мне. А я дружил и с тем и с другим, хотя с королевичем встречался гораздо чаще, почти ежедневно. Королевич всегда брезгливо улыбался при упоминании имени мулата, не признавал его поэзии и говорил мне:

— Ну подумай, какой он, к черту, поэт? Не понимаю, что ты в нем находишь?

Я отмалчивался, потому что весь был во власти поэзии мулата, а объяснить ее магическую силу не умел; да если бы и умел, то королевич все равно бы ее не принял: слишком они были разные.

Поединок мулата с королевичем кончился вничью; общими усилиями их разняли, и, закрутив вокруг горла кашне и нахлобучив кепку, которые имели на нем какой-то заграничный вид, оскорбленный мулат покинул редакцию, а королевич, из которого еще не вполне выветрился хмель, загнал меня в угол и вдруг неожиданно стал просить помирить его с Командором.

— Послушай, друг, — говорил он умоляющим, нежным, почти ребячьим голосом. — Ну что тебе стоит? Ты же с ним хорошо знаком. Он тебя печатает в своем «Лефе». Подлецы нас поссорили. А я его, богом клянусь, люблю и считаю знаменитым русским поэтом, и, если хочешь знать, он меня тоже любит, только не хочет признаться там у себя, в Водопьяном переулке, стесняется своих футуристов,

лефов или как их там — комфутов, пропади они пропадом. Вот те крест святой! Ты меня только поведи к нему на Водопьяный, а уж мы с ним договоримся. Не может быть того, чтобы два знаменитых русских поэта не договорились. Окажи дружбу!

Я был смущен и стал объяснять, что я вовсе не в таких близких отношениях с Командором, чтобы приводить в Водопьяный переулочек незваных гостей, что меня там самого недолюбливают и еще, чего доброго, дадут по шее и что я вовсе не уверен, будто Командор действительно втайне любит его.

Но королевич не отставал.

— Пойми, какая это будет сила: я и он! Да у нас вся русская поэзия окажется в шапке.

Но я решительно отказался, отлично понимая, чем все это может кончиться.

— Тогда ладно, — сказал королевич, — не хочешь вести меня к Командору, так веди меня к его соратнику, а уж он меня наверняка подружит с самим. Соратник у него первый друг. А соратник тебя любит, я знаю, ты с ним дружишь, он считает тебя хорошим поэтом.

Королевич льстиво и в то же время издевательски заглядывал мне в лицо своими все еще хмельными глазами и поцеловал меня в губы.

Мы были с соратником действительно в самых дружеских отношениях, и я сказал королевичу:

— Ну что ж, к соратнику я тебя, пожалуй, как-нибудь сведу.

Но надо было знать характер королевича.

— Веди меня сейчас же. Я знаю, это отсюда два шага. Ты дал мне слово.

— Лучше как-нибудь на днях.

— Веди сейчас же, а то на всю жизнь поссоримся!

Это был как бы разговор двух мальчишек.

Я согласился.

Королевич поправил и сколько возможно привел в порядок свой скрученный жгутом парижский галстук, и мы поднялись по железной лестнице черного хода на седьмой этаж, где жил соратник. В дверях появилась русская белокурая красавица несколько харьковского типа, настоящая Лада, почти сказочный персонаж не то из «Снегурочки», не то из «Садко».

Сначала она испугалась, отшатнулась, но потом, рассмотрев нас в сумерках черной лестницы, любезно улыбнулась и впустила в комнату.

Это было временное жилище недавно вернувшегося в Москву с Дальнего Востока соратника. Комната выходила прямо на железную лестницу черного хода и другого выхода не имела, так что, как обходились хозяева, неизвестно. Но все в этой единственной просторной комнате приятно поражало чистотой и порядком. Всюду чувствовалась женская рука. На пюпитре бежштейновского рояля с поднятой крышкой, что делало его похожим на черного, лакированного, с поднятым крылом Пегаса (на котором несомненно ездил хозяин-поэт), белела распахнутая тетрадь произведений Рахманинова. Обеденный стол был накрыт крахмальной скатертью и приготовлен для вечернего чая — поповские чашки, корзинки с бисквитами, лимон, торт, золоченые вилочки, тарелочки. Стопка белья, видимо только что принесенная из прачечной, источала свежий запах резины — аромат кружевных наволочек и ажурных носовых платочков. На диване лежала небрежно брошенная русская шаль — алые розы на черном фоне.

Вазы с яблочной пастилой и сдобными крендельками так и бросались в глаза.

Ну и, конечно, по моде того времени над столом большая лампа в шелковом абажуре цвета танго.

— Какими судьбами! — воскликнула хозяйка и назвала королевича уменьшительным именем. Он не без галантности поцеловал ее ручку и назвал ее на ты.

Я был неприятно удивлен.

Оказывается, они были уже давным-давно знакомы и принадлежали еще к дореволюционной элите, к одному и тому же клану тогда начинающих, но уже известных столичных поэтов.

В таком случае при чем здесь я, приезжий провинциал, и для какого дьявола королевичу понадобилось, чтобы я ввел его в дом, куда он мог в любое время прийти сам по себе?

По-видимому, королевич был не вполне уверен, что его примут. Наверное, когда-то он уже успел наскандалить и поссориться с соратником.

Не следует забывать, что соратник и мулат были близкими друзьями и оба начинали в «Центрифуге» С. Боброва.

Теперь же оказалось, что все забыто, и королевича приняли с распростертыми объятиями, а я оставался в тени как человек в доме свой.

— А где же Коля? — спросил королевич.

— Его нет дома, но он скоро должен вернуться. Я его жду к чаю.

Королевич нахмурился: ему нужен был соратник сию же минуту.

Вынь да положи!

Он не выносил промедлений, особенно если был слегка выпивши.

— Странно это, — сказал королевич, — где же он шляется, интересно знать? Я бы на твоём месте не допускал, чтобы он где-то шлялся.

Лада принужденно засмеялась, показав подковки своих жемчужных маленьких зубов.

Она сыграла на рояле несколько прелюдий Рахманинова, которые я не могу слушать без волнения, но на королевича Рахманинов не произвел никакого впечатления — ему подавай Колю.

Лада предложила нам чаю.

— Спасибо, Ладушка, но мне, знаешь, не до твоего чая. Мне надо Колю!

— Он скоро придет.

— Мы уже это слышали, — с плохо скрытым раздражением сказал королевич.

Он положительно не переносил ни малейших препятствий к исполнению своих желаний. Хотя он и старался любезно улыбаться, разыгрывая учтливую гостью, но я чувствовал, что в нём уже начал пошевеливаться злой дух скандала.

— Почему он не идет? — время от времени спрашивал он, с отвращением откусывая рябиновую пастилу.

Видно, он заранее нарисовал себе картину: он приходит к соратнику, соратник тут же ведёт его к Командору, Командор признаётся в своей любви к королевичу, королевич, в свою очередь, признаётся в любви к поэзии Командора, и они оба соглашаются разделить первенство на российском Парнасе, и всё это кончается апофеозом всемирной славы.

И вдруг такое глупое препятствие: хозяина нет дома, и

когда он придет, неизвестно, и надо сидеть в приличном нарядном гнездышке этих непыющих советских старосветских помещиков, где, кроме Рахманинова и чашки чая с пастилой, ни черта не добьешься.

А время шло.

Лицо королевича делалось все нежнее и нежнее. Его глаза стали светиться опасной, слишком яркой синевой. На щечках вспыхнул девичий румянец. Зубы стиснулись. Он томно вздохнул, потянув носом, и капризно сказал:

— Беда хочется вытереть нос, да забыл дома носовой платок.

— Ах, дорогой, возьми мой.

Лада взяла из стопки стираного белья и подала королевичу с обаятельнейшей улыбкой воздушный, кружевной платочек. Королевич осторожно, как величайшее сокровище, взял воздушный платочек двумя пальцами, осмотрел со всех сторон и бережно сунул в наружный боковой карманчик своего парижского пиджака.

— О нет! — почти пропел он ненатурально восторженным голосом. — Таким платочком достойны вытирать носики только русалки, а для простых смертных он не подходит.

Его голубые глаза остановились на белоснежной скатерти, и я понял, что сейчас произойдет нечто непоправимое. К сожалению, оно произошло.

Я взорвался.

— Послушай, — сказал я, — я тебя привел в этот дом, и я должен ответить за твое свинское поведение. Сию минуту извинись перед хозяйкой — и мы уходим.

— Я? — с непередаваемым презрением воскликнул он. — Чтобы я извинялся?

— Тогда я тебе набью морду, — сказал я.

— Ты? Мне? Набьешь? — с еще большим презрением уже не сказал, а как-то гнусно пропел, провыл с иностранным акцентом королевич.

Я бросился на него, и, разбрасывая все вокруг, мы стали драться как мальчишки. Затрещал и развалился подвернувшийся стул. С пушечным выстрелом захлопнулась

крышка рояля. Упала на пол ваза с белой и розовой пастилой. Полетели во все стороны разорванные листы Рахманинова, наполнив комнату как бы беспорядочным полетом чаек.

Лада в ужасе бросилась к окну, распахнула его в черную бездну неба и закричала, простирая лебедино-белые руки:

— Спасите! Помогите! Милиция!

Но кто мог услышать ее слабые вопли, несущиеся с поднебесной высоты седьмого этажа!

Мы с королевичем вцепились друг в друга, вылетели за дверь и покатались вниз по лестнице.

Очень странно, что при этом мы остались живы и даже не сломали себе рук и ног. Внизу мы расцепились, вытерли рукавами из-под своих носов юшку и, посылая друг другу проклятия, разошлись в разные стороны, причем я был уверен, что нашей дружбе конец, и это было мне горько. А также я понимал, что дом соратника для меня закрыт навсегда.

Однако через два дня утром ко мне в комнату вошел тихий, ласковый и трезвый королевич. Он обнял меня, поцеловал и грустно сказал:

— А меня еще потом били маляры.

Конечно, никаких маляров не было. Все это он выдумал. Маляры — это была какая-то реминисценция из «Преступления и наказания». Убийство, кровь, лестничная клетка, Раскольников...

Королевич обожал Достоевского и часто, знакомясь с кем-нибудь и пожимая руку, представлялся так:

— Свидригайлов!

Причем глаза его мрачно темнели. Я думаю, что гений самоубийства уже и тогда медленно, но неотвратимо овладевал его больным воображением.

Таинственно улыбаясь, он сказал мне полупшепотом, что меня ждет нечаянная радость. Я спросил какая. Но он сказал еще более таинственно:

— Сам увидишь скоро.

В веревочной кошелке, которую он держал в руках, я увидел бутылку водки и две копченые рыбины, связанные

за жабры бечевочкой. Рыбины были золотистого оттенка и распространяли острый аромат, вызывающий жажду, а чистый блеск водочной бутылки усугублял эту жажду. Но королевич, заметив мой взгляд, погрозил пальцем и, лукаво улыбнувшись, сказал:

— Только не сейчас. Потом, потерпи.

После этого он как некое величайшее открытие сообщил мне, что он недавно перечитывал «Мертвые души» и понял, что Гоголь гений.

— Ты понимаешь, что он там написал? Он написал, что в дождливой темноте России дороги расплзлись, как раки. Ты понимаешь, что так сказать мог только гений! Перед Гоголем надо стать на колени. Дороги расплзлись, как раки!

И королевич действительно стал на колени, обратился в ту сторону, где, по его мнению, находилась Арбатская площадь с памятником Гоголю, перекрестился как перед иконой и стукнулся головой об пол.

Я не захотел уступить ему первенство открытия, что Гоголь гений, и напомнил, что у Гоголя есть «природа как бы спала с открытыми глазами» и также «графинчик, покрытый пылью, как бы в фуфайке» в чулане Плюшкина, похожего на бабу.

— Неужели он это написал? — почти с суеверным ужасом воскликнул королевич. — А ты не врешь? — прибавил он, подозрительно глядя на меня. — Может быть, это ты сам выдумал, что графинчик был в фуфаячке, и морочишь меня?

— Прочти «Вия», прочти сцену у Плюшкина.

Он смущенно pokrutil головой.

— Вот это да! Но все-таки мои раки гениальнее твоей природы, спящей с открытыми глазами. А в общем, куда нам всем по сравнению с Гоголем! Особенно имажинистам! Тоже мне «образное мышление».

Страстная любовь к Гоголю как бы еще теснее соединила нас, и мы сидели молча рядом, подавленные гением Гоголя и в то же время чувствуя себя детьми великой русской литературы, правда еще не вполне выросшими, созревшими.

В этот миг раздался звонок и в дверях появился соратник. Это и был приятный сюрприз, обещанный мне королевичем. Оказывается, королевич уже успел где-то встретиться с соратником, извиниться за скандал, учиненный на седьмом этаже, и назначил ему свидание у меня, с тем

чтобы прочитать нам еще никому не читанную новую поэму, только что законченную.

Соратник, крупный поэт, был, кажется, единственным из всех лефов, признававшим меня. Он настолько верил в меня как в поэта, что даже сердился, когда я брался за прозу. На одной из своих книжек он сделал мне такую надпись: большими буквами сверху стояло слово ПОЭТУ, дальше было мое имя и потом:

«с враждой за его отход от поэзии к «всерьез и надолгой» прозе, любящий его искренне — такой-то».

Может быть, он был мой самый настоящий, верный друг. Но он был гораздо старше меня как по возрасту, так и по литературному положению и его дружба со мною имела скорее характер покровительства, что еще Пушкин назвал «иль покровительства позор».

Самое удивительное, что я никак не могу написать его словесный портрет. Ни одной заметной черточки. Не за что зацепиться: ну в приличном осеннем пальто, ну с бритым, несколько старообразным сероватым лицом, ну, может быть, советский служащий среднего ранга, кто угодно, но только не поэт, а между тем все-таки что-то возвышенное, интеллигентное замечалось во всей его повадке. А так — ни одной заметной черты: рост средний, глаза никакие, нос обыкновенный, рот обыкновенный, подбородок обыкновенный. Даже странно, что он был соратником Командора, одним из вождей Левого фронта. Ну, словом, не могу его описать.

Складываю, как говорится, перо.

Помнится, в то утро королевич привел с собой какого-то полудеревенского паренька, доморощенного стихотворца, одного из своих многочисленных поклонников-приживал, страстно в него влюбленных.

Кто-нибудь из них повсюду таскался за королевичем, с обожанием заглядывал ему в глаза, как верный пес, и все время канючил, прося позволения прочитать свои стихотворения.

Королевич обращался с ними грубо и насмешливо, не стесняясь в выражениях:

— Ну чего ты за мной ходишь? Может быть, ты воображаешь себя замечательным талантом-самородком вроде Алексея Кольцова или Никитина? Так можешь успокоиться: ты полная бездарность, твоими стихами можно только подтираться, и то подарапаешь задницу. Ну? Не пускай сопли и не рыдай. Москва слезам не верит. Поворачивай лучше оглобли и возвращайся в деревню землю пахать, вместо того чтобы тут гнить. Все равно ни черта из тебя не получится, можешь мне поверить. Хоть, по крайней мере, не мелькай перед глазами, ступай в угол и молчи в тряпочку. Тоже мне гений! Знаешь, сколько ты мне стоишь? И на кой черт я тебя, дурака, пою-кормлю. Жалкий прихлебало!

В те годы развелось великое множество подражателей королевичу, приезжавших из деревни в Москву за славой. Им казалось, что слава королевича легкая, дешевая. Королевич их презирал, но все же ему льстило такое поклонение.

Кажется, ни один из этих несчастных, свихнувшихся на эфемерной литературной славе королевичевских эпигонов так и не выписался в сколько-нибудь приличного поэта.

Все они сгинули после смерти своего божества. Иные из них по примеру королевича наложили на себя руки.

Обиженный подражатель, утирая рукавом слезы, удалился.

Мы остались втроем — королевич, соратник и я. Королевич подошел ко мне, обнял и со слезами на глазах сказал с непередаваемой болью в голосе, почти шепотом:

— Друг мой, друг мой, я очень и очень болен! Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

Он произносил слово «очень» как-то изломанно, со своим странным акцентом. Выходило «ёчень, оёчень, иочень»...

Слова эти были сказаны так естественно, по-домашнему жалобно, что мы сначала не поняли, что это и есть первые строки новой поэмы.

Потом он встал, прислонился к притолоке, полузакрыв свои вдруг помутневшие глаза смертельно раненного че-

ловека, может быть даже животного — оленя, — и своим особым, надсадным, со странным акцентом голосом произнес:

— То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ль, как рошу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги маячить больше невмочь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится, черный человек спать не дает мне всю ночь.

Только тут мы поняли, что это начало поэмы.

«Черный человек» он произносил с особенным нажимом, еще более ломая язык:

«Чьорный, чьорный, чьорный, человек, ч'лавик»...

Королевич вздрогнул и стал озираться, как бы увидев невдалеке от себя ужасный призрак.

Мороз тронул мои волосы. Серое лицо соратника побледнело.

Поэма называлась «Черный человек».

— Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и, гнусая надо мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то прохвоста и забулдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек, черный, черный!..

Слезы текли по щекам королевича, когда он произносил слово «черный» не через «ё», а через «о» — чорный, чорный, чорный, хотя это «о» было как бы разбавлено мучительно тягучим «ё».

Чорный, чорный, чорный.

Что делало это слово еще более ужасным.

Это был какой-то страшный, адский вариант пушкинского

«Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток; и с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклиная, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю».

Я уже упоминал, что Лев Толстой, читая это стихотворение, всегда с особенным упорством и значением вместо «строк печальных» говорил «строк постыдных».

Поэма королевича «Черный человек» была полна строк именно не печальных, но постыдных, которых поэт не мог и не хотел смыть, уничтожить.

«...Не знаю, не помню, в одном селе, может в Калуге, а может в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами... И вот стал он взрослым, к тому ж поэт, хоть и небольшой, но с ухватистой силою, и какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою».

Королевич стоял, прислонясь к притолоке, и как бы исповедовался перед нами, не жалея себя и выворачивая наизнанку свою душу.

Мы были потрясены.

Он продолжал:

«Черный человек! Ты прескверный гость. Эта слава давно про тебя разносится». Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его, в переносицу...

Королевич вдруг как-то отпрянул и сделал яростный выпад, как будто бы и впрямь у него в руке была длинная острая трость с золотым набалдашником.

Потом он долго молчал, поникнув головой. А затем почти шепотом промолвил:

— ...Месяц умер, синеет в окошко рассвет. Ах ты, ночь! Что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один... И разбитое зеркало...

Звездообразная трещина разбитого зеркала как бы прошла через наши души. Какой неожиданный конец!

Оказывается, поэт сам как в горячечном бреду разговаривал со своим двойником, вернее, сам с собой.

Действительно, у него имелся цилиндр, привезенный из-за границы, и черная накидка на белой шелковой подкладке, наряд, в котором парижские щеголи некогда ходили на спектакли-гала в Гранд-Опера.

Однажды в первые дни нашей дружбы королевич появился в таком плаще и цилиндре, и мы шныряли всю ночь по знакомым, а потом по бульварам, пугая редких прохожих и извозчиков.

Особенно испугался один дряхлый ночной извозчик на углу Тверского бульвара и Никитских ворот, стоявший, уныло поджидая седоков, возле еще не отремонтированного дома с зияющими провалами выбитых окон и черной копотью над ними — следами ноябрьских дней семнадцатого года.

Теперь там построено новое здание ТАСС.

Извозчик дремал на козлах. Королевич подкрался, вскочил на переднее колесо и заглянул в лицо старика, пощекотав ему бороду. Извозчик проснулся, увидел господина в цилиндре и, вероятно, подумал, что спятил: еще со времен покойного царя-батюшки не видывал он таких седоков.

— Давай, старче, садись на дрожки, а я сяду на козлы и лихо тебя прокачу! Хочешь? — сказал королевич.

— Ты что! Не замай! — крикнул в испуге извозчик. — Не хватай вожжи! Ишь фулиган! Позову милицию, — прибавил он, не на шутку рассердившись.

Но королевич вдруг улыбнулся прямо в бородатое лицо извозчика такой доброй, ласковой и озорной улыбкой, его детское личико под черной трубой шелкового цилиндра осветилось таким простодушием, что извозчик вдруг и сам засмеялся всем своим беззубым ртом, потому что королевич совсем по-ребячьи показал ему язык, после чего они — королевич и извозчик — трижды поцеловались, как на пасху.

И мы еще долго слышали за собой бормотание извозчика не то укоризненное, не то поощрительное, перемежающееся дребезжающим смехом.

Это были золотые денечки нашей легкой дружбы. Тогда он еще был похож на вербного херувима.

Теперь перед нами стоял все тот же кудрявый, голу-

боглазый знаменитый поэт, и на лице его лежала тень мрачного вдохновения.

Мы обмыли новую поэму, то есть выпили водки и закусили копченой рыбой. Но расстаться на этом казалось невозможным. Королевич еще раз прочитал «Черного человека», и мы отправились все вместе по знакомым и незнакомым, где поэт снова и снова читал «Черного человека», пил не закусывая; наслаждаясь успехом, который имела его новая поэма.

Успех был небывалый. Второе рождение поэта.

Конечно, я не смог не потащить королевича к ключику, куда мы явились уже глубокой ночью.

Ключик с женой жили в одной квартире вместе со старшим из будущих авторов «Двенадцати стульев» (другом, не братом!) и его женой, красавицей художницей родом из нашего города.

Появление среди ночи знаменитого поэта произвело переполох. До сих пор, кажется, никто из моих друзей не видел живого королевича. Дамы наскоро оделись, напудрились, взбили волосы. Ключик и друг натянули штаны. Все собрались в общей комнате, наиболее приличной в этой запущенной квартире в одном из глухих переулков в районе Сретенских ворот.

В пятый или шестой раз я слушал «Черного человека», с каждым разом он нравился мне все больше и больше. Уже совсем захмелевший королевич читал свою поэму, еле держась на ногах, делая длинные паузы, испуганно озираясь и выкрикивая излишне громко отдельные строчки, а другие — еле слышным шепотом.

Кончилось это внезапной дракой королевича с его провинциальным поклонником, который опять появился и сопровождал королевича повсюду, как верный пес. Их стали разнимать. Женщины схватились за виски. Королевич сломал этажерку, с которой посыпались книги, разбилась какая-то вазочка. Его пытались успокоить, но он был уже невменяем.

Его навязчивой идеей в такой стадии опьянения было стремление немедленно мчаться куда-то в ночь, к Зинке, и бить ей морду.

«Зинка» была его первая любовь, его бывшая жена, родившая ему двоих детей и потом ушедшая от него к знаменитому режиссеру.

Королевич никогда не мог с этим смириться, хотя прошло уже порядочно времени. Я думаю, это и была та сердечная незаживающая рана, которая, по моему глубокому убеждению, как я уже говорил, лежала в основе творчества каждого таланта.

У Командора тоже:

«Вы говорили: «Джек Лондон, деньги, любовь, страсть», — а я одно видел: вы — Джиоконда, которую надо украсть! И украли».

У всех у нас в душе была украденная Джиоконда.

Мы с трудом вывели королевича из разгромленной квартиры на темный Сретенский бульвар с полуоблетевшими деревьями, уговаривая его успокоиться, но он продолжал бушевать.

Осипшим голосом он пытался кричать:

— И этот подонок... это ничтожество... жалкий актриска... паршивый Треплев... трепло. Он вполз как змея в мою семью... изображал из себя нищего гения... Я его, подлеца, кормил, поил... Он как собака спал у нас под столом... как последний шелудивый пес... И увел от меня Зинку... Потихоньку, как вор... и забрал моих детей... Нет!.. К черту!.. Идем сейчас же все вместе бить ей морду!..

Несмотря на все уговоры, он вдруг вырвался из наших рук, ринулся прочь и исчез в осенней тьме бульвара «бить морду Зинке».

Мы остались втроем: соратник, ключик и я. Мы поняли, что королевича уже ничто не спасет: он погибнет от белой горячки или однажды, сам не сознавая, что он делает, повесится, о чем он часто говорил во хмелю.

Что мы могли поделать? Это был рок. Проклятие.

Королевич был любимцем правительства. Его лечили. Делали все возможное. Отправляли неоднократно в санатории. Его берегли как национальную ценность. Но он отовсюду вырывался.

— Вот Командор другое дело. Командор никогда... — сказал соратник. — У Командора совсем другой характер. Он настоящий человек, строитель нового мира... революционер...

Мы согласились: Командор никогда не...

Но почему же соратник, ближайший друг Командора, комфут, вдруг ни с того ни с сего каким-то таинственным образом противопоставил судьбы этих двух, таких разных, гениев?

Думаю, что подсознательно он уже и тогда предвидел конец Командора, его самоуничтожение. Ведь Командор много раз говорил об этом в своих стихах, но почему-то никто не придавал этому значения.

Ключик молчал. Я понял его молчание среди этой темной московской ночи на бульваре: его сердце тоже терзал незаживающий рубец любви и измены.

Я вспомнил, как *тогда* он приехал из Харькова в Москву ко мне в Мыльников переулок. Он был прилично одет, выбрит, его голова, вымытая шампунем в парикмахерской, придавала ему решительность, независимость. Это уже не был милый дружок, а мужчина с твердым подбородком, однако я чувствовал, что в нем горит все та же сердечная рана. Один из первых вопросов, заданных мне, был вопрос, виделся ли я уже с дружочком и где она поселилась с колченогим.

Я рассказал ему все, что знал.

Он нахмурился, как бы прикусив польский ус, которого у него не было, что еще больше усилило его сходство с отцом.

Несколько дней он занимался устройством своих дел, а потом вдруг вернулся к мысли о дружочке. Я понял, что он не примирился с потерей и собирается бороться за свое счастье.

Однажды, пропадая где-то весь день, он вернулся поздно ночью и сказал:

— Я несколько часов простоял возле их дома. Окно в третьем этаже было освещено. Оранжевый мещанский абажур. Наконец я увидел ее профиль, поднятую руку, метнулись волосы. Ее силуэт обращался к кому-то невидимому. Она разговаривала со злым духом. Я не удержался и позвал ее. Она подошла к окну и опустила штору. Я могу поручиться, что в этот миг она побледнела. Я еще постоял некоторое время под уличным фонарем, и моя тень корчилась на тротуаре. Но штора по-прежнему висела не шевелясь. Я ушел. По крайней мере, я теперь знаю, где они живут. Что-то в этой сцене было от Мериме,— не удержался ключик от литературной реминисценции.

— Мы ее должны украсть.

Таким образом, было решено второе, после Мака, похищение дружочка. Но на этот раз я не рискнул идти в логово колченогого: слишком это был опасный противник, не то что Мак. Не говоря уж о том, что он считался намного выше нас как поэт, над которым незримо витала зловеющая тень Гумилева, некогда охотившегося вместе с колченогим в экваториальной Африке на львов и носорогов, не говоря уж о его таинственной судьбе, заставлявшей предполагать самое ужасное, он являлся нашим руководителем, идеологом, человеком, от которого, в конце концов, во многом зависела наша судьба. Переведенный из столицы Украины в Москву, он стал еще на одну ступень выше и продолжал неуклонно подниматься по административной лестнице. В этом отношении по сравнению с ним мы были пигмеи. В нем угадывался демонический характер.

Однако по твердому, скульптурному подбородку ключика я понял, что он решил вступить в борьбу с великаном.

Ключик стоял посередине комнаты в Мыльниковом переулке, расставив ноги в новых брюках, недавно купленных в Харькове, в позе маленького Давида перед огромным Голиафом. Он великодушно отказался от моей помощи и решил действовать самостоятельно. Он надолго исчезал из дому, вел таинственные переговоры по телефону, часто посещал парикмахерскую, изредка даже гладил брюки утюгом на моем письменном столе, любовался на себя в зеркале, и в конце концов однажды у нас в комнате появилась наша Манон Леско.

Она была по-прежнему хорошенькая, смешливая, нарядно одетая, пахнувшая духами «Лориган» Коти, которые продавались в маленьких пробирочках прямо с рук московскими потаскушками, обосновавшимися на тротуаре возле входа в универсальный магазин, не утративший еще своего дореволюционного названия «Мюр и Мерилиз».

Если раньше дружочек имела вид совсем молоденькой девушки, то теперь в ней проглядывало нечто дамское, правда еще не слишком явственно. Такими обычно выглядят бедные красавицы, недавно вышедшие замуж за богатого, еще не освоившиеся с новым положением, но уже научившиеся носить дамские аксессуары: перчатки, сумочку, кружевной зонтик, вуалетку.

Она нежно, даже, кажется, со слезами на глазах, слов-

но бы вырвавшись из плена, целовала своего вновь обретенного ключика, ерошила ему шевелюру, обнимала, называла дружком и слоником и заливалась странным смехом.

Что касается колченогого, то о нем как бы по молчаливому уговору не упоминалось.

Вместе с дружочком к нам вернулась наша бродячая молодость, когда мы на случайных квартирах при свете коптилки читали только что вышедшее «Все сочиненное» Командора — один из первых стихотворных сборников, выпущенных молодым Советским государством на плохой, тонкой, почти туалетной бумаге.

Боже мой, как мы тогда упивались этими стихами с их гиперболизмом, метафоричностью, необыкновенными составными рифмами, разорванными строчками и сумасшедшими ритмами революции.

«Дней бык пег. Медленна лет арба. Наш бог бег. Сердце наше барабан».

Мы выучили наизусть «Левый марш» с его

«Левой! Левой! Левой!»

Мы хором читали:

«Сто пятьдесят миллионов мастера этой поэмы имя. Пуля — ритм. Рифма — огонь из здания в здание. Сто пятьдесят миллионов говорят губами моими. Ротационкой шагов в булыжном верже площадей напечатано это издание».

Нас восхищало как нечто невообразимо прекрасное, неслыханное:

«Выйдь не из звездного нежного ложа, боже железный, огненный боже, боже не Марсов, Нептунов и Вег, боже из мяса, бог-человек!..»

«...пули погуце по оробелым! В гуцу бегущим грянь, парабеллум»...

Среди странной, враждебной нам стихии нэпа, бушующего в Москве, в комнате на Мыльниковом переулке на один миг мы как бы вернулись в забытый нами мир

отгремевшей революции. Как будто бы жизнь начиналась снова. И снова вокруг нас шли по черным ветвям мертвых деревьев тайные соки, обещавшие вечную весну.

...Именно в этот миг кто-то постучал в окно.

Стук был такой, как будто постучали костяшками мертвой руки.

Мы обернулись и увидели верхнюю часть фигуры колченогого, уже шедшего мимо окон своей ныряющей походкой, как бы выбрасывая вперед бедро. Соломенная шляпа-канотье на затылке. Профиль красивого мертвеца. Длинное белое лицо.

Ход к нам вел через ворота. Мы ждали звонка. Дружочек прижалась к ключику. Однако звонка не последовало.

— Непонятно, — сказал ключик.

— Вполне понятно, — оживленно ответила дружочек. — Я его хорошо изучила. Он стесняется войти и теперь, наверное, сидит где-нибудь во дворе и ждет, чтобы я к нему выскочила.

— Ни в коем случае! — резко сказал ключик.

Но надо же было что-то делать. Я вышел во двор и увидел два бетонных звена канализационных труб, приготовленных для ремонта, видимо, еще с дореволюционных лет. Одно звено стояло. Другое лежало. Оба уже немного ушли в землю, поросшую той травкой московских дворишков с протоптанными тропинками, которую так любили изображать на своих небольших полотнах московские пейзажисты-передвижники.

...Несколько тополей. Почерневший от времени, порванный веревочный гамак висел перед желтым флигелем. Он свидетельствовал о мучительно длинной череде многолетних затяжных дождей. Но теперь сквозь желтоватые листья кленов светило грустное солнце, и весь этот старомосковский поленовский дворик, сохранившийся на задах нашего многоэтажного доходного дома, служил странным фоном для изломанной фигуры колченогого, сидевшего на одном из двух бетонных звеньев.

Нечто сюрреалистическое.

Он сидел понуро, выставив вперед свою искалеченную, плохо сгибающуюся ногу в щегольском желтом полуботинке от Зеленкина.

Вообще он был хорошо и даже щеголевато одет в стиле крупного администратора того времени. Кульпяпкой обрубленной руки, видневшейся в глубине рукава, он прижимал к груди свое канотье, в другой же руке, бессильно повисшей над травой, держал увесистый комиссарский наган-самовзвод. Его наголо обритая голова, шафранно-желтая, как дыня, с шишкой, блестела от пота, а глаза были раскосо опущены. Узкий рот иезуитски кривился, и вообще в его как бы вдруг еще более постаревшем лице чудилось нечто католическое, может быть униатское, и вместе с тем украинское, мелкопоместное.

Он поднял на меня потухший взор и, назвав меня официально по имени-отчеству, то и дело заикаясь, попросил передать дружочку, которую тоже назвал как-то церемонно по имени-отчеству, что если она немедленно не покинет ключика, названного тоже весьма учтиво по имени-отчеству, то он здесь же у нас во дворе выстрелит себе в висок из нагана.

Пока он все это говорил, за высокой каменной стеной заиграла дряхлая шарманка, доживавшая свои последние дни, а потом раздались петушьи крики петрушки.

Щемящие звуки уходящего старого мира. Вероятно, они извлекали из глубины сознания колченогого его стихи:

«Жизнь моя, как летопись, загублена, киноварь не вьется по письму. Ну, скажи: не знаешь, почему мне рука вторая не отрублена?»

«Ну застрелюсь, и это очень просто»...

Колченогий был страшен, как оборотень.

Я вернулся в комнату, где меня ждали ключик и дружочек. Я сообщил им о том, что видел и слышал. Дружочек побледнела:

— Он это делает. Я его слишком хорошо знаю.

Ключик помрачнел, опустил на грудь крупную голову с каменным подбородком. Однако его реакция на мой рассказ оказалась гораздо проще, чем я ожидал.

— Господа,— рассудительно сказал он, скрестив понаполеоновски руки,— что-то надо предпринять. Труп самоубийцы у нас во дворе. Вы представляете последствия?

Ответственный работник стреляется почти на наших глазах! Следствие. Допросы. Прокуратура. В лучшем случае общественность заклеит нас позором, а в худшем... даже страшно подумать! Нет, нет! Пока не поздно, надо что-то предпринять.

А что можно было предпринять?

Через некоторое время после коротких переговоров, которые с колченогим вел я, дружок с слезами на глазах протиснулась с ключиком, и, выглянув в окно, мы увидели, как она, взяв под руку ковыляющего колченогого, удаляется в перспективу нашего почему-то всегда пустынного переулка.

Было понятно, что это уже навсегда.

Кровавый конец колченогого отдалился на неопределенный срок. Но все равно — он был обречен: недаром так мучительно-сумбурными могли показаться его пророческие стихи.

Окончательный разрыв с дружочком ключик наружно перенес легко и просто. Он даже как бы несколько помолодел, будто для него началась вторая юность.

Но наши отношения с колченогим и дружочком, как это ни странно, ничуть не изменились. Мы по-прежнему были дружны и часто встречались.

Мы с ключиком были неразлучны до тех пор, пока он не женился. Но и его женитьба ничего не изменила. Мы были оба внутренне одиноки, оба со шрамами от первой неудачной любви.

Но никто этого не замечал.

Последние годы Мыльникового переулка, о котором я еще расскажу более обстоятельно, оставили в моей душе навсегда неизгладимый след, как первая любовь.

Чистые пруды. Цветущие липы. Кондитерская Бартельса в большом пряничном доме стиля модерн-рюс на углу Покровки, недалеко от аптеки, сохранившейся с петровского времени. Кинотеатр «Волшебные грезы», куда мы ходили смотреть ковбойские картины, мелькающие ресницы Мери Пикфорд, развороченную походку Чарли Чаплина в тесном сюртучке, морские маневры — окутанные дымом американские дредноуты с мачтами, решетчатыми, как Эйфелева башня...

А позади бывшая гренадерская казарма, где в восемнадцатом году восставшие левые эсеры захватили в плен Дзержинского.

В том же доме, где помещались «Волшебные грезы», горевшие по ночам разноцветными электрическими лампочками, находилось и то прекрасное, что называлось у нас с легкой руки ключика на ломаном французском языке «экутэ ле богемьен», что должно было означать «слушать цыган».

Пока из окон «Волшебных грез» долетали звуки фортепьянного галопа, крашенные двери пивной то и дело визжали на блоке, оттуда на морозный воздух вылетали облака пара, и фигуры в драповых пальто с каракулевыми воротниками то и дело по двое, по трое бочком спасались от снежных вихрей там, где на помосте уже рассаживался пестрый цыганский хор.

Мы с ключиком в надвинутых на глаза кепках, покрытых снегом, входили в эту второразрядную пивнушку, чувствуя себя по меньшей мере гусарами, примчавшимися на тройке к «Яру» слушать цыган.

Стоит ли описывать после Льва Толстого цыганские песни, надрывавшие души не одного поколения русских людей? Стоит ли описывать ночную метель — от неба до земли, — раскачиванье предутренних фонарей, отчего вся улица ныряла, как сорвавшийся с якоря корабль, и тени убежавших от нас цыганок с узелками под мышкой, в которых они несли своим детям-цыганятам в Петровский парк еду, полученную в трактире?

Бесплодная погоня за неземной, выдуманной цыганской любовью.

Единственно, что стоит вспомнить, это слова ключика по поводу одной старой-престарой, но могучей цыганки, сидевшей как идол в первом ряду хора, посередине, с длинными буклями по сторонам грубого мужского лица. Видимо, она была хозяйкой и повелительницей хора. Не что вроде пчелиной матки.

— Ты знаешь, на кого она похожа? — спросил ключик.

— На кого?

Он сделал длинную паузу, во время которой несколько раз окунул подбородок в пивную пену, и наконец торжественно провозгласил:

— Она похожа на Джонатана Свифта!

Слово «Свифт» его не удовлетворяло. Ему непременно надо было произнести эффектное — Джонатан.

Однажды в присутствии Командора ключик не удержался и произнес с пафосом:

— Протуберанец!

Командор слегка поморщился, вокруг его рта появились складки, и он сказал:

— Послушайте, ключик, а вы не могли бы выразаться менее помпезно?

Ключик стал обидчиво объяснять, что слово «протуберанец» вполне научное и обозначает астрономическое явление, связанное со структурой солнечной короны, на что Командор только безнадежно махнул рукой.

«...ночью снежной и мятежной чей-то струнный перебор» — и тени саней, летящих к «Яру», и звон колокольчика, и шорох крупных бубенцов...

...Так мы некоторое время и жили с ключиком...

Но не думайте, что я описываю двух бездельников, оторванных от жизни, от революции. Это совсем не так. Мы много и усердно работали в газете «Гудок», предназначенной для рабочих-железнодорожников.

По странному стечению обстоятельств в «Гудке» собралась компания молодых литераторов, которые впоследствии стали, смею сказать, знаменитыми писателями, авторами таких произведений, как «Белая гвардия», «Дни Турбиных», «Три толстяка», «Зависть», «Двенадцать стульев», «Роковые яйца», «Дьяволиада», «Растратчики», «Мастер и Маргарита» и много, много других. Эти книги писались по вечерам и по ночам, в то время как днем авторы их сидели за столами в редакционной комнате и быстро строчили на полосках газетного срыва статьи, заметки, маленькие фельетоны, стихи, политические памфлеты, обрабатывали читательские письма и, наконец, составляли счета за проделанную работу.

Каждый такой счет должна была подписать заведующая финансовым отделом, старая большевичка из ленинской гвардии еще времен «Искры».

Эта толстая пожилая дама в вязаной кофте с оторванной нижней пуговицей, с добрым, но измученным финансовыми заботами лицом и юмористической, почти гоголевской фамилией — не буду ее здесь упоминать — брала счет, пристально его рассматривала и чесала поседевшую голову кончиком ручки, причем глаза ее делались груст-

ными, как у жертвенного животного, назначенного на заклание.

— Неужели все это вы умудрились настрочить за одну неделю? — спрашивала она, и в этой фразе как бы слышался осторожный вопрос: не приписали ли вы в своем счете что-нибудь лишнего?

Затем она тяжело вздыхала, отчего ее обширная грудь еще больше надувалась, и, обтерев перо о юбку, макала его в чернильницу и писала на счете сбоку слово «выдать».

Автор брал счет и собирался поскорее покинуть кабинет, но она останавливала его и добрым голосом огорченной матери спрашивала:

— Послушайте, ну на что вам столько денег? Куда вы их девааете?

Эти, в сущности, скромные выплаты казались ей громадными суммами.

Куда вы их девааете?

Могли ли мы с ключиком ответить на ее вопрос? Она бы ужаснулась. Ведь мы были одиноки, холосты, вокруг нас бушевал нэп... Наконец, «экута ле богемьен» — это ведь было не даром!

Мы молчали.

Она огорченно махала рукой. В самом деле, что она могла о нас подумать? Беспартийные, без роду без племени, неизвестно откуда взявшиеся, сомнительно одетые, с развязными манерами газетной богемы... Правда, не лишённые литературного таланта... И этим-то, в общем, подозрительным личностям приходилось выдавать святыне партийные деньги.

Она так привыкла к понятию «партийная касса», что всякие деньги считала партийными и отдавать их на сторону считала чуть ли не преступлением перед революцией.

Подписывая наши счета, она как бы делала вынужденную уступку новой экономической политике. С волками жить — по-волчьи выть. Ее можно было понять.

Ключик зарабатывал больше нас всех. Он вообще родился под счастливой звездой. Его все любили.

— Что вы умеете? — спросили его, когда он, приехав из Харькова в Москву, пришел наниматься в «Гудок».

— А что вам надо?

— Нам надо стихи на железнодорожные темы.

— Пожалуйста.

Получив материал о беспорядках на каком-то железнодорожном разъезде, ключик, как был в расстегнутом пальто, сел за редакционный стол, бросил кепку под стул и через пятнадцать минут вручил секретарю редакции требуемые стихи, написанные его крупным, разборчивым, круглым почерком.

Секретарь прочел и удивился — как гладко, складно, а главное, вполне на тему и политически грамотно!

После этого возник вопрос: как стихи подписать?

— Подпишите как хотите, хотя бы «А. Пушкин», — сказал ключик, — я не тщеславный.

— У нас есть ходовой, дежурный псевдоним Зубило, под которым мы пускаем материалы разных авторов. Не возражаете?

— Валяйте.

Через месяц ходовой редакционный псевдоним прогремел по всем железнодорожным линиям, и Зубило стал уже не серым анонимом, а одним из самых популярных пролетарских сатирических поэтов, едва ли не затмив славу Демьяна Бедного.

Ключик-Зубило оказался бесценной находкой для «Гудка».

Синеглазый и я со своими маленькими фельетонами на внутренние и международные темы потонули в сиянии славы Зубилы. Как мы ни старались, придумывая для себя броские псевдонимы — и Крахмальная Манишка, и Митрофан Горунца, и Оливер Твист, — ничто не могло помочь. Простой, совсем не броский, даже скучный псевдоним Зубило стал в «Гудке» номером первым.

Когда Зубилу необходимо было выехать по командировке на какую-нибудь железнодорожную станцию, ему давали отдельный вагон!

Он часто брал меня с собой на свои триумфальные выступления, приглашая «в собственный вагон», что было для меня, с одной стороны, комфортабельно, но с другой — грызло мое честолюбие.

Ключик-Зубило выступал со своими знаменитыми буриме перед тысячными аудиториями прямо в паровозных депо, имея не меньший успех, чем наш харьковский дурак, некогда сделавший свою служебную карьеру стихами молодого ключика.

Но в «Гудке» произошло еще одно чудо.

В числе молодых, приехавших с юга в Москву за славой, оказался наш общий друг, человек во многих отношениях замечательный. Он был до кончиков ногтей продуктом западной, главным образом французской культуры, ее новейшего искусства — живописи, скульптуры, поэзии. Каким-то образом ему уже был известен Аполлинер, о котором мы (даже птицелов) еще не имели понятия. Во всем его облике было нечто неистребимо западное. Он одевался как все мы: во что бог послал. И тем не менее он явно выделялся. Даже самая обыкновенная рыночная кепка приобретала на его голове парижский вид, а пенсне без ободков, сидящее на его странном носу и как бы скептически поблескивающее, его негритянского склада губы с небольшой черничной пигментацией были настолько космополитичны, что воспринять его как простого советского гражданина казалось очень трудным. Между тем среди всех нас, одержимых духом революции, он, быть может, был наиболее революционно-советским.

Он дружил с наследником (так мы назовем одного из нашей литературной компании), который и привел его к нам в агитотдел ОДУКРОСТы, а потом и в так называемый коллектив поэтов, где он (назовем его просто друг), хотя большей частью и молчаливо, но весьма неравнодушно, принимал участие в наших литературных спорах.

Мы полюбили его, но никак не могли определить, кто же он такой: поэт, прозаик, памфлетист, сатирик? Тогда еще не существовало понятия эссеист.

Во всяком случае, было ясно, что он принадлежит к левым, даже, может быть, к кубо-футуристам. Нечто маяковское всегда витало над ним. В нем чувствовался острый критический ум, тонкий вкус, и втайне мы его побаивались, хотя свои язвительные суждения он высказывал чрезвычайно редко, в форме коротких замечаний «с места», всегда очень верных, оригинальных и зачастую убийственных. Ему был свойствен афористический стиль.

Однажды, сдавшись на наши просьбы, он прочитал несколько своих опусов. Как мы и предполагали, это было нечто среднее между белыми стихами, ритмической прозой, пейзажной импрессионистической словесной живописью и небольшими философскими отступлениями. В общем, нечто весьма своеобразное, ни на что не похожее, но

очень пластическое и впечатляющее, ничего общего не имеющее с упражнениями провинциальных декадентов.

Сейчас, через много лет, мне трудно воспроизвести по памяти хотя бы один из его опусов. Помню только что-то, где по ярко-зеленому лугу бежали красные кентавры, как бы написанные Матиссом, и молнии ложились на темном горизонте, и это была вечная весна или нечто подобное...

Можете себе представить, каких трудов стоило устроить его на работу в Москве. О печатании его произведений, конечно, не могло быть и речи. Пришлось порядочно повозиться, прежде чем мне не пришла на первый взгляд безумная идея поведи его наниматься в «Гудок».

— А что он умеет? — спросил ответственный секретарь.

— Все и ничего, — сказал я.

— Для железнодорожной газеты это маловато, — ответил ответственный секретарь, легендарный Август Потоцкий, последний из рода польских графов Потоцких, подобно Феликсу Дзержинскому примкнувший к революционному движению, старый большевик, политкаторжанин, совесть революции, на вид грозный, с наголо обритой, круглой, как ядро, головой и со сложением борца-тяжеловеса, но в душе нежный добряк, преданный товарищ и друг всей нашей компании. — Вы меня великодушно извините, — обратился он к другу, которого я привел к нему, — но как у вас насчет правописания? Умеете вы изложить свою мысль грамотно?

Лицо друга покрылось пятнами. Он был очень самолюбив. Но он сдержался и ответил, прищурившись:

— В принципе пишу без грамматических ошибок.

— Тогда мы берем вас правщиком, — сказал Август.

Быть правщиком значило приводить в годный для печати вид поступающие в редакцию малограмотные и страшно длинные письма рабочих-железнодорожников.

Правщики стояли на самой низшей ступени редакционной иерархии. Их материалы печатались петитом на последней странице, на так называемой четвертой полосе; дальше уже, кажется, шли расписания поездов и похоронные объявления.

Другу вручили пачку писем, вкривь и вкось исписанных чернильным карандашом. Друг отнесся к этим неразборчивым каракулям чрезвычайно серьезно. Он уважал

рабочий класс, невинный в своей безграмотности — наследии дореволюционного прошлого.

Обычно правщики ограничивались исправлением грамматических ошибок и сокращениями, придавая письму незатейливую форму небольшой газетной статейки.

Друг же поступил иначе. Вылуцив из письма самую суть, он создал совершенно новую газетную форму — нечто вроде прозаической эпиграммы размером не более десяти — пятнадцати строчек в две колонки. Но зато каких строчек! Они были просты, доходчивы, афористичны и в то же время изысканно изящны, а главное, насыщены таким юмором, что буквально через несколько дней четвертая полоса, которую до сих пор никто не читал, вдруг сделалась самой любимой и заметной.

Другие правщики сразу же в меру своих дарований восприняли блестящий стиль друга и стали ему подражать. Таким образом, возникла совершенно новая школа обработчиков, перешедшая на более высшую ступень газетной иерархии.

Это была маленькая газетная революция.

Старые газетчики долго вспоминали невозвратно далекие золотые дни знаменитой четвертой полосы «Гудка».

Создатель же этого новаторского газетного стиля так и остался в этой области неизвестным, хотя через несколько лет в соавторстве с моим братишкой снискал мировую известность, о чем своевременно и будет рассказано.

Пока же мне не хочется расставаться с ключиком, с Мыльниковым переулком, с его особым поэтическим миром, где наши свободные мнения могли не совпадать с общепринятыми, где для нас не существовало авторитетов и мы независимо судили об исторических событиях, а о великих людях просто как о соседях по квартире.

О Льве Толстом и Наполеоне судили строго, но справедливо, не делая скидок на всемирную славу. Некоторых из великих мы совсем не признавали. Много читали. Кое-чем чрезмерно восхищались. Кое-что напрочь отвергали. Словом, позволяли себе «колебать мировые струны».

Вокруг нас бушевали политические страсти. Буржуазный мир еще не мог смириться с победой Октябрьской революции. Волны ненависти катились на нас с Запада.

Советская власть с каждым днем мужала, но ей все еще приходилось преодолевать множество препятствий.

Сегодня трудно себе представить, но в стране была безработица и в Москве работала Биржа труда. Среди бурь и потрясений рождалось могучее государство рабочих и крестьян. Появились новые формы общественного сознания, производственных отношений.

Эпоха Великого Поиска.

Все несло на себе печать новизны.

Новый кинематограф. Новый театр. Новая поэзия. Новая проза. Новая живопись.

Новые имена гремели вокруг нас. Новые поэмы. Новые фильмы. Новая техника.

Появились первые радиоаппараты — самодельные ящики с детекторными приемниками, и, надев на голову наушники, можно было слышать муравьиную возню неразборчивой человеческой речи на разных языках и слабую музыку, бог весть откуда доносившуюся из мирового эфира в наш Мыльников переулочек.

Но все это как бы не имело к нам отношения.

Мы были неизвестны среди громких имен молодого искусства. Мы еще не созрели для славы. Мы еще были бутоны. Аполлон еще не требовал нас к священной жертве. Мы только еще разминали пластический материал своих будущих сочинений. А то, что было написано нами раньше, преждевременно умирало, едва успев родиться. Однако это нас несколько не огорчало.

Может быть, этим и восхищался Брунсвик...

Мы были в курсе всех событий. Мы шагали мимо Дома Союзов, где в Колонном зале проходили политические процессы. Мы читали дискуссионные листы газет, разворачивая их прямо на улице, и ветер вырывал их у нас из рук, надувая, как паруса.

Мы посещали знаменитую первую Сельскохозяйственную выставку в Нескучном саду, где толпы крестьян, колхозников и единоличников, из всех союзных республик в своих национальных одеждах, в тубетейках и папахах, оставя павильоны и загоны с баснословными свиньями, быками, двугорбыми верблюдами, от которых исходила целебная вонь скотных дворов, толпились на берегу раз-

украшенной Москвы-реки, восхищаясь маленьким дюралевым «юнкерсом» на водяных лыжах, который то поднимался в воздух, делая круги над пестрым табором выставки, то садился на воду, бегущую синей рябью под дряхлым Крымским мостом на том месте, где ныне мы привыкли видеть стальной висячий мост с натянутыми струнами креплений.

«И чего глазеет люд? Эка невидаль — верблюд! Я на «юнкерсе» катался, да и то не удивлялся».

Именно к этому периоду нашего творческого бездействия, изнурительно-медленного созревания гражданского самосознания мне бы хотелось отнести те отрывочные воспоминания о ключике на пороге его зрелости, о его оригинальном мышлении, о его совершенно невероятных метафорах, секрет которых ныне утрачен, как утрачен секрет химического состава неповторимых красок мастеров старинной итальянской живописи, и по сей день не потерявшей своей светящейся свежести.

Вероятно, здесь мы имеем дело с физиологическим феноменом: особым устройством механизма запоминания в мозговых клетках ключика, странным образом соединенного с механизмом ассоциативных связей.

Метафора — это, в общем, довольно банальная форма поэтической речи. Кто из писателей не пользовался метафорой! Но метафоры ключика отличаются такой невероятной ассоциативной сложностью, которая уже не в состоянии выдержать собственной сложности и доходит до примитивной, почти кухонной простоты.

В жизни он был так же метафоричен, как в своих произведениях.

Уже тяжело больной, на пороге смерти он сказал врачам, переворачивавшим его на другой бок:

— Вы переворачиваете меня, *как лодку*.

Кажется, это было последнее слово, произнесенное им коснеющим языком.

Быть может, самая его блестящая и нигде не опубликованная метафора родилась как бы совсем случайно и по самому пустому поводу:

у нас, как у всяких холостяков, завелись две подружки-мещаночки в районе Садовой-Триумфальной, может быть в районе Миусской площади. Одна чуть повыше, другая чуть пониже, но совершенно одинаково одетые в белые батистовые платица с кружевами, в белых носочках и в белых шляпках с кружевными полями. Одна была «моя», другая — «его».

Мы чудно проводили с ними время, что, признаться, несколько смягчало горечь наших прежних любовных неудач.

Наши юные подружки были малоразговорчивы, ненавязчиво нежны, нетребовательны, уступчивы и не раздражали нас покушениями на более глубокое чувство, о существовании которого, возможно, даже и не подозревали.

Иногда они приходили к нам в Мыльников переулок, никогда не опаздывая, и ровно в назначенный час обе появлялись в начале переулка — беленькие и нарядные.

(Вот видите, сколько мне пришлось потратить слов для того, чтобы дать понятие о наших молоденьких возлюбленных!)

Однако ключик решил эту стилистическую задачу очень просто.

Однажды, посмотрев в окно на садящееся за крыши солнце, он сказал:

— Сейчас придут флаконы.

Так они у нас и оставались на всю жизнь под кодовым названием флаконы, с маленькой буквы.

По-моему, безукоризненно!

Одно только слово — и все совершенно ясно, вся, так сказать, картина.

На этом можно и остановиться.

Остальные метафоры ключика общеизвестны:

«Она пропумела мимо меня, как ветка, полная цветов и листьев» — и т. д.

Наконец, неизвестные «голубые глаза огородов».

Поучая меня, как надо заканчивать небольшой рассказ, он сказал:

— Можешь закончить длинным, ни к чему не обязывающим придаточным предложением, но так, чтобы оно

заканчивалось пейзажной метафорой, нечто вроде того, что, идя по мокрой от недавнего ливня земле, он думал о своей погибшей молодости, и на него печально смотрели голубые глаза огородов. Непременно эти три волшебных слова как заключительный аккорд. «Голубые глаза огородов». Эта концовка спасет любую чушь, которую ты напишешь.

Он подарил мне эту гениальную метафору, достойную известного пейзажа Ван Гога, но до сих пор я еще не нашел места, куда бы ее приткнуть.

Боюсь, что она так и останется как неприкаянная. Но ведь она уже и так, одна, сама по себе произведение искусства и никакого рассказа для нее не надо.

Что же касается классической ветки, полной цветов и листьев, то она нашла место в одном из самых популярных сочинений ключика. Эта прошумевшая ветка, полная цветов и листьев, вероятнее всего ветка белой акации («...белой акации гроздь душистые вновь аромата полны»), была той неизлечимой душевной болью, которую ключик пронес через всю свою жизнь после измены дружочка, подобно Командору, у которого украли его Джоиконду еще во времена «Облака в штанах».

...тщетные поиски навсегда утраченной первой любви, попытки как-то ее воскресить, найти ей замену...

Конечно, этой заменой не могли стать для нас флаконы, так же незаметно исчезнувшие, как и появившиеся, не оставив после себя никакого следа, даже запаха.

Боже мой, сколько еще потом появлялось и исчезало подобных флаконов, получавших, конечно, другие кодовые названия, изобретенные ключиком вместе со мной в Мыльниковом переулке.

Так как это мое сочинение — или, вернее, лекция — не имеет ни определенной формы, ни хронологической структуры, которую я не признаю, а является продуктом мовизма, придуманного мною в счастливую минуту, то я считаю вполне естественным рассказать в этом месте обо всех изобретенных нами кодовых названиях, облегчавших нам определение разных знакомых женских типов.

Но прежде хочется привести кусочек из письма Пушкина Вяземскому 1823 года из Одессы в Москву. Может быть, это прольет некоторый свет на мовизм, а также на

литературный стиль моих сочинений последних десяти-летий.

Вот что писал Пушкин:

«...я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке утонченности. Грубость и простота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе...»

Ломаю эту привычку. Итак:

высший тип женщины — небожительница: красавица, по преимуществу блондинка с бриллиантами в ушах, нежных, как розовый лепесток, в длинном вечернем платье с оголенной спиной, стройная, длинноногая, в серебряных туфельках, накрашенная, напудренная, поражающая длинной загнутых ресниц, за решеткой которых наркотически блестят глаза, благоухающая духами Коти, даже Герлена, — на узкой руке с малиновыми ноготками золотые часики, осыпанные алмазами, в сумочке пудреница с зеркальцем и пуховка. Продукт нэпа. Она неприкосновенна и недоступна для нашего брата. Ее можно видеть в «Метрополе» вечером. Она танцует танго, фокстрот или тустеп с одним из своих богатых поклонников вокруг ресторанного бассейна, где при свете разноцветных электрических лампочек плавают как бы написанные Матиссом золотые рыбки, плещет небольшой фонтанчик. Богиня, сошедшая с неба на землю лишь для того, чтобы люди не забывали о существовании мимолетных видений и гениев чистой красоты. В начале вечера она недоступна и холодна, как мрамор, а в конце нечаянно напивается, падает в бассейн, а два ее кавалера в смокингах с помощью метрдотеля, тоже в смокинге, под руки волокут ее к выходу, причем она хохочет, рыдает, с ее ресниц течет черная краска и шлейф крепдешинового платья оставляет на паркете длинный след, как от мокрого веника.

Следом за небожительницей в ранге красавиц идет хорошенькая девушка более современного полуспортивного типа, в кофточке джерси с короткими рукавами, с ямочками на щеках и на локотках, чаще всего азартная любительница пинг-понга, имеющая у нас кодовое название «Ай дабль-даблью. Блеск домен. Стоп! Лью!».

(Дань американизму Левого фронта двадцатых годов: из стихов соратника.)

После ай дабль-даблью идет таракуцка (происходит от румынского слова «тартакуца», то есть маленькая высушенная тыквочка, величиной с яблоко, превратившегося у нас в южнорусское слово «таракуцка» — любимая игрушка маленьких деревенских детей). Если ее потрясти, в середине зашуршат высушенные семечки. Таракуцки были наиболее распространенным у нас типом молоденьких, хорошеньких, круглолицых девушек, чаще всего из рабочего класса — продавщиц, вагонных проводниц, работниц заводов и фабрик, наполнивших в часы пик московские улицы. Они были большие модницы, хотя и одевались стандартно: лихо надетые набекрень белые суконные беретики, аккуратные короткие пиджачки на стройных миниатюрных фигурках, нарядный носовой платочек, засунутый в рукав, на плотных ножках туфельки-танкетки, в волосах сбоку пластмассовая заколка. Они были самостоятельны, независимы, улыбчивы; их всегда можно было видеть вечером под светящимися уличными часами, в ожидании свиданья с каким-нибудь красавцем или даже с немолодым советским служащим, улизнувшим от бдительного ока супруги. Их еще называли «фордики» в честь первых такси, недавно появившихся на улицах Москвы. Признаться, из всех видов красавиц они были для нас самые привлекательные, конечно не считая флаконов. Таракуцки были маленькие московские парижанки, столичные штучки, то, что когда-то во Франции называлось «мидинетки», их не портило даже то, что пальчики на руках и ногах у них были как бы не до конца прорезаны, вроде некоторых видов сдобного печенья, надрезанного по краям. Видимо, создавая их, бог очень торопился и не вполне закончил свою работу.

За таракуцками шли женщины неприятные, и среди них самый неприятный тип был холера — тощая, очень чернобровая, с плохими зубами, висящими космами прямых волос и пронзительным индюшачьим голосом. Как ни странно, но бывали случаи, когда небожительница перерождалась в холеру, а холера каким-то образом преображалась в небожительницу, но это случалось крайне редко.

Зато между таракуцками и ай дабль-даблью было больше сходства, и мужчины нередко их путали, что, впрочем, не приносило им особых огорчений.

Был еще более возвышенный и одухотворенный тип холеры, — с пятнами черных глазных впадин и страстно раскинутыми, как бы распятыми руками, как известный барельеф, высеченный на длинной кладбищенской стене.

И, наконец, первый день творенья. Очень молоденькая, рано созревшая, малограмотная, с неразвитой речевой артикуляцией, испуганными глазами на толстом свекловично-багровом лице, каким-то образом, чаще всего случайно, очутившаяся в большом городе и показывающая прохожим листок бумаги, на котором каракулями написан адрес, который она разыскивает. Первый день творенья чаще всего превращалась в няньку (няньки в то время еще не перевелись), в железнодорожную сторожиху, держащую в руке зеленый флажок, но чаще всего поступала на фабрику и с течением времени превращалась в таракуцку.

Были еще какие-то разновидности, открытые мною с ключиком, но я уже о них забыл. Имелись также типы и мужчин, но перечислять их не стоит, так как все они являлись для нас игрой воображения, выходцами из старого мира, заимствованными из дореволюционной классической литературы.

Все это было для нас литературной игрой, вечной тренировкой наблюдательности, в особенности же упражнением в сравнениях.

Однажды мы так заигрались в эту игру в сходства, что ключик, рассердившись не на шутку, закричал:

— Будем считать, что все похоже на все, и кончим это метафорическое мучение!

В чем-то он, конечно, был прав. Но я думаю, что подобного рода игра ума, которой мы занимались чуть ли не с гимназических лет, сослужила нам впоследствии, когда мы стали всерьез писателями, большую службу.

...я чувствовал, что ключик никак не может забыть ту, которая еще так недавно прошумела в его жизни, как ветка, полная цветов и листьев.

Подобно Прусту, искавшему утраченное время, ключик хотел найти и восстановить утраченную любовь. Он смоделировал образ ушедшего от него друга, искал ей замену, его душа находилась в состоянии вечного тайного любовного напряжения, которое ничем не могло разрешиться.

То, что он так упорно искал, оказалось под боком, ря-

дом, в Мыльниковом переулке, почти напротив наших окон.

Моя комната была проходным двором. В ней всегда, кроме нас с ключиком, временно жило множество наших приезжих друзей. Некоторое время жил с нами вечно бездомный и неустроенный художник, брат друга, прозванный за цвет волос рыжим. Друг говорил про него, что когда он идет по улице своей нервной походкой и размахивает руками, то он похож на манифестацию. Вполне допустимое преувеличение.

Так вот этот самый рыжий художник откуда-то достал куклу, изображающую годовалого ребенка, вылепленную совершенно реалистически из папье-маше и одетую в короткое розовое платьице.

Кукла была настолько художественно выполнена, что в двух шагах ее нельзя было отличить от живого ребенка.

Наша комната находилась в первом этаже, и мы часто забавлялись тем, что, открыв окно, сажали нашего годовалого ребенка на подоконник и, дождавшись, когда в переулке появлялся прохожий, делали такое движение, будто наш ребенок вываливается из окна.

Раздавался отчаянный крик прохожего, что и требовалось доказать.

Скоро слава о чудесной кукле распространилась по всему району Чистых прудов. К нашему окну стали подходить любопытные, прося показать искусственного ребенка.

Однажды, когда ключик сидел на подоконнике, к нему подошли две девочки из нашего переулка — уже не девочки, но еще и не девушки, то, что покойный Набоков называл «нимфетки», и одна из них сказала, еще несколько по-детски шепелявя:

— Покажите нам куклу.

Ключик посмотрел на девочку, и ему показалось, что это то самое, что он так мучительно искал. Она не была похожа на дружочка. Но она была ее улучшенным подобием — моложе, свежее, прелестнее, невиннее, а главное, по ее фаянсовому личику не скользила ветреная улыбка изменницы, а личико это было освещено серьезной любознательностью школьницы, быть может совсем и не отличницы, но зато честной и порядочной четверочницы.

Тут же не сходя с места ключик во всеуслышание поклялся, что напишет блистательную детскую книгу-сказку, красивую, роскошно изданную, в коленкоровом пере-

плете, с цветными картинками, а на титульном листе будет напечатано, что книга посвящается...

Он спросил у девочки имя, отчество и фамилию; она добросовестно их сообщила, но, кажется, клятва ключика на нее не произвела особенного впечатления. У нее не была настолько развита фантазия, чтобы представить свое имя напечатанным на роскошной подарочной книге знаменитого писателя. Ведь он совсем еще был не знаменитость, а всего лишь, с ее точки зрения, немолодой симпатичный сосед по переулку, не больше.

Он стал за ней ухаживать как некий добрый дядя, что выражалось в потоке метафорических комплиментов, остроумных замечаний, которые пропадали даром, так как их не могла оценить скромная чистопрудная девочка, едва вышедшая из школьного возраста. Дело дошло до того, что ключик пригласил ее с подругой в упомянутое уже здесь кино «Волшебные грезы» на ленту с Гарри Пилем; девочки получили большое удовольствие, в особенности от того, что ключик купил им мороженое с вафлями, которое они бережливо облизывали со всех сторон во время сеанса.

Одним словом, роман не получился: слишком велика была разница лет и интеллектов. Но обещанную книгу ключик стал писать, рассчитывая, что, пока он ее напишет, пока ее примут в издательстве, пока художник изготовит иллюстрации, пока книга выйдет в свет, пройдет года два или три, а к тому времени девочка созреет, поймет, что он гений, увидит напечатанное посвящение и заменит ему дружочка.

Большая часть расчетов ключика оправдалась. Он написал нарядную сказку с участием девочки-куклы; ее иллюстрировал (по протекции колченогого) один из лучших графиков дореволюционной России, Добужинский, на титульном листе четким шрифтом было отпечатано посвящение, однако девичья фамилия девочки, превратившейся за это время в прелестную девушку, изменилась на фамилию моего младшего брата, приехавшего из провинции и успевшего прижиться в Москве, в том же Мыльниковом переулке.

Он сразу же влюбился в хорошенькую соседку, но не стал ее обольщать словесной шелухой, а начал за ней ухаживать по всем правилам, как заправский жених, имеющий серьезные намерения: он водил ее в театры, рестора-

ны, кафе «Битые сливки» на Петровке за церковкой, которой уже давно не существует и куда водил своих возлюбленных также Командор — очень модное место в Москве, — провожал на извозчике домой, дарил цветы и шоколадные наборы, так что вскоре в моей комнате в Мыльниковом переулке шумно сыграли их свадьбу, на которой ключик, несмотря на то, что изрядно выпил, вел себя вполне корректно, хотя и сделал робкую попытку наскандалить, после чего счастливые молодожены поселились в небольшой квартирке, которую предусмотрительно нанял мой положительный брат.

Вообще в нашей семье он всегда считался положительным, а я отрицательным.

В скором времени мой брат стал знаменитым писателем, так что девочка с Мыльникова переулка ничего не потеряла и была вполне счастлива.

Конечно, вас интересует, каким образом мой брат прославился?

Об этом стоит рассказать подробнее, тем более что мне часто задают вопрос, как создавался роман «Двенадцать стульев», переведенный на все языки мира и неоднократно ставившийся в кино многих стран.

...Я встаю и, отстраняя микрофон, который всегда меня раздражает, начинаю свой рассказ с описания авторов «Двенадцати стульев» — сначала я говорю о друге, а потом о брате:

— Мой брат, месье и медам, был на шесть лет моложе меня, и я хорошо помню, как мама купала его в корыте, пахнущем распаренным липовым деревом, мылом и отрубями. У него были закисшие китайские глазки, и он издавал ротиком жалобные звуки — кувакал, — вследствие чего и получил название «наш кувака».

Затем я говорю студентам о нашей семье, о рано умершей матери и об отце, окончившем с серебряной медалью Новороссийский университет, ученике прославленного византиниста, профессора, академика Кондакова; говорю о нашей семейной приверженности к великой русской литературе и папиному книжному шкафу, где как величайшие ценности хранились двенадцатитомная «История Государства Российского» Карамзина, полное собрание со-

чинений Пушкина, Гоголя, Чехова, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Лескова, Гончарова и так далее.

Я рассказываю, как у нас в семье ценился юмор и как мой братец, еще будучи гимназистом приготовительного класса, сочинял смешные рассказы — вполне детские, но уже обещавшие большой литературный талант.

Все это я говорю для того, чтобы подвести аудиторию к пониманию источников юмора, которым пронизаны «Двадцать стульев».

Я говорю довольно связно, повторяя уже много раз говоренное, а в это же самое время, как бы пересекая друг друга по разным направлениям и в разных плоскостях, передо мной появляются цветные изображения, таинственным образом возникающие из прошлого, из настоящего, даже из будущего, — порождение еще не разгаданной работы множества механизмов моего сознания.

Говорю одно, вижу другое, представляю третье, чувствую четвертое, не могу вспомнить пятое, и все это совмещается с тем материальным миром, в сфере которого я нахожусь в данный миг: маленький золотой карандашик в руке, голубые прописи между линейками большой тетради, переделкинская зелень за окном, сильно тронутая сентябрьской желтизной, или же наоборот — свинцовое майское небо, лужи, покрытые рыбьими глазами весеннего дождя.

...и еще много непознанного в психике, над чем всю жизнь трудился Павлов и гадал Фрейд.

Запись Ю. П. Фролова, сообщенная в книге С. Д. Каминского «Динамическое нарушение коры головного мозга», М., 1948, с. 195—196:

«Павлов говорил: когда я думаю о Фрейде и о себе, мне представляются две партии горнорабочих, которые начали копать железнодорожный туннель в подошве большой горы — человеческой психики. Разница состоит, однако, в том, что Фрейд взял немного вниз и зарылся в дебрях бессознательного, а мы добрались уже до света... Изучая явления иррадиации и концентрации торможения в мозгу, мы по часам можем ныне проследить, где начался интересующий нас нервный процесс, куда он перешел, сколько времени там оставался и в какой срок вернулся к исходному пункту. А Фрейд может гадать о внутренних состояни-

ях человека. Он может, пожалуй, стать основателем новой религии».

Почему же я обращаюсь к этим молодым итальянцам или французам славистам, студентам и студенткам, которые стараются записать мою неорганизованную речь в свои блокноты, а сам я смотрю — быть может, последний раз в жизни — в окно на средневековый двор старинного Миланского университета, на белые и черные статуи, на аркады, окружающие невероятно просторный двор, но при этом почему-то думаю о судьбе старых европейских деревьев, которым опоздавшая весна не позволяет зазеленеть, — черных многовековых деревьев, вечно преследующих меня по дорогам Брабанта, Фландрии, Уэльса, Нормандии, Пьемонта, Ломбардии?..

Одни из них бегут за мной и не могут догнать; другие убегают от меня за горизонт, и я не могу их догнать.

Но все они кажутся мне лишь черными скелетами, хотя я и знаю, что в них надежно теплится зеленая жизнь, никогда их не покидающая; летом она бушует, осенью начинает осторожно прятаться, зимой таинственно спит, прикидываясь мертвой, в корневых сосудах, в капиллярах, среди возрастных колец сердцевины, но никогда не умирает, вечно живет.

Лето умирает. Осень умирает. Зима — сама смерть. А весна постоянна. Она живет бесконечно в недрах вечно изменяющейся материи, только меняет свои формы.

Самая волнующая форма — это миг, предшествующий появлению первой зелени на черноте якобы мертвых древесных развилок.

Может быть, это март в Александровском парке, где мама, вся черная, как и деревья вокруг нас, стояла возле мертвого розариума, и черный ветер с моря нес над трепещущим орлиным пером ее шляпы грузные дождевые облака, и все в мире казалось мертвым, между тем как весна незримо, как жизнь моего еще не родившегося братишки, уже где-то трепетала, и билось маленькое сердечко.

Брат приехал ко мне в Мыльников переулок с юга, вызванный моими отчаянными письмами. Будучи еще почти совсем мальчишкой, он служил в уездном уголовном розыске, в отделе по борьбе с бандитизмом, свирепствовавшим на юге. А что ему еще оставалось? Отец умер. Я уехал

в Москву. Он остался один, не успев даже окончить гимназию. Песчинка в вихре революции. Где-то в степях Новороссии он гонялся на обывательских лошадях за бандитами — остатками разгромленной петлюровщины и махновщины, особенно свирепствовавшими в районе еще не вполне ликвидированных немецких колоний.

Я понимал, что в любую минуту он может погибнуть от пули из бандитского обрезка. Мои отчаянные письма в конце концов его убедили.

Он появился уже не мальчиком, но еще и не вполне созревшим молодым человеком, жгучим брюнетом, юношей, вытянувшимся, обветренным, с почерневшим от новороссийского загара худым, несколько монгольским лицом, в длинной, до пят, крестьянской свитке, крытой поверх черного бараньего меха синим грубым сукном, в юфтевых сапогах и кепке агента уголовного розыска. Он поселился у меня. Его все время мучило, что он живет, ничем не занимаясь, на моих хлебах. Он решил поступить на службу. Но куда? В стране все еще была безработица. У него имелись отличные рекомендации уездного уголовного розыска, и он пошел с ними в московский уголовный розыск, где ему предложили место, как вы думаете, где? — ни более ни менее как в Бутырской тюрьме надзирателем в больничном отделении.

Он сообщил мне об этом не без некоторой гордости, прибавив, что теперь больше не будет мне в тягость.

Я ужаснулся.

...мой родной брат, мальчик из интеллигентной семьи, сын преподавателя, серебряного медалиста Новороссийского университета, внук генерал-майора и вятского соборного протоиерея, правнук героя Отечественной войны двенадцатого года, служившего в войсках Кутузова, Багратиона, Ланжерона, атамана Платова, получившего четырнадцать ранений при взятии Дрездена и Гамбурга, — этот юноша, почти еще мальчик, должен будет за двадцать рублей в месяц служить в Бутырках, открывая ключами больничные камеры, и носить на груди металлическую бляху с номером!..

Несмотря на все мои уговоры, брат не соглашался отказаться от своего намерения и аккуратно стал ездить на трамвае в Бутырки, до которых было настолько далеко от Мыльниковой переулочка, что приходилось два раза пересаживать

ваться и еще одну остановку проезжать на дряхлом автобусе: получалось, что на один только проезд уходит почти все его жалованье.

Я настаивал, чтобы он бросил свою глупую затею. Он уперся. Тогда я решил сделать из него профессионального журналиста и посоветовал что-нибудь написать на пробу. Он уперся еще больше.

— Но почему же? — спрашивал я с раздражением.

— Потому что я не умею, — почти со злобой отвечал он.

— Но послушай, неужели тебе не ясно, что каждый более или менее интеллигентный, грамотный человек может что-нибудь написать?

— Что именно?

— Бог мой, ну что-нибудь.

— Конкретно?

— Мало ли... Не все ли равно... Ты столько рассказывал забавных случаев из своей уголовной практики. Ну возьми какой-нибудь сюжетец.

— Например?

— Ну, например, как вы там где-то в уезде накрыли какого-то типа по фамилии Гусь, воровавшего казенные доски.

— Я не умею, — заскрипел зубами брат, и его шоколадного цвета глаза китайского разреза свирепо сверкнули.

Тогда я решил употребить самое грубое средство.

— Ты что же это? Рассчитываешь сидеть у меня на шее со своим нищенским жалованьем?

Мой брат побледнел от оскорбления, потом покраснел, но сдержался и, еще сильнее стиснув зубы, процедил, с ненавистью глядя на меня:

— Хорошо. Я напишу. Говори, что писать.

— Напиши про Гуся и доски.

— Сколько страниц? — спросил он бесстрастно.

— Шесть, — сказал я, подумав.

Он сел за мой письменный столик между двух окон, придвинул к себе бумагу, обмакнул перо в чернильницу и стал писать — не быстро, но и не медленно, как автомат, ни на минуту не отрываясь от писания, с яростно-неподвижным лицом, на котором я без труда прочел покорность и отращение.

Примерно через час, не сделав ни одной поправки и ни разу не передохнув, он исписал от начала до конца ровно шесть страниц и, не глядя на меня, подал свою рукопись через плечо.

— Подавись! — тихо сказал он.

У него оказался четкий, красивый, мелкий почерк, унаследованный от папы. Я пробежал написанные им шесть страниц и с удивлением понял, что он совсем недурно владеет пером. Получился отличный очерк, полный юмора и наблюдательности.

Я тотчас отвез его на трамвае А в редакцию «Накануне», дал секретарю, причем сказал:

— Если это вам даже не понравится, то все равно это надо напечатать. Вы понимаете — *надо!* От этого зависит судьба человека.

Рукопись полетела на «юнкерсе» в Берлин, где печаталось «Накануне», и вернулась обратно уже в виде фельетона, напечатанного в литературном приложении под псевдонимом, который я ему дал.

— Заплатите как можно больше, — сказал я представителю московского отделения «Накануне».

После этого я отнес номер газеты с фельетоном под названием «Гусь и доски» (а может быть, «Доски и Гусь») на Мыльников и вручил ее брату, который был не столько польщен, сколько удивлен.

— Поезжай за гонораром, — сухо приказал я.

Он поехал и привез домой три отличных, свободно конвертируемых червонца, то есть тридцать рублей, — валюту того времени.

— Ну, — сказал я, — так что же выгоднее: служить в Бутырках или писать фельетоны? За один час сравнительно легкой и чистой работы ты получил больше, чем за месяц бездарных поездок в Бутырки.

Брат оказался мальчишески сообразительным и старательным, так что месяца через два, облазив редакции всех юмористических журналов Москвы, веселый, общительный и обаятельный, он стал очень прилично зарабатывать, не отказываясь ни от каких жанров: писал фельетоны в прозе и, к моему удивлению, даже в стихах, давал темы для карикатур, делал под ними подписи, подружился со всеми юмористами столицы, навещался в «Гудок», сдал казенный наган в Московское управление уголовного розыска, отлично оделся, немного пополнил, брился и стригся в парикмахерской с одеколоном, завел несколько приятных знакомств, нашел себе отдельную комнату, и однажды рано утром я встретил его на Большой Дмитровке.

...он, видимо, возвращался после ночных походов. Тогда еще не вывелись извозчики, и он ехал в открытом экипаже на дутиках — то есть на дутых резиновых шинах, — модно одетый молодой человек, жгучий брюнет с косым пробором, со следами бессонной ночи на красивом добродушном лице, со скользящей мечтательной улыбкой и слипающимися счастливыми глазами.

Кажется, он спросонья мурлыкал про себя что-то из своих любимых опер, а к пуговице его пиджака был привязан на длинной нитке красный воздушный шарик, сопровождавший его как ангел-хранитель и ярко блестящий на утреннем московском солнышке.

Меня он не заметил.

Проплыл мимо, мягко подпрыгивая на дутиках, и я как старший брат, с одной стороны, был доволен, что из него, как говорится, «вышел человек», а с другой стороны, чувствовал некоторое неодобрение по поводу его образа жизни, хотя сам вел себя в таком же духе, если не хуже.

Наша встреча произошла на том самом месте, где несколько лет спустя Командор назначил мне свидание, с тем чтобы накануне очередной октябрьской годовщины мы пошли в МК и там в отделе пропаганды сочинили бы вместе стихотворные лозунги для праздничной демонстрации на Красной площади после военного парада.

Приглашая меня на эту совместную поэтическую работу, Командор строго заметил:

— Но имейте в виду — это бесплатно. Это наш с вами гражданский долг.

МК помещался тут же рядом, в том особняке, где сейчас находится Прокуратура СССР, и мы сидели в пустой комнате агитпропа и сочиняли лозунги, которые потом, написанные на кумачовых полотнищах, поплыли над толпой по улицам Москвы, а потом через всю Красную площадь мимо Мавзолея, еще в то время деревянного.

По странному стечению обстоятельств через несколько лет на том же самом месте мы встретились с Командором, шагавшим на голову выше остальных прохожих. Он только что написал «Марш времени» для своей «Бани» и тут же в такт своим чугунным шагам прочитал его мне: видимо, ему не терпелось лишний раз проверить его звучание среди шумной улицы революционной Москвы.

«Вперед, время! Время, вперед!»

Этот кусок города сохранился до сих пор почти в полной неприкосновенности, подобно тому как среди обломков моей разрушающейся и перестраивающейся памяти сохранилось видение Командора, выбрасывающего вперед шагающие ноги с задранными тупыми носами башмаков, и клюквенно-красного, отражающего солнышко воздушного шарика, плывущего над экипажем моего брата, которому в недалеком будущем предстояло сделаться соавтором знаменитого на весь мир романа.

Сейчас я вам, синьоры, расскажу, каким образом появился на свет этот роман.

Прочитав где-то сплетню, что автор «Трех мушкетеров» писал свои многочисленные романы не один, а нанимал нескольких талантливых литературных подельщиков, воплощавших его замыслы на бумаге, я решил однажды тоже сделаться чем-то вроде Дюма-пера и командовать кучкой литературных наемников. Благо в это время мое воображение кипело и я решительно не знал, куда девать сюжеты, ежеминутно приходившие мне в голову. Среди них появился сюжет о бриллиантах, спрятанных во время революции в одном из двенадцати стульев гостиного гарнитура.

Сюжет не бог весть какой, так как в литературе уже имелось «Шесть Наполеонов» Конан Дойля, а также умерительно смешная повесть молодого, рано умершего советского писателя-петроградца Льва Лунца, написавшего о том, как некое буржуазное семейство бежит от советской власти за границу, спрятав свои бриллианты в платяную щетку.

Маленький, худенький, с прелестным личиком обреченного на раннюю смерть, Лев Лунц, приведенный Каверинным в Мыльников переулок, с такой серьезностью читал свою повесть, что мы буквально катались по полу от смеха.

Ну и еще кое-что в этом роде я слышал в ту пору.

Тогда я носился со своей теорией движущегося героя, без которого не может обойтись ни один увлекательный роман: он дает возможность переноситься в пространстве и включать в себя множество происшествий, что так любят читатели.

Теперь-то я знаю, что теория моя ошибочна. Сейчас у меня совсем противоположное мнение: в хорошем романе (хотя я и не признаю деление прозы на жанры) герой должен быть неподвижен, а обращаться вокруг него должен весь физический мир, что и составит если не галактику, то, во всяком случае, солнечную систему художественного произведения.

Ну а тогда, увлекаясь гоголевским Чичиковым, я считал, что сила «Мертвых душ» заключается в том, что Гоголю удалось найти движущегося героя. В силу своей страсти к обогащению Чичиков принужден все время быть в движении — покупать у разных людей мертвые души. Именно это позволило автору создать целую галерею человеческих типов и характеров, что составляет содержание его разоблачительной поэмы.

Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев, разбросанных революцией по стране, давали, по моим соображениям, возможность нарисовать сатирическую галерею современных типов времен нэпа.

Все это я изложил моему другу и моему брату, которых решил превратить по примеру Дюма-пера в своих литературных негров: я предлагаю тему, пружину, они эту тему разрабатывают, облачают в плоть и кровь сатирического романа. Я прохожусь по их писанию рукой мастера. И получается забавный плутовской роман, в отличие от Дюма-пера выходящий под нашими тремя именами. А гонорар делится поровну.

Почему я выбрал своими неграми именно их — моего друга и моего брата? На это трудно ответить. Тут, вероятно, сыграла известную роль моя интуиция, собачий нюх на таланты, даже еще не проявившиеся в полную силу.

Я представил себе их обоих — таких разных и таких ярких — и понял, что они созданы для того, чтобы дополнять друг друга. Мое воображение нарисовало некоего двуединого гения, вполне подходящего для роли моего негра.

До этого дня они оба были, в общем, мало знакомы

друг с другом. Они вращались в разных литературных сферах. Я предложил им соединиться. Они не без любопытства осмотрели друг друга с ног до головы. Между ними проскочила, как говорится в старых романах, электрическая искра. Они приветливо улыбнулись друг другу и согласились на мое предложение.

Возможно, их прельстила возможность крупно зарабатывать; чем черт не шутит! Не знаю. Но они согласились. Я же уехал на Зеленый мыс под Батумом сочинять водевиль для Художественного театра, оставив моим крепостным довольно подробный план будущего романа.

Несколько раз они присылали отчаянные телеграммы, прося указаний по разным вопросам, возникающим во время сочинения романа.

Сначала я отвечал им коротко:

«Думайте сами».

А потом и совсем перестал отвечать, погруженный в райскую жизнь в субтропиках, среди бамбуков, бананов, мандаринов, висящих на деревьях как маленькие зелено-желтые фонарики, деля время между купаньем, дольче фар ньенте и писанием «Квадратуры круга».

Еще почти совсем летнее октябрьское солнце, косые черноморские волны, безостановочно набегающие на пляж, те самые волны, о которых по ту сторону Зеленого мыса сочинял мулат, еще более посмуглевший на аджарском солнце, следующие строки:

«...Их много. Им немислим счет. Их тьма. Они шумят в миноре. Прибой, как вафли, их печет... В родстве со всем, что есть, уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту».

Боюсь, что к своему концу я действительно впадаю в ересь неслыханной простоты.

Но что же делать, если так случилось? Впрочем, мовизм — это и есть простота, но не просто простота, а именно неслыханная...

Так пел мулат за Зеленым мысом в Кобулетах —

«...обнявший, как поэт в работе, что в жизни порознь видно двум,— одним концом — ночное Поти, другим — светящийся Батум»...

Но я пытаюсь быть пощаженым, соединив в этом своем сумбурном выступлении ересь сложности с ересью неслыханной простоты, чего так и не удалось в своей прозе достигнуть мулату.

Брат и друг обиделись на мое молчание и перестали тревожить меня телеграммами с мольбами о помощи.

Иногда я совершал набег на Батум с бамбуковыми галереями его гостиниц, с бархатной мебелью духанов, где подавалось ни с чем не сравнимое кипиани в толстых бутылках с красно-золотыми этикетками, нанимал ялик, выезжал на батумский рейд и, сбрасывая с себя одежду, бросался в темную, уже почти ночную воду акватории, покрытую павлиньими перьями нефти.

Пока мои спутники, два грузинских поэта, оставшихся в ялике, с ужасом восхищались моим молодецким поступком, я плавал и нырял среди пароходов, черные корпуса которых были вблизи такими огромными, что рядом с их красными рулями высотой с двухэтажный дом я сам себе казался зеленым лягушонком, готовым каждый миг пойти ко дну, как бы затянутый в зловещую пропасть.

Я испугался.

Грузинские поэты втащили меня за руки в ялик, и я, испуганный и озябший, натянул одежды на свое мокрое тело, так как нечем было вытереться; грудь моя была поцарапана о борт ялика, когда меня вытаскивали.

Вскоре, закончив водевиль, я покинул райскую страну, где рядом с крекинг-заводом сидели в болоте черные, как черти, буйволы, выставив круторогие головы, где местные наркомы в башлыках, навороченных на голову, ездили цугом в фаэтонах с зажженными фонарями по сторонам козел, направляясь в загородные духаны пировать, и их сопровождал особый фаэтон, в котором ехал шарманщик, крутивший ручку своей старинной шарманки, издававшей

щемящие звуки австрийских вальсов и чешских полек, где старуха аджарка в чувяках продавала тыквенные семечки, сидя под лохматым, как бы порванным банановым листом, служившим навесом от солнца...

Едва я появился в холодной, дождливой Москве, как передо мною предстали мои соавторы. С достоинством, несколько даже суховато они сообщили мне, что уже написали более шести печатных листов.

Один из них вынул из папки аккуратную рукопись, а другой стал читать ее вслух.

Уже через десять минут мне стало ясно, что мои рабы выполнили все заданные им бесхитростные сюжетные ходы и отлично изобразили подсказанный мною портрет Воробьянинова, но, кроме того, ввели совершенно новый, ими изобретенный великолепный персонаж — Остапа Бендера, имя которого ныне стало нарицательным, как, например, Ноозрев. Теперь именно Остап Бендер, как они его называли — великий комбинатор, стал главным действующим лицом романа, самой сильной его пружиной.

Я получил громадное удовольствие и сказал им приблизительно следующее:

— Вот что, братцы. Отныне вы оба единственный автор будущего романа. Я уступаю. Ваш Остап Бендер меня доконал.

— Позвольте, Дюма-пер, мы очень надеялись, что вы пройдетесь по нашей жалкой прозе рукой мастера, — сказал мой друг с тем свойственным ему выражением странного, вогнутого лица, когда трудно понять, серьезно ли он говорит или издевается.

— Я больше не считаю себя вашим мэтром. Ученики побили учителя, как русские шведов под Полтавой. Заканчивайте роман сами, и да благословит вас бог. Завтра же я еду в издательство и перепису договор с нас троих на вас двоих.

Соавторы переглянулись. Я понял, что именно этого они от меня и ожидали.

— Однако не очень радуйтесь, — сказал я, — все-таки сюжет и план мои, так что вам придется за них заплатить. Я не собираюсь отдавать даром плоды своих усилий и размышлений...

— В часы одинокие ночи, — дополнил мою мысль братец не без ехидства, и оба соавтора улыбнулись одина-

ковой улыбкой, из чего я сделал заключение, что за время совместной работы они настолько сблизились, что уже стали как бы одним человеком, вернее, одним писателем.

Значит, мой выбор оказался совершенно точен.

— Чего же вы от нас требуете? — спросил мой друг.

— Я требую от вас следующего: пункт «а» — вы обязуетесь посвятить роман мне и вышеупомянутое посвящение должно печататься решительно во всех изданиях как на русском, так и на иностранных языках, сколько бы их ни было.

— Ну, это пожалуйста! — с облегчением воскликнули соавторы. — Тем более что мы не вполне уверены, будет ли даже одно издание — русское.

— Молодые люди, — сказал я строго, подражая дидактической манере синеглазого, — напрасно вы так легко согласились на мое первое требование. Знаете ли вы, что вашему пока еще не дописанному роману предстоит не только долгая жизнь, но также и мировая слава?

Соавторы скромно потупили глаза, однако мне не поверили. Они еще тогда не подозревали, что я обладаю пророческим даром.

— Ну хорошо, допустим, — сказал друг, — с пунктом «а» покончено. А пункт «б»?

— Пункт «б» обойдется вам не так дешево. При получении первого гонорара за книгу вы обязуетесь купить и преподнести мне золотой портсигар.

Соавторы вздрогнули.

— Нам надо посоветоваться, — сказал рассудительный друг.

Они отошли к окну, выходящему на извозничий двор, и некоторое время шептались, после чего вернулись ко мне и, несколько побледнев, сказали:

— Мы согласны.

— Смотрите же, братцы, не надуйте.

— Вы, кажется, сомневаетесь в нашей порядочности? — голосом дуэлянта произнес друг, для которого вопросы чести всегда и во всем стояли на первом месте.

Я поклялся, что не сомневаюсь, на чем наша беседа и закончилась.

Долго ли, коротко ли, но после разных цензурных осложнений роман наконец был напечатан в журнале и потом вышел отдельной книгой, и на титульном листе я не без тайного тщеславия прочел напечатанное мне посвящение.

Пункт «а» был свято выполнен.

— Ну а пункт «б»? — спросило меня несколько голосов в одном из английских университетов.

— Леди и гамильтоны, — торжественно сказал я словами известного нашего вратаря, который, будучи на приеме в Англии, обратился к собравшимся со спичем и вместо традиционного «леди и джентльмены» начал его восклицанием «леди и гамильтоны», будучи введен в заблуждение на шумевшей кинокартиной «Леди Гамильтон».

...— Ну а что касается пункта «б», то с его выполнением мне пришлось немного подождать. Однако я и виду не подавал, что жду. Молчал я. Молчали и соавторы. Но вот в один прекрасный день мое ожидание было вознаграждено. Раздался телефонный звонок, и я услышал голос одного из соавторов:

— Старик Саббакин, нам необходимо с вами повидаться. Когда вы можете нас принять?

— Да валяйте хоть сейчас! — воскликнул я, желая несколько разрядить официальный тон, впрочем смягченный обращением ко мне «старик Саббакин».

(«Старик Саббакин» был одним из моих псевдонимов в юмористических журналах.)

Соавторы появились хорошо одетые, подтянутые, строгие.

— Мы хотим выполнить свое обязательство перед вами по пункту «б».

С этими словами один из соавторов протянул мне небольшой, но тяжелый пакетик, перевязанный розовой ленточкой. Я развернул папиросную бумагу, и в глаза мне блеснуло золото. Это был небольшой портсигар с бирюзовой кнопкой в замке, но не мужской, а дамский, то есть раза в два меньше.

Эти жмоты поскупились на мужской.

— Мы не договаривались о том, какой должен быть портсигар — мужской или дамский, — заметил мой друг, для того чтобы сразу же пресечь всяческие словопрения.

Мой же братишка на правах близкого родственника не без юмора процитировал из чеховской «Жалобной книги»:

— Лопай, что дают.

На чем наши деловые отношения закончились, и мы отправились обмыть дамский портсигарчик в «Метрополь».

Роман «Двенадцать стульев», надеюсь, все читали, и я не буду, леди и гамильтоны, его подробно разбирать. Замечу лишь, что все без исключения его персонажи написаны с натуры, со знакомых и друзей, а один даже с меня самого, где я фигурирую под именем инженера, который говорит своей супруге: «Мусик, дай мне гусик» — или что-то подобное.

Что касается центральной фигуры романа Остапа Бендера, то он написан с одного из наших одесских друзей. В жизни он носил, конечно, другую фамилию, а имя Остап сохранено как весьма редкое.

Прототипом Остапа Бендера был старший брат одного замечательного молодого поэта, друга птицелова, эссеиста и всей поэтической элиты. Он был первым футуристом, с которым я познакомился и подружился. Он издал к тому времени за свой счет маленькую книжечку крайне непонятных стихов, в обложке из зеленой обойной бумаги, с загадочным названием «Зеленые агаты». Там были такие строки:

«Зеленые агаты! Зелено-черный вздох вам посылаю тихо, когда закат издох». И прочий вздор вроде «...гордостройный виконт в манто из лягушечьих лапок, а в руке — красный зонт» — или нечто подобное, теперь уже не помню.

Это была поэтическая корь, которая у него скоро прошла, и он стал писать прелестные стихи сначала в духе Михаила Кузьмина, а потом уже и совсем самостоятельные.

К сожалению, в памяти сохранились лишь осколки его лирики.

«Не архангельские трубы — деревянные фяготы пели мне о жизни грубой, о печалях и заботах... Не таясь и не тоскуя, слышу я как голос милой золотое Аллилуйя над высокою могилой».

Он написал:

«Есть нежное преданье на Ниппоне о маленькой лошадке вроде пони», которая забралась на рисовое поле и лакомилась зелеными ростками. За ней погнался разгневанный крестьянин, но ее спас художник, вставив в свою картину.

Он изобразил осенние груши на лотке; у них от тумана слезились носики и тому подобное.

У него было вечно ироническое выражение добродушного, несколько вытянутого лица, черные волосы, гладко причесанные на прямой пробор, озорной носик сатирикончика, студенческая тужурка, диагоналевые брюки...

Как все поэты, он был пророк и напророчил себе золотое Аллилуйя над высокою могилой.

Смерть его была ужасна, нелепа и вполне в духе того времени — короткого отрезка гетманского владычества на Украине. Полная чепуха. Какие-то синие жупаны, державная варта, безобразный национализм под покровительством немецких оккупационных войск, захвативших по Брестскому миру почти весь юг России.

Брат футуриста был Остап, внешность которого соавторы сохранили в своем романе почти в полной неприкосновенности: атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер. Он не имел никакого отношения к литературе и служил в уголовном розыске по борьбе с

бандитизмом, принявшим угрожающие размеры. Он был блестящим оперативным работником. Бандиты поклялись его убить. Но по ошибке, введенные в заблуждение фамилией, выстрелили в печень футуристу, который только что женился и как раз в это время покупал в мебельном магазине двуспальный полосатый матрац.

Я не был на его похоронах, но ключик рассказывал мне, как молодая жена убитого поэта и сама поэтесса, красавица, еще так недавно стоявшая на эстраде нашей «Зеленой лампы» как царица с двумя золотыми обручами на голове, причесанной директору, и читавшая нараспев свои последние стихи:

«...Радикальное средство от скуки — ваш изящный мотор-ландоле. Я люблю ваши смуглые руки на эмалевом белом руле...»

...теперь, распростершись, лежала на высоком сыром могильном холме и, задыхаясь от рыданий, с постаревшим, искаженным лицом хватала и запихивала в рот могильную землю, как будто именно это могло воскресить молодого поэта, еще так недавно слышавшего небесные звуки деревянных фяготов, певших ему о жизни грубой, о печалях, о заботах и о вечной любви к прекрасной поэтессе с двумя золотыми обручами на голове.

— Ничего более ужасного, — говорил ключик, — в жизни своей я не видел, чем это распростертое тело молодой женщины, которая ела могильную землю, и она текла из ее накрашенного рта.

Но что же в это время делал брат убитого поэта Остап?

То, что он сделал, было невероятно.

Он узнал, где скрываются убийцы, и один, в своем широком пиджаке, матросской тельняшке и капитанке на голове, страшный и могучий, вошел в подвал, где скрывались бандиты, в так называемую хавиру, и, войдя, поло-

жил на стол свое служебное оружие — пистолет-маузер с деревянной ручкой.

Это был знак того, что он хочет говорить, а не стрелять.

Бандиты ответили вежливостью на вежливость и, в свою очередь, положили на стол револьверы, обрезы и финки.

— Кто из вас, подлецов, убил моего брата? — спросил он.

— Я его пришел по ошибке вместо вас, я здесь новый, и меня спутала фамилия, — ответил один из бандитов.

Легенда гласит, что Остап, никогда в жизни не проливший ни одной слезы, вынул из наружного бокового кармана декоративный платочек и вытер глаза.

— Лучше бы ты, подонок, прострелил мне печень. Ты знаешь, кого ты убил?

— Тогда не знал. А теперь уже имею сведения: известного поэта, друга птицелова. И я прошу меня извинить. А если не можете простить, то бери свою пушку, вот тебе моя грудь — и будем квиты.

Всю ночь Остап провел в хавире в гостях у бандитов. При свете огарков они пили чистый ректификат, не разбавляя его водой, читали стихи убитого поэта, его друга птицелова и других поэтов, плакали и со скрежетом зубов целовались взапас.

Это были поминки, короткое перемирие, закончившееся с первыми лучами солнца, вышедшего из моря.

Остап спрятал под пиджак свой маузер и беспрепятственно выбрался из подвала, с тем чтобы снова начать борьбу не на жизнь, а на смерть с бандитами.

Он продолжал появляться на наших поэтических вечерах, всегда в своей компании, ироничный, громадный, широкоплечий, иногда отпуская с места юмористические замечания на том новороссийско-черноморском диалекте, которым прославился наш город, хотя этот диалект свойствен и Севастополю, и Балаклаве, и Новороссийску и в особенности Ростову-на-Дону — вечному сопернику Одессы.

Остапа тянуло к поэтам, хотя он за всю свою жизнь не написал ни одной стихотворной строчки. Но в душе он, конечно, был поэт, самый своеобразный из всех нас.

Вот каков был прототип Остапа Бендера.

— Это все очень любопытно, то, что вы нам рассказываете, синьор профессоре, но мы интересуемся золотым портсигаром. Не можете ли вы нам его показать?

Я был готов к этому вопросу. Его задавали решительно всюду — и в Европе и за океаном. В нем заключался важный философский смысл: золото дороже искусства. Всем хотелось знать, где золото.

— Увы, синьоры, мистеры, медам и месье, леди и гамильтоны, я его продал, когда мне понадобились деньги.

Вдох разочарования, но вместе с тем и глубокого понимания пролетел по рядам молодых, любознательных и весьма патлатых студентов.

— А что стало с вашей комнатой, месье ле профессор, в том переулке, который вы называете таким трудно произносимым словом, как «Мыльников»? Она занимает так много места в ваших лекциях.

К этому стандартному вопросу я тоже был готов.

— Мыльников переулок, или, если вам угодно, виа Мыльников, рю Мыльников или же Мыльников-стрит, до сих пор существует. Его еще не коснулась реконструкция столицы. Но он уже называется теперь улица Жуковского. Дом номер четыре стоит на своем месте. В квартире давно поселились другие люди, которые, вероятно, не знают, в каком историческом месте они живут. Если вы приедете в Москву, можете посетить бывший Мыльников переулок, дом четыре. Мою комнату легко заметить с улицы; на ее окнах имеется веерообразная белая железная решетка, напоминающая лучи восходящего из-за угла солнца, весьма обыкновенная защита от воров как в Европе, так и за океаном.

Время от времени в моей памяти возникают разные события, происшедшие в давние времена в Мыльниковом переулке.

Теперь трудно поверить, но в моей комнате вместе со мной в течение нескольких дней на диване ночевал великий поэт будетлянин, председатель земного шара. Здесь

он, голодный и лохматый, с лицом немолодого уездного землемера или ветеринара, беспорядочно читал свои странные стихи, из обрывков которых вдруг нет-нет да и вспыхивала неслыханной красоты алмазная строчка, например:

«...деньгою серебряных глаз дорога...» —

при изображении цыганки. Гениальная инверсия. Или:

«...прямо в тень тополевых теней, в эти дни золотая мать-мачеха золотой черепашкой ползет»...

Или:

«Мне мало надо! Краюшку хлеба, да каплю молока, да это небо, да эти облака».

Или же совсем великое!

«Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, и мы, с нею в ногу шагая, беседуем с небом на ты. Мы, воины, смело ударим рукой по суровым щитам, да будет народ государем всегда, навсегда, здесь и там. Пусть девы споют у оконца меж песен о древнем походе, о верноподданном Солнца самосвободном народе»...

Многие из нас именно так моделировали эпоху.

Мы с будетлянином питались молоком, которое пили из большой китайской вазы, так как другой посуды в этой бывшей барской квартире не было, и заедали его черным хлебом.

Председатель земного шара не выражал никакого неудовольствия своим нищенским положением. Он благостно улыбался, как немного подвыпивший священнослужитель, и читал, читал, читал стихи, вытаскивая их из наволочки, которую всюду носил с собой, словно эти обрывки бумаги, исписанные детским почерком, были бочоночками лото.

Он показывал мне свои «доски судьбы» — большие листы, где были напечатаны математические непонятные формулы и хронологические выкладки, предсказывающие судьбы человечества.

Говорят, он предсказал первую мировую войну и Октябрьскую революцию.

Неизвестно, когда и где он их сумел напечатать, но, вероятно, в Ленинской библиотеке их можно найти. Мой экземпляр с его дарственной надписью утрачен, как и многое другое, чему я не придавал значения, надеясь на свою память.

Несомненно, он был сумасшедшим. Но ведь и Магомет был сумасшедшим. Все гении более или менее сумасшедшие.

Я был взбешен, что его не издают, и решил повести будетлянина вместе с его наволочкой, набитой стихами, прямо в Государственное издательство. Он сначала противился, бормоча с улыбкой, что все равно ничего не выйдет, но потом согласился, и мы пошли по московским улицам, как два оборванца, или, вернее сказать, как цыган с медведем. Я черномазый молодой молдаванский цыган, он — исконно русский пожилой медведь, разве только без кольца в носу и железной цепи.

Он шел в старом широком пиджаке с отвисшими карманами, останавливаясь перед витринами книжных магазинов и с жадностью рассматривая выставленные книги по высшей математике и астрономии. Он шевелил губами, как бы произнося неслышные заклинания на некоем древнеславянском диалекте, которые можно было по мимике понимать примерно так:

«О, Дажь-бог, даждь мне денег, дабы мог я купить все эти драгоценные книги, так необходимые мне для моей поэзии, для моих досок судьбы».

В одном месте на Никитской он не удержался и вошел в букинистический магазин, где его зверино-зоркие глаза еще с улицы увидели на прилавке «Шарманку» Елены Гуро и «Садок судей», второй выпуск — одно из самых ранних изданий футуристов, напечатанное на синеватой обер-

точной толстой бумаге, посеревшей от времени, в обложке из обоев с цветочками. Он держал в своих больших лапах «Садок судей», осторожно перелистывая толстые страницы и любовно поглаживая их.

— Наверное, у вас тоже нет денег? — спросил он меня с некоторой надеждой.

— Увы, — ответил я.

Ему так хотелось иметь эти две книжки! Ну хотя бы одну — «Садок судей», где были, кажется, впервые напечатаны его стихи. Но на нет и суда нет.

Он еще долго держал в руках книжки, боясь с ними расстаться. Наконец он вышел из магазина еще более мешковатый, удрученный.

На балконе безвкусного особняка в стиле московского модерна миллионера Рябушинского против церкви, где венчался Пушкин, ненадолго показалась стройная, со скрещенными на груди руками фигура Валерия Брюсова, которого я сразу узнал по известному портрету не то Серова, не то Врубеля. Ромбовидная голова с ежиком волос. Скуластое лицо, надменная бородка, глаза египетской кошки, как его описал Андрей Белый. Он еще царствовал в литературе, но уже не имел власти. Время символизма навсегда прошло, на нем был уже не сюртук с шелковыми лацканами, а нечто советское, даже, кажется, общепринятая толстовка. Впрочем, не ручаюсь.

Оставив будетлянина в вестибюле внизу на диване, среди множества авторов с рукописями в руках и строго наказав ему никуда не отлучаться и ждать, я помчался вверх по широченной, манерно изогнутой лестнице с декадентскими, как бы оплывшими перилами, украшенными лепными барельефами символических цветов, полулилиями-полуподсолнечниками, и, несмотря на строгий окрик барышни-секретарши, ворвался в непотребно огромный кабинет, где за до глупости громаднейшим письменным столом сидел не Валерий Брюсов, а некто маленький, ничтожный человек, наставив на меня черные пики усов. Профессор!

Терять мне в ту незабвенную пору было нечего, и я, кашляя от скрытого смущения и отплевываясь, не стесняясь, стал резать правду-матку: дескать, вы издаете халтуру всяких псевдопролетарских примазавшихся бездарностей, недобитых символистов, в то время как у вас под носом голодает и гибнет величайший поэт современности, гениальный будетлянин, председатель земного шара, истин-

ный революционер-реформатор русского языка и так далее.

Я не стеснялся в выражениях, иногда пускал в ход матросский черноморский фольклор, хотя в глубине души, как все нахалы, ужасно трусил, ожидая, что сейчас разразится нечто ужасное и меня с позором вышвырнут из кабинета.

Однако человек с грозными пиками усов (тот самый литературный критик, фамилию которого Командор так ужасно и, кажется, несправедливо зарифмовал со словом «погань») оказался довольно симпатичным и даже ласковым. Он стал меня успокаивать, всплеснул ручками, захлопотал:

— Как! Разве он в Москве? Я не знал. Я думал, что он где-то в Астрахани или Харькове!

— Он здесь, — сказал я, — сидит внизу, в толпе ваших халтурщиков.

— Так тащите же его поскорее сюда! Он принес свои стихи?

— Да. Целую наволочку.

— Прекрасно! Мы их непременно издадим в первую очередь.

Я бросился вниз, но будетлянина уже не было. Его и след простыл. Он исчез. Вероятно, в толпе писателей, как и всегда, нашлись его страстные поклонники и увели его к себе, как недавно увел его к себе и я.

Я бросился на Мыльников переулочек. Увы. Комната моя была пуста.

Больше я уже никогда не видел будетлянина.

Потом до Москвы дошла весть, что он умер где-то в глубине России, по которой с котомкой и посохом странствовал вместе со своим другом, неким художником. Потом уже стало известно, что оба они пешком брели по дорогам родной, милой их сердцу русской земли, по ее городам и весям, ночевали где бог послал, иногда под скупыми северными созвездиями, питались подаянием. Сперва простудился и заболел воспалением легких художник. Он очень боялся умереть без покаяния. Будетлянин его утешал:

— Не бойся умереть среди родных просторов. Тебя отпоют ветра.

Художник выздоровел, но умер сам будетлянин, председатель земного шара. И его «отпели ветра».

...Кажется, он умер от дизентерии.

Впрочем, за достоверность не ручаюсь. Так гласила легенда. Да и вообще вся наша жизнь в то время была легендой.

Затем на некоторое время в комнату на Мыльниковом переулке вселилась банда странных, совсем юных поэтов-ничевоков, которые спали вповалку на полу и прыгали в комнату в окно прямо с улицы, издавая марсианские вопли. Они напечатали сборник своих сумбурных стихотворений под названием «Собачий ящик», поставив вместо даты:

«Москва. Хитров рынок. Советская водогрейня».

Один из них носил почему-то котелок.

Хитров рынок был тем самым прибежищем босяков, местом скопления самых низкопробных московских ночлежек, которые некогда послужили материалом для Художественного театра при постановке «На дне».

Я еще застал Хитров рынок, сохранившийся в неприкосновенности с дореволюционных времен.

Помню яркую лунную ночь. Голубое и черное среди опасных закоулков, дряхлых проходных дворов, полуразрушенных домов, этих ни с чем не сравнимых трущоб, населенных болезненными людьми в серых лохмотьях, стариками, чахоточными, базарными проститутками, мелкими рахитичными воришками-домушниками, беспросветно пьяными, нанюхавшимися кокаина, зеленолицыми, иногда с проваленными носами сифилитиками. Они ютились в ночлежках на нарах, покрытых вшивой, трухлявой соломой. Они как тени бродили среди помоек освещенного луною двора и подбирали какие-то бумажки, принимая их за кредитки.

Это было неопишимо ужасно.

А водогрейня, откуда ничевоки добывали себе бесплатный кипяточек, отбрасывала черную коленкоровую тень

своего навеса на половину зловещей площади, залитой голубым лунным светом, куда не отваживалась заглядывать даже милиция. Это была неуправляемая часть столицы.

Хитров рынок помещался сравнительно недалеко от моих Чистых прудов.

Незадолго до своего конца однажды грустным утром ко мне зашел королевич, трезвый, тихий, я бы даже сказал благодостный — инок, послушник. Только скуфейки на нем не было.

— Ты знаешь, — негромко сказал он, — не такой уж я пропащий, как обо мне говорят. Послушай мои последние стихи. Это лучшее, что я написал.

Он подсел ко мне на тахту, как-то по-братски обнял меня одной рукой и, заглядывая в лицо, стал читать те свои самые последние прелестные стихи, которые и до сих пор, несмотря на свою неслыханную простоту, или, вернее, именно вследствие этой простоты, кажутся мне прекрасными до слез.

Всем известны эти стихи, прозрачные и ясные, как маленькие алмазики чистой воды.

Не могу удержаться, чтобы не переписать здесь по памяти:

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь нагнувшись под метелью белой? Или что увидел? Или что услышал? Словно за деревню погулять ты вышел. И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу... Сам себе казался я таким же кленом, только не опавшим, а всюю зеленым»...

Он читал со слезами на слегка уже полинявших глазах. Ну и, конечно:

«Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся. Хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый робок и застенчив, по равнине голой катится бубенчик. Эх вы, сани, сани! Конь ты мой буланый! Где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим — что такое? И станцуем вместе под тальянку трое».

Он с таким детским удивлением произнес это «спросим — что такое?», что мне захотелось плакать сам не знаю отчего.

Тогда я не понимал, что это его действительно последнее.

— Знаешь что, — сказал он вдруг, — давай сегодня не будем пить, а пойдем ко мне, будем пить не водку, а чай с медом и читать стихи.

Мы не торопясь пошли к нему через всю по-осеннему солнечную Москву, в конце Пречистенки, мимо особняка, где некогда помещалась школа Айседоры Дункан, и поднялись на четвертый или пятый этаж большого, богатого доходного дореволюционного дома в нордическом стиле, вошли через переднюю, где стояли скульптуры Коненкова — Стенька Разин и персидская княжна, одно время даже украшавшие Красную площадь, гениально грубо вырубленные из бревен, — и вступили в барскую квартиру, в столовую, золотисто наполненную осенним солнцем. Там немолодая дама — новая жена королевича, внучка самого великого русского писателя, вся в деда грубоватым мужицким лицом, только без известной всему миру седой бороды, — налила нам прекрасно заваренный свежий красный чай в стаканы с подстаканниками и подала в розетках липовый мед, золотисто-янтарный, как этот солнечный грустноватый день.

И мы пили чай с медом, ощущая себя как бы в другом мире, между ясным небом и трубами московских крыш, видневшихся в открытые двери балкона, откуда потягивало осенним ветерком.

...и читали, читали, читали друг другу — конечно, наизусть — бездну своих и чужих стихов: Блока, Фета, Полонского, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова...

Я даже удивил королевича Иннокентием Анненским, плохо ему знакомым:

«Нависнет ли пламенный зной, бушуя расходятся ль волны — два паруса лодки одной, одним мы дыханием

полпы. И в ночи беззвездные юга, когда так отрадно, темно, сгорая коснуться друг друга, одним парусам не дано».

Мы были с ним двумя парусами одной лодки — поэзии.

Я думаю, в этот день королевич прочитал мне все свои стихи, даже «Радуницу», во всяком случае все последние, самые-самые последние... Но самого-самого-самого последнего он не прочел. Оно было посмертное, написанное мокрой зимой в Ленинграде, в гостинице «Англетер», кровью на маленьком клочке бумажки:

«До свиданья, друг мой, до свиданья. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставанье обещает встречу впереди. До свиданья, друг мой, без руки и слова, не грусти и не печаль бровей,— в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».

Он верил в загробную жизнь.

Долгое время мне казалось — мне хотелось верить,— что эти стихи обращены ко мне, хотя я хорошо знал, что это не так.

И долгое время передо мной стояла — да и сейчас стоит! — неустрашимая картина:

...черная похоронная толпа на Тверском бульваре возле памятника Пушкину с оснеженной курчавой головой, как бы склоненной к открытому гробу, в глубине которого виднелось совсем по-детски маленькое личико мертвого королевича, задушенного искусственными цветами и венками с лентами...

Прошло то, что мы привыкли называть временем,— некоторое время,— и, судя по тому, что в объемистой стеклянной чаше, наполненной белым сухим вином ай-даниль, мокла клубника, а на Чистых прудах отцветала сирень и начинали цвести липы, вероятно, кончался месяц май.

Мы сидели в Мыльниковом переулке: мулат, альпинист — худой, высокий, резко вырезанный дере-

вянный солдатик с маленьким носиком, как у Павла Первого, — птицелов, арлекин, еще кто-то из поэтов и я.

Здесь уместно объяснить читателю, почему я избегаю собственных имен и даже не придумываю вымышленных, как это принято в романах.

Но, во-первых, это не роман. Роман — это компот. Я же предпочитаю есть фрукты свежими, прямо с дерева, разумеется выплевывая косточки.

А во-вторых, сошлюсь на Пушкина:

«Те, которые пожурили меня за то, что никак не назвал моего финна, не нашед ни одного имени собственного, конечно почтут это за непростительную дерзость — правда, что большей части моих читателей никакой нужды нет до имени, и что я не боюсь никакой запутанности в своем рассказе» (черновик письма Гнедичу от 29 апреля 1822 года).

Я тоже не боюсь никаких запутанностей.

Итак — мулат, альпинист, птицелов, арлекин, ключик, еще кто-то из поэтов и я.

При открытых окнах мы всю ночь читали стихи, постепенно пьянея от поэзии, от крюшона, который мы черпали чашками из стеклянного сосуда, где кисли уже побелевшие, как бы обескровленные, разбухшие ягоды клубники, отдававшие свой сок дешевому белому вину, время от времени подливаемому из булькающих бутылок.

Это было то, что в пушкинское время называлось дружеской пирушкой или даже попойкой.

Мы все уже были пьяны, «как пьяный Дельвиг на пиру».

Деревянный солдатик был наш ленинградский гость, автор романтических баллад, бывший во время первой мировой войны кавалеристом, фантазер и дивный рассказчик, поклонник Киплинга и Гумилева, он мог бы по табели постических рангов занять среди нас первое место, если

бы не мулат. Мулат царил на нашей дружеской попойке. Деревянный солдатик был уважаемый гость, застрявший в Москве по дороге в Ленинград с Кавказа, где он лазил по горам и переводил грузинских поэтов. Мы его чествовали как своего собрата, в то время как мулат был хотя и свой брат, московский, но стоял настолько выше как признанный гений, что мог считаться не только председателем нашей попойки, но самим богом поэзии, сошедшим в Мыльников переулок в обличии мулата с конскими глазами и наигранно простодушными повадками Моцарта, якобы сам того не знающим, что он бог.

Его стихи из книги «Сестра моя жизнь» и из «Темы и вариации», которые он щедро читал, мыча в нос и перемежая густыми, низкоголосыми междометиями полуглухонемого, как бы поминутно теряющего дар речи, были настолько прекрасны, что по сравнению с ним все наши, даже громогласные до истерики пассажи арлекина и многозначительные строфы птицелова, казались детским лепетом.

Если у художников бывают какие-то особые цветные периоды, как, например, у Пикассо розовый или голубой, то в то время у мулата был «период Спекторского».

Изображая косноязычным мычанием, подобно своему юродствующему инвалиду, гундося подражающему пиле (то, что в глубине его сознания звучало как оркестровая сюита), мулат читал нам:

«Я бедствовал. У нас родился сын. Ребятства пришлось на время бросить. Свой возраст взглядом смеривши косым, я первую на нем заметил проседь... Весь день я спал, и, рушась от загона, на всем ходу гася в колбасных свет, совсем еще по-зимнему вагоны к пяти заставам заметали след... Как лешие, земля, вода и воля сквозь сутолоку вешалок и шуб за голою русалкой алкоголя врываются, ища губами губ».

Нас потрясла «голая русалка алкоголя», к которой мы уже были близки.

«Покамест оглашаются открытья на полном съезде капель и копыт, пока бульвар с простительною прытью скамью дождем растительным кропит, пока березы, метлы,

голодранцы, афиши, кошки и столбы скользят виденьями влюбленного пространства, мы повесть на год отведем назад».

Важны были совсем не повесть, не все эти неряшливые, маловразумительные перечисления, а отдельные строки, которые в свалке мусора мог найти как бриллиант только гуляка праздный, гений...

«...с простительною прытью скамью дождем растительным кропит»...

Может быть, это изображение с пьяных глаз рассветного московского бульвара стоило всей поэмы.

Мы были восхищены изобразительной силой мулата и признавали его безусловное превосходство.

Дальше развивался туманный «спекторский» сюжет, сумбурное повествование, полное скрытых намерений и темных политических намеков. Но все равно это было прекрасно.

«Забытый дом служил как бы резервом кружку людей, знакомых по Москве, и потому Бухтеевым не первым подумалось о нем на рождестве... Их было много, ехавших на встречу. Опустим планы, сборы, переезд...» — и т. д.

Триумф мулата был полный. Я тоже, как и все, был восхищен, хотя меня и тревожило ощущение, что некоторые из этих гениальных строф вторичны. Где-то давным-давно я уже все это читал. Но где? Не может этого быть! И вдруг из глубины памяти всплыли строки:

«...И вот уже отъезд его назначен, и вот уж брат зовет его кутить. Игнат мой рад, взволнован, озадачен, на все готов, всем хочет угодить. Кутить в Москве неловко показалось по случаю великопостных дней, и за город, по их следам помчалось семь троек, семь ямских больших саней... Разбрасывая снег, стучат подковы, под шапками торчат воротники, и слышен смех и говор: «Что вы! Что вы, шалите!» — и в ногах лежат кульки».

Что это: мулат? Нет, это Полонский, из поэмы «Братья».

А это тот же пятистопный рифмованный ямб с цезурой на второй стопе:

«...был снег волнист, окольный путь — извилист, и каждый шаг готовился сюрприз. На розвальнях до коллики резвились, и женский смех, как снег, был серебрист. — Особенно же я вам благодарна за этот такт, за то, что ни с одним... — Ухаб, другой — ну как? А мы на парных! — А мы кульков своих не отдадим».

Кто это: Полонский? Нет, это мулат, но с кульками Полонского.

Впрочем, тогда в Мыльниковом переулке об этом как-то не думалось. Все казалось первозданным. Невероятно было представить, что в «Спекторском» мулат безусловно вторичен!

В окошки уже начал приливать ранний весенний рассвет цвета морской воды. На миг настала предрассветная тишина. Мы почему-то замолкли перед опустевшей чашей крушона.

Вдруг послышался цокот подков по мостовой Мыльникова переулка, уже не ночного, но еще и не утреннего. К нашему дому приближался извозничий экипаж. Была такая тишина, что угадывалось его мягкое подпрыгивание на рессорах. Экипаж поравнялся с нашими открытыми окнами. Поравнялся и остановился. Мы увидели в экипаже господина с испитым лицом, в шляпе на затылке. Видимо, он возвращался домой после бессонной ночи. Усы, трость с набалдашником.

Господин повернул к нашим распахнутым окнам бледное лицо игрока и произнес утреним, хотя и несколько с перепою, но четким, хриловатым, громким, на весь переулоч, голосом нечто похожее на зловещую, как бы гекзаметрическую строку:

— Всех ждет неминуемая петля!

После чего тронул извозничью спину тростью, и звонкое цоканье по мостовой возобновилось и постепенно все

слабело и слабело до тех пор, пока экипаж не скрылся за углом.

Мы некоторое время пребывали в молчании. В конце концов расхохотались. Ночная пирушка кончилась. Надо было расходиться. Но нам трудно было так вдруг расстаться друг с другом.

Все вместе пошли мы провожать мулата. Еще по-ночному пустынные улицы были уже ярко освещены утренним июньским солнцем, жарко бившим в глаза откуда-то из Замоскворечья.

По дороге мы изо всех сил старались шутить и острить, как будто бы ничего особенного не случилось.

Арлекин — маленький, вдохновенный, весь набитый романтическими стихотворными реминисценциями, — орал на всю улицу свои стихи, как бы наряженные в наиболее яркие исторические платья из театральной костюмерной: в камзолы, пудренные парики, ложноклассические тоги, рыцарские доспехи, шутовские кафтаны...

В конце концов как бы придя ко взаимному соглашению, мы сделали вид, что с нами ничего особенного не произошло, что появление в Мыльниковом переулке экипажа со странным седоком не более чем галлюцинация, хотя ужасная тень покончившего с собой королевича незримо сопровождала нас до самого дома, где жил тогда мулат, недалеко от Музея изящных искусств на Волхонке, против храма Христа Спасителя, в громадном золотом куполе которого неистово горело все еще низкое утреннее солнце.

Мне показалось, что на пустынных ступенях храма я вижу две обнявшиеся тени — ее и его, — как бы выходцев из другого, навсегда разрушенного мира вечной любви. Она была синеглазка, он был — я.

Мулат простился с нами и вошел в подъезд, а потом по лестнице в свою, разгороженную фанерой квартиру.

...«Как образ входит в образ и как предмет сечет предмет»...

А отражение солнца било как прожектор из купо-

ла храма Христа Спасителя в немытые, запущенные окна его квартиры, где его ждали жена и маленький сын.

На этом позвольте сегодняшнюю лекцию закончить. Благодарю за внимание. Как? Вы еще хотите что-нибудь узнать о Мыльниковом переулке? Вы его называете легендарным? Возможно. Пожалуй, я еще могу рассказать, как однажды я вез к себе в Мыльников переулок два кожаных кресла, купленных мною на аукционе, помещавшемся в бывшей церкви в Пименовском переулке.

Упомянутые кресла коричневой, еще не вполне потерянной кожи были установлены на площадке ломового извозчика. Мы с птицеловом комфортабельно развалились в креслах и поехали по бульварному кольцу в Мыльников переулок, представляя довольно курьезное зрелище: два молодых человека, заложив ногу на ногу и покуривая папиросы, едут, сидя в кожаных креслах, посреди многолюдной столицы, едут мимо Цветного бульвара, мимо памятника Достоевскому, мимо Трубного рынка, где вовсю идет торговля птицами, кошками, рыбками; затем поднимаются вверх мимо Рождественского монастыря, мимо его высокой стены, выходящей на Рождественский бульвар острым углом, похожим на нос броненосца.

И так далее и так далее вплоть до Чистых прудов, источающих медвяный аромат цветущих лип.

При этом мы все время громко, во весь голос, к удивлению прохожих, читаем друг другу стихи, и я узнаю многое из того, что написал птицелов за последнее время.

Именно во время этой поездки в креслах я впервые услышал «Думу про Опанаса» и «Стихи о соловье и поэте».

Забыл сказать, что у птицелова всю жизнь была страсть сначала к птицам, а потом к рыбкам. Его комната в Одессе была заставлена клетками с птицами, пух и шелуха птичьего корма летали по комнате, наполненной птичьими криками. В Москве же страсть к птицам перешла в страсть к рыбам. И в комнате птицелова появились аквариумы, в которых среди водорослей и пузырьков воздуха плавали тени тропических рыб, и птицелов сидел

возле них на кровати, поджав ноги, в расстегнутой сорочке и кальсонах и читал своим ученикам свои и чужие стихи, временами кашляя и дыша дымом селитренного порошка.

Когда мы ехали в креслах, страсть к птицам еще не прошла, а страсть к рыбам уже началась, и он с вождедением смотрел, проезжая мимо Трубного рынка, на птичьи клетки и банки с золотыми рыбками, полосатыми, как зебры, и вуалехвостами.

Вот что он мне тогда прочел:

«Весеннее солнце дробится в глазах, в канавы ныряет и зайчиком пляшет, на Трубную выйдешь — и громом в ушах огонь соловьиный тебя опарашит... Любовь к соловьям — специальность моя, в различных коленах я толк понимаю: за лешевой дудкой вразброд стукотня, кукушкина песня и дробь рассыпная... Куда нам пойти? Наша воля горька! Где ты запоешь? Где я рифмой раскинусь? Наш рокот, наш посвист распродан с лотка... Как хочешь — распивочно или на вынос? Мы пойманы оба, мы оба — в сетях. Твой свист подмосковный не грянет в кустах, не дрогнут от грома холмы и озера... Ты выслушан, взвешен, расценен в рублях... Греми же в зеленых кустах коленкора, как я громыхаю в газетных листах!»

Это были традиционные для русского поэта порывы к свободе.

...В Мыльниковом же переулке ключик впервые читал свою новую книгу «Зависть». Ожидался главный редактор одного из лучших толстых журналов. Собралось несколько друзей. Ключик не скрывал своего волнения. Он ужасно боялся провала и все время импровизировал разные варианты этого провала. Я никогда не видел его таким взволнованным. Даже вечное чувство юмора оставило его.

Как раз в это время совсем некстати разразилась гроза, один из тех июльских ливней, о которых потом вспоминают несколько лет.

Подземная речка Неглинка вышла из стоков и затопи-

ла Трубную площадь, Цветной бульвар, все низкие места Москвы превратила в озера, а улицы в бурные реки. Движение в городе нарушилось. А ливень все продолжался и продолжался, и конца ему не предвиделось. Ключик смотрел в окно на сплошной водяной занавес ливня, на переулочек, похожий на реку, покрытую белыми пузырями, освещавшимися молниями, которые вставали вдруг и дрожали среди аспидных туч, как голые березы.

Гром обрушивал на крыши обвалы булыжника. Преждевременно наступила ночь. Надежды на прибытие редактора с каждым часом убывали, рушились, и ключик время от времени восклицал:

— Так и следовало ожидать! Я же вам говорил, что у меня сложные взаимоотношения с природой. Природа меня не любит. Видите, что она со мной сделала? Она мобилизовала все небесные силы для того, чтобы редактор не приехал. Она построила между моим романом и редактором журнала стену потопа!

Ключика вообще иногда охватывала мания преследования. Бывали случаи, когда он подозревал городской транспорт. Он уверял, что трамваи его не любят: нужный номер никогда не приходит.

Однажды мы стояли с ним на остановке, ожидая трамвая номер, скажем, 23.

— Ты напрасно решил ехать вместе со мной,— говорил ключик с раздражением.— Двадцать третий номер никогда не придет. Я это тебе предсказываю. Трамваи меня ненавидят.

В этот миг в отдалении появился вагон трамвая номер 23.

Я был в восторге.

— Грош цена твоим предсказаниям,— сказал я.

Он скептически посмотрел на приближающийся вагон и обреченно пробормотал:

— Посмотрим, посмотрим...

В это время, не доехав до нас десятка два шагов, трамвай остановился, немного постоял и поехал назад, попятился, как будто его притягивал сзади какой-то магнит, и наконец скрылся из глаз.

Это было совершенно невероятно, но я клянусь, что говорю чистую правду.

— Ну что я тебе говорил? — с грустной улыбкой ска-

зал ключик. — Трамваи меня ненавидят. У меня сложные взаимоотношения с городским транспортом. Это печально. Но это так.

Не думайте, что я шучу. Это именно так и было: трамвай номер 23 уехал назад, куда-то в неизвестность. Каким образом это могло произойти, не знаю. И, вероятно, никогда не узнаю. Но повторяю: даю честное слово, что говорю святую, истинную правду. Вероятно, произошел единственный случай за все время существования московского электрического трамвая. Экссесс, не поддающийся анализу.

Теперь же на город обрушился потоп, и ключик был уверен, что какие-то высшие силы природы сводят с ним счеты.

Он покорно стоял у окна и смотрел на текущую реку переулка.

Уже почти совсем смеркалось. Ливень продолжался с прежней силой, и конца ему не предвиделось.

И вдруг из-за угла в переулок въехала открытая машина, которая, раскидывая по сторонам волны, как моторная лодка, не подъехала, а скорее подплыла к нашему дому. В машине сидел в блестящем дождевом плаще с капюшоном главный редактор.

В этот вечер ключик был посрамлен как пророк-провидец, но зато родился как знаменитый писатель.

Преодолев страх, он раскрыл свою рукопись и произнес первую фразу своей повести:

«Он поет по утрам в клозете».

Хорошенькое начало!

Против всяких ожиданий именно эта криминальная фраза привела редактора в восторг. Он даже взвизгнул от удовольствия. А все дальнейшее пошло уже как по маслу. Почуввав успех, ключик читал с подъемом, уверенно, в наиболее удачных местах пуская в ход свой патетический польский акцент с некоторой победоносной шепелявостью.

Никогда еще не был он так обаятелен.

Отбрасывая в сторону прочитанные листы жестом гения, он оглядывал слушателей и делал короткие паузы.

Чтение длилось до рассвета, и никто не проронил ни слова до самого конца.

Правда, один из слушателей, попавший на чтение совершенно случайно и застрявший ввиду потопа, милый молодой человек, некий Стасик, не имевший решительно никакого отношения к искусству, примерно на середине повести заснул и даже все время слегка похрапывал, но это нисколько не отразилось на успехе.

Главный редактор был в таком восторге, что вцепился в рукопись и на за что не хотел ее отдать, хотя ключик и умолял оставить ее хотя бы на два дня, чтобы кое-где пошлифовать стиль. Редактор был неумолим и при свете утренней зари, так прозрачно и нежно разгоравшейся на расчистившемся небе, умчался на своей машине, прижимая к груди драгоценную рукопись.

Когда же повесть появилась в печати, то ключик, как говорится, лег спать простым смертным, а проснулся знаменитостью.

В повести все вытесненные желания ключика превратились в галерею странно правдоподобных персонажей, хотя и как бы сказочных, но вполне современных, социальных, реальных и вместе с тем нереальных, как бывает только во сне.

Здесь ключик свел счеты со своим прошлым, здесь мимо него прошумела знаменитая ветка, полная цветов и листьев...

Извините. Я устал. Позвольте мне на этом закончить сегодняшнюю лекцию. Дайте мне воды, у меня пересохло в горле. Спасибо, синьора, как вы хороши в своем нарядном платье. Вы похожи на «Весну» Сандро Боттичелли. Извините, что я выражаюсь в стиле ключика. И вам так идут эти оранжерейные цветы, которые вы держите в руках. Как? Эти цветы мне? О, спасибо! Грацио! Право, я этого не заслуживаю. Отнесем мой успех на счет моего друга ключика. До скорой встречи. До свидания. Ариведечи. Чао.

О, красное бархатное кресло с высокой спинкой, тоже бархатно-красной, одиноко стоящее на возвышении под аркадами площади Святого Марка в том уголке, куда не

достигает бурливый плеск Канале Гранде, вызванный вечным движением речных трамваев, моторных лодок и гондол со своими высокими секирами на поднятых носгах, но где все еще слышны звуки двух оркестров возле двух ресторанов, расставивших свои столики на площади под открытым небом напротив светло-розовой кирпичной кампанилы и столба со львом, положившим лапу на Евангелие, раскрытое на страницах святого Марка.

Красное кресло, как бы предназначенное для главного судьи, стояло одиноко, и не каждый мог догадаться о его назначении. Не для дожа ли венецианского оно было предназначено? Отнюдь! Оно было мне странно знакомо. Оно было выходцем из моего детства, когда я впервые вместе с покойным папой и покойным братцем вступил на площадь Святого Марка, окруженный стайей грифельно-серых голубей, хлопающих крыльями вокруг нас на высоте не более двух аршин над плитами знаменитой площади, над нашим папой в соломенной шляпе и люстриновом пиджаке, прижавшим к груди красный томик путеводителя «Бедкер».

Это было кресло, на которое мог сесть любой смертный, желающий почистить свои ботинки. Стоило только сесть на него, как тотчас откуда ни возмись появлялся синьор в жилетке поверх белой сорочки с рукавами, перехваченными резинкой, вынимал из потайного ящика под креслом пару щеток, бархатку, баночки с кремами. Он стучал щеткой о щетку, и этот стук напоминал пощелкиванье кастаньет и какой-то ранний рассказ мулата о Венеции — первые пробы в прозе.

Синьор садился на скамеечку у ваших ног и, напевая приятным голосом «О, соле мио», начинал чистить ваши ботинки, придавая им зеркальность, в которой криво отражались три византийских купола Сан-Марко.

В последний раз я взглянул на опасную пустоту вокруг бархатного кресла, и этого было достаточно для того, чтобы его величественное видение преследовало меня потом всю жизнь до того самого мига, когда вдруг под нами на глубине нескольких километров не открылись вершины Альп, над которыми пролетал из Милана в Париж наш самолет — как любят выражаться обозреватели-международники, воздушный лайнер.

Много раз я бывал в непосредственной близости от Альп, иногда даже в самих Альпах, но всегда они играли со мной в прятки. Мне никогда, например, не удавалось увидеть Монблан. Его можно было увидеть только на лакированной открытке на фоне литографически синего, неестественного неба. А в натуре его белый треугольник почему-то всегда покрывали облака, тучи, туманы, многослойно плывущие над горной цепью, вздымающиеся волнами, как сумрачный плащ Вооланда (плод воображения синеглазого, заряженного двумя магическими Г), возникшего в районе Садовой-Триумфальной между казино, цирком, варьете и Патриаршими прудами, где в лютые морозы, когда птицы падали на лету, мы встречались с синеглазкой возле катка у десятого дерева с краю и наши губы были припаяны друг к другу морозом.

Тогда еще там проходила трамвайная линия, и вагон, ведомый комсомолкой в красном платке на голове — вагоножатой, — отрезал голову атеисту Берлиозу, поскользнувшемуся на рельсах, политых постным маслом из бутылки, разбитой раззявой Аннушкой по воле синеглазого, который тогда уже читал мне страницы из будущего романа.

Действие романа «Мастер и Маргарита» происходило в том районе Москвы, где жил синеглазый, и близость цирка, казино и ревю помогли ему смоделировать дьявольскую атмосферу его великого произведения.

«Прямо-таки гофманиада!..»

Но я отвлекся.

Судьба подарила нам безоблачно-яркий день, и мы летели над Альпами, над их снежными вершинами, ущельями, ледниками и озерами, глядя на них как бы в увеличительное стекло иллюминатора, настолько приблизившее их к нам, что казалось очень возможным сделать один только шаг для того, чтобы ступить ногой на Монблан — белый, плотный, как бы рельефно отлитый из гипса — и пойти по его крутой поверхности, дыша стерильно очищенным воздухом, острым на вкус, как глоток ледяного шампанского, налитого нам стюардессой из бутылки, завернутой в салфетку.

Все сулило нам приближение вечной весны, обещанной Брунsvиком, но увы — мы не встретили ее и в Париже.

Крупные почки конских каштанов, все еще как бы обмазанные столярным клеем, не собирались лопнуть. Деревья чернели голыми ветками, быть может даже более черными, чем зимой, а это все-таки вселяло надежду, что в конце концов почки лопнут: должна же когда-нибудь чернота сучьев разразиться зеленью!

Все-таки парижские чугунные фонари были более безжизненны, чем деревья, и это обнадеживало.

Мы бесцельно бродили по городу, и почему-то я все время вспоминал ключика, так здесь и не побывавшего.

А он так часто о нем мечтал. Впрочем, кто из нашего брата, начиная с Александра Сергеевича, не мечтал о Париже?

Ключик никак не мог поверить, что я собственными глазами видел Нотр-Дам. Тут уж он мне не скрываясь завидовал.

Он был не только любителем красивых фамилий, но также и большим фантазером. Кроме того, у него была какая-то тайная теория узнавать характер человека по ушам. Уши определяли его отношение к человеку. Дурака он сразу видел по ушам. Умного тоже. Честолюбца, лизоблюда, героя, подхалима, эгоиста, лгуна, правдолюбца, убийцу — всех он узнавал по ушам, как графолог узнает характер человека по почерку. Однажды я спросил его, что говорят ему мои уши. Он помрачнел и отмолчался. Я никогда не мог добиться от него правды. Вероятно, он угадывал во мне что-то ужасное и не хотел говорить. Иногда я ловил его мимолетный взгляд на мои уши.

Бунин говорил, что у меня уши волчьи.

Ключик ничего не говорил. Так я никогда и не узнаю, что ключику мои уши открыли какую-то самую мою сокровенную тайну, а именно то, что я не талантлив. Ключик не хотел нанести мне эту рану.

Он был мнителен и всегда подозревал в себе какую-нибудь скрытую, смертельно неизлечимую болезнь. Одно время он был уверен, что у него проказа. Он сжимал кулаки и протягивал их мне:

— Посмотри. Неужели тебе не ясно, что у меня начинается проказа?

— Где ты видишь проказу?

— Узлики! — кричал он.

— Что за узлики?

— Видишь эти маленькие белые узелочки между косточками моих пальцев?

— Ну, вижу. Так что же?

— Это узлики, — говорил он таинственно, — первый признак проказы. Узлики!

Слово «узлики» он произносил с особым зловещим значением. Не узелочки, а именно узлики.

Однажды под зловещим знаком узликов прошел целый месяц: ключик ждал проказы и был в отчаянии, что проказа не проявилась.

Еще одно слово в течение довольно долгого времени владело ключиком. Совершенно невинное слово «возчики». Но оно приобрело зловещий оттенок. И не без основания. Когда ключик женился и обзавелся собственной жилой площадью, понадобилось пианино. Его жена была музыкантшей. Взяли напрокат пианино и, конечно, никогда в срок не платили за него. Тогда прокатная контора прислала напоминание, что если в недельный срок долг не будет погашен, то за инструментом пришлют возчиков. Об этом забывалось, и через неделю действительно приезжали возчики. Тогда начиналась паника и крики:

— Приехали возчики!

Иногда беда разражалась внезапно. Входил бледный ключик и восклицал:

— Возчики приехали!

Начинались поиски денег. Неприятность улаживалась. Под пальцами ключиковой жены снова начинал звенеть турецкий марш Моцарта. А через некоторое время безоблачной жизни вдруг, неожиданно, как молния, как смерть, раздавался тревожный крик:

— Возчики приехали!

Ключика можно было разбудить среди ночи, и он кричал:

— Что, возчики приехали?

Однажды в редакцию «Гудка» в разгар рабочего дня вошла подавленная жена ключика. На ней было парядное

черное бархатное платье. Он посмотрел на ее побледневшее лицо с янтарными глазами и сразу догадался:

— Что? Возчики приехали?

В конце концов возчики однажды-таки увезли инструмент. Но ключик заплатил долг, и возчики привезли пианино обратно.

Помнится также крылатое выражение ключика: железные пальцы идиота.

Был такой сорт людей, говорунов и себялюбцев, которые, как бы силой заставляя себя слушать, тыкали в собеседника двумя твердыми вытянутыми пальцами в плечо, в грудь, в солнечное сплетение:

— Слушай, что я тебе говорю. Слушай! Слушай!

Это у ключика называлось железные пальцы идиота. По-моему, блестяще.

Во время первого шахматного турнира в Москве, в разгар шахматного безумия, когда у всех на устах были имена Капабланки, Ласкера, Боголюбова, Рети и прочих, а гостиницу «Метрополь», где происходили матчи на мировое первенство, осаждали обезумевшие любители, ключик сказал мне:

— Я думаю, что шахматы игра несовершенная. В ней не хватает еще одной фигуры.

— Какой?

— Дракона.

— Где же он должен стоять? На какой клетке?

— Он должен находиться *вне* шахматной доски. Понимаешь: вне!

— И как же он должен ходить?

— Он должен ходить без правил. Он может съесть любую фигуру. Игрок в любой момент может ввести его в дело и сразу же закончить партию матом.

— Позволь...— пролепетал я.

— Ты хочешь сказать, что это чужь. Согласен. Чужь. Но чужь гениальная. Кто успеет первый ввести в бой дракона и съесть короля противника, тот и выиграл. И не надо тратить столько времени и энергии на утомительную партию. Дракон — это революция в шахматах!

— Бред!

— Как угодно. Мое дело предложить.

В этом был весь ключик.

...но вдруг наискось, во всю длину Елисейских полей от каштановой рощи до Триумфальной арки подул страшно сильный северный ветер, по-зимнему острый, насквозь пронизывающий. Небо потемнело, покрытое сумрачным плащом Воланда, и даже, кажется, пронеслось несколько твердых снежинок. Нас всюду преследовала зима, от которой мы бежали. Ледяной дождь пополам со снегом бил в лицо, грудь, спину, грозя воспалением легких, так как мы были одеты очень легко, по-весеннему.

Ветер нес воспоминания о событиях моей жизни, казавшихся навсегда утраченными. Память продолжала разрушаться, как старые города, открывая среди развалин еще более древние постройки других эпох. Только города разрушались гораздо медленнее, чем человеческое сознание. Их разрушению часто предшествует изменение названий, одни слова заменяются другими, хотя сущность пока остается прежней.

Бульвар Орлеан, по которому некогда проезжал на велосипеде Ленин, теперь уже называется бульваром Леклерк, и многие забыли его прежнее название. Исчез навсегда Центральный рынок — чрево Парижа. Его уже не существует. Вместо него громадный котлован, над которым возвышаются гигантские желтые железные башни строительных кранов. Что здесь будет и как оно будет называться — никто не знает. Вместе с Центральным рынком ушла в никуда целая полоса парижской жизни.

Мне трудно примириться с исчезновением маленького провинциального Монпарнасского вокзала, такого привычного, такого милого, такого желтого, где так удобно было назначать свидания и без которого Монпарнас уже не вполне Монпарнас постимпрессионистов, сюрреалистов и гениального сумасшедшего Брунсвика.

На его месте выстроена многоэтажная башня, бросающая свою непомерно длинную тень на весь левый берег, как бы превратив его в солнечные часы. Это вторжение американизма в добрую старую Францию. Но я готов примириться с этой башней, как пришлось в конце прошлого века примириться с Эйфелевой башней, от которой

бежал сумасшедший Мопассан на Лазурный берег и метался вдоль его мысов на своей яхте «Бель ами». Воображаю, какую ярость вызвал бы в нем сверхиндустриальный центр, возникший в тихом Нейи: темные металлические небоскребы, точно перенесенные какой-то злой силой сюда, в прелестный район Булонского леса, из Чикаго.

Но и с этим я уже готов примириться, хотя из окна тридцать второго этажа суперотеля «Конкорд-Лафайет» Париж уже смотрится не как милый, старый, знакомый город, а как выкройка, разложенная на дымном, безликом, застроенном пространстве, по белым пунктирам которого бегают крошечные насекомые — автомобили.

Иногда разрушение города опережает разрушение его филологии. Целые районы Москвы уничтожаются с быстротой, за которой не в состоянии угнаться даже самая могучая память.

С течением лет архитектурные шедевры Москвы, ее русский ампир, ее древние многокупольные церквушки, ее дворянские и купеческие особняки минувших веков со львами и геральдическими гербами, давным-давно не отремонтированные, захламленные, застроенные всяческой дощатой дрянью — будками, сараями, заборами, ларьками, голубятнями, — вдруг выступили на свет божий во всей своей яркой прелести.

Рука сильной и доброй власти стала приводить город в порядок. Она даже переставила Триумфальную арку от Белорусского вокзала к Поклонной горе, где, собственно, ей быть и полагалось, недалеко от конного памятника Кутузову, заманившего нетерпеливого героя в ловушку горящей Москвы.

И еду по Москве, и на моих глазах происходит чудо великого разрушения, соединенного с еще большим чудом созидания и обновления. В иных местах рушатся и сжигаются целые кварталы полусгнивших мещанских домишек, и очищающий огонь прочесывает раскаленным гребнем землю, где скоро из дыма и пламени возникнет новый прозрачный парк или стеклянное здание. В иных местах очищение огнем и бульдозерами уже совершилось, и я вижу древние — прежде незаметные — постройки неслы-

ханной прелести и яркости красок, они переживают вторую молодость, извлекая из захламленного мусором времени драгоценные воспоминания во всей их подлинности и свежести, как то летнее, бесконечно далекое утро, когда курьерский поезд, проскочив сквозь каменноугольный газ нескольких черных туннелей, внезапно вырвался на ослепительный простор и я увидел темно-зеленую сева­стопольскую бухту с заржавленным пароходом посередине, а потом поезд остановился, и я вышел на горячий перрон под жгучее крымское солнце, в лучах которого горели привокзальные розы — белые, черные, алые, — расточая свой сильный и вместе с тем нежный, особый крымский аромат, говорящий о любви, счастье, а также о розовом массандрском мускате и татарском шашлыке и чебуреках, надутых горячим перечным воздухом.

Несколько богатых пассажиров стояли на ступенях в ожидании автомобилей, среди них, но немного в стороне, я заметил молодого человека, отличавшегося от нэпманских парвеню, приехавших в Крым на бархатный сезон со своими самками, одетыми по последней, еще довоенной парижской моде, дошедшей до них только сейчас, с большим опозданием, в несколько искаженном стиле аргентинского танго; ну а о самцах я не говорю: они были в новеньких, непременно шевиотовых двубортных костюмах разных оттенков, но одинакового покроя.

Одиноким молодой человек, худощавый и стройный, обратил на себя мое внимание не только приличной скромностью своего костюма, но главным образом своим багажом — небольшим сундучком, обшитым серым брезентом. Подобные походные сундучки были непременной принадлежностью всех офицеров во время первой мировой войны. К ним также полагалась складная походная кровать-сороконожка, легко складывающаяся, а все это вместе называлось «походный гюнтёр».

Из этого я заключил, что молодой человек — бывший офицер, судя по возрасту подпоручик или поручик, если сделать поправку на прошедшие годы.

У меня тоже когда-то был подобный «гюнтёр». Это как бы давало мне право на знакомство, и я улыбнулся молодому человеку. Однако он в ответ на мою дружескую улыбку поморщился и отвернулся, причем лицо его приняло несколько высокомерное выражение знаменитости, утомленной тем, что ее узнают на улице.

Тут я заметил, что на брезентовом покрытии «гюнте-

ра» довольно крупными, очень заметными буквами — так называемой елизаветинской прописью — лиловым химическим карандашом были четко выведены имя и фамилия ленинградского писателя, автора маленьких сатирических рассказов, до такой степени смешных, что имя автора не только прославилось на всю страну, но даже сделалось как бы нарицательным.

Так как я печатался в тех же юмористических журналах, где и он, то я посчитал себя вправе без лишних церемоний обратиться к нему не только как к товарищу по оружию, но также и как к своему коллеге по перу.

— Вы такой-то? — спросил я, подойдя к нему.

Он смерил меня высокомерным взглядом своих глаз, похожих на не очищенный от коричневой шкурки миндаль, на смугло-оливковом лице и несколько гвардейским голосом сказал, не скрывая раздражения:

— Да. А что вам угодно?

При этом мне показалось, что черная бородавка под его нижней губой нервно вздрогнула. Вероятно, он принял меня за надоевший ему тип навязчивого поклонника, может быть даже собирателя автографов.

Я назвал себя, и выражение его лица смягчилось, по губам скользнула доброжелательная улыбка, сразу же превратившая его из гвардейского офицера в своего брата — сотрудника юмористических журналов.

— Ах, так! Значит, вы автор «Растратчиков»?

— Да. А вы автор «Аристократки»?

Дальнейшее не нуждается в уточнении.

Конечно, мы тут же решили поселиться в одном и том же пансионе в Ялте на Виноградной улице, хотя до этого бывший штабс-капитан намеревался остановиться в знаменитой гостинице «Ореанда», где, кажется, в былое время останавливались все известные русские писатели, наши предшественники и учителя.

(Не буду их называть. Это было бы нескромно.)

Пока мы ехали в высоком, открытом старомодном автомобиле в облаках душной белой крымской пыли от Севастополя до Ялты, мы сочлись нашим военным прошлым. Оказалось, что мы воевали на одном и том же участке западного фронта, под Сморгонью, рядом с деревней Крево: он в гвардейской пехотной дивизии, я — в артиллерийской бригаде. Мы оба были в одно и то же время отравлены газами, пущенными немцами летом 1916 го-

да, и оба с той поры покашливали. Он дослужился до штабс-капитана, а я до подпоручика, хотя и не успел нацепить на погоны вторую звездочку ввиду Октябрьской революции и демобилизации: так и остался прапорщиком.

Хотя разница в чинах уже не имела значения, все же я чувствовал себя младшим как по возрасту, так и по степени литературной известности.

...Туман, ползущий с вершины Ай-Петри, куда мы впоследствии вскарабкались, напоминал нам газовую атаку...

Тысячу раз описанные Байдарские ворота открыли нам внезапно красивую бездну какого-то иного, совсем не русского мира с высоким морским горизонтом, с почти черными веретенами кипарисов, с отвесными скалистыми стенами Крымских гор того бледно-сиреневого, чуть известкового, мергельного, местами розоватого, местами голубоватого оттенка, упирающихся в такое же бледно-сиреневое, единственное в мире курортное небо с несколькими ангельски белыми облачками, обещающее вечное тепло и вечную радость.

Исполинская темно-зеленая туманная мышь Аю-Дага, прижав маленькой головкой к приборю, пила морскую воду синезеленого бутылочного стекла, а среди нагромождения скал, поросших искривленными соснами, белел водопад Учан-Су, повисший среди камней, как фата невесты, бросившейся в пропасть перед самой свадьбой.

В мире блаженного безделья мы сблизились со штабс-капитаном, оказавшимся вовсе не таким замкнутым, каким впоследствии изображали его различные мемуаристы, подчеркивая, что он, великий юморист, сам никогда не улыбался и был сух и мрачноват.

Все это неправда.

Богом, соединившим наши души, был юмор, не оставивший нас ни на минуту. Я, по своему обыкновению, хохотал громко — как однажды заметил ключик, «ржал», — в то время как смех штабс-капитана скорее можно было бы назвать сдержанным ядовитым смешком, я бы даже

сказал — ироническим хехеканьем, в котором добродушный юмор смешивался с сарказмом, и во всем этом принимала какое-то непонятное участие черная бородавка под его извивающимися губами.

Выяснилось, что наши предки происходили из мелкопоместных полтавских дворян и в отдаленном прошлом, быть может, даже вышли из Запорожской Сечи.

Такие географические названия, как Миргород, Диканька, Сорочинцы, Ганькивка, звучали для нас ничуть не экзотично или, не дай бог, литературно, а вполне естественно; фамилию Гоголь-Яновский мы произносили с той простотой, с которой произносили бы фамилию близкого соседа.

...Бачеи, Зоценки, Ганьки, Гоголи, Быковы, Скворода, Яновские...

Это был мир наших не столь отдаленных предков, родственников и добрых знакомых.

Но вот что замечательно:

впервые я услышал о штабс-капитане от ключика еще в самом начале двадцатых годов, когда Ленинград назывался еще Петроградом.

Ключик поехал в Петроград из Москвы по каким-то газетным делам. Вернувшись, он принес вести о петроградских писателях, так называемых «Серапионовых братьях», о которых мы слышали, но мало их знали. Ключик побывал на их литературном вечере. Особого впечатления они на него не произвели, кроме одного — бывшего штабс-капитана, автора совсем небольших рассказов, настолько оригинально и мастерски написанных особым мецанским «сказом», что даже в передаче ключика они не теряли своей совершенно неповторимой прелести и вызывали взрывы смеха.

Вскоре слава писателя-юмориста — бывшего штабс-капитана — как пожар охватила всю нашу молодую республику.

Это лишний раз доказывает безупречное чутье ключика, его высокий, требовательный литературный вкус, открывший москвичам новый петроградский талант — звезду первой величины.

Штабс-капитан, несмотря на свою, смею сказать, все-

мирную известность, продолжал оставаться весьма сдержанным и по-питерски вежливым, деликатным человеком, впрочем, не позволявшим по отношению к себе никакого амигошонства, если дело касалось «посторонних», то есть людей, не принадлежащих к самому близкому для него кружку, то есть «всех нас».

У него были весьма скромные привычки. Приезжая изредка в Москву, он останавливался не в лучших гостиницах, а где-нибудь недалеко от вокзала и некоторое время не давал о себе знать, а сидел в номере и своим четким елизаветинским почерком без помарок писал один за другим несколько крошечных рассказиков, которые потом отвозил на трамвае в редакцию «Крокодила», после чего о его прибытии в Москву узнавали друзья.

Приходя в гости в семейный дом, он имел обыкновение делать хозяйке какой-нибудь маленький прелестный подарок — чаще всего серебряную с чернью старинную табакерку, купленную в комиссионном магазине. В гостях он был изысканно вежлив и несколько кокетлив: за стол садился так, чтобы видеть себя в зеркале, и время от времени посматривал на свое отражение, делая различные выражения лица, которое ему, по-видимому, очень нравилось.

Он деликатно и умело ухаживал за женщинами, тщательно скрывал свои победы и никогда не компрометировал свою возлюбленную, многозначительно называя ее пушкински N. N., причем бархатная бородавочка под его губой вздрагивала как бы от скрытого смешка, а миндальные глаза делались еще миндальнее.

Степень его славы была такова, что однажды, когда он приехал в Харьков, где должен был состояться его литературный вечер, к вагону подкатили красную ковровую дорожку и поклонники повели его, как коронованную особу, к выходу, поддерживая под руки.

Распространился слух, что местные жители предлагали ему принять украинское гражданство, поселиться в столице Украины и обещали ему райскую жизнь. Переманивала его также и Москва. Но он навсегда остался верен своему Петербургу-Петрограду-Ленинграду.

Случалось, что мы, его московские друзья, внезапно ненадолго разбогатеv, совершали на «Красной стреле» набег на бывшую столицу Российской империи. Боже мой, какой переполюх поднимали мы со своим московскими замашками времен нэпа!

По молодости и глупости мы не понимали, что ведем себя по-купечески, чего терпеть не мог корректный, благовоспитанный Ленинград.

Мы останавливались в «Европейской» или «Астории», занимая лучшие номера, иной раз даже люкс. Появлялись шампанское, знакомые, полужнакомые и совсем незнакомые красавицы. Известный еще со времен Санкт-Петербурга лихач, бывший жокей, дежуривший возле «Европейской» со своим бракованным рысаком по имени Травка, мчал нас по бесшумным торцам Невского проспекта, а в полночь мы пировали в том знаменитом ресторанном зале, где Блок некогда послал недоступной красавице «черную розу в бокале золотого, как небо, ай... а монисто брэнчало, цыганка плясала и визжала заре о любви»...

...а потом сумрачным утром бродили еще не вполне отрезвевшие по достоевским закоулкам, вдоль мертвых каналов, мимо круглых подворотен, откуда на нас подозрительно смотрели своими небольшими окошками многоэтажные жилые корпуса, бывшие некогда пристанищем униженных и оскорбленных, мимо решеток, напоминавших о том роковом ливне, среди стальных прутьев которого вдруг блеснула молния в руке Свидригайлова, приложившего револьвер к своему щегольскому двубортному жилету, после чего высокий цилиндр свалился с головы и покотился по лужам.

Со страхом на цыпочках входили в дом, на мрачную лестницу, откуда в пролет бросился сумасшедший Гаршин, в черных глазах которого навсегда застыл «остекленный мир».

Всюду преследовали нас тени гоголевских персонажей среди решеток, фонарей, палевых фасадов, арок Гостиного двора.

...Поездки в наемных автомобилях по окрестностям, в Детское Село, где среди черных деревьев царскосельского парка сидел на чугунной решетчатой скамейке амфир чу-

гунный лицеист, выставив вперед ногу, курчавый, потусторонний, еще почти мальчик, и в вольно расстегнутом мундире, — Пушкин.

«...здесь лежала его треуголка и растрепанный том Пярни»...

А где-то неподалеку от этого священного места некто скупал по дешевке дворцовую мебель красного дерева, хрусталь, фарфор, картины в золотых рамах и устраивал рекламные приемы в особняке, приобретенном за гроши у какой-нибудь бывшей дворцовой кастелянши или дивей, и так далее...

Когда же наша московская братия, душой которой был ключик, прокучивала все деньги, наставлял час разлуки. Штабс-капитан, выбитый из своей равномерной, привычной рабочей колеи, утомленный нашей безалаберной гостиничной жизнью, с облегчением вздыхал, нежно нас на прощанье целуя и называя уменьшительными именами, и «Красная стрела» уносила нас в полночь обратно в Москву, где нам предстояло еще долго заштопывать дыры в бюджете.

О, эти полночные отъезды из Ленинграда, чаще всего в разгар белых ночей, когда вечерняя заря еще светилась за вокзалом и на ее щемяще-печальном зареве рисовались черные силуэты дореволюционных старопитерских фабричных корпусов, заводских труб и безрадостных, закопченных паровозных депо, помнивших царское время и народные мятежи в героические дни свержения самодержавия, брандмауэры с рекламами давно не существующих фирм, железный хлам, оставшийся от времен разрухи и гражданской войны.

Город таял далеко позади, а полночная заря все еще светилась за мелколесьем, отражаясь в болотах, и долго-долго не наступала ночь, и, качаясь на рессорах международного вагона, нам с ключиком казалось, что мы слишком преждевременно покидаем странное, полумертвое царство, где, быть может, нас ожидало, да так и не дождалось некое несбыточное счастье новой жизни и вечной любви.

С Ленинградом связана моя последняя встреча со штабс-капитаном совсем незадолго до его исчезновения.

Город, переживший девятисотдневную блокаду, все еще хранил следы немецких артиллерийских снарядов, авиационных бомб, но уже почти полностью залечил свои раны.

На этот раз я приехал сюда один и сейчас же позвонил штабс-капитану. Через сорок минут он уже входил в мой номер — все такой же стройный, сухощавый, корректный, истинный петербуржец, почти не тронутый временем, если не считать некоторой потертости костюма и обуви — свидетельства наступившей бедности. Впрочем, знакомый костюм был хорошо вычищен, выглажен, а старые ботинки натерты щеткой до блеска.

Он был в несправедливой опале.

Мы поцеловались и тут же по традиции совершили прогулку на машине, которую я вызвал через портье.

Я чувствовал себя молодцом, не предвидя, что в самом ближайшем времени окажусь примерно в таком же положении.

Так или иначе, но я еще не чувствовал над собой тучи, и мы со штабс-капитаном промчались в большом черном автомобиле — только что выпущенной новинке отечественного автомобилестроения, на днях появившейся на улицах Ленинграда.

Мы объехали весь город, круто взлетая на горбатые мостики его единственной в мире набережной, мимо уникальной решетки Летнего сада, любуясь широко раскинувшейся панорамой с неправдоподобно высоким шпилем Петропавловской крепости, разводными мостами, ростральными колоннами Биржи, черными якорями желтого Адмиралтейства, Медным всадником, «смуглым золотом» постепенно уходящего в землю Исаакиевского собора.

Мы промчались мимо Таврического дворца, Смольного, Суворовского музея с двумя наружными мозаичными картинами. Одна из них — отъезд Суворова в поход 1799 года — была работы отца штабс-капитана, известного в свое время художника-передвижника, и штабс-капитан

поведал мне, что когда его отец выкладывал эту мозаичную картину, а штабс-капитан был тогда еще маленьким мальчиком, то отец позволил ему выложить сбоку картины из кубиков смальты маленькую елочку, так что он как бы являлся соавтором этой громадной мозаичной картины, что для меня было новостью.

...Он, как всегда, был сдержан, но заметно грустноват, как будто бы уже заглянул по ту сторону бытия, туда, откуда нет возврата, нет возврата!.. что, впрочем, не мешало ему временами посмеиваться своим мелким смешком над моими прежними московскими замашками, от которых я все никак не мог избавиться.

Наша поездка была как бы прощанием штабс-капитана со своим городом, со своим старым другом, со своей жизнью.

Я предложил ему по старой памяти заехать на Невский проспект в известную кондитерскую «Норд», ввиду своего космополитического названия переименованную в исконно русское название «Север», и выпить там кофе с весьма знаменитым, еще не переименованным тортом «Норд».

Он встревожился.

— Понимаешь, — сказал он, по обыкновению нежно называя меня уменьшительным именем, — в последнее время я стараюсь не показываться на людях. Меня окружают, рассматривают, сочувствуют. Тяжело быть ошельмованной знаменитостью, — не без горькой иронии закончил он, хотя в его словах слышались и некоторые честолюбивые нотки.

Он, как и все мы, грешные, любил славу!

Я успокоил его, сказав, что в этот час вряд ли в кондитерской «Север» особенно многолюдно. Хотя и неохотно, но он согласился с моими доводами.

Оставив машину дожидаться нас у входа, мы проворно прошмыгнули в «Север», где, как мне показалось, к некоторому своему неудовольствию, имевшему оттенок удовольствия, штабс-капитан обнаружил довольно много посетителей, которые, впрочем, не обратили на нас внимания. Мы уселись за столик во второй комнате в темно-

ватом углу и с удовольствием выпили по стакану кофе со сливками и съели по два куска торта «Норд».

Мой друг все время подозрительно поглядывал по сторонам, каждый миг ожидая проявления повышенного интереса окружающих к его личности. Однако никто его не узнал, и это, по-моему, немного его огорчило, хотя он держался молодцом.

— Слава богу, на этот раз не узнали, — сказал он, когда мы выходили из кондитерской на Невский и сразу же попали в толпу, стоявшую возле нашей машины и, видимо, ожидавшую выхода опального писателя.

— Ну я же тебе говорил, — с горькой иронией, хотя и не без внутреннего ликования шепнул мне штабс-капитан, окруженный толпой зевак. — Просто невозможно появиться на улице! Какая-то гофманиада, — вспомнил он нашу старую поговорку и засмеялся своим негромким дробным смешком.

Я провел его через толпу и впахнул в машину. Толпа не расходилась. Мне даже, признаться, стало завидно, вспомнился Крым, наша молодость и споры: кто из нас Ай-Петри, а кто Чатыр-Даг. Конечно, в литературе. Пришли к соглашению, что он Ай-Петри, а я Чатыр-Даг. Обе знаменитые горы, но Ай-Петри больше знаменита и чаще упоминается, а Чатыр-Даг реже.

На долю ключика досталась Роман-Кош!

— Товарищи, — обратился я к толпе, не дававшей возможности нашей машине тронуться. — Ну чего вы не видите?

— Да нам интересно посмотреть на новую модель автомобиля. У нас в Ленинграде она в новинку. Вот и любуемся. Хорошая машина! И ведь, главное дело, своя, советская, отечественная!

Шофер дал гудок. Толпа разошлась, и машина двинулась, увозя меня и штабс-капитана, на лице которого появилось удовлетворенно-смущенное выражение и бородавка на подбородке вздрогнула не то от подавленного смеха, не то от огорчения.

Мы переглянулись и стали смеяться. Я громко, а он на свой манер — тихонько.

Прав был великий петроградец Александр Сергеевич:

«Что слава? Яркая заплата» — и т. д.

А вокруг нас все разворачивались и разворачивались каналы и перспективы неповторимого города, прежняя душа которого улетела подобно пчелиному рою, покинувшему свой прекрасный улей, а новая душа, новый пчелиный рой, еще не вполне обжила свой город.

Новое вино, влитое в старые мехи.

Над бело-желтым Смольным суровый ветер с Финского залива нес тучи, трепал флаг победившей революции, а в бывшем Зимнем дворце, в Эрмитаже, под охраной гранитных атлантов, в темноватом зале испанской живописи, плохо освещенная и совсем незаметная, дожидалась нас Мадонна Моралеса, которую ключик считал лучшей картиной мира, и мы со штабс-капитаном снова — в который раз! — прошли по обветшавшему, скрипящему дворцовому паркету мимо этой маленькой темной картины в старинной золоченой раме, как бы прощаясь навсегда с нашей молодостью, с нашей жизнью, с нашей Мадонной.

Вот каким обыкновенным и незабываемым возник передо мной образ штабс-капитана среди выгорающей дребедени гнилых мещанских домиков, охваченных дымным пламенем, над которым возвышалась, отражаясь в старом подмосковном пруде, непомерно высокая бетонная многочленистая Останкинская телевизионная башня — первый выходец из таинственного Грядущего.

...возле бывшего Брянского вокзала на месте скопления лачуг раскинулся новый прекрасный парк, проезжая мимо которого, с поразительной отчетливостью вижу я мулата в нескольких его ипостасях, в той нелогичной последовательности, которая свойственна свободному человеческому мышлению, живущему не по выдуманым законам так называемого времени, хронологии, а по единственно естественным, пока еще не изученным законам ассоциативных связей.

... вижу мулата последнего периода — постаревшего, но все еще полного любовной энергии, избегающего лишних встреч и поэтому всегда видимого в отдалении, в конце плотины переделкинского пруда, в зимнем пальто с

черным каракулевым воротником, в островерхой черной каракулевой шапке, спиной к осеннему ветру, несущему узкие, как лезвия, листья старых серебристых ветел.

Он издали напоминал стручок черного перца — как-то ужасно не совпадающий с опрокинутым отражением деревни на той стороне самаринского пруда.

...весь одиночество, весь ожидание.

В тот день он был гостеприимен, оживлен, полон скрытого огня, как мастер, довольный своим новым творением. С явным удовольствием читал он свою прозу, даже не слишком мыча и не издавая странных междометий глухонемого демона.

Все было в традициях доброй старой русской литературы: застекленная дачная терраса, всклокоченные волосы уже седеющего романиста, слушатели, сидящие вокруг длинного чайного стола, а за стеклами террасы несколько вполне созревших рослых черноликих подсолнечников с архангельскими крыльями листьев, в золотых нимбах лепестков, как святые, написанные альфреско на стене подмосковного пейзажа с сельским кладбищем, и золотыми луковками патриаршей церкви времен Ивана Грозного.

Святые подсолнечники тоже пришли послушать прозу мулата.

А вот он на крыше нашего высокого дома в Лаврушинском переулке, против Третьяковской галереи, почью, без шапки, без галстука, с расстегнутым воротником сорочки, озаренный зловещим заревом пылающего где-то невдалеке Зацепского рынка, подожженного немецкими авиабомбами, на фоне черного Замоскворечья, на фоне черного неба, перекрещенного фосфорическими трубами прожекторов противовоздушной обороны, среди бегающих красных звездочек зенитных снарядов, в грохоте фугасок и ноющем однообразии фашистских бомбардировщиков, ползущих где-то сверху над головой.

Мулат ходил по крыше, и под его ногами гремело кровельное железо, и каждую минуту он был готов засыпать песком шипящую немецкую зажигалку, брызгающую искрами, как слочный фейерверк.

Мы с ним были дежурными противовоздушной обороны. Потом он описал эту ночь в своей книге «На ранних поездах».

«Запомнится его обстрел. Сполна зачтется время, когда он делал, что хотел, как Ирод в Вифлееме. Настанет новый, лучший век. Исчезнут очевидцы...»

Не знаю, настал ли в мире лучший век, но очевидцы исчезали один за другим. Исчез и мулат — великий очевидец эпохи. Но я помню, что среди ужасов этой ночи в мулате вдруг вспыхнула искра юмора. И он сказал мне, имея в виду свою квартиру в самом верхнем этаже дома, а также свою жену по имени Зинаида и зенитное орудие, установленное над самым его потолком:

«Наверху зенитка, а под ней Зинаидка».

Для него любая жизненная ситуация, любой увиденный пейзаж, любая отвлеченная мысль немедленно и, как мне казалось, автоматически превращались в метафору или в стихотворную строчку. Он излучал поэзию, как нагретое физическое тело излучает инфракрасные лучи.

Однажды наша шумная компания ввалилась в громадный черный автомобиль с горбатым багажником. Меня с мулатом втиснули в самую его глубину, в самый его горбатый зад. Автомобиль тронулся, и мулат, блеснув белками, смеясь, предварительно промычав нечто непонятное, прокричал мне в ухо:

— Мы с вами сидим в самом его *мозжечке!*

Он был странно одет. Совсем не в своем обычном европейском стиле: брюки, засунутые в голенища солдатских сапог, и какая-то зеленая фетровая шляпа с нелепо загнутыми полями, как у чеховского Епиходова в исполнении Москвина.

Мы все были навеселе, и мулат тоже.

Вы хотите еще что-нибудь узнать о мулате? Я устал. Да и время лекции исчерпано. Впрочем, если угодно, несколько слов.

Я думаю, основная его черта была чувственность: от первых стихов до последних.

Из ранних, мулата-студента:

«...что даже антресоли при виде плеч твоих трясло»...
«Ты вырывалась, и чуб касался чудной челки и губ-фиалок»...

Из последних:

«Под ракитой, обвитой плющом, от ненастья мы ищем защиты. Наши плечи покрыты плащом, вокруг тебя мои руки обвиты. Я ошибся. Кусты этих чащ не плющом перебиты, а хмелем. Ну, так лучше давай этот плащ в ширину под собою расстелим»...

В эту пору он уже был старик. Но какая любовная энергия!

Вот он стоит перед дачей, на картофельном поле, в сапогах, в брюках, подпоясанных широким кожаным поясом офицерского типа, в рубашке с засученными рукавами, опершись ногой на лопату, которой вскапывает суглинистую землю. Этот вид совсем не вяжется с представлением об изысканном современном поэте, так же как, например, не вязались бы гладко выбритый подбородок, элегантный пиджачный костюм, шелковый галстук с представлением о Льве Толстом.

Мулат в грязных сапогах, с лопатой в загорелых руках кажется ряженым. Он играет какую-то роль. Может быть, роль великого изгнанника, добывающего хлеб насущный трудами рук своих. Между тем он хорошо зарабатывает на своих блестящих переводах Шекспира и грузинских поэтов, которые его обожают. О нем пишут в Лондоне монографии. У него автомобиль, отличная квартира в Москве, дача в Переделкине.

Он смотрит вдаль и о чем-то думает среди несвойственного ему картофельного поля. Кто может проникнуть в тайны чужих мыслей? Но мне представляется, что, глядя на подмосковный пейзаж, он думает о Париже, о французской революции. Не исключено, что именно в этот миг он вспоминает свою некогда начатую, но брошенную пьесу о французской революции.

Не продолжить ли ее? Как бишь она начиналась?

«В Париже. На квартире Леба. В комнате окна стоят настежь. Летний день. В отдалении гром. Время действия между 10 и 20 мессидора (29 июня — 8 июля) 1794 года.

Сен-Жюст: — Таков Париж. Но не всегда таков. Он был и будет. Этот день, что светит кустам и зданьям на пути к моей душе, как освещают путь в подвалы, не вечно будет бурным фонарем, бросающим все вещи в жар порядка, но век пройдет, и этот теплый луч, как уголь, почернеет, и в архивах пытливость поднесет свечу к тому, что нынче нас слепит, живит и греет, и то, что нынче ясность мудреца, потомству станет бредом сумасшедших».

Октябрьская революция была первой во всей мировой истории, совершенно не похожей на все остальные революции мира. У нее не было предшественниц, если не считать Парижской коммуны.

Не имея литературных традиций для ее изображения, многие из нас обратились не к Парижской коммуне, а к Великой французской революции, имевшей уже большое количество художественных моделей. Может быть, только один Александр Блок избежал шаблона, написав «Двенадцать» и «Скифов», где русская революция была изображена первично.

Попытки почти всех остальных поэтов — кроме Командора — были вторичны. Несмотря на всю свою гениальность, мулат принадлежал к остальным. Он не сразу разгадал неповторимость Октября и попытался облечь его в одежды французской революции, превратив Петроград и Москву семнадцатого и восемнадцатого годов в Париж Сен-Жюста, Робеспьера, Марата.

Кто из нас не писал тогда с восторгом о зеленой ветке Демулена, в те дни, когда гимназист Канегиссер стрелял в Урицкого, а Каплан отравленной пулей — в Ленина, и не санкюлоты в красных фригийских колпаках носили на никах головы аристократов, а рабочие Путиловского завода в старых пиджаках и кепках, перепоясанные пулевыми лентами, становились на охрану Смольного.

Быть может, неповторимость, непохожесть нашей революции, темный ноябрьский фон ее пролетарских толп, серость ее солдатских шинелей, чернота матросских бушлатов, георгиевских лент черноморцев, питерские и московские предместья, так не похожие на литературную яркость Парижа 1794 года, и были причиной многих наших разочарований.

Столкновение легенды с действительностью, «Марсельезы» с «Интернационалом».

Париж Консьержери и Пале-Рояля был для нас притягательной силой. Мы стремились в Париж.

Не избегал этого и один из самых выдающихся среди нас прозаиков — конармеец, тем более что он действительно в качестве одного из первых советских военных корреспондентов проделал польскую кампанию вместе с Первой конной Буденного.

Он сразу же и первый среди нас прославился и был признан лучшим прозаиком не только правыми, но и левыми. «Лев» напечатал его рассказ «Соль», и сам Командор на своих поэтических вечерах читал этот рассказ наизусть и своим баритональным басом прославлял его автора перед аудиторией Политехнического музея, что воспринималось как высшая литературная почать, вроде Нобелевской премии.

Конармеец стал невероятно знаменит. На него писали пародии и рисовали шаржи, где он неизменно изображался в шубе с меховым воротником, в круглых очках местечкового интеллигента, но в буденновском шлеме с красной звездой и большой автоматической ручкой вместо винтовки.

Он, так же как и многие из нас, приехал с юга, с той лишь разницей, что ему не надо было добывать себе славу. Слава опередила его. Он прославился еще до революции, во время первой мировой войны, так как был напечатан в горьковском журнале «Летопись». Кажется, даже одновременно с поэмой Командора «Война и мир». Алексей Максимович души не чаял в будущем конармейце, пророча ему блестящую будущность, что отчасти оправдилось.

В Москве он появился уже признанной знаменитостью.

Но мы знали его по ЮгРОСТе, где вместе с нами он работал по агитации и пропаганде, а также в губиздате, где заведовал отделом художественной литературы и принадлежал к партийной элите нашего города, хотя сам был беспартийным. Его обожали все вожди нашего города как первого писателя.

Подобно всем нам он ходил в холщовой толстовке, в деревянных босоножках, которые гремели по тротуарам со звуком итальянских кастаньет.

У него была крупная голова вроде несколько деформированной тыквы, сильно облысевшая спереди, и вечная ироническая улыбка, упомянутые уже круглые очки, за стеклами которых виднелись изюминки маленьких детских глаз, смотревших на мир с пытливым любопытством, и широкий, как бы слегка помятый лоб с несколькими морщинами, мудрыми не по возрасту, — лоб философа, книжника, фарисея.

...И вместе с тем — нечто хитрое, даже лисье...

Он был немного старше нас, даже птицелова, и чувствовал свое превосходство как мастер. Он был склонен к нравоучениям, хотя и делал их с чувством юмора, причем его губы принимали форму ижицы или, если угодно, римской пятерки.

У меня сложилось такое впечатление, что ни ключика, ни меня он как писателей не признавал. Признавал он из нас одного птицелова. Впрочем, он не чуждался нашего общества и снисходил до того, что иногда читал нам свои рассказы о местных бандитах и налетчиках, полные юмора и написанные на том удивительном южноноворооссийском, черноморском, местами даже местечковом жаргоне, который, собственно, и сделал его знаменитым.

Манера его письма в чем-то сближалась с манерой штабс-капитана, и это позволило честолюбивым ленинградцам считать, что наш конармеец всего лишь подражатель штабс-капитана.

Ходила такая эпиграмма:

«Под пушек гром, под звоны сабель от Зоценко родился Бабель».

Конармеец вел загадочную жизнь. Где он кочует, где живет, с кем водится, что пишет — никто не знал. Скрытность была основной чертой его характера. Возможно, это был особый способ вызывать к себе дополнительный интерес. От него многого ждали. Им интересовались. О нем охотно писали газеты. Горький посылал ему из Сорренто письма. Лучшие журналы охотились за ним. Он был неуловим. Иногда ненадолго он показывался у Командора на Водопьяном, и каждое его появление становилось литературным событием.

В Мыльниковом он совсем не бывал, как бы стесняясь своей принадлежности к «южнорусским».

У него была масса поклонников в разных слоях московского общества. Однако большинство из этих поклонников не имело отношения к литературной среде. Наоборот. Все это были люди посторонние, но зачастую очень влиятельные.

Первое время в Москве я совсем мало с ним встречался. Наши встречи были случайны и коротки. Но он никогда не упускал случая, чтобы преподать мне литературный урок:

— Литература — это вечное сражение. Сегодня я всю ночь сражался со словом. Если вы не победите слово, то оно победит вас. Иногда ради одного-единственного прилагательного приходится тратить несколько не только ночей, но даже месяцев кровавого труда. Запомните это. В диалоге не должно быть ни одного необязательного выражения. К диалогу надо прибегать только в самых крайних случаях: диалог должен быть краток, работать на характер персонажа и как бы источать терпкий запах... Только что я прочитал вашу повесть. Она недурна. Но, вероятно, вы воображаете, что превзошли своего учителя Бунина. Не обольщайтесь. До Бунина вам как до Полярной звезды. Вы сами не понимаете, что такое Бунин. Вы знаете, что он написал в своих воспоминаниях о N. N.? Он написал, что у него вкрадчивая, бесшумная походка вора. Вот это художник! Не вам и не мне чета. Перед ним нужно стоять на коленях.

Литературным божеством для конармейца был Флобер. Все советы, которые давал автор «Мадам Бовари» автору «Милого друга», являлись для конармейца законом. Иногда мне даже казалось, что он «играет во Флобера», придавая чрезмерное значение красоте формы со всеми ее стеснительными условностями и предрассудками, как я теперь понимаю, совершенно не обязательными для свободного самовыражения.

Некогда и я страдал этой детской болезнью флюберизма: страхом повторить на одной странице два раза одно и то же слово, ужасом перед недостаточно искусно поставленным прилагательным или даже знаком препинания, нарушением хронологического течения повествования — словом, перед всем тем, что считалось да и до сих пор

считается мастерством, большим стилем. А по-моему, только добросовестным ремесленничеством, что, конечно, не является недостатком, но уж во всяком случае и не признаком большого стиля.

Конармеец верил в законы жанра, он умел различить повесть от рассказа, а рассказ от романа. Некогда и я придерживался этих взглядов, казавшихся мне вечными истинами.

Теперь же я, слава богу, освободился от этих предрассудков, выдуманных на нашу голову литературоведами и критиками, лишенными чувства прекрасного. А что может быть прекраснее художественной свободы?

...Это просто новая форма, пришедшая на смену старой. Замена связи хронологической связью ассоциативной. Замена поисков красоты поисками подлинности, как бы эта подлинность ни казалась плоха. По-французски «мовэ» — то есть плохо. Одним словом, опять же — мо-визм.

Тогда я, конечно, так не думал,

Как я теперь понимаю, конармеец чувствовал себя инородным телом в той среде, в которой жил. Несмотря на заметное присутствие в его флюберовски отточенной (я бы даже сказал, вылизанной) прозе революционного, народного фольклора, в некотором роде лесковщины, его душой владела неутолимая жажда Парижа. Под любым предлогом он старался попасть за границу, в Париж. Он был прирожденным бульвардье. Лучше всего он чувствовал себя за крошечным квадратным столиком на одной ножке прямо на тротуаре, возле какого-нибудь кафе на Больших бульварах, где можно несколько часов подряд сидеть под красным холщовым тентом, за маленькой чашкой мокко, наблюдая за прохожими и мысленно вписывая их в какой-то свой воображаемый роман вроде «Человеческой комедии».

Не исключено, что он видел себя знаменитым французским писателем, блестящим стилистом, быть может даже одним из сорока бессмертных, прикрывавшим свою лысину шелковой шапочкой академика вроде Анатоля Франса.

Под высоким куполом Института на берегу Сены он чувствовал бы себя как дома.

В те времена заграничные поездки делались все труднее и труднее. В конце концов он стал оседлым москвичом, женился, поселился в хорошей квартире в особнячке в районе Воронцова поля и даже стал принимать у себя гостей. В это время мы с ним очень сблизились. Беседы с ним доставляли мне большое удовольствие и всегда были для меня отличной школой литературного мастерства. Общение с конармейцем было весьма похоже на общение мое с щелкунчиком. Возможно, это и нескромно, но мне кажется — оно было взаимным обогащением.

Конармеец оказался в конце концов прекрасным семьянином и любезным хозяином. У него всегда можно было выпить стакан на редкость душистого, хорошо заваренного чая или чашку настоящего итальянского черного кофе эспрессо: он собственноручно приготавливал его, пользуясь особой заграничной кофеваркой.

— Скажите, каким образом у вас получается такой на редкость вкусный чай? Откройте ваш секрет.

— Нет никакого секрета. Просто не надо быть скупердеем и не экономить на заварке. Заваривайте много чая, и ваши гости всегда будут в восторге.

Однажды он вдруг показался у нас в дверях, а рядом с ним стоял некий предмет домашнего обихода красного дерева, нечто вроде комнатного бара с затейливым устройством, довольно неуклюжее произведение столярного искусства, которое он, пыхтя, собственноручно втащил на пятый этаж, так как лифт не работал. Оказалось, что это был его подарок нам на новоселье. Надо было распахнуть верхние крышки, и из недр сооружения поднимался целый набор посуды для коктейлей. Этот бар занимал много места, и мы не знали, куда его приткнуть. Я думаю, конармеец сам не знал, куда его девать, а так как я однажды похвалил бар, то конармеец и решил таким элегантным образом избавиться от сей громоздкой вещи. Чисто восточная любезность. Впрочем, я понимаю, что он это сделал от души. Вещь была все же дорогая. Он не поскупился.

...Ему очень нравилась моя маленькая двухлетняя дочка, и он любил с нею весьма серьезно разговаривать, как со взрослой, сидя перед ней на корточках и несколько пугая ее своими большими очками.

Мы часто сидели перед огромным окном, за которым виднелся классический московский пейзаж, словно бы вы-

шедший из царства «Тысячи и одной ночи», но только несколько древнерусской.

Конармеец смотрел на этот пейзаж, но, мне кажется, видел нечто совсем другое: старые деревья, косо наклонившиеся над Сеной с нижнего ее парапета, а на верхнем парапете ящики букинистов, на ночь запиравшиеся большими висячими замками; белую конную статую Генриха Четвертого, сообразившего, что Париж стоит обедни; круглые островерхие башни Консьержери, где до сих пор в каменных недрах, за тюремными решетками, прикрепленный навечно к каменной стене, сумрачно чернел совсем не страшный на вид косою нож гильотины, тот самый, который некогда на площади Согласия срезал головы королю и королеве, а потом не мог уже остановиться и из-под него на Гревской площади покатались в черный мешок одна за другой головы Дантона, Сен-Жюста, Демулена, множество других голов, каждая из которых вмещала в себя вселенную, и, наконец, голова самого Робеспьера с разбитой челюстью и маленьким, почти детским, упрямым и гордым подбородочком первого ученика.

...Ну и, конечно, чашечка мокко на одноногом столике в тени тента с красными фестонами.

Он пил кофе маленькими глотками, растягивая наслаждение, оттягивая миг возвращения, и его детские глазки видели тень Азраила, несущего меч над графитными плитками парижских крыш...

...А может быть, это и был тот самый косо режущий ледяной ветер во всю длину Елисейских полей, ветер возмездия и смерти...

В расчете на вечную весну мы были одеты совсем легко, а ветер, свистя, как нож гильотины, нес мимо нас уже заметные крупинки снега, и для того, чтобы не схватить американской дрог-стори, где с трудом отыскался свободный столик под неизмеримо громадным, длинным, низким потолком, униженным параллельными рядами свтящихся шариков, умноженных до бесконечности зеркалами во всю стену, что угнетало нас какой-то безвыходностью.

Мы уже были уверены, что весна никогда не наступит и мы навсегда останемся здесь как в аду, среди беготни

обезумевших официанток, знакомых музыкальных звуков бьющихся тарелок, восклицаний, разноязыкого галдежа, мелодий проигрываемых пластинок, где протivoестественно смешивались все музыкальные стили, начиная с древнегалльской музыки и кончая все еще не вышедшим из моды поп-артом.

Мы были в отчаянии.

Но в один прекрасный день, когда наше отчаяние дошло до высшей точки, весна наступила внезапно, как взрыв всеобщего цветения под лучами жгучего солнца в безоблачном и безветренном небе, при температуре воздуха более двадцати девяти градусов в тени, когда вдруг как по мановению черной палочки, перевитой розами, изо всех настежь открытых парижских окон выбросились и косо повисли огненно-желтые, раскаленно-красные маркизы, совершенно меняя облик города, который мы привыкли видеть элегантно-серым, а теперь он превратился в нечто карнавальное, яркое, почти итальянское, где рядом с каменными стенами средневековых церквей горели кусты персидской сирени со всеми ее оттенками, начиная с самого нежного и кончая самым яростным.

Я почувствовал, что в мире произошло нечто имеющее отношение лично ко мне. И в этот же миг из ледяных пещер памяти, совсем живой, снова появился Брунsvик.

Он стоял передо мною, как всегда чем-то разгневанный, маленький, с бровями, колючими, как креветки, в короне вздыбленных седых волос вокруг морщинистой лысины, как у короля Лира, в своем синем вылинявшем рабочем халате с засученными рукавами, с мускулистыми руками — в одной руке молоток, в другой резец, — весь осыпанный мраморной крошкой, гипсовой пудрой и еще чем-то непонятным, как в тот день, когда я впервые — через год после гибели Командора — вошел в его студию.

— Наконец я нашел подходящий материал. Нет! Не материал, а вещество! Подходящее вещество для ваших друзей, о которых вы мне столько рассказывали! — за-

кричал он с порога. — Мне доставили это вещество из околозвездного пространства Кассиопеи. Из этого вещества построена Вселенная. Это лучшее из того, что можно было достать на мировом рынке. Вещество из глубины галактики. Торопитесь же!

Он кричал, он брызгал слюной, он топал ногами.

Я понял его с полуслова.

— Теперь пора, — сказал я, и мы с женой побежали в парк Монсо.

— Но прежде мне пришлось прочитать весь гениальный вздор, который написали вы и все ваши друзья. Может быть, у меня дурной вкус, но ваша чепуха мне понравилась, иначе я не взялся бы за эту работу! — крикнул он нам вдогонку и тотчас исчез, на этот раз навсегда.

За свежескрашенными черными пиками железной ограды с ярко позолоченными остриями, за траурными, еще более высокими решетчатыми воротами, за их золотыми вензелями и балдахинном, сияющим на солнце, перед нами предстали головокружительно высокие купы цветущих каштанов, белых и розовых, как совершенное воплощение вечной весны.

Мы вошли в парк.

Одно лишь название улицы, со стороны которой мы появились — Бульвар Мальзерб, — как бы погрузило нас в обманчивую тишину девятнадцатого века после франко-прусской войны и Парижской коммуны.

Это был мир Мопассана.

Широкоплечий бюст этого бравого красавца француза с нормандскими усами, которые умели так хорошо щеко-тать женские шейки и затылки с пушком каштановых волос, что в конце концов и привело его к ужасному преждевременному уничтожению, был установлен на колонне, у подножия которой была изваяна фигура полулежащей дамы в широкой юбке, с узкой талией, в кофточке — рукава буфами; она держала перед собой раскрытый томик, самозабвенно замечтавшись над строками Мопассана, и мне почему-то кажется, что эта книга была «Иветта».

В жарком сумраке неистово цветущего каштанового дерева эта хрестоматийная композиция уже заметно потемнела от времени, каждая складка широкой юбки со шлейфом и пятипалая тень какого-то отдельного каштанового листа, лежащая на прямом лбу писателя, — все это было хорошо знакомо и, в окружении цветущих сирени, боярышника, пионов, японской вишни, пронизанное неистовыми лучами солнца, отдаленное от шумящего города высокой решеткой тишины и безветрия, как бы перенесло нас в страну, куда мы наконец после стольких разочарований попали.

Однако на этот раз что-то вокруг изменилось.

Сначала я не мог понять, что именно изменилось. Но наконец понял: недалеко от изваяния замечтавшейся дамы под бюстом Мопассана стояло еще одно изваяние, которого раньше здесь не было.

Фигура конармейца в предпоследний период его земного существования.

Он сидел за маленьким одноногим столиком, перед чашечкой под сенью каштана, как бы под тентом кафе, взирая вокруг сквозь очки изумленно-детскими глазами обреченного.

Он был сделан в натуральную величину с реалистической точностью и вместе с тем как-то условно, сказочно, без пьедестала.

Я употребил слово «сделан», потому что не могу найти ничего более точного. Изваян — не годится. Вылеплен — не годится. Иссечен — не годится. Может быть, отлит, но и это тоже не годится, потому что материал не был металлом, он был именно веществом. Лучше всего было бы сказать — создан. Но это слишком возвышенно. Нет, не создан. Именно сделан. Вещество, из которого он был сделан, не поддавалось определению. Человеческий глаз лишь замечает некоторые его особенности: поразительную, как бы светящуюся неземную белизну, по сравнению с которой лучший каррарский мрамор показался бы сероватым; необъяснимую непрозрачную прозрачность. Скульптура не отбрасывала от себя тени, хотя все предметы вокруг отбрасывали резкие утренние тени: кусты, скамейки, стволы деревьев, из которых одному — сикомору — было сто двадцать лет и оно, кажется, помнило еще автора «Милого друга», детские коляски, фи-

гурки бегающих детей и их нянек, бабушек, матерей с открытыми книгами на коленях. Красно-синие мячики прыгали по уже пыльным дорожкам, отбрасывая прыгающие тени.

Даже маленькие маргаритки, выросшие на газонах, отбрасывали миниатюрные тени.

Я потрогал плечо конармейца, оно обожгло мою ладонь пронзительным, но безвредным холодом. И судя по тому, что почва под изваянием сильно осела, можно было заключить, что материал, из которого был сделан конармеец, в несколько десятков, а может быть, и сотен раз тяжелее любого известного на земном шаре вещества. Вместе с тем, как это ни странно, материал, сияющий несказанной белизной, казался невесомым.

Мы пошли по парку и заметили, что, кроме знакомых серых статуй, ослепительно белеет несколько новых, сделанных из того же материала, что и статуя конармейца, — ярко-белых и не отбрасывающих теней.

Никто из посетителей парка их не замечал, кроме нас, это были наши сновидения. Они были расставлены прямо на земле и на газонах — без пьедесталов — в каком-то продуманном беспорядке.

На одном из газонов под розовым кустом лежала фигура ключика. Он был сделан как бы спящим на траве — маленький, с поджатыми ногами, юноша-гимназист, — положив руки под голову, причесанную а-ля Титус, с твердым подбородком, и видел неземные сны, а вокруг него, как некогда он сам написал:

«...летали насекомые. Вдрагивали стебли. Архитектура летания птиц, мух, жуков была прозрачна, но можно было уловить кое-какой пунктир, очерк арок, мостов, башен, террас — некий быстро перемещающийся и ежесекундно деформирующийся город»...

Парк Монсо, где лежал ключик, глубоко уйдя в травяной покров, был действительно городом вечной весны, славы и тишины, еще более подчеркнутой возгласами играющих детей.

В романтических зарослях цветущих кустов боярышника, рядом со старым памятником Гуно, возле пробира-

ющегося по камешкам ручейка, дружески обнявшись с Мефистофелем, белела фигура синеглазого — в шляпе с пером, с маленькой мандолиной в руках, поставившего ноги в танцевальную позицию, всего во власти третьего Г — Гуно, но не забывающего и двух первых: Гоголя, Гофмана...

Я сразу узнал его по ядовитой улыбке. И я вспомнил нашу последнюю встречу. Сначала у памятника сидящего на Арбатской площади Гоголя, а потом у него в новой квартире, где он жил уже с третьей своей женой.

Он сказал по своему обыкновению:

— Я стар и тяжело болен.

На этот раз он не шутил. Он был действительно смертельно болен и как врач хорошо это знал.

У него было измученное землистое лицо.

У меня сжалось сердце.

— К сожалению, я ничего не могу вам предложить, кроме этого,— сказал он и достал из-за окна бутылку холодной воды.

Мы чокнулись и отпили по глотку.

Он с достоинством нес свою бедность.

— Я скоро умру,— сказал он бесстрастно.

Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях,— убеждать, что он мнителен, что он ошибается.

— Я даже вам могу сказать, как это будет,— прервал он меня, не дослушав.— Я буду лежать в гробу, и когда меня начнут выносить, произойдет вот что: так как лестница узкая, то мой гроб начнут поворачивать и правым углом он ударится в дверь Ромашова, который живет этажом ниже.

Все произошло именно так, как он предсказал. Угол его гроба ударился в дверь драматурга Бориса Ромашова...

Его похоронили.

Теперь он бессмертен.

Раскинувши руки в виде распятия, но с ног до головы перекрученное на манер бургундского тирбушона-штопора, как бы перевитое лианами, перед нами мелькнуло и тут же померкло изваяние забытого всеми вьюна, недалеко от которого под столетним сикомором сидел на камне босой будетлянин, председатель земного шара, с котомкой за плечами, с дорожным посохом, прислоненным к

дереву, — нищий с заурядно-уездным лицом русского гения, обращенным к небу, словно бы говоря:

«...Пусть девы сплуют у оконца, меж песен о древнем походе, о верноподданном Солнца самосвободном народе».

Он сам был верноподданным солнца, сыном самосвободного народа.

На повороте аллеи, не замечаемый играющими детишками — белокожими и чернокожими, — в цилиндре и шелковой накидке, с тростью, протянутой вперед, как рапира, с ужасом, написанным на его почти девичьем лице, стоял, расставив ноги, королевич, как бы видя перед собой собственное черное отражение в незримом разбитом зеркале. Он был сделан все из того же межзвездного материала, но только как-то особенно нежно и грустно светился изнутри.

Птицелов со свернутой охотничьей сетью на плече неподвижно шагал по парку, ведя за руку маленького сына, тоже поэта, чем-то напоминая Вильгельма Телля на фоне каменного декоративного грота, заросшего плющом.

На двух белых железных стульях, повернувшись друг к другу, в почти одинаковых кепках, в позе дружелюбных спорщиков сидели звездно-белые фигуры брата и друга, а остальные десять садовых стульев были заняты живыми посетителями парка в разных местах центральной его аллеи.

Вдалеке парк соприкасался с чьими-то недоступными простым смертным владениями, скрытыми за колючими изгородями, решетками и зарослями дикого винограда, шиповника, терний, тех самых терний, чьи острые чугуно-синие шипы впивались в восковое чело человекобога, оставляя на нем ягоды крови.

Там, на отшибе, отрешенный от всех, как некогда на плотине переделкинского пруда, ждал свою последнюю любовь постаревший мулат, по-прежнему похожий издали на стручок черного перца, но чем ближе мы к нему подходили, тем он все более и более светлел, прояснялся, пока не стало очевидно, что он сделан из самого лучшего галактического вещества, под невесомой тяжестью которого прогнулась почва.

Парк оказался наполненным творениями сумасшедшего ваятеля.

Мы ходили по аллеям, узнавая друзей, пока наконец не остановились возле фигуры, которую я узнал еще издали.

Перед нами сиял неземной белизной мальчик-переросток, худой, глазастый, длинноволосый, с маленьким револьвером в безнадежно повисшей руке.

...«Без шапки и шубы. Обмотки и френч. То сложит руки, будто молится. То машет, будто на митинге речь... Мальчик шел, в закат глаза уставя. Был закат непревзойдимо желт. Даже снег желтел к Тверской заставе. Ничего не видя, мальчик шел. Шел, вдруг встал. В шелк рук сталь... Стал ветер Петровскому парку звонить:

— Прощайте... Кончаю... Прошу не винить... До чего ж на меня похож!..»

Да, это он: Командор в юности. И так — навсегда: мальчик-самоубийца. До чего ж на него похож.

А вокруг горел жгучий полдень вечной памяти и вечной славы.

Внезапно остановившийся взрыв.

В его неподвижном горении, сиянии, в ярких прозрачных красках повсюду вокруг нас белели изваяния, сделанные все из того же неиссякаемого космического вещества белее белого, тяжелее тяжелого, невесомей невесомого.

Неземное на земном.

Мы уже шли к выходу, когда в заросничной стране парка Монсо увидели фигуру щелкунчика.

Он стоял в вызывающей позе городского сумасшедшего, в тулупе золотом и в валенках сухих, несмотря на то, что все вокруг обливалось воздушным стеклом пасхального полудня.

Он был без шапки.

Его маленькая верблюжья головка была высокомерно вскинута, глаза под выпуклыми веками полузжмурены в сладкой муке рождающегося на бритых губах словасихей.

Может быть, таким образом рождались стихи:

«Есть иволги в лесах и гласных долгота в тонических стихах единственная мера. Но только раз в году бывает разлита такая длительность, как в метрике Гомера. Как бы цезурю зияет этот день: уже с утра покой и трудные длинноты; волы на пастбище, и золотая лень из тростника извлечь богатство целой ноты»...

Он боялся извлечь из своего тростника богатство целой ноты. Он часто ограничивался обертоном слова-психеи, неполным его звучанием, неясностью созревшей мысли.

Однако именно эта незрелость покоряла, заставляла додумывать, догадываться...

«...Россия. Лета. Лорелея»...

Что это такое? Догадайтесь сами!

Невдалеке от щелкунчика стоял во весь рост, но как-то корчась, другой акмеист — колченогий, с перебитым коленом и культяпкой отрубленной кисти, высывающейся из рукава: худощавый, безусый, как бы качающийся, с католически голым, прекрасным, преступным лицом падшего ангела, выражающим ни с чем не сравненную муку раскаяния, чему совсем не соответствовала твердая соломенная шляпа-канотье, немного набок сидевшая на его наголо обритой голове с шишкой.

Шляпа Мориса Шевалье.

Издали волнами долетали мощные, густые, ликующие звуки пасхальных колоколов Нотр-Дам и Сакре-Кёр, гипсовые колпаки которой светились где-то за парком Монсо, на высоком холме Монмартра, царя над празднично-безлюдным Парижем.

Виднелись еще повсюду среди зелени и цветов изваяния, говорящие моему гаснущему сознанию о поэзии, молодости, минувшей жизни.

Маленький сын водопроводчика, соратник, наследник, штаб-капитан и все, все другие.

Читателям будет нетрудно представить их в виде статуй без пьедесталов.

Я хотел, но не успел проститься с каждым из них, так как мне вдруг показалось, будто звездный мороз вечности сначала слегка, совсем неощутимо и нестрашно коснулся поредевших серо-седых волос вокруг тонзуры моей непокрытой головы, сделав их мерцающими, как алмазный венец.

Потом звездный холод стал постепенно распространяться сверху вниз по всему моему помертвевшему телу, с настойчивой медлительностью останавливая кровообращение и не позволяя мне сделать ни шагу, для того чтобы выйти из-за черных копий с золотыми остриями заколдованного парка, постепенно превращавшегося в переделкинский лес, и — о боже мой! — делая меня изваянием, созданным из космического вещества безумной фантазией Ваятеля.

1975—1977

Переделкино — Нижняя Ореанда

ЮНОШЕСКИЙ РОМАН

Я стоял в передней, уже окончательно откланявшись, но Миньона все еще одной рукой держала цепочку и не открывала дверь, чтобы наконец выпустить меня на лестницу, а другой рукой прижимала к груди пачку моих писем, накрест перевязанных не шелковой ленточкой, а простой тесемкой, как деловые бумаги.

Это было последнее свидание.

Наш платонический роман давным-давно уже кончился и был забыт. А за пять лет революции, гражданской войны и военного коммунизма, в течение которых мы не виделись, так много переменилось, что не стоило об этом и вспоминать.

Я знал, что после меня у нее был настоящий, глубокий, серьезный роман с одним из моих бывших гимназических товарищей, принужденным бежать вместе с белыми за границу, где он и умер от скоротечной чахотки в Шварцвальде.

У Миньоны с детских лет тоже были слабые легкие, а теперь у нее открылся туберкулез и принял угрожающие формы. На ее все еще прелестном лице уже лежали тени быстро развивающейся болезни.

— Вы же видите, что я погибаю! — почти с раздражением сказала она.

Я молчал. Лицо ее стало отчужденным: вероятно, она в этот миг подумала о смерти.

— Возьмите ваши письма. Может быть, они вам пригодятся.

Она сняла дверную цепочку, щелкнула американским замком и выпустила меня на площадку. Гул, наполнивший лестничную клетку, и в особенности бледно-зеленый декадентский цвет двери напомнили мне прошлое.

Сравнительно недавно мы тоже жили здесь.

Большая квартира в новом четырехэтажном корпусе.

Вместо цинковой ванны — блестящая мальцевская. Всегда горячая вода. Электрическое освещение. Блестящие паркетные полы, источавшие запах свежего дуба и желтой мастики. Двери и венецианские окна были окрашены не обычной уныло-коричневой блестящей краской наемных квартир, а бледно-зеленой, матовой, свойственной новому стилю бельэпок, то есть прекрасной эпохе начала XX века. Вместо кафельных печей квартиру обогревали коленчатые радиаторы пароводяного отопления, окрашенные в тот же бледно-зеленый матовый декадентский цвет. Старая висючая керосиновая лампа в столовой, несколько напоминавшая своим белым куполом медузу, была переделана на электрическую. А новенькие бронзовые бра на стенах очень ярко светились своими молочно-радужными тюльпанами с ввинченными в них полуваттными электрическими лампочками марки «осрам», что никак не соответствовало маленькому провинциальному буфетику, круглому обеденному столу, венским стульям и железным кроватям. Стенные часы с римскими цифрами и музыкально-пружинным боем, согласно семейной легенде выигранные папой в лотерею, когда он еще был женихом покойной мамы, тоже не соответствовали новой квартире.

Купленный недавно в рассрочку гостиный гарнитур из обычной сосны, но выкрашенный под черное дерево, с двумя неудобными креслами, хрупким трехместным диванчиком, обитым золотистым шелком, с махровыми висяюлками и парными тумбочками в виде как бы дорических колонок, предназначавшимися для установки на них мраморных бюстов великих людей или, на худой конец, фаянсовых цветочных горшков, которых у нас не водилось, — это все же как-то подходило к новой, богатой, но еще не обжитой квартире.

Гостиная мебель всегда стояла в холщовых чехлах, скрывавших ее роскошь, причем кресла и стулья напоминали нечто вроде сидящих привидений.

Именно в это время я начал писать роман о своей первой любви. Стихи и романы в те годы писали почти все гимназисты. В романе, который я писал, было такое место:

«...дом был новый. Его отстроили полгода назад, осенью, и он был первым из шести других корпусов общества квартировладельцев, которые еще строились и стояли в лесах, запачканных кирпичной пылью и потеками известки. Корпуса эти строились на пустыре, на окраине города, против военного госпиталя, где некогда работал сам Пирогов, недалеко от моря, в той местности, где уже начинались дачи и казармы.

Поздней осенью и зимой здесь было холодно, пустынно, и северный ветер норд-ост дул в желтые, еще не оштукатуренные ракушниковые стены, посвистывая и вереща в новых кирпичных трубах, а с нашего четвертого этажа через неоконченные постройки, за голыми садами еле виднелся кусочек штормового моря.

Когда же наваливало ненадежного южного снега, то и совсем становилось скучно. Знакомых поблизости не было. Город казался недоступно далеким. В новой квартире еще не было уюта. Электрические лампочки горели нестерпимо ярко. Веселых жарких печек не было, их заменили чугунные батареи, и всюду стоял еще не выветрившийся запах масляной краски»...

Шесть корпусов, расположенных как кости домино,— два против двух и по краям поперек еще по одному, так что в середине между ними получился длинный двор с газонами, цветниками, стриженным кустарником, совсем молоденькими, как тросточки, липками и посередине с круглым бассейном с фонтанчиком и даже золотыми рыбками.

Шестой корпус заселялся состоятельными семьями. Нарядные дети играли во дворе в мяч и ловили ясеневыми рапирами легкие кружки серсо. Мимо вас могла проехать на роликах стройная девочка, казавшаяся несколько выше, чем была на самом деле.

В последний корпус въехала семья полковника Заря-Заряницкого, в первый же день войны произведенного в генерал-майоры и назначенного командиром той артиллерийской бригады, где я впоследствии служил вольноопределяющимся.

Но тогда о войне никто не думал.

...и однажды я увидел трех девочек в кружевных платьицах, которые вышли погулять под присмотром своей старшей, четвертой сестры, уже вполне взрослой девушки-курсистки. Одна из этих девочек, средняя, и была, как ее называли дома, Миньона...

Теперь, держа в руках пачку писем, я представил давнюю картину: четыре девушки в пасхальных платьях стоят возле рояля, держа в руках раскрытые ноты, — маленький хор ангелов — и поют под аккомпанемент домашнего учителя музыки о том, как наступила осень и улетели птицы, — щемящий душу романс Шопена.

Не так давно это было, но казалось, что прошла вечность.

Я шел по длинному дворовому садику и совершенно его не узнавал. Бассейна и фонтанчика уже не существовало. Бледно-зеленые скамейки у парадных входов исчезли, деревья разрослись и так вытянулись вверх, ища солнца, что некогда изящный скверик превратился в тесную липовую рощицу. Прежних квартировладельцев, рассчитывавших жить здесь вечно, я не обнаружил. Лишь кое-где на дверях квартир сохранились нечищенные медные таблички с их фамилиями, именами и отчествами, выгравированными прописью. Теперь здесь жили совсем другие люди, иногда по две или даже по три семьи в одной квартире.

Проходя мимо того корпуса, где несколько лет назад обитала моя распавшаяся семья, я посмотрел на балкон четвертого этажа и увидел детскую коляску и перекинутый через перила незнакомый потертый ковер.

Странно, что в моей душе ничто не шевельнулось — ни сожаления, ни грусти, а лишь всплыло воспоминание о гимназистке, жившей под нами, на первом этаже.

Ей было в ту пору лет пятнадцать: высокая, худая, стройная, длинноногая и длиннорукая, бойкая. У нее был прелестный цвет кожи несколько удлинненного лица, яркие глаза, коса до пояса. Все это могло бы сделать ее настоящей красавицей, если бы не досадная оплошность природы: нос. Нос портил все дело. Он был слишком большой, тонкий, ало просвечивающий на солнце, подобно тому как у маленьких детей просвечивают розовые ушки.

Это бы еще ничего.

Беда в том, что нос имел форму руля, того самого руля, который навешивался за кормой шаланды.

Когда она шла в гимназию, уличные мальчишки бежали за ней с криками:

— Носяра! Носяра!

Она гонялась за ними на своих длинных ногах, размахивая книгоноской, и если удавалось кого-нибудь из них поймать, то она, сжав книгоноску между колен, обеими руками драла мальчишке уши, не жалея своих красивых музыкальных пальцев.

Дело прошлое, но случилось так, что она влюбилась в меня. Хотя она это и скрывала, но все знали, что за нагрудником черного будничного передника, кроме ученического билета с правилами поведения, она всегда носила мою небольшую карточку, снятую в электрофотографии; так как она часто, иногда даже на уроках, вынимала карточку, рассматривала ее и даже, как говорили, целовала, то карточка имела потрепанный вид, мое лицо стерлось.

Встречаясь во дворе со мной, она преграждала мне дорогу, темный румянец заливал ее прелестное лицо с ужасным носом, и она говорила:

— Пчелкин! ты понимаешь? не будь каменным!

Я пытался улизнуть, не мог же я сказать ей, что если бы не ее нос, как руль...

Нет, я решительно не мог ответить ей взаимностью. Меня бы просто засмеяли товарищи. Кроме того, у нее было ужасное имя Калерия, с которым трудно было примириться.

Время шло, а любовь Калерии ко мне не проходила, хотя наши отношения стали менее драматичными. Мы были близкими соседями, как говорилось тогда, жили на одной лестнице и виделись ежедневно. Утром в одно и то же время мы выходили из дому, направляясь в гимназию. Она в свою, а я в свою. Встречались мы обычно на лестнице и затем некоторое время шли рядом по нескольким улицам, пока на одном из перекрестков наши пути не расходились.

Она была счастлива шагать рядом со мной, беспешочно размахивая клеенчатой книгоноской, за ремешки которой был заложен пенал с переводной картинкой на крышке.

Разумеется, я втайне гордился, что в меня безнадежно влюблена девочка, почти уже девушка, хотя и с чересчур большим носом и глупым именем, но все-таки...

Короче говоря, она меня любила, а я ее нет. В остальном же мы были добрыми друзьями. Совместное путешествие ранним утром, холодным и румяным, в гимназию не доставляло мне никакой неприятности, если, конечно, уличные мальчишки не бежали за нами следом с криками «носяра!» или, еще хуже, «жених и невеста, тили-тили тесто!».

Теперь в их квартире жили незнакомые люди, а куда девалась сама Калерия и вся ее семья, я мог только догадываться: бежали с белыми за границу, о них осталось только воспоминание.

Воспоминание тревожило меня, вызывая прилив тайной горечи. Воспоминание было связано не с носатой красавицей, влюбленной в меня. О ней я почти совсем забыл.

Но у нее была подруга...

Роковое слово «подруга»... Именно ей суждено было стать моей первой и единственной любовью.

Я был влюбчив. У меня постоянно были увлечения.

Но как бы я ни увлекался, по-настоящему любил только ее одну.

Сейчас я снова проходил сквозь прозрачную, совсем неощутимую среду этой единственной любви, не имевшей никакого отношения к той последней встрече с Миньоной, которую я только что так легко пережил возле маленькой бледно-зеленой декадентской двери стиля бель-эпок бывшей генеральской квартиры, а теперь коммунальной.

Миньона тоже была любовью, но любовью бывшей, кончившейся, как кончается все в мире, в то время как та, странная, необъяснимая, даже как бы выдуманная, никогда не кончалась. Может быть, эта любовь — как и все в мире — не имела не только конца, но не имела начала. Она существовала всегда.

Но ведь все-таки она как-то началась?

В то время я об этом совсем не думал. Я только испытывал неудобство от пачки писем, которые держал в руке. Я почему-то никак не мог сообразить, что письма можно положить во внутренний карман пиджака. Я еще не освоился со штатским костюмом. Это был мой первый штатский костюм, недавно купленный на Красной площади в ГУМе, незадолго до приезда в родной город.

Пачка писем была не столь велика. Она свободно могла поместиться в боковом кармане нового моего пиджачка, немного великоватого. На груди этого смешного пиджачка виднелось пятно чернил от автоматической ручки. Мне не удалось вывести это пятно, отдав пиджак в химическую чистку. Пиджак был испорчен. Пятно хотя и слабо, но все же просвечивало возле наружного бокового карманчика, откуда торчала белая головка «Монблана», как у бухгалтера.

Письма тяготили меня.

В сущности, старые письма были мне не нужны. Я прекрасно помнил их содержание: описание фронтовой жизни, будни и боевые эпизоды действующей армии, ту-

манные любовные признания, лирические отступления и так далее. Я не придавал им значения. Они казались мне не более чем обломками как бы некой канувшей в вечность древней цивилизации, где, однако, сохранилась часть моей юношеской души. Был момент, когда, проходя мимо розовой госпитальной стены — такой знакомой с детства, — я даже хотел избавиться от писем; например, просто потерять их или положить на уличную скамейку, сохранившуюся с «того» времени. Однако я этого не сделал.

Таким образом, письма сохранились, сопровождая меня вместе с разрозненными страницами незаконченного юношеского романа, который я писал еще не установившимся почерком повсюду, где мне ни приходилось бывать в течение всей моей не в меру затянувшейся жизни.

И вот однажды я развязываю тесемку...

Только в конце жизни понял я ту общеизвестную истину, что появление мое на свет от меня не зависело, так же как от меня, от моей воли, в сущности, не зависело ничто. Даже моя свободная воля зависела не от меня лично, а от кого-то или от чего-то другого. Я зависел от обстоятельств и не имел никакого отношения к устройству мира, в котором мне предназначено было существовать, к вселенной, к устройству человеческой жизни со всеми сопутствующими ей предметами и обстоятельствами.

Обстоятельства существовали сами по себе. Я — сам по себе. Но я был тем не менее полностью зависим от обстоятельств. А они от меня нет. Мне ничего не оставалось как только подчиняться, не делая попыток что-нибудь изменить. Каждая попытка вмешаться в судьбу кончалась для меня бедствием.

Даже постоянная влюбленность в кого-нибудь всегда зависела от случая, от обстоятельств времени года, погоды, растений, полета чайки, луны над морем, степного заката, или запаха духов, или особенностей речи, роста, сложения, возраста.

Неизвестно, как было заложено в меня тяготение к девушкам небольшого роста, как говорилось тогда, дюймовочкам. Может быть, я поэтому и не ответил на любовь прелестной носатой полудевушки-полудевочки Калерии.

Подобные мысли стали приходить в конце жизни, когда я сводил счеты со своей юностью, и в особенности тогда, когда я наконец нашел время перечесть свои старые письма, написанные в действующей армии то чернилами, то обыкновенным фаберовским карандашом, то карандашом анилиновым, то опять чернилами, но уже почему-то зелеными, то красными, если я писал письмо в бригадной канцелярии, то даже тушью — не помню уже, откуда она взялась на позициях! Письма писались на разной по качеству почтовой бумаге, и слова порядочно поистерлись.

Мне уже трудно теперь припомнить, где и при каких обстоятельствах они писались.

Чаще всего они были писаны в землянке на маленьком дощатом столике, при свете коптилки, а однажды в околотке, где я, болея ангиной, лежал на нарах, покрытых соломой, втиснутый в ряд других больных солдат, и, подложив под листок почтовой бумаги какую-то книгу, взятую у фельдшера по фамилии Шкуропат, писал свое очередное обстоятельное письмо из действующей армии. Были письма, написанные наспех на лафете трехдюймовки в перерыве между боями.

Последний год перед революцией.

«6 января 1916 года. Действующая армия. Милая Миньона. Этой поездки я никогда не забуду. Незнакомая дорога на Бахмач, снежные степи, затерянные в снегах полустанки. Военский вагон третьего класса, запах пота, сапог, махорки. Незнакомые люди и бесконечная нежная

грусть, страх чего-то неизвестного... Потом Минск, обыкновенный губернский город... с деревянными домами, тройками, бубенчиками, морозом и скверными парикмахерскими...»

Прочитав это, я удивился. Мне всегда казалось, что в моих старых письмах как бы заключена легенда моей молодости. Но что же я нашел? Незрелые и даже не всегда правдивые заметки, полные умолчаний.

Разрушающаяся память все же сумела восстановить истину.

Все было взаимосвязано: зима шестнадцатого, Минь-она, действующая армия и я сам — но совсем не такой, каким я хотел себя представить. А хотел я себя представить молодым патриотом, восемнадцатилетним юношей, рвущимся охотником в действующую армию; он бросил все, семью, гимназию, любимую девушку, удобства жизни, и вот теперь едет на позиции, для того чтобы разделить с народом, одетым в серые шинели, все тяготы и опасности войны с проклятыми швабами и тевтонами и, если будет угодно богу, умереть за веру, царя и отечество.

Все это было так, да не совсем так.

А собственно, что было? Грубо говоря, выгнанный из седьмого класса за неуспеваемость гимназист-переросток, окончательно запутавшийся, понял, что для него есть только один выход. Обыкновенно в мирное время выгнанные гимназисты поступали в юнкера. В военное время они ехали на фронт. Однако для меня это оказалось не так-то просто. В пехоту — пожалуйста. Но в пехоте наверняка убьют. Чувство самосохранения навело меня на мысль об артиллерии, где неизмеримо меньше потерь и больше удобств. Конечно, все эти соображения были глубоко подсознательны, и я бы очень удивился и даже разгневался, если б кто-нибудь посмел заподозрить, что я думаю именно так. Я так не думал, за меня думал кто-то другой, неведомый мне, незримый.

...вообще артиллеристы более привилегированны...

И тут же обстоятельства стали мною распоряжаться. Отец Миньоны командовал артиллерийской бригадой.

Вместе со своим папой я отправился на толчок покупать необходимое обмундирование. В сущности, это было не нужно. Меня и так должны обмундировать в действующей армии. Но мне до смерти хотелось хотя бы в течение нескольких дней покрасоваться в тылу в военной форме.

Уже само по себе идти на толчок считалось унижительным. Но еще более унижительно было идти по городу не в гимназической форме, на которую я уже не имел права, а в старом отцовском пальто и гимназической фуражке, где вместо сияющего герба виднелись две постыдные дырочки.

Наступали рождественские праздники и вместе с ними обычная оттепель, покрывшая слякотью тротуары. Гранитные мостовые блестели в тумане. Из темной тучи на миг выглянул желток солнца, после чего стал сеяться мелкий, как пыль, дождик пополам со снежинками, совсем скрыв от глаз прилегающие к толчку переулки рабочих окраин, заставленных чахлыми рождественскими елками, привезенными на продажу откуда-то с севера.

Небольшая площадь толчка, наполненная черной толпой продающих и покупающих, червиво шевелилась: старьевщики в котелках со своими холщовыми мешками, перекупщики, продавцы краденого, карманники, солдаты, сбывающие казенное бязевое белье с черными клеймами, марвихеры, чугуноногие инвалиды еще времен японской войны, старухи, торгующие с рук подержанными елочными украшениями — бусами, золочеными орехами, стеклянными шарами, бумажными цепями...

Папа совсем потерялся в несвойственной ему среде толчка. Он неумело торговался, опасливо вынимая портмоне, близоруко копался в нем, и в конце концов были куплены у солдата-инвалида юфтевые сапоги, кожаный пояс, гимнастерка из очень толстого японского сукна защитно-желтого цвета порт-артурских времен, белая меховая папаха и черная кожаная куртка на бараньем

меху. Все эти вещи были хотя и целые, но явно поношенные. Их выбирал я сам, торопясь и делая вид знатока.

Отец только морщился и торопливо расплачивался, желая поскорее уйти из этого неприличного места.

В галантерейной лавочке приобрели защитного цвета погоны вольноопределяющегося первого разряда, обшитые оранжево-черным шнурком, а также две скрещенные латунные пушечки для этих погон.

Отец казался удрученным непредвиденными расходами, хотя и понимал, что это плата за мой патриотический порыв.

Господи, если бы обошлось только этим!

Отцу было страшно подумать, что война может не пощадить меня, его мальчика. При одной этой мысли его глаза краснели от скупых слез, и он, скрывая их, протирал пёсне носовым платком.

Преобразование исключенного гимназиста в добровольца-патриота совершилось быстро. В новом своем качестве я успел до отъезда, как тогда говорилось, на театр военных действий показаться всем своим гимназическим товарищам и многим другим, в особенности знакомым гимназисткам, в том числе и Ганзе, которая не выразила по этому поводу никаких чувств.

Что касается Миньоны, то она на прощанье меня перекрестила, но не поцеловала, на что я втайне рассчитывал.

Ганзя и Миньона не были знакомы, так как Миньона не училась в гимназии, а по состоянию здоровья получила домашнее образование.

Я не представлял, какой у меня странный, если не сказать идиотски-глупый, вид в больших, не по ноге сапогах, нелепой кожаной куртке и белой папахе, лихо заломленной на затылок, что не соответствовало ни общепринятой армейской форме, ни моему еще полудетскому прыщеватому лицу с узкими испуганными глазами.

В таком виде, не дождавшись ни елки, ни Нового года, я и появился в переполненном вагоне третьего класса.

Миньона навязала меня в попутчики офицеру, возвращавшемуся из отпуска в бригаду ее отца. Офицер ехал в вагоне второго класса. Я вообразил, что в качестве добровольца и спутника боевого поручика тоже смогу устроиться вместе с ним в мягком вагоне, и даже уже втиснул в купе свой клетчатый чемодан, но поручик, вежливо улыбаясь в подстриженные усики, выставил меня, заметив со строгой, чисто армейской деликатностью, что нижним чинам, хотя и добровольцам, не положено по уставу ездить в мягких вагонах, а только в жестких третьего класса.

Я был неприятно поражен, но лихо откозырял поручику и перетащил свои вещи в воинский вагон третьего класса, сразу же окунувшись в его густую атмосферу пота, сапог и махорки. Подумав, не без горечи, впрочем: а ля герком а ля гер, — афоризм, весьма популярный в то время: на войне как на войне!

«Незнакомые люди и безотчетная нежная грусть, страх... неизвестного... Потом Минск...» — писал я Миньоне.

Однако между безотчетной нежной грустью, туманно адресованной генеральской дочке, между страхом чего-то неизвестного и прибытием в тыловой город Минск произошли еще некоторые события, о которых я в своем письме Миньоне умолчал, а потом и вовсе забыл, но на склоне лет вспомнил.

Главное из этих событий было то, что я подружился с почтальоном, проводником и старшим кондуктором поезда, которые перевели меня в служебный багажный вагон в голове поезда, где я очень удобно устроился на большой казенной шубе почтальона, разостланной поверх железной клетки, предназначенной для перевозки по железной дороге собак и по случаю военного времени пустующей.

Дружба со старшим кондуктором завязалась еще в буфете на станции Бахмач, где я угостил старшего кондуктора бужениной и двумя бутылками довольно крепкого медового напитка, заменившего водку и вино ввиду все того же военного времени. К нам присоединились проводник и почтальон. Я всех угощал и сам порядочно выпил и

рассказал своим новым друзьям, что еду на позиции поступать в артиллерийскую бригаду знакомого генерала, он отец барышни, в которую я влюблен. Новые друзья вполне одобрили мое намерение, а почтальон выразил здоровое соображение, что в артиллерии куда меньше убивают, чем в пехоте, и что при тесте-генерале можно легко выйти в офицеры.

Эта мысль никогда явно не приходила мне в голову и показалась унижающей мой патриотический порыв, но все же незаметно мне польстила.

А в самом деле, чем черт не шутит, подумал я и купил еще две бутылки медового напитка.

Пока поезд стоял на этой новой узловой станции, я гулял с почтальоном и главным кондуктором по длинной дощатой платформе, наслаждаясь видом розового морозного заката над снежной равниной уже не Новороссии, а подлинной России. Я любовался елочными звездами станционных электрических лампочек, висящих в чистом, крепком воздухе и зажженных как бы только для того, чтобы еще более украсить зимний пейзаж.

У нас на юге я никогда не видел такого морозного вечера, а на север я ехал впервые в жизни.

Это было для меня так ново и так прекрасно, и так пригодились теплая кожаная куртка, белая папаха и кожаные меховые перчатки.

Я чувствовал себя свободным, готовым на любые воинские подвиги, и снег громко скрипел под моими юфтевыми сапогами.

Остальную дорогу до Минска я провел очень приятно в собачьем отделении багажного вагона, где всю ночь играл в двадцать одно со старшим кондуктором, проводником и почтальоном, который пики называл вини, бубны — буби, трефы — крести, королеву — краля и т. д., слюнил пальцы, прежде чем сбросить карту, и в конце концов выиграл у меня двенадцать рублей из тех двадцати, которые дал мне папа. За вычетом денег, потраченных на буженину и медовый напиток, у меня почти что ничего не осталось.

Меня это не беспокоило: на что мне деньги на позициях, тем более что, может быть, меня и убьют.

Северная зимняя ночь длилась бесконечно, и лишь в восемь часов утра в решетчатом окошечке багажного вагона слегка посинело.

На платформе минского вокзала еще горели электрические фонари совсем как ночью; я выпрыгнул из багажного вагона и оказался по пояс в лиловом снежном сугробе. С трудом вытаскивая из снега ноги в тяжелых сапогах, дыша снежной пылью, еще немного хмельной от медового напитка, утомленный бессонной ночью и проигрышем, я побрел к вокзалу.

«...Минск, обыкновенный губернский город, типичный для центральной России, с деревянными домами, тройками, бубенчиками... и скверными парикмахерскими...»

Так изобразил я, никуда еще до сих пор не выезжавший из родного города севернее Екатеринослава, белорусский город, удививший меня бревенчатыми особнячками, улицами, тесными от сугробов, бубенчиками санной езды.

Я дышал острым морозным воздухом темного зимнего утра, сожалея, что не догадался купить две пары погон, для того чтобы одну пару прикрепить к кожаной куртке, а то получалось, что я совсем не военный, не фронтовик-доброволец, а ни то ни се. Погоны с пушечками были никому не видны, так как находились под курткой, на гимнастерке. А без погон на куртке меня можно было принять просто за штатского молодого человека, одевшегося потеплее.

Что касается «скверных парикмахерских», то это было сказано для красного словца. Парикмахерские были как парикмахерские. Не хуже и не лучше, чем у нас. В одну из парикмахерских я зашел постричься и здесь снял кожаную куртку, так что белобрый парикмахер-белорус мог увидеть погоны с пушечками и понять, с кем имеет дело. Парикмахер меня постриг, но не побрил, так как нечего было брить; зато попудрил мне шею и sprysнул постриженную голову одеколоном, после чего сдернул с меня простыню, straxнув блестящие черные локончики моих молодых волос.

За все это удовольствие я заплатил двадцать копеек из последних восьмидесяти, оставшихся после поездки в багажном вагоне.

Но вот что удивительно. В своем письме я почему-то не упомянул о двух бревенчатых домах, которые я увидел на привокзальной площади. У них были провалены кры-

ши, зияли черные дыры окон с вырванными рамами и кое-где обгорелые бревна срубов: следы недавнего налета на Минск немецких «цеппелинов», бомбивших железнодорожный узел. Впервые я увидел зловещие признаки неслучайной войны, дыхание смерти.

«От Минска я еду в воинском поезде. Поезд набит битком. В теплушках, где мне пришлось ехать вместе с другими нижними чинами, яблоку негде упасть. Смрад. Духота. Адский холод, потому что печей в теплушках нет, а снаружи двадцатиградусный мороз, хоть плачь!

На первой же станции прыгаю из теплушки и бегу к паровозу. Паровоз огромный, железный, весь как бы сочится кипятком. По сравнению с его колесами я кажусь себе совсем маленьким, как лилипут. Паровоз весь в жаркой испарине, как загнанная лошадь. Очень высоко в маленьком окошечке видно лицо машиниста. На подножке как бы висит в воздухе кочегар с жестяным чайником в руке. В чайнике кипяток. Чайник охвачен облаком пара.

— Дяденька! — кричу я снизу вверх. — Замерз! Возьмите меня к себе на паровоз!

Машинист смотрит на меня сверху строго, но тем не менее говорит:

— Лезьте!

Притащив из теплушки свои вещи, не без труда лезу вверх по железным ступеням и остальной путь совершаю на теплом паровозе, где пахнет машинным маслом и еловыми дровами (угля нет!). Снежная панорама. Поля, похожие на белые застывшие озера. Хвойные леса, подобные островкам среди этих озер. Небо такое же белое, как снег. Небо сливается со снегами. Трудно уловить глазом волосок горизонта. Циферблат возле кипящего котла показывает скорость. Стрелка колеблется от тридцати до сорока верст в час. Из Минска мы выехали в одиннадцать, а уже в два часа по пути попадаются проволочные заграждения, палатки каких-то войсковых частей, среди снегов — казачьи разъезды: мохнатые лошадки и коренастые фигуры всадников с пиками. Как отлитые из бронзы.

Наконец в четыре часа, когда уже начинает темнеть, — станция Молодечно. Здесь исчезают последние следы мирной жизни. Здесь уже война. В зале первого класса давка. Офицеры заполнили все помещение. Они с жадностью хлеблют дымящийся борщ, пьют из кружек чай, жуют хлеб.

Это уже не ленивое жевание мирной жизни, как на остальных станциях, а еда с настоящим волчьим аппетитом. Да еще бы! Ведь адски холодно! Да это уже вовсе и не стационарный буфет, а так называемый питательный пункт.

Вместе с поручиком садимся в кибитку, присланную за нами на станцию, и едем в бригаду, до которой, говорят, верст десять — пятнадцать. Настоящая, хорошая, прекрасно накатанная санная дорога с высокими ольховыми деревьями по обочинам.

Попадают халупы, обсаженные вокруг воткнутыми в сугробы срубленными елками: маскировка?

Морозный ветер нес снег и покрывал нас с поручиком ледяной корочкой.

Под дугой колокольчик звенит, звенит, звенит однотонным ладным звоном валдайский колокольчик... Все побрякивает колокольчик, все побрякивает, и кажется, конца не будет этому однообразному колдовскому побрякиванию.

Заслушаешься!

И под его однообразный однотонный звук начинаешь вспоминать... Хорошо вспоминать под звук дорожного колокольчика, в синий зимний вечер, едучи в опасное, неизвестное место, — вспоминать о ком-нибудь милом, близком, хорошем: чувствовать неопределенную грусть — светлую и нежную...»

Грусть эта была адресована Миньоне, но уж конечно не ей одной, ох не ей одной...

Может быть, это вообще была не грусть, тем более светлая и нежная, а тайная душевная тревога, смутная догадка, что я сделал что-то совсем не то, позднее сожаление об утраченном прошлом, которое уже больше никогда не возвратится. А будущее темно и безрадостно.

Впервые в жизни увидевши настоящую русскую зиму, я почему-то посчитал, что парные сани, в которых ехал с поручиком, есть не что иное, как кибитка, представление о которой заимствовал из «Капитанской дочки», отчасти представив себя чем-то вроде Гринева. А может быть, тут сыграл роль и Полонский с его волшебными стихами.

«Ночь морозная смутно глядит под рогожу кибитки моей».

Впрочем, никакой рогожи не было. Сани были тесные, и я изрядно стеснял своим чемоданом поручика. Я старался как можно больше потесниться, что еще больше раздражало молчаливого поручика, не чаявшего поскорее доехать до места и наконец отвязаться от меня, ряженого мальчишки, навязанного ему генеральской дочкой.

По пути попалась маленькая бревенчатая церковка и вокруг нее дремучий бор: совсем как декорации из «Жизни за царя» в той картине, где поляки убивают саблями Сусанина. Суровая простота столетних елей, заваленных подушками снега.

Нас все время обгоняют, и нам навстречу мчатся сани с бубенчиками.

Звенит, звенит, звенит...

«Сквозь сон вижу милое лицо, милые движения, милый голос. Однако утомительно.

— Ямщик, скоро доедем?

— Скоро.

— Сколько осталось?

— Верстов семь.

Ветер, ветер...

— Сколько?

— Верстов семь с гаком».

Оказывается, у них «с гаком» — это еще почти столько же или даже больше.

«Ветер мешает говорить. Губы еле открываются, как резиновые. Едем, едем. Думается, думается... Глаза сами собой закрываются. С трудом подымаешь веки, а вокруг все то же: бегущая назад дорога, ели, халуны, колокольчик. Словно только теперь его услышал. Да звенел ли он, когда я мечтал, когда дремал? Может быть, звенел, а может быть, и не звенел».

Помнится, изрядно укатала меня русская зимняя дорога, волнистый санный путь.

«Наконец приезжаем в селение Лебедёв, где стоит

бригада. На въезде почему-то стоит высокий шест с желтым флагом. Едем по улице и останавливаемся перед бревенчатой избой, обставленной вокруг срубленными елочками то ли для маскировки, то ли по случаю святок.

— Ну слава богу,— говорит поручик,— наконец приехали.

Следом за ним я вношу свой чемодан в сени, а оттуда в большую светлую комнату. Посередине длинный стол, покрытый клеенкой. Три походные кровати с офицерскими вещами на них. На стене часы. Почему-то это меня поражает: на фронте — и стенные часы! Уютно. Хорошо. Никого из офицеров нет. Мы пьем с поручиком чай, и я, встав по уставу «смирно», говорю:

— Разрешите, господин поручик, пойти представиться бригадному командиру?

— Пожалуйста,— с облегчением говорит поручик и кричит в сени: — Эй, кто там! Проводите господина вольноопределяющегося в управление бригады!

Я надеваю перчатки, папаху и выхожу следом за денщиком на улицу, где уже совсем темно и на небе звезды. Сугробы. Крепкий мороз. Елки. Все какое-то странное, незнакомое. Денщик показывает мне, куда идти: прямо, потом направо, потом чуть-чуть в сторону. Ни черта не понятно. Но денщик уже исчез в темноте. Иду наугад, вязну в сугробах. Вырастает силуэт солдата.

— Скажите, пожалуйста, как мне пройти в управление бригады?

— А черт его знает. Может, здесь коло костела. Пошуйте.— И тут же исчезает во тьме морозной ночи.

Иду, вязну в снегу, снег набивается за голенища сапог. Наконец на фоне звездного неба вырисовывается костел. Попадаю в какую-то канцелярию, где получаю от писарей, при свете керосиновой лампы играющих в дамки, точные сведения, как найти управление бригады. И вот — большая бревенчатая изба. У крыльца, как и всюду здесь, воткнутые в сугробы срубленные елочки маскировки. Стоит тройка. На облучке ящик.

— Квартира командира бригады где?

— Должно, здесь. Я сам тут впервой.

Смело вбегаю на крыльцо, распахиваю дверь и попадаю в темные сени. Две двери. Одна направо. Другая прямо. Дверь, которая прямо, неплотно прикрыта, и ярко светится широкая щель.

Эх, чем черт не шутит!

Заламываю папаху и стучу в дверь, одновременно примечаю видную сквозь щель часть комнаты: большой стол, керосиновая лампа и стриженный затылок седовато-серебряной круглой головы генерала, в котором сразу узнаю Вашего папу.

— Войдите! — слышится его негромкий начальственно-властный голос.

Я разлетаюсь через всю комнату, останавливаюсь за четыре шага — строго по уставу, — неистово щелкаю каблуками своих юфтевых сапог... и все, что я приготовил отрапортовать, разлетается как дым. Генерал поднимает на меня свои зоркие, лиловатые, как у Вас, глаза, только сейчас в первый раз я замечаю, как Вы похожи на своего отца — и небольшим ростом, и осанкой, и выражением круглого лица, которое может быть, если захотите, таким добрым, и таким милым, и таким отчужденным.

В платок закутанные плечи, в глазах то нежность, а то лень, — и я в огне противоречий горю сегодня целый день.

Ваш папа улыбается:

— А, это вы! А я уж думал, что вы не приедете, раздумали воевать. Что ж это вы так опоздали?

Докладываю, что так, мол, и так, трудно было быстро достать в штабе военного округа пропуск в действующую армию, свидетельство о политической благонадежности, нотариальную копию с метрического свидетельства... Всюду бюрократическая волокита... и вообще...

Ваш папа подает мне небольшую пухлую руку и еще более приветливо улыбается, как бы показывая свое сочувствие по поводу бюрократической тыловой волокиты.

От его поистине отеческой улыбки у меня на душе теплеет.

Потом он своим ровным негромким голосом начинает как бы сам с собой обсуждать вопрос, куда бы меня направить. Сначала хочет послать меня в шестую батарею. Берет трубку полевого телефона и соединяется с командиром шестой батареи. Но, видимо, командир шестой не склонен брать к себе добровольца: он принципиально против этого.

— Вот незадача, — говорит генерал, кладя трубку рядом с полевым эриксоновским телефонным аппаратом в

кожаном футляре, и потирает серебряный ежик своей круглой головы маленькой пухлой ручкой.— Присядьте, пожалуйста. Хотите чаю?

Я присаживаюсь к столу, и генеральский денщик ставит передо мной стакан крепкого, красного чая в серебряном подстаканнике и ведерко с сахарным песком. На столе газеты и журналы — «Вестник Европы», «Современный мир», — что и придает комнате еще более домашний и, так сказать, интеллигентный вид. Интеллигентность вообще свойство артиллерийского офицерства.

Только что берусь за подстаканник, как дверь распахивается и входит плотный, лысоватый, быстрый в движениях полковник в замшевой шведской куртке. Я вскакиваю и вытягиваюсь в струнку. Полковник целуется с Вашим папой. Это, конечно, как Вы уже, наверное, догадались, отец Ваших двоюродных сестер. На правах близких родственников он с Вашим отцом на «ты». Обстановка делается еще более семейной. Ваш папа представляет меня полковнику, который ласково жмет мне руку своей большой, мягкой, теплой ладонью.

— Знаю, знаю! Как же! — приветливо говорит он.— Помню, кажется, вы бывали у меня в доме?

— Точно так, только вы, выше высокоблагородие, меня видеть не могли. Вы уже тогда были на позициях.

— Ах, так? Ну все равно. Значит, это писали про вас мои дочки.

Он хлопает меня дружески по плечу, совсем по-домашнему.

— А вы, молодой человек, молодец! Вояка!

— Да, да,— подхватывает Ваш папа.— Обрати внимание — настоящий кавалер! Уже и выправка намечается! И свои тыловые патлы убрал. Остригся под машинку. Голова как орешек. Просто прелесть. А когда был гимназистом, казался таким дохленьким. А теперь, а? Обратите внимание, доктор, это по вашей части.

В комнате, оказывается, присутствуют еще и военный врач со значком на кителе, а также бригадный адъютант с аксельбантами и начальник штаба.

Я оказался среди самого высшего бригадного общества.

Жарко натоплено. Уютно, совсем по-домашнему. Даже в углу граммофон.

Меня быстро назначают во второй взвод первой батареи, и следом за денщиком не без сожаления покидаю этот рай и ухожу на квартиру фельдфебеля, обнадеженный

добрыми пожеланиями служить хорошо. И вот я уже целую неделю как служу. Живу уже не у фельдфебеля, а вместе с солдатами во взводе...»

Однако на этом мое первое, непомерно длинное письмо не кончается. Но досадно, что я ничего не написал Миньоне о своей недолгой жизни у фельдфебеля.

...втащив в избу свой громоздкий клетчатый чемодан, я очутился перед крупным, осанистым, уже несколько располневшим человеком с лицом багровым, словно каленый медный пятак, и внимательными глазами, какие бывают у знающих себе цену, умных и властолюбивых хохлов. Это был фельдфебель первой батареи, по званию подпрапорщик, то есть нечто среднее между нижним чином и офицером, все же нижний чин. Он имел право носить на фуражке офицерскую кокарду, а на солдатской пашке офицерский темляк, но погоны у него были не офицерские, а солдатские, только с широким золотым басоном вдоль погона и широкой трехслойной лычкой старшего фейерверкера поперек. Любой самый захудалый прапорщик мог обращаться к нему как к нижнему чину, кажется, даже на «ты», в то время как он должен был тянуться и называть прапорщика «ваше благородие», но у себя в батарее, куда офицеры заглядывали не столь часто, он был царь и бог. В сущности, он зависел только от командира батареи.

Все это я узнал от генеральского денщика, проводившего меня на квартиру к фельдфебелю, и не точно представлял, как мне держаться с фельдфебелем.

Со своей стороны фельдфебель первой батареи, куда меня зачислили приказом, подпрапорщик Ткаченко уже был полностью осведомлен каким-то непонятным, но весьма обычным в армии способом обо мне и знал даже такие подробности, что я являюсь кавалером средней генеральской дочки, хотя еще и не жених. Я еще тогда не знал, что существует так называемый солдатский телеграф, молниеносно передающий все новости.

Ткаченко стоял передо мною, расставив ноги в хороших, но все же солдатских, а не офицерских сапогах и засунув руки за офицерский желтый кожаный пояс, туго облежавший его солидный живот, рассматривал меня, как бы соображая, чего я стою.

Я вытянулся по стойке «смирно», приложил руку к папаше и отрапортовал, не без тайного умысла назвав его не господином подпрапорщиком, как полагалось, а вашим благородием, чем с детской хитростью желал ему польстить:

— Ваше благородие, честь имею явиться, доброволец Пчелкин.

Под усами Ткаченко проползла еле заметная улыбка удовольствия, но тотчас же брови его нахмурились.

— Очень приятно, господин вольноопределяющийся. Раздевайтесь. Усаживайтесь. Сядьте на лавку, так как стульев у меня здесь нема. Я имею приказ зачислить вас во второй взвод. Но пока вы еще не привыкли к солдатской жизни, просто поживите некоторое время у меня в хате. Тем более у меня тут приехала на побывку на праздники моя жинка, которая сможет нам кое-что сготовить домашнее.

— Покорно благодарю, ваше благородие.

Легкая улыбка снова промелькнула под усами фельдфебеля, после чего он снова начальственно нахмурился.

— Только возьмите себе на заметку, господин вольноопределяющийся, что согласно уставу меня отнюдь не положено именовать «вашим благородием», поскольку я не являюсь офицером, а положено меня именовать господином фельдфебелем или господином подпрапорщиком, как вам больше понравится.

— Слушаюсь, ваше благородие,— снова как бы нечаянно оговорился я, заметив, что «ваше благородие» доставляет Ткаченко тайное удовольствие.

— Отнюдь не ваше благородие! — как бы строго сказал Ткаченко.

— Слушаюсь, господин подпрапорщик! — сказал я, хотя впоследствии частенько как бы невзначай именовал его «вашим благородием», желая подольститься.

Сейчас мне смешно и неловко об этом вспоминать. Но что было, то было.

Несколько дней, проведенных у фельдфебеля, мне очень понравились. Действующая армия пока что оказалась не такой страшной.

По случаю крещения в бригаду прислали из какого-то провиантского управления, а может быть, в подарок солдатам от Союза городов мороженых судаков, которые,

конечно, тут же оказались также и в фельдфебельской избе, — несколько штук замерзших рыбин, твердых, как палки.

Из этих судаков супруга подпрапорщика изготовила дявное заливное, а также сварила из сушеных морщинистых груш, черных, как ведьмы, из сушеных вишен и яблок отличный узвар, а также изготовила настоящую украинскую рождественскую кутю из отборной полтавской пшеницы с грецкими орехами, которые привезла с собой из родной деревни.

Она была молчаливая, робкая женщина, повязанная платком, но не по-русски, а по-украински, как гоголевская Солоха. Она приехала к мужу на побывку, воспользовавшись тем, что бригада стояла в резерве, и, откровенно говоря, мое присутствие в избе их супружескому уединению за ситцевой занавеской, где было устроено их походное двухспальное ложе, несколько мешало.

Супруга господина подпрапорщика все время сидела в углу на корточках, с обожанием и страхом следя за малейшими движениями своего мужа, которого не только крепко любила, но и уважала как могущественного начальника и боялась его до дрожи в коленях. Он же относился к ней с ласковой строгостью справедливого повелителя. Она угадывала каждое его желание, и когда в хате появились упомянутые уже судачки, упавшие возле печки на пол, как дрова, она сразу засуетилась, загремела ухватом, кастрюлями, сбегала за водой, развела в печке огонь и очень быстро состряпала крещенский ужин, предварительно остудив заливное в сугробе возле крыльца.

Получился прекрасный крещенский ужин. Настоящее пиршество при трескучем блеске крещенских звезд, видных в черном окошечке.

Фельдфебель пригласил к столу, покрытому чистой хусткой, меня, господина вольноопределяющегося, а супруге своей молвил:

— А вы тоже седайте с нами.

И она сконфуженно села на край коника и зарделась от счастья, как уже порядочно увядшая, но все еще милая траянда, что значит по-украински роза.

Никогда еще я так вкусно, с таким аппетитом не ужинал, и мне казалось, что эта прекрасная жизнь продлится вечно.

Впрочем, Ткаченко вскоре спровадил меня в соседнюю комнату, там на полатах помещались белорусская беженка с пятнадцатилетней дочкой Надей. Мне была предоставлена лавка в красном углу, где я и расстелил мехом вверх свою кожаную куртку, показав таким образом хорошенькой, хотя и слишком белобрысой беженке Наде свои погоны вольноопределяющегося с пушечками.

Наступили суровые будни, и не помогли заискивание и хитрости.

Фельдфебель сделал мне замечание насчет моей одежды: белая папаха не положена, кожаная куртка на меху не положена, пояс офицерского образца тоже не положен. И вообще все не положено, даже сапоги с ремешками. Надо, чтобы все было по форме, а не как у чучела, все как у настоящего артиллериста. Затем он дал мне несколько толстеньких книжек в клетчатых переплетах, разные уставы: полевой, гарнизонный и тому подобное. Я должен был выучить их если не наизусть, то, во всяком случае, как сказал фельдфебель, назубок. Затем он сводил меня в артиллерийский парк на задах Лебедева и показал оружие: трехдюймовую полевую скорострельную пушку с масляным компрессором, поршневым затвором, оптическим прицельным приспособлением и зеркальным отражателем, так называемой панорамой.

Ну и так далее.

Все-таки я никак не ожидал, что мой воинский лихой вид будет воспринят фельдфебелем как чучело. Печально.

Первое мое письмо с фронта заканчивалось следующим образом:

«Теперь я уже живу не у фельдфебеля, а во взводе, с солдатами, в избе. Все хорошо, но слишком тоскливо без интеллигентного общества. Если можете, напишите какому-нибудь знакомому офицеру, чтобы он взял меня к себе ординарцем. Нет, шучу. Во-первых, у офицеров нет ординарцев, а только денщики. А быть денщиком по своим вкусам и положению «не положено», как говорится у нас

в армии. У нас крепкие северные крещенские морозы, но солдатскую службу я переношу довольно легко. Ни одного замечания пока не имею... Бывало, скачу на лошади — без седла и шпор — крупной рысью... Эх, да что говорить! Милая Миньона, пожалуйста, не забывайте, пишите. Ей-богу, без Ваших писем как без воздуха. Поскорее бы из резерва на передовые!

Солдатский телеграф сообщает, что выступаем 16 января, как раз в день моего рождения. Дай бог! Любящий Вас Саша Пчелкин, канонир третьего орудия второго взвода первой батареи 64-й артиллерийской бригады. Вот!»

Никакой лихой скачки на неоседланной лошади, да еще и без шпор, конечно, не было. Если что-нибудь подобное и было, то это небольшая верховая поездка на смиренной лошадке, когда батарейных лошадей водили на водопой и мне разрешили проехаться немножко верхом. Естественно, что никаких шпор не имелось, так как по моему званию канонира они не полагались. Все это был всего лишь поэтический вымысел, невинное мальчишеское хвастовство, позерство, так же как и жалобы на отсутствие интеллигентного общества, что в устах исключенного гимназиста звучало юмористически.

Между первым и вторым письмом я обнаружил хрупкие листочки почтовой бумаги с заметками, написанными анилиновым карандашом все тем же моим не вполне устоявшимся почерком более чем полувековой давности. Я совсем забыл об этих заметках и не имею понятия, каким образом они сюда попали.

«...я спал крепким детским сном на нарах, покрытых соломой, в небольшой белорусской халупе, где помещалось шестьдесят человек. Вы только представьте себе: шестьдесят! Мое место находилось между двумя солдатами, из которых один — из моего взвода, а другой ездовой, мне мало знакомый, который спал, не раздеваясь, в своей стеганой заношенной телогрейке. Он был очень высок ростом, костляв и все время старался поджать под себя слишком длинные ноги, отчего его зад упирался в меня, иногда выпуская сквозь стеганые штаны газ, что у солдат называлось «пускать шептуна». Меня это раздражало, но я был среди солдат еще недостаточно своим, чтобы выразить

по этому поводу неудовольствие. Я только отворачивался и зажимал нос.

В халупе было трудно дышать.

В темном воздухе, пропитанном запахами махорки, мокрой кожи, пота, заношенной одежды и гари топившейся печки, язычок керосиновой коптилки горел как бы с большим усилием, готовый каждую минуту померкнуть».

И все-таки я крепко спал и видел мучительные сны, недоступные описанию, так как они представляли смешение реального и абстрактного, а скорее всего были как бы овеществленной истиной, какой-то высшей правдой бытия, доступной человеческому пониманию только во сне, на чисто забывшемся после пробуждения.

Во сне, как мне теперь представляется, я испытывал мучительную двойственность своего существования, которое было во сне совсем не таким, как наяву.

Во сне я был совсем не тем чучелом, ряженным в выдуманную мною же военную форму, молодцом-патриотом в кожаной куртке и лихо заломленной белой папахе, якобы влюбленным в хорошенькую дочку командира бригады, что ставило меня в некоторое привилегированное положение среди других нижних чинов батареи.

Во сне я был одинок и несчастлив.

Обстоятельства, которым я не захотел противиться, безудержно несли меня в темное будущее. Я стал игрушкой обстоятельств. Я не пожалел стареющего отца, даже не подумал, что, уезжая на войну, нанес ему смертельную рану. Мне и в голову не приходило, что прошлое уже никогда не вернется. И я сам предал это прекрасное прошлое. Я напрягал все свои душевные силы, внушая себе, что люблю Миньону. Может быть, я действительно был в нее влюблен, как во многих других. Но это была всего лишь влюбленность, легкое волнение в крови полуноши-полумальчика.

Я любил другую, ту самую Ганзю, о которой вдруг с такой безнадежностью стал вспоминать в последние дни.

Я никогда не видел ее во сне. Но она всегда как бы незримо, невещественно присутствовала в моих сновидениях...

«...сон мой был резко прерван орудийным фейерверком, внесшим в халупу облако сплошного морозного пара.

— Сегодня беспрерывно полетит! — громко крикнул он. — Подъем!

...стоя по колено в сугробе, я умывался жестким снегом...

Сновидение забылось, я уже был прежним добровольцем, еще не принявшим воинскую присягу и одетым не по форме.

Около восьми часов утра, а на дворе еще ночь, даже кое-где в небе видны звезды. Трескучий мороз обжигает. Полоса темно-апельсиновой поздней январской зари занимает над лиловыми снегами, и сказочный, колдовской ущербный месяц низко висит над таинственным мелко-лесьем.

Верст за двадцать слышна орудийная пальба, будто кто-то громадный, невидимый стоит на краю света и хлопает дверью. А еще лучше не хлопает дверью, а выбивает ковры. Там передовые позиции. А мы все еще в резерве.

...Артиллерийский парк. Орудия в надульниках и брезентовых чехлах на затворах. Ездовые запрягают в передки по-зимнему мохнатых лошадей, выкатывают спаренные зарядные ящики. Застоявшиеся лошади ржут, танцуют и бьют подковами в промерзший снег. Часовой в валенках, с обнаженным бебутом у плеча выглядывает из своего постового тулупа и осипшим, еще как бы ночным голосом говорит:

— Нынче непременно должен полететь.

Два орудия моего второго взвода запряжены. Ездовые на местах. Выводят золотисто-карего коня для офицера.

— Смир-рно! Равнение на-а-алево!

Появляется офицер. Он в щегольском романовском полушубке и серой смушковой папахе. Он оглаживает,

треплет лошадь по шее рукой в замшевой перчатке, берет за холку, чуть притрагивается к стремяни носком до блеска начищенного хромового сапога, и через миг его статная фигура уже чуть покачивается в скрипучем новеньком седле.

— Ша-агом аррш!

Ездовые верхом на своих лошадях и наш взвод — два орудия, — гремя, и визжа, и как бы размалывая снег колесами, медленно двигаются мимо обледеневшего сруба колодца, мимо разбитой халупы со скелетом обгорелых стропил, печальным и уже отчетливо рисующимся на фоне утреннего, заметно позеленевшего неба. Поворачиваем на проселок.

— Ры-ысю!

Я взбираюсь и сажусь на передок, который шатается, подскакивает, и мотаюсь на нем, как мешок овса.

Ясное утро разгорается, и вот я вижу на пригорке красивую помещичью усадьбу-фольварк, окруженную по-зимнему голой зеленовато-серой ольховой рощицей, где размещен обоз второго взвода нашей бригады.

В словаре войны наиболее часто звучали два слова: «халупа» и «фольварк». Ни одного военного рассказа, ни одной газетной корреспонденции из действующей армии не обходилось без этих доселе неизвестных слов, как бы заключавших в себе самую суть идущей войны.

Как часто, еще будучи в тылу, человеком штатским, свободным, я втайне мечтал в своем будущем письме с пометкой «Действующая армия» как бы вскользь, в придаточном предложении написать эти два волшебных слова. Халупу я уже несколько раз упоминал. А вот фольварк предстал передо мной впервые. И я почувствовал себя уже вполне причастным к тому зловещему, смертельно опасному, но в то же время и притягательному действию, которое называлось войной...

...Склоны снежных бугров, поросших молодым ельничком... В стороне курган... Четко рисуется несколько темно-зеленых, почти черных старых сосен с красными ство-

лами, а под ними потемневшие от времени деревянные кресты над чьими-то могилами.

Взвод останавливается. Значит, мы приехали на позицию. Но где же эта самая позиция? Ничего не вижу, кроме снежных пологих бугров. Всматриваюсь. В снегу две большие ямы. Посередине их бревенчатые срубы, особые станки для установки наших полевых пушек стволами вверх, к небу. Срубы легко вращаются вокруг своей оси, что позволяет бить по вражескому аэроплану влет.

Взявшись за колеса, крихтя и крикая, орудийная прислуга дружно втаскивает свои трехдюймовочки, снятые с передков, на срубы, так что хоботы лафетов оказываются внизу, а стволы задраны вверх, нацелены в синеву.

Зарядные ящики установлены поодаль, лошадей вместе с передками отправляют обратно в Лебедёв.

Возле орудийных станков виднеются землянки, занесенные снегом, что делало бы их слившимися с сугробами, если б не короткие кирпичные печные трубы.

..Морозно.

Ноги у всех замерзли, одеревенели. Орудийная прислуга топчется на месте, бьет сапогом о сапог.

Раскапывают из-под сугробов шанцевым инструментом, то есть по-штатски лопатами, входы в землянки. Телефонисты разматывают со своих больших катушек и прокладывают прямо по снегу черный телефонный кабель, устанавливают в дверях землянок контакты. Пробуют разговаривать с Лебедёвым. Слышно утиное побрякиванье телефонных аппаратов.

Солнце уже поднялось высоко, и снег слепит глаза.

Начинается ожидание. Кто может предсказать — полетит ли сегодня немец или не полетит? Дивизионная разведка уверена, что полетит. Но кто его знает. Надо ждать.

Пока люди ходят в лес по дрова и разводят в землянках огонь, я брожу по окрестным снегам, и фиалковая тень моей щуплой фигуры и большой папахи скользит возле меня то справа, то слева. Все-таки я еще не слился с солдатами своего взвода. Я им еще чужой человек. Иностранное тело. Я еще не принял присягу, не обмундировался по форме, не участвовал в боях, как говорится, еще не поню-

хал пороху. Я еще свободен. Я еще могу все это бросить и уехать домой.

Но нет! Это было бы бесчестно!

Хотя, впрочем... Ах, боже мой, как трудно во всем этом разобраться!..

В сердце тихая, тонкая грусть. Мысли о родных, близких и любимых, которые остались где-то там, далеко, за этими бесконечными снегами, сосновыми лесами, замерзшими речками».

Над землянкой уже вьется дымок. Скольжу вниз по утопанному снегу ступенек, задеваю папахой за бревно притолоки и, низко нагнувшись, пробираюсь к раскаленным поленьям печки, светящимся в непроницаемом мраке. Острый скипидарный запах еловых ветвей, устилающих земляной пол, напоминает мне рождество и смерзшуюся елку, которую дворник вносит в теплую гостиную, а угарный дымок от камелька говорит о войне, о действующей армии, о позициях.

В тесной землянке полно людей. Утомительный гул голосов. После яркого зимнего солнца глаза с трудом привыкают ко мраку. В каменноугольной подземной тьме постепенно высвечиваются солдатские лица, серые мерлушковые папахи, обледеневшие усы, ноги в дымящихся сапогах, протянутые к огню.

Я втираюсь между двух орудийцев, ложусь на упругие еловые ветки и тоже протягиваю свои юфтевые сапоги к огню. Постепенно они оттаивают и начинают дымиться. Отогреваюсь. Блаженное тепло распространяется по всему моему телу. Клонит в сон.

Огоньки сигарок. Запах жженой газетной бумаги и махорки. Вероятно, это дежурство на противозаэропланной позиции похоже на жизнь на боевой линии. Но все же это совсем не боевая линия, а всего лишь пребывание в тылу, хотя и недалеко от передовых позиций.

Оказывается, фронт — понятие растяжимое. Пока доберешься до самой-самой передовой линии, дальше которой уже ничья земля, а за нею враг, — пуд соли съешь! Словом, не так-то все просто на войне.

В землянку заглядывает закутанный в обледенелый башлык дневальный.

— Летит! — кричит он.

Батарейцы суетятся, толкая друг друга, выползают из землянки наружу.

После подземной тьмы яркий снег слепит; в глазах плавают как бы странные отпечатки пылающей печи, но только не огненные, а, наоборот, обморочно-синие. Все окружающее на миг представляется негативом: черное белым, белое черным.

Номера занимают свои места у задранных к небу орудий. Слышится утиное кряканье полевых телефонов. С фольварка бежит офицер, поспешно застегивая полушубок и вытаскивая из футляра цейсовский бинокль, в стеклах которого вспыхивает отражение солнца. В небе уже можно различить приближающийся немецкий аэроплан.

— Взвод, к бою! — кричит офицер, не отрывая от глаз бинокля. — Уровень тридцать один пятьдесят, трубка сто двадцать пять. По немецкому аэроплану огонь!

Наводчики, прильнув к оптическим приборам, движением рук, откинутых назад, как бы молчаливо приказывают поворачивать орудия, и они движутся по кругу вслед за аэропланом, который, появившись из-за дальнего леса, с методическим журчанием мотора медленно приближается, превращаясь из еле заметной точки в механическую птичку с неподвижными крыльями, загнутыми на концах назад.

Это немецкий разведчик «таубэ», что значит по-русски голубь.

— Взвод, огонь! — командует офицер, продолжая следить за немецким «голубком».

Орудийные фейерверкеры с записными книжками в руках кричат:

— Первое! Второе!

Два удара короткого, как бы железного грома.

Наводчики сноровисто отскакивают в сторону. Стволы пушек откатываются назад, вниз и затем медленно возвращаются на прежнее место, повинувшись упругой силе масляного компрессора, которому помогают орудийные номера, упираясь руками в затвор.

Возникает два облака сияющей на солнце снежной пыли — следствие орудийных выстрелов.

Маленький летательный аппарат тяжелее воздуха, именуемый «таубэ», неторопливо движется по прямой линии над лесом. Уже известно, что выпущенная шрапнель разорвется ровно через одиннадцать секунд после орудийных выстрелов. За это время стреляные гильзы с легким звоном падают в сугроб и там дымятся. А орудийная прислуга успевает приготовить пушки к новому выстрелу.

Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать секунд — и в зеленоватом чистом небе недалеко от «таубэ» вспыхивают два огонька, как бы родившись сами по себе из ничего, и возникают аккуратные облачка. Долетает сухой треск двух разрывов. Аэроплан продолжает полет.

Промазали.

Два облачка темнеют, разрастаются, расплываются, рассеиваются.

— Очередь!

Опять два орудийных выстрела один за другим. Теперь два шрапнельных разрыва как бы из ничего появляются в небе по сторонам немецкого аэроплана.

— Очередь!

Считаю в уме восемнадцать секунд — и два новых шрапнельных разрыва возникают немного ниже аэроплана.

Аэроплан удаляется.

Теперь до него уже верст пять — почти предел дальности наших трехдюймовок.

— Прицел сто тридцать пять, трубка сто тридцать! Огонь! Первое! Второе!

Один разрыв далеко, другой очень близко от «таубэ». В бинокль видно, как аппарат снижается, колеблется, делает дугу и планирующим спуском («воль планэ») уходит за зубчатую кромку леса.

Подбили или не подбили? — вот в чем вопрос. Неизвестно. Можем узнать это лишь завтра из штаба корпуса. А о том, что на «таубэ» находился один или два живых человека — хоть и немца! — никто и не думает.

— Отбой!

Укладываем стреляные гильзы в лотки, а лотки в за-

рядный ящик. На затворы надеваются брезентовые чехлы. До заката недалеко. Больше немец не полетит. Можно и отдохнуть.

Только теперь вдруг начинаю понимать, что, кроме стрельбы из орудий по неприятельскому разведчику, я присутствовал еще при одном событии, на которое как-то не обратил внимания: матч между двумя прославленными наводчиками, так сказать, чемпионами артиллерийской стрельбы — бомбардир-наводчиком Ваней Ковалевым и бомбардир-наводчиком Прокошей Колыхаевым. Представился редкий случай стрелять, как обычно, не по закрытой цели, а по открытой, на виду у всех по мишени, движущейся по небу.

Кроме чисто спортивного интереса — кто кого перестреляет, — имеется еще материальный интерес, так как за каждый сбитый неприятельский аэроплан наводчик получал Георгиевский крест, а также, по сведениям солдатского телеграфа, девяносто рублей. Почему не сто, а именно девяносто — неизвестно.

Можно себе представить, как волновалась орудийная прислуга и с каким азартом работали оба наводчика, с виртуозной быстротой и точностью орудия поворотными и подъемными механизмами, не отрывая глаз от оптического прибора, ловящего и опережающего летящий аэроплан.

Теперь же, сидя в землянке перед печкой в окружении орудийных номеров, Ковалев и Колыхаев делили шкуру неубитого медведя: кому из них достанется знак военного ордена четвертой степени и девяносто рубликов. В крайнем случае они соглашались поделить девяносто рублей, а насчет Георгиевского креста — как решит начальство. Но никто из них не сомневался, что самолет сбит и упал за лесом, не успев перелететь за линию фронта.

В один голос все батарейцы подтверждали, что видели, как немецкий аэроплан задымился.

— Это я его зацепил, — говорил Ваня Ковалев, нежно смотря на Прокошу Колыхаева своими красивыми женскими карими глазами и покручивая черные усики, на что Прокоша Колыхаев отвечал с наигранной ленцой:

— Нет, Ваня. Тебе надо было взять на два деления вправо, тогда ты бы его достал. А достала его именно моя шрапнель, поскольку я его упредил ровно на столько, как положено, как в аптеке. Так что будем считать, что Геор-

гий мой, а девяносто карбованцев будем делить между теми оружейными номерами, которые нам помогали поворачивать пушки.

— Дурень думкой богатеет,— заметил заводный фейерверкер Чигринский, русоусый красавец в папахе набекрень, и оказался, как всегда, прав, так как на другой день штаб корпуса не подтвердил, что «таубэ» был сбит.

Но, во всяком случае, разговоров было много.

В половине пятого снимаемся, телефонисты сматывают провода. Из Лебедёва приезжают передки. Вечереет быстро. Снег синее. А на зеленоватом холодном небе появляется первая звездочка, как росинка.

Северная ночь будет светлая от звезд, искристая. А на горизонте станут видны зарницы оружейного огня...

«Действующая армия. 20-1-16 г. Крещение. Снежно. Ветрено. Довольно холодно. Так как я в бригаде всего шесть дней, то на крещенский парад, в строй, меня не берут. Иду один в церковь, у ограды которой шпалеры серой, однообразной пехоты. В церкви полно солдат. Впереди оранжевые тулупы и черные, в желтых цветочках платки беженок. Есть грудные дети. Их тонкий плач напоминает мне, что, «причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад», не хватало только солнечного луча из-под купола и белого платья в церковном хоре. Обедня тянется долго. Из церкви наружу выходит крестный ход. Его окружает пестрая толпа. Я вмешиваюсь в нее. Впереди толпы большая группа офицеров, частью уже мне знакомых. Несколько сестер милосердия в черных, развевающихся на ветру косынках. Хор поет. Проплывают елочки, воткнутые в сугробы, обледенелые колодцы.

Пехотные шеренги с винтовками, взятыми на караул.

Выходим на берег замерзшей реки, занесенной снегом, как ровное поле. Посередине реки так называемая Иордань — ледяной крест, возле него во льду прорубь, прорубленная тоже в виде креста. Вокруг елочки и хвойные гирлянды, огораживающие особое место для духовенства и начальства.

Пользуясь преимуществом вольноопределяющегося (представьте себе, таковое имеется!), я протискиваюсь в

группу офицеров. Духовенство занимает свое место. Хор поет. Попахивает ладаном. Начинается водосвятие.

Впереди всех — начальник дивизии, полный, но с худым лицом, седовласый генерал. Рядом с ним адъютанты и несколько дам — вероятно, жена и родственницы, приехавшие на праздники, благо пока что стоим в резерве.

Откуда-то появляется Ваш отец, он держится несколько в стороне от своего пехотного начальства. Тут же чопорные штабные офицеры из управления бригады с безукоризненными проборами зеркально набриолиненных волос (все, конечно, без шапок). Ваш отец в своей обычной будничной поддевке с большим карманом на груди, тоже, как и все, без шапки, и его небольшая круглая голова отливает серебром.

Меня теснят со всех сторон, и вскоре я оказываюсь почти рядом с ним. Еще раз меня поражает его удивительное фамильное сходство с Вами, Миньона, или, вернее, наоборот — Ваше сходство с ним. Сходство, о котором я, кажется, уже Вам писал. Я не могу определить, в чем заключается это сходство.

Форма головы, манера смотреть, блеск сиреневых глаз, небольшой рост... Кажется, мелочи, а все же... Хотя нет! Главное не это. Тут скорее внутреннее сходство. Я больше чем уверен, что по характеру Вы точная копия отца, конечно применительно к полу и возрасту. Недаром же Вы любимая его дочь. Почему-то это сходство мне очень нравится. Почему — бог весть. Ну, извините за это лирическое отступление»...

Здесь я остановился, задумался и усмехнулся. Однако же и хитрец был я в то время, когда еще звался просто Сашкой. Сашкой Пчелкиным. Мне трудно было на старости лет признать в нем молодого, даже юного себя!

Я теперь с трудом разбираю свой полудетский почерк с некоторыми заковыристо написанными буквами на сильно постаревшей почтовой бумаге того времени фабровским карандашом номер два.

Я читал их в своем кабинете при электричестве, надев очки, но почему-то мне казалось, что я сижу в рублевом номере дореволюционной гостиницы с умывальным тазом и треснувшим кувшином на комодe, а на столе, покрытом

изъеденной молью ковровой скатертью, горит стеариновая свеча, с трудом освещая пасмурные стены, оклеенные ветхими обоями со следами клопов, в то время как снаружи угадывается веселый солнечный день, шумная жизнь крымского города, сквер с клумбами невероятно красных канн, говорящих о том, что на дворе середина пламенного августа, и на железной спинке кровати висит кобура с тяжелым револьвером, из которого так естественно было бы застрелиться, написав на обороте гостиничного счета несколько прощальных слов, освещенных сине-желтым пламенем свечи.

Не знаю, откуда пришла в мое воображение эта картина, не имеющая ничего общего с действительностью.

Может быть, это всего лишь овеществление вечной и безнадежной любви к Ганзе... Не знаю...

«Водосвятие кончается,— продолжаю я читать, с трудом разбирая свой почерк, стершиеся буквы,— священник плоско подает крест, и начальник дивизии первый целует его. За ним ко кресту подходит Ваш отец. Он проходит совсем близко, но меня не замечает, как я ни стараюсь попасться ему на глаза.

(Шучу, шучу!..)

Он подчеркнуто вежливо здоровается с дивизионными дамами и отходит в сторону.

Священник макает кропило в поданную ему серебряную чашу и наотмашь крестит водой толпу.

Ледяные капли падают мне на лицо и замерзают на бровях.

Потом военный парад. Под звуки духового оркестра идут солдаты четким строевым шагом мимо начальника дивизии. Сначала пехота, глухо гремя голенищами сапог. Потом артиллеристы нашей бригады: длинные шинели, малиновые револьверные шнуры. На фланге — Ваш отец. Вот его шагающая фигурка с шашкой наголо. Вот какое-то перестроение на ходу, и он уже шагает впереди строя. Строй, колеблясь, приближается к начальнику дивизии, принимающему парад. Равняется с ним. Ваш отец салютует ему шашкой и строевым шагом отходит и присоединяется к свите начальника дивизии.

— Здорово, артиллеристы!

— Здрав... жлай... ваш... дитство! — четко и молодо летит, подхваченное крещенским ветром.

Ноги деревенеют. Но вот парад кончен. Народ расходится. Впечатление от парада, как от кинематографической хроники «Патэжурнала». Все быстро, четко, точно, немножко торопливо.

Все время до самого выступления на передовые позиции я нахожусь при орудии. Учю уставы. Через несколько дней меня уже ставят на занятиях наводчиком. За два дня я сделал всего одну ошибку в установке угломера, и то всего на одно деление. И все-таки получил от фельдфебеля довольно строгий выговор.

Ну что еще? Вы требуете, чтобы я не пропускал ни одного события, писал как можно подробнее. Слушаюсь и повинуюсь. Вот, например, могу описать так называемый инспекторский смотр, который производил Ваш папа. На сей раз меня впервые поставили в строй.

Оттепель, мокрый снег, лужи.

Батарея строится на площади возле церкви. Издали показывается фигурка Вашего отца. Ему навстречу с обнаженной пашкой строевым шагом идет наш батарейный командир, салютует, рапортует.

Обходя фронт, генерал очень внимательно, не торопясь, иногда останавливаясь, всматривается в лица солдат, задает вопросы, расспрашивает младших офицеров и взводных фэйерверкеров.

Это единственный случай, когда солдаты имеют право на законном основании высказать жалобы и претензии непосредственно самому высшему начальнику, самому командиру бригады.

Чаще всего солдаты никаких жалоб и претензий не высказывают. Ну а вдруг выскажут? Тут уж фельдфебель чувствует себя на раскаленной сковородке.

Но все проходит сравнительно гладко.

По традиции вольноопределяющиеся ставятся на правом фланге. Стою на правом фланге. Проходя мимо меня, Ваш папа обращается к батарейному командиру:

— Однако я вижу, что вы нашего охотника Пчелкина уже поставили в строй. А он вам картины не подмочит?

— Никак нет, ваше превосходительство,— отвечая

улыбкой на генеральскую улыбку, говорит наш милый старичок-батарейный, как принято его называть, вечный капитан, которому уже давно пора в отставку, да война помешала,— он у нас, ваше превосходительство, молодец!

— Это я-то молодец? Как Вам понравится?...

Потом Ваш папа делает несколько выговоров, или, по солдатскому выражению, берет в расход подпоручика Лесли, которого наши батарейцы называют на свой лад — поручик Лесен, берет в расход также и моего взводного фейерверкера — красавца и милягу Чигринского... отдает несколько приказаний.

Ну и так далее.

На другой день мне делают в лопатку противотифозный и противохолерный уколы, от которых у меня поднимается температура и я лежу в околотке.

Об этом медицинском учреждении могу сказать лишь то, что оно помещается в тесной халупе с нарами в два этажа, на которых вповалку лежат больные солдаты, занимающиеся главным образом тем, что водят по бревенчатым стенам зажженными спичками, таким простым способом уничтожая (пardon!) клопов, которых здесь больше чем достаточно. Я им дал живописное название «выжигатели клопов».

Оправившись, я возвращаюсь в батарею и принимаю присягу. Вместе со мной присягу принимают еще двое вольноопределяющихся и несколько молодых офицеров.

Присяга — важное событие. После присяги я уже делаюсь настоящим солдатом.

Очень солнечный морозный день. Под ногами хрустит и ломается звездами лед.

Церемония присяги происходит все на той же церковной площади перед выстроенной батареей. Я волнуюсь и не знаю, как быть и что делать. Всем распоряжается свояк Вашего папы полковник Ш. Он по обыкновению несколько суетливо двигается то туда, то сюда, ходит вперевалочку в своей шведской замшевой куртке.

Перед батареей поставлен вынесенный из церкви лиловый бархатный аналой. Священник в полном облачении держит в руке лист бумаги и по пунктам читает церковным голосом слова присяги, после чего мы подходим по очереди к аналою и целуем переплет Евангелия, пахнущий ладаном, а также холодный наперсный крест, протянутый к нашим губам.

Отходим в сторону, не знаем, что надо дальше делать. Полковник Ш. подходит к нам.

— Поздравляю вас, господа, с принятием присяги...

Он замолкает, и кажется, что он еще будет говорить, но он внезапно отходит, а мы расходимся.

Конец.

Теперь я уже не свободный и независимый молодой человек — охотник-волонтер, — имеющий право в любой момент уехать домой из действующей армии, а нижний чин, канонир, подчиненный суровой воинской дисциплине.

За церковной оградой растет береза с молочно-белой атласной корой. Воздушное кружево ветвей, сероватое от инея, замечательно красиво рисуется падающей сетью на чистом морозном небе...

...Выступление на позиции. Утро. Девять часов. Парк, где стоят орудия нашей батареи, похож на конскую ярмарку. Кубы прессованного сена. Лошади. Зарядные ящики. Орудия. Передки... Все это производит впечатление беспорядка, хотя полный порядок. Все делается строго по уставу.

Офицеры с молодыми, утренними лицами. Пожилой командир батареи в серой бекеше выезжает вперед на своей смиренной лошадке.

— Шапки долой! — кричит он добрым слабым голосом. — Ну, ребята, перекрестимся на дороге!

Серьезный морозный ветерок пробегает по обнаженным коротко остриженным солдатским головам и по проборам офицеров.

Командир батареи размахисто осеняет себя крестным знаменем, в котором мне чудится что-то кутузовское.

Мелькают руки, шапки. Все крестятся, и вместе со всеми я тоже.

— Накройсь! Шагом марш!

Колеса скрипят по сырому снегу. Звенит упряжь. Я иду рядом со своим орудием номер четыре. Несмотря на январь, слегка подтаивает. Под ногами мокро. Похоже на раннюю весну. В сердце грусть и одиночество.

Делаем переход в двадцать пять верст с двумя пятиминутными и одной получасовой остановками. Дорога в еловом лесу. Среди свежей по-зимнему, густой хвои, в чаще которой всегда легкий синеватый туман, белеют по-девичьи стройные стволы нестеровских берез. Опять сильно подморозило. Во время получасовой остановки на льду замерзшей речки бегу отогреться в первую попавшуюся халупу, уже битком набитую нашими батарейцами. Пылает огонь в печурке. Пахнет ельником. Откуда-то взялся большой медный луженый чайник, и в нем уже бушует кипяток. Обжигаясь, пьем чай из самодельных кружек, бывших некогда консервными банками. Кусаем сахар. Мои замерзшие сапоги оттаивают. По всему телу разливается приятная теплота. Хорошо бы завалиться на душистые еловые ветки, устилающие пол, и всхрапнуть как следует.

Но, увы, полчаса истекли.

Надо торопиться попасть засветло на позицию, откуда все громче и громче слышатся редкие орудийные выстрелы.

Но вот мы уже на месте. Стемнело. Вокруг ничего не видно, кроме деревьев. Ночь. Электрические фонарики орудийных фейерверкеров бегло освещают землянки и орудийные ровики, где совсем недавно стояли трехдюймовки батарей, которую мы сменяем.

Вот тут-то поскорее бы установить наши орудия и залечь спать в обжитой и хорошо натопленной землянке.

Ан нет!

Оказывается, мой второй взвод назначен на самую что ни на есть передовую секретную позицию в двух шагах позади пехотных окопов.

Отрываемся от своей батареи и, соблюдая всяческую осторожность, под покровом ночной темноты выезжаем вперед еще версты на три, то есть совсем под носом у немцев, где для нас уже заранее приготовлена саперами и надежно замаскирована удобная позиция: места для орудий, землянки для прислуги и телефонистов.

В темном звездном небе с трех сторон то тут, то там взлетают немецкие осветительные ракеты, и тогда бескрайние снега вокруг нас, хвойные рощи, сугробы снега волшебно, но в то же время как-то очень зловеще озаряются голубоватым бенгальским огнем, плывущим по окрестностям и как бы заливающим вместе с собою всю панораму зимней ночи.

Сюда уже залетают шальные пули немецких часовых. Иногда эти пули проносятся небольшой стайкой, как птички, с противным щебетаньем и посвистыванием. Это значит, что дают залп немецкие сторожевые охранения.

Пока — все.

Завтра или послезавтра, если бог даст, напишу продолжение. Вы не находите, что у нас с Вами происходит нечто вроде романа в письмах, причем главным образом пишу я, а Вы отмалчиваетесь? Не сердитесь! Роман!.. Дождешься от Вас романа! За редкие письма Ваши большое спасибо. Они такие теплые. Мне очень приятно, что мои излишне подробные и длинные писания доставляют Вам удовольствие. Буду писать еженедельно. Если можете — отвечайте. Это будет мне тоже очень приятно.

Кроме знакомых, как Вы пишете, «девочек», которых у меня не так уж и много, я получаю письма и от «мальчиков». Девочки пишут сентиментальные письма, а мальчики — мои товарищи — пишут письма умные, содержательные. Все же мое одиночество остается незаполненным.

Пишите, дорогая Миньона! Ужасно медленно идут письма. Ваше письмо от 14 января получил только вчера. Уже поздно. Пишу в землянке, глубоко под землей, при невозможных условиях. Привет Вашей маме, сестрам — родным и двоюродным. Шлю Вам свой братский привет и вместе с ним немножко вьюги, хвойных лесов, звездных ночей и любви. Вспоминаете ли Вы дачу Вальтуха? А. П.».

Следующее письмо на довольно больших листах папиросной бумаги, мелким почерком, выцветшими чернилами. Откуда эта бумага? Что за чернила? Где писано? Этого я уже совершенно не помнил. Руку свою разбирал

с трудом, как чужую. Малоинтересный манускрипт прошлых веков! Но все-таки в этих строчках была какая-то часть меня, полустертый остаток моей прошлой жизни.

«Действующая армия. 8-II-16 г. Милая Миньона! Как это ни странно,— не без труда разбирал я выцветшие слова,— но после Вашего письма у меня появилась непреодолимая потребность делиться с Вами всеми мелочами моего военного быта. Вы одна из всех тех, кто мне пишет, правильно поняли, что главное — это мелочи. Именно мелочи. Из них складывается жизнь, хотя бы даже и на передовой линии с ежеминутной возможностью смерти. Мелочи главнее самого главного, потому что главное состоит именно из них, из этих как бы незначительных мелочей.

Некоторые пишут мне, чтобы я сообщал о сильных переживаниях, о боевых эпизодах, о подвигах, о ранениях и т. д. Один мой товарищ дословно пишет: «Правда ли «там» — хорошо? Сильно? И хорошо именно оттого, что сильно?» А одна, как Вы выражаетесь, «девочка» молится за меня, пишет: «Да хранит Вас бог! Я молюсь за Вас и буду молиться». Это, конечно, трогательно. Но когда я получаю подобные письма, мне становится как-то очень неловко, как будто бы я обманываю чьи-то ожидания, и я не знаю, что отвечать.

Моя жизнь сейчас наполнена бытовыми мелочами, которые подавляют все остальные, так называемые героические чувства. Например, во время артиллерийской дуэли: мысли о том, что каждую секунду могут ранить или убить, то есть уничтожить. Поймите: у-нич-то-жить. Совсем, навсегда, неотвратимо. Это уже не просто страх, а ужас! Чувствуешь все это, а в то же время, как это ни странно, какой-то внутренний мальчишеский голос кричит во мне: «А ну-ка еще! Еще! Жарь! Не боюсь!» А на самом деле не просто боюсь, а теряю сознание от ужаса перед тем, что может сию минуту произойти. И в то же самое время соображение, что если убьют, то смерть почетная, хорошая, большая. Но это редко и то проблесками.

А жизнь, ее обстоятельства наполняют мозг соображениями о том, что до конца месяца не хватит сахару, что нужно стирать белье, что долго из дому нет посылки, что письма запаздывают и т. п.

На днях я по неведению не стал во фронт командиру дивизиона Шереметьеву, которого не знал в лицо. Он сделал мне замечание и сказал:

— Доложите своему батарейному командиру, что вы не изволили стать во фронт командиру дивизиона.

Я доложил и потом целую неделю ждал с волнением, что меня поставят под ранец с полной выкладкой. И это волнение, ей-богу, было сильнее того волнения, которое я испытал, когда увидел, что на том самом месте, где десять минут назад я брал из приехавшей походной кухни борщ и кашу для своего орудия, разорвалась немецкая граната и осколками убило лошадь».

На этом месте я перестаю читать письмо. Устали глаза. Я задумываюсь. Что-то в этом моем письме мне теперь не нравится. Память, обогащенная прожитой жизнью, подсказывает мне, что тогда — в те легендарно далекие годы — все, что я с таким старанием описывал, на самом деле было не совсем так. Или, вернее, так, да не так. Память как бы сдувает туманную оболочку с событий и обнаруживает некоторую их искусственность, некоторые пустоты, которые вдруг заполняются тем, что я тогда вольно или невольно скрыл, несмотря на явное, настойчивое желание быть до конца правдивым.

Например, случай с дивизионным полковником Шереметьевым: во время затишья я слонялся по местности недалеко от батареи и столкнулся с полковником Шереметьевым, еще не зная его в лицо. По снежной тропинке шел красивый полковник в шинели, отлично скроенной и спитой из лучшего солдатского сукна, так называемого гвардейского, без пуговиц, а на крючках, туго подпоясанный широким офицерским ремнем. Из специально прорезанного кармана шинели торчал золотой эфес почетной пашки — золотого оружия — с георгиевской лентой темляка и крошечным белым эмалевым Георгиевским крестиком на нижней части эфеса, а вся пашка скрывалась под шинелью — особый чисто фронтовой шик, дававший понять всякому, что полковник не какой-нибудь штабной тыловик, а настоящий боевой офицер, «слуга царю, отец солдатам».

Проходя мимо, я залюбовался красивым лицом полковника с мужественно постриженными усами и черным бархатным околышем парадной артиллерийской фуражки, говорящей о том, что полковник не прячется от неприятельских наблюдателей, прикрывшись фуражкой защитного цвета или же серой смушковой папахой, а презирает опасность и вообще привык не обращать внимания на свист пуль и осколки бризантных снарядов.

Я почувствовал патриотический восторг и, вытянувшись изо всех сил, прошел мимо полковника строевым шагом, напряженно приложив руку в меховой перчатке к своей не по уставу белой папахе. Полковник мгновенно заметил и эту мою глупую папаху, и не по уставу кожаную куртку, и всю щуплую, глубоко штатскую фигуру, шагающую в юфтовых сапогах с ремешками по скрипучему снегу, и погоны с накладными пушечками. Он, конечно, тут же понял, что это новый вольноопределяющийся, протеже командира бригады, с которым был в контрах.

— Вольноопределяющийся! — окликнул он меня негромко.— Подойдите! Вы что же это? Не знаете устава? Вы обязаны знать в лицо своего дивизионного командира и становиться ему при встрече во фронт. И что это у вас за разболтанный вид и почему вы обмундированы не по форме? Извольте доложить об этом своему батарейному командиру и кр-ру-гом ар-рш! Ступайте.

Я почувствовал холод в желудке, расслабление кишечника, чуть было, как говорят солдаты, не наложил в шаровары и даже немного помочился.

Возвратившись к себе во взвод, я не знал, что предпринять. Старик батарейный командир болел и совсем не показывался, даже, кажется, его уже отправили на тыловую службу. Нового командира батареи еще не было. Его должность исполнял полубатарейный поручик Тесленко, но он тоже у нас во втором взводе, стоявшем отдельно, бывал редко.

Кому же докладывать?

Фельдфебеля я боялся как огня.

Я залез в свою тесную оружейную землянку и посоветовался с бомбардир-наводчиком Ваней Ковалевым, тем самым нежным красавцем с карими девичьими глазами и черными усиками. Ковалев посоветовал мне вовсе никому не докладывать — «бо, ей-богу же, той полковник Шереметьевский уже забыл это дело, так что лучше всего вы сидите тихо и не рыпайтесь».

Я внял мудрому совету и не рыпался, но все время испытывал страх, что мое преступление всплывет наружу, отягощенное тем, что я не исполнил приказа дивизионного

командира, и тогда мне не миновать ранца с полной выкладкой.

Я уже однажды видел, как провинившийся батареед стоял под ранцем, то есть в полной пехотной выкладке, с обнаженным бебутом у плеча, с ранцем на спине, в который было наложено фунтов десять груза. Он стоял по стойке «смирно», не шевелясь, на морозе, с красным лицом, как истукан. Это был канонир из какой-то соседней батареи, мимо которого я проходил по тропинке в канцелярию за письмами.

Страх мучил меня днем и ночью до тех пор, пока солдатский телеграф не сообщил, что полковник Шереметьев уехал в отпуск. Только тогда я успокоился.

...Что касается упоминания дачи Вальтуха, то здесь заключается тончайший намек. На первую встречу с Миньоной, на наш якобы роман, которого, впрочем, совсем не было, а он только еще смутно намечался и то не с ее, а с моей стороны, а с ее стороны — неизвестно.

Но она была любимой дочкой генерала, а тогда, перед войной, еще полковника, приехавшего со всей семьей из Тирасполя, где была расположена его артиллерийская часть.

Их квартира выходила окнами и балконом на старый, запущенный, так называемый Ботанический сад, или попросту Ботаника, с дубовой рощей. Этот балкон, куда однажды мы с Миньоной вышли вечером и стояли, облокотившись на железные перила, как бы висел в воздухе посреди этой черной дубовой рощи с умирающими листьями, запахом которых мы дышали.

Только что взошедшая из-за дачи Вальтуха большая осенняя луна как бы висела на дубовом сучке и уже напустила на нас ночной холод. Я осторожно подвинул к ее локтю свою руку, и она сделала вид, что совсем этого не заметила и что все это с моей стороны напрасные поползновения и так далее. Я делал вид, что влюблен в Миньону. А на самом деле в это время не переставал безнадежно и горько любить совсем другую...

«Наш взвод, то есть два орудия — третье и четвертое, — как я уже, кажется, Вам писал, стоит в одной версте от немцев. Я нахожусь в числе прислуги при четвер-

том орудии. Живем мы в двух землянках, глубоких, как погреб, куда надо опускаться по земляным ступенькам, обшитым тесом. Окон нет, и слабый свет проникает через небольшое стекло, вделанное сверху в дощатую дверь.

Словом, вечная подземная поэма, запах сырости и сосновых бревен, положенных в три наката вместо потолка.

Спим мы на земляных нарах, покрытых еловыми ветками и соломой. Свечей не выдают, и мы жжем керосин в жестяной лампочке без стекла. Лампочка — коптилка! Лица наши постоянно в саже, и болят глаза.

Теснота ужасная!

Кусают блохи. Иногда я сам себе кажусь кротом, зимующим в маленькой своей норе глубоко под землей.

Солдаты-батареи, с которыми я живу, — в большинстве своем хорошие товарищи, положительные семейные люди, преимущественно крестьяне, попавшие на войну прямо с действительной службы призыва 1913 года, то есть двадцатипятилетние. Они люди умные, хотя некоторые и малограмотны. Но...

Поймите, мне трудно найти с ними общий язык, ни одной общей точки. У нас совершенно разные понятия обо всем. Разные привычки.

От этого, конечно, ничего худого не происходит, живем мы дружно, но тем не менее мы чужие друг другу. Я чуть не написал: их много, а я один. Но вовремя спохватился: понял, что это было бы слишком хвастливо и неуместно. Ведь они — подавляющее большинство русского народа, к которому принадлежу и я.

Я среди них, как говорится, белая ворона, вернее, какой-то незваный гость, который, как известно, хуже татарина. Словом, я сел не в свой вагон, однако что сделано, то сделано. Ничего не попишешь. Грустно! Но, главное, одиноко.

Называют меня, мальчишку, эти семейные взрослые люди уважительно Александром Сергеевичем, или господином вольноопределяющимся, или, бывает, совсем по-семейному — Саша, а то еще теплее, не без покровительственного юмора: «наш Пчелкин» или даже «наш Александр».

Так что я теперь с полным правом могу подписывать свои письма «Ваш Саша» — если я действительно Ваш! Шучу! Шучу! Не придавайте значения: это для красного словца,

Я называю солдат, своих товарищей, по фамилии: Ковалев, Колыхаев, Попленко, Улиер, Чиригин, Веварт, Горбунов — видите, какая пестрая компания!

И все же я не жалею, что уехал. Не жалею ни капли.

Едим мы два раза в день: днем и вечером. В двенадцать обед — борщ, каша и около полфунта мяса — чрезвычайно твердого. Борщ до того наперчен, что есть его я не могу. Каша на постном масле или с салом, крошеным кусочками.

Зато природа!

Прогулки по селу, разбитому снарядами. Река, замерзшая среди соснового бора. Снега, снега, снега. Особый аромат походной жизни. По ночам свист пальных пуль. Лужи в крови. При каждой оттепели выступает кровь прошлых боёв.

Кроме того, ведь я все-таки усердно потею над уставами, вожусь возле пушки, учусь быть наводчиком — и довольно успешно. Возможно, что скоро получу нашивку бомбардира...»

Однако хотя я, в то время молодой вольноопределяющийся, и обязался писать главным образом о мелочах солдатской жизни, а не о боевых подвигах и сильных впечатлениях, все же не удержался от описания кровавых луж, свиста пуль и убитой снарядом лошади.

Что же касается переперченного борща и трудности совместной жизни с простыми, малограмотными солдатами (а я ощущал, что мы, несмотря на окопную дружбу, все-таки чужие друг другу), то эти жалобы звучали довольно глупо в письме исключенного гимназиста.

Впрочем, это скоро у меня прошло. Ведь я и месяца еще не прослужил на позициях. Надо же было мне свалить на кого-то свою непригодность к новым условиям жизни и вечное ощущение беспричинной грусти, тем более что грусть моя была совсем не беспричинна.

Я попал в ложное положение. Как вольноопределяющийся первого разряда я имел право помещаться и столоваться вместе с офицерами, что мне сразу и было предложено. Однако я отказался, сказав старичку-батарежному, что хочу разделить с простым народом все тяготы вой-

ны и остаться в батарее на солдатском довольствии, а также помещаться вместе со всеми номерами нашего орудия.

— Хвалю! — сказал старичок-батареинный и потрепал меня по плечу. — Вы настоящий сын родины!

Вскоре батареинный уехал по болезни в тыл лечиться, а на его место был назначен боевой офицер поручик Тесленко, как тогда принято было говорить — из простых, маленький, с мягким непородистым лицом, кумир солдат, о котором даже сложили песню на мотив «Шумел, горел пожар московский, дым расстилался по земле» и т. д. Слова были такие: «Шумел, горел лес августовский, то было дело в ноябре. Мы шли из Пруссии Восточной, за нами герман по пятам»; и потом через несколько строк: «Поручик храбрый наш Тесленко сказал «не сдамся никогда»... и так далее.

...создалась легенда, что я, вольноопределяющийся Пчелкин, по доброй воле отказался от привилегий жить и питаться вместе с офицерами, предпочитая все тяготы войны переносить вместе с солдатами. Эта легенда укрепилась, и самое удивительное, что я сам поверил в эту сказку. А на самом деле, для того чтобы воспользоваться своим правом жить и питаться вместе с офицерами, надо было ежемесячно платить за офицерское питание, хотя и совсем немного, рублей, может быть, пятнадцать в месяц, да беда в том, что денег у меня совсем ничего не осталось, а просить у отца не позволяла совесть. Отец и так еле сводил концы с концами. Те же небольшие деньги, которые отец мне дал на дорогу, как известно, были безвозвратно утрачены мною еще до Минска. Оставалось одно: заявить о своем желании жить вместе с солдатами, питаться из батареинного котла и получать солдатское содержание.

Солдатский телеграф сразу же известил, что «наш Саша Пчелкин», то есть я, происходит из небогатой семьи учителя, что по дороге на позиции он проигрался, что из гимназии его исключили и теперь у него один выход: служить в батарее вольноопределяющимся, дослужиться до прапорщика, надеть золотые погоны, получить офицерское жалованье и, если даст бог, жениться на генеральской дочке Миньоне, с которой он крутит любовь, но это еще бабушка надвое сказала.

Батарейцы считали это совершенно разумным, так что я ничего не потерял в их глазах, а даже выиграл. Они смотрели на вещи трезво. Всякая романтика была чужда им.

Особенно им нравилось, что я из небогатой и недворянской семьи.

Они относились ко всем богатым с подозрением и даже откуда-то очень хорошо знали материальное положение каждого своего офицера, с особенным неодобрением относились к офицерам-помещикам, владевшим землей. Они совершенно точно знали, где у кого имение и сколько у кого десятин земли. Владение большим количеством земли они считали несправедливостью, хотя об этом помалкивали и втайне надеялись, что когда-нибудь, и, может быть, даже очень скоро, эта несправедливость кончится и всю помещичью землю крестьяне поделят между собой. Об этом говорилось редко, больше намеками, почему-то рассчитывая на близкий конец войны, что не мешало им честно служить и сражаться с внешним врагом, как предписывали им святая присяга и солдатская памятка.

«Оказалось, что войну до сих пор я воображал довольно правильно. Помните, милая Миньона, как Вы подняли меня на смех за то, что я представлял себе батарею как шесть пушек, поставленных в ряд. Оказалось, что это совершенно так и есть. Потом Вы смеялись, когда я мечтал побежать с батареей смотреть пехотную атаку. В действительности у нас это тоже вполне возможно. Например, когда в пехотной цепи, до которой от нас всего одна верста, случается что-нибудь «интересное», вроде атаки или разведки боем, то батарейцы бегут на открытое возвышенное место, ложатся и смотрят.

Наши два орудия спрятаны в обратном склоне бугра. Впереди, позади, сбоку — со всех сторон резервные окопы, приготовленные для пехоты на случай отступления, проволочные заграждения, волчьи ямы, запасные землянки в три-четыре наката.

Снег на солнце блестит, как алюминий. Я выбираюсь из землянки. После подземной тьмы солнце ослепляет. Минуты две не могу привыкнуть к яркому снегу. Жмурюсь. Иду по истоптанному снегу среди маленьких кустов можжевельника с мутно-синими ягодками вверх по склону бугра.

Отсюда отлично видны простым глазом наши и немецкие окопы. Любуюсь видом. И вдруг с десяток немецких

ружейных пуль проносится над головой. Вероятно, мою фигурку на гребне бугра заметили немецкие наблюдатели и дали залп. Сначала я окаменел от неожиданности, а потом кубарем скатился вниз и попал в объятия своего взводного, который, не стесняясь в выражениях, изругал меня за неосторожность.

Могли ранить. Или даже... Но не будем об этом думать. Вот мое первое боевое крещение...

Ясный день. Чуть тает. С блиндажей каплет. Далеко на западном горизонте в ясном небе над разбитым снарядами костелом виднеется немецкий привозной аэростат с наблюдателем в корзине, так называемая колбаса.

Слышен стрекочущий треск мотора — где-то летает аэроплан,— и слышны разрывы шрапнели: стреляют по аэроплану.

На наблюдательном пункте, где-то вне поля нашего зрения, находится новый командир батареи поручик Тесленко. Он готовится начать стрельбу. Он передает свои команды по телефону, а наш телефонист, высовываясь по поясу из своего окопчика, кричит:

— Второй взвод, готовься к стрельбе! Третье и четвертое орудия — к бою!

Четвертое орудие — мое орудие. И, естественно, я волнуясь. Затыкаю уши ватой, хотя имеются специальные на этот счет наушники, которыми, кстати сказать, никто не пользуется. Привыкли к орудийным выстрелам. А мне советуют на первых порах затыкать уши ватой, чтобы не лопнула барабанная перепонка.

Заткнувши уши ватой, вылезая вместе с другими номерами из подземной норы на свет божий.

Прапорщик Красносельский — изящный мальчик с петербургским лоском, в замшевых перчатках — уже тут на линейке. Очень может быть, это тоже его первая боевая стрельба и он волнуется не менее меня.

Мне страшно, что немецкий наблюдатель может обнаружить наш взвод со своей колбасы и немецкая тяжелая артиллерия сметет нас с лица земли своими «чемоданами».

Обязанностей никаких при орудии я не несу, так как свободно управляются четыре номера из восьми, положенных по уставу.

— Четвертое, огонь!

Это первый орудийный выстрел, который я слышу вблизи. Он со страшной силой ударяет по нервам, как бы врывается в мой предусмотрительно разинутый рот и оставляет в нем какой-то железный вкус и запах пороха. Кружится голова.

Следующие выстрелы уже не производят впечатления. Я даже рта не раскрываю.

Отстрелявшись, мы замолкаем. Потом начинает отвечать немец. Это уже хуже. Сначала настороженное ухо улавливает звук далекого, очень далекого артиллерийского залпа, как бы еще не имеющего к нам никакого отношения. Но звук этот, оказывается, имеет продолжение: легкий шумок, который постепенно усиливается, становится плотным, сбитым, компактным, вырастает, приближается, переходит в зловещий свист, нависающий откуда-то сверху, с неба, фатальный, необратимый, безжалостный, от которого некуда деться.

Орудийная прислуга, толкая друг друга, кидается к блиндажу... Секунда... Прапорщик Красносельский стоит на открытом месте, мнет руки в замшевых перчатках, и я вижу его сверхъестественно спокойное, но мраморно-белое лицо с кружочками выступившего румянца.

Шум полета неприятельского снаряда, дойдя до своей высшей, невыносимой точки, вдруг на миг смолкает, и сейчас же после этой ужасающей, мертвой паузы: б-б-бабах!

Четыре разрыва. Четыре фонтана снега, огня, дыма, земли вздымаются на гребне нашего холма.

Недолет!

В ответ мы делаем несколько выстрелов. И наши снаряды невидимкой, но с убывающим шумом и посвистом улетают куда-то за горизонт. Через короткий промежуток времени поручик Тесленко передает с наблюдательного пункта новые прицельные установки. Орудийные фейерверкеры бегают с записными книжками между окопом телефониста и орудиями, наскоро записывая новые данные и выкрикивая цифры, понятные только наводчикам.

Пауза... И опять — немцы; далекий, еле слышный орудийный залп, переходящий в нарастающий шум, потом свист, непреложный, как геометрическая дуга, или, вер-

нес, траектория полета, плавно поднимающаяся вверх и потом круто, почти вертикально падающая на землю. Снова мы, спотыкаясь, бежим к спасительному блиндажу.

Ух!.. Пронесло! Перелет. Разрывы снарядов где-то за нами. У Красносельского опять появляются румяные пятнышки на окаменевшем мраморном лице. Он подчеркнуто спокоен и, немного наигранно улыбаясь, цедит сквозь зубы:

— Недолет. Перелет. А теперь, братцы, держись! Попадание.

Томительные минуты. Где-то бухают наши первая, вторая и третья батареи. (Наш взвод стоит, как я уже Вам докладывал, отдельно, впереди.) Немец бьет по первой, второй и третьей батареям, то есть по всему первому дивизиону бригады тяжелыми снарядами, которые, пролетая высоко над нами, производят звук, похожий на визжание заржавленного флюгера под ровным ветром. Мы все механически поворачиваем головы, как бы следя за этим мерзким звуком, как бы провожая глазами невидимый снаряд и даже представляя себе, как за ним с журчанием течет рассеченный воздух.

Но по нас немец уже почему-то не бьет. Молчит. Видно, и педолет и перелет были случайны: шальные снаряды. А наши батарейцы при звуке их полета произносили хором как заклинание:

— Несет! Несет! Несет!

Стало быть, немецкие наблюдатели нас не обнаружили. Если бы они знали, что их залпы взяли нас в вилку, то третьим залпом они б нас стерли с лица земли и Вы не получили бы этого письма.

Через некоторое томительно долгое время из телефонного окопчика слышится голос:

— Отбой!

Какое прекрасное слово! От сердца отлегло. Все-таки я впервые испытал чувство настоящей, смертельной опасности, как говорится, понюхал пороху, хотя лишь слегка. Но я горд и чувствую себя настоящим обстрелянным солдатом.

По-моему, ошибка всех наших современных журнальных беллетристов, пишущих про войну (а про войну пишет всякий, кому не лень), это то, что они впадают в крайности. Одни злоупотребляют изображением героических подвигов, кровавых эпизодов, обыкновенно очень приблизительным и слащавым. Другие берут только военный быт, чаще всего воспроизведенный и понятый неверно. А я Вам скажу, война — это пропорция: шесть частей боевых эпизодов, четыре части фронтового быта, что ли. Во всяком случае, быт играет роль неперемennого и совершенно необходимого фона для боевого эпизода.

...передки наших трехдюймовок стоят позади, верстах в трех, за лесом. Иду. Выхожу на большую дорогу. Шарабан. Из-за плеча кучера-солдата видна приплюснутая генеральская фуражка. Узнаю Вашего папу. Он ведь тоже отчасти «миньон» (простите за вольность!). Щелкая сапогами, я вытягиваюсь во фронт. Но шарабан с Вашим папой проезжает мимо. Я не замечен, увы. Вероятно, генерал едет вместе с адъютантом осматривать позиции...

...Просыпаюсь ночью в землянке. Холодно. Душно. Темно. Грустно. Одеваюсь, то есть натягиваю шаровары, гимнастерку, сапоги, куртку. Выбираюсь наверх из землянки. Лунная ночь, очаровательная, глубокая, безмолвная. Трескучий мороз. Градусов двадцать. Волшебное царство необъятных русских снегов. Стою очарованный сказочным освещением и тишиной, но вдруг...

...но вдруг... что такое? Возле орудия дневальный в постовом тулупе и валенках, а рядом с ним два офицера, видимо штабные, и между ними женщина в белом дубленом полушубочке и папахе, лихо надетой набекрень. Дневальный что-то почтительно объясняет про нашу трехдюймовку: как наводится, как поворачивается, как заряжается.

Женщина с подкрашенными бровями и ресницами на голубом от лунного света лице манерно кокетничает:

— Ах, только, ради бога, при мне не стреляйте!

Офицеры галантно с двух сторон подхватывают красавицу под локти. Она серебристо смеется. Слышен изысканный штабной баритон:

— А вот тут мои люди роют резервные окопы...

Шаги скрипят и стихают. Силуэты троих меркнут, как бы поглощенные светом очень маленькой и очень яркой

январской луны, стоящей над головой в самом зените, в соседстве с несколькими наиболее крупными звездами и полярными льдинами полных облаков.

...и снова неподвижная фигура дневального в громадном постовом тулупе...

Мертвая тишина. Безлюдье. Одиночество.

Откуда явилось это милое видение в белом тулупчике? Я думаю, что это какая-нибудь шальная девица, приехавшая на несколько дней к кому-нибудь из штабных или саперных офицеров, для того чтобы «испытать сильные ощущения». А может быть, сестра милосердия из корпусного госпиталя, отчаянная голова. Тип весьма банальный.

...но молодая женщина лунной ночью, среди мерцающих голубых снегов, ее серебристый смех...

Как чудно и как странно!..

Первый раз в жизни я всем своим существом потянулся к женщине...

Следующий день отвратителен.

Привет Вашей милой маме, всем сестрам, как родным, так и двоюродным. Пишите. Обрадуете. А. П.».

Итак: «Первый раз в жизни я всем своим существом потянулся к женщине».

Вероятно, так оно и было на самом деле. Первый раз в жизни я потянулся к женщине. Не к девушке, не к подростку, не к девочке-сверстнице, а именно — к женщине.

Вечной влюбленности я был подвержен с детства, когда не было дня, чтобы я не был в кого-нибудь влюблен. Вечная влюбленность составляла сущность моего бытия — его счастье и его горе. Я слишком самозабвенно отдавался любовным мечтам, что, может быть, в конечном счете и явилось причиной моего исключения из гимназии с ат-

тестатом за шесть классов, вследствие чего я и оказался в действующей армии вольноопределяющимся первого разряда.

Мой донжуанский список состоял почти из всех знакомых девочек, перечислять которых нет никакого смысла.

...Их было много, их избыток, их больше, чем душевных сил, прелестных и полузабытых, кого я думал, что любил...

Моя влюбленность обыкновенно проходила бурно, как инфекционное заболевание: по ночам жар и многократное переворачиванье нагретой подушки на прохладную сторону, которая скоро опять нагревалась под моей воспаленной щекой, так что ее опять надо было переворачивать. Это все были как бы абстрактные, литературные романчики с лунными черноморскими ночами или танцами на скользком паркете, усыпанном разноцветными кружочками конфетти.

Романчики проходили чрезвычайно быстро, не оставляя в душе никаких следов. Словно бы их вовсе не было. На смену минувшей влюбленности незамедлительно приходила другая, новая, и так далее.

Справедливость требует сказать, что с одной барышней я все-таки, незадолго до войны, целовался — впервые в жизни. Однако это не была влюбленность, а скорее нечто вроде спорта.

Среди барышень нашего дома имелась одна очень хорошенькая блондиночка с нежным польским лицом, всегда носившая розовое платье. Розовое ей шло. Она была дочкой архитектора, построившего дома общества квартировладельцев в несколько декадентском стиле украинского модерна с высокими западноевропейскими черепичными крышами, салатно-зелеными рамами окон со скошенными верхними углами и коваными решетчатыми воротами, украшенными большими железными подсолнечниками.

Звали ее Зоей, и она была большая любительница целоваться с мальчиками, о чем знали все окрестные гимназисты, реалисты и кадеты. Когда кому-нибудь из них приходила охота целоваться, он свистом вызывал с третьего этажа Зойку, и они бежали к морю, залезали на прибрежную скалу, быть может помнившую еще Пушкина, и там целовались.

Она действительно очень хорошо целовалась, но без всякого любовного чувства, скорее с чувством юмора.

Я тоже не захотел отстать от товарищей и, замирая от страха, так как еще никогда в жизни не целовался, по-свистел Зойке. Она проворно сбежала по лестнице со своего третьего этажа в развевающемся розовом платье и, не выразив никакого удивления, что свистел я, мало знакомый ей мальчик, взяла меня за руку, и мы через узорчатые чугунные ворота, сохранившиеся еще с пушкинских времен на Французском бульваре, побежали к морю, вскарабкались на скользкую скалу, поросшую снизу водорослями и мхом, и, не теряя времени, начали целоваться, причем я был страшно смущен своим неумением целоваться, даже покраснел от стыда, но она не обратила на это внимания, и затем, не сказавши друг другу ни слова, мы скоро возвратились домой, а по дороге встретили толстого гимназиста Колю Банова, бровастого болгарина, который подмигнул мне и деловито спросил:

— Целовались?

Но Зою никак нельзя было включить в мой донжуанский список. Она была вне программы.

Некоторые мои романчики проходили в очень тяжелой форме, даже с мучениями ревности. Но, в общем, это были пустяки: ленточки из косы на память, письмоцо на голубой бумаге, стишки в альбом: «Бом-бом-бом, пишу тебе в альбом. Хи-хи-хи, вот тебе стихи» — или во время игры во флирт цветов застенчиво переданная карточка с надписью «фиалка», что значило «я вас люблю».

«Действ. арм. 20-II-16 г. Дорогая Миньона!..»

Впервые я рискнул назвать ее не милой, что, в сущности, ничего не объясняло, а дорогой. Это уже был с моей стороны рискованный шаг вперед. Вопрос: поймет ли она его намек? ответит ли она на него тоже «дорогой»?

«Сейчас я весь под впечатлением небольшого передвижения, в котором принимала участие наша батарея и особенно наш отдельно стоящий второй взвод.

В десять часов вечера по телефону из штаба бригады передали приказание: «Передки на батарею». Сейчас же

началась суета. Наскоро кончаем ужинать, выпиваем пяток из чайника, так аппетитно пускавший пар, греясь на печке. Собираем вещи в мешки. Я накануне постирал свое белье, и теперь оно как раз готово, то есть совершенно высохло, развешанное на сухом морозном ветру, и стало твердым, лубяным. Вся на веревке возле входа в землянку, оно даже издавало барабанные звуки.

У орудия — прислуга, одетая по-походному. Во мраке светятся электрические фонарики орудийных фейерверкеров. Выюжит. В лицо бьет пурга. В чернильно-туманной дали время от времени взлетают зелеными звездочками немецкие осветительные ракеты. Выкатываем орудия. Меня награждают чайником и какой-то жестяной, связанными вместе. В свободной руке узелок с артельным чаем. Одним словом, я напоминаю не то посудный, не то скобяной, не то чайный магазин.

Слышится грохот подъезжающих передков, конское ржанье. Из тьмы выступают тяжелые силуэты парных упряжек, фигуры ездовых в тулупах.

Легкая неразбериха.

Наконец орудийные лафеты надеты на передки. Двигаемся. Ветер бьет в лицо. Ноги вязнут в сугробах. Грудь покрывается слоем липкого снега.

Наша колонна движется по знакомым местам: узнаю, вернее, угадываю в снежной темноте сожженное и разбитое снарядами село, голые печные трубы, березы с ветвями, обитыми осколками снарядов. Бугор, у подножия которого землянка штаба первого дивизиона. У дороги распятие, проходя мимо которого я снимал папаху и крестился, по-детски свято веруя в бога, в его святую волю...

Подъемы. Спуски. Мелколесье. Елочки. Сосны. Иногда под ногами скользкий лед. Шагаю возле зарядного ящика номер четыре. Мне трудно идти. Я устал. Кажется, что иду уже по снегу не час, не два, а десять лет. Медный орудийный чайник комично бренчит болтающейся на веревочке крышкой. Или, кажется, наоборот: крышка на веревочке бренчит о чайник. По этому поводу кто-то из солдат на мой счет острит, кто-то смеется.

Ветер. Вьюга. Усталость. Все батарейцы устали не меньше меня. Некоторые остаются. А я из всех сил держусь. Не отстаю.

После двухчасового безостановочного движения изнеможенные, переходя с проселка на проселок, громыхая по железнодорожным переездам, добираемся наконец до новой позиции.

Новая позиция очень близко от немцев, не больше чем за три четверти версты. Никогда не предполагал, что артиллерию так близко выдвигают вперед!

Вокруг березовый лес.

Нет, Вы только подумайте, Миньона, настоящий, не нарисованный Левитаном русский березовый лес, которого мы, новороссийские степняки, никогда и в глаза не видели.

Но какая красота! Заплакать можно!

Спим, как убитые наповал. Утро. Глушь. Снег. Березы. Какие-то голые кораллово-красные кусты, торчащие из сугробов (краснотал, что ли?), и можжевельник совсем как в стихах:

«И ягоды туманно-сини на можжевельнике сухом».

Какая вокруг хмурая красота!

Иду с ведром в руке по воду к колодцу, сруб которого стоит на открытом месте. Нет ничего опаснее на фронте, чем открытое место. Немцы заметили и пустили пять-шесть снарядов. Само собой, промах, потому что в противном случае, Вы сами понимаете! Не было бы этого письма.

Осколки не зацепили меня, хотя один снаряд разорвался в 10—15 саженях. Я лежал, уткнувшись носом в сугроб, прикрыв голову ведром, как будто бы это могло спасти. Видно, бог меня хранит.

Получаете ли Вы мои письма?..»

У дороги, недалеко от колодца виднелось распятие. Если на фронте было тихо, то мне позволялось побродить по окрестностям, не слишком отдаляясь от оружейного взвода. Я любил ходить к этому распятию.

Старый, серый от времени деревянный крест с неестественно маленькой фигуркой пригвожденного богочеловека, свесившего почти что детскую головку в терновом венце.

Кажется, по польско-католическому обычаю на одном конце перекладины креста висел молоток, на другом — клещи: орудия распятия.

Вдалеке в тумане слабо виднеется как бы рыба косточка костела, постепенно разрушающегося от наших и немецких снарядов.

Распятый Христос и разрушающийся храм.

Было странное несоответствие между распятым Христом, разрушением храма, тем кровопролитием, которое совершалось здесь, под Сморгонью, и во всем мире, и красотой природы.

Маленький обнаженный человек с прикрытыми чреслами и повисшей головою в терниях почитался спасителем. Неужели он отдал свою жизнь за спасение человечества? И напрасно. Ничего он не спас. Люди продолжают истреблять друг друга. Как может это происходить?

Впервые в жизни я подумал вполне серьезно о войне, участником которой стал по доброй воле.

Еще совсем недавно война предстала мне в облаке горячей пыли, которую гнал в глаза июльский ветер с соломой, клочьями сухого сена, мелким сором, в то время как я пересекал привокзальную площадь, так называемое Куликово поле. В клубах пыли развевались гривы деревянных лошадей, пригнанных сюда по мобилизации из окрестных сел и немецких колоний. Деревянные бирки на конских хвостах и горы прессованного сена воспринимались как знаки начавшейся катастрофы.

Что я знал о войне? Ничего. Я шел с чужого голоса:

«Война объявлена», «Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! Италия! Германия! Австрия! И на площадь, мрачно очерченную чернью, багровой крови пролилась струя!»

Как таинственно и еще совсем непонятно звучали прощальные слова:

«Европа цезарей! С тех пор как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта».

Я знал, кто такой Бонапарт, но по своему невежеству понятия не имел о Меттернихе, тем более что у него в руке было почему-то гусиное перо, направленное на Бонапарта. Гусиное перо виделось как дуэльный пистолет. Менялась карта Европы. Но, может быть, не только Европы, но и всего мира.

Темные предчувствия томили меня. Я ощущал, хотя и

не создавал этого еще, вину перед человечеством. Не какую-нибудь отвлеченную, чью-то чужую вину, нет! Вину свою собственную, личную. Промелькнула ужасающая догадка, что это я сам захотел войны и желание мое исполнилось.

Еще ничего ужасного не произошло. Еще мир дремал под лучами полуденного солнца. Еще:

«Под портик уходит мать сок граната выжимать. Зоя, нам никто не внемлет. Зоя, дай тебя обнять...»

Еще можно было смеяться над афоризмами Козьмы Прутькова...

А я уже шел — порочный мальчишка, гимназист-второгодник — шаркающей походкой лентяя и мечтателя по бесконечно длинной, как загробная жизнь, раскаленной улице, где отцветающие акации давали, как сказал Пушкин, «насильственную тень», в которой никто не нуждался, так как улица была безлюдна. Можно было подумать, что все население покинуло город и устремилось к морю, ища спасения в зеленой воде Ланжерона, Малого Фонтана, Золотого берега, Шестнадцатой станции, Люстдорфа. Я шел, палимый солнцем, мимо витрин, где выгорали никому не нужные произведения галантереи, с каждым мигом желтея и отставая от моды, устаревая, как книги прошлого сезона и вчерашние газеты.

Боже мой, какая скука! Какая беспцельная жизнь! Неужели этот Дантов ад будет продолжаться вечно? Неужели я так и буду вечно идти, шаркая скороходовскими сандалиями, по бесконечной улице, ведущей в никуда?

Я был в тихом, неподвижном омуте отчаяния, потому что понимал свою никому ненужность, от неразделенной любви, от постыдных переэкзаменовок, от пропотевших подмышек коломянковой гимназической куртки с вставными серебряными пуговицами, в которых мутно отражалось тошнотворное солнце.

Неужели ничего не произойдет? А ведь были же какая-то грозная и величественная история, события, в которых участвовали разные люди, такие же русские, как и я сам.

Стреляли пушки. Горели города. Князь Андрей нес знамя. Петя мчался на лошади. Наташа кружилась на паркете, раздувая платье. Наполеон растирался одеколоном. Николай проигрывал сорок тысяч. Горела Москва. Звонили колокола. Император бросал с балкона бисквиты. Маршал Даву сидел в сарае за столом, сделанным из двери, положенной на два ящика...

Да мало ли!

Так неужели же жизнь моя так и пройдет без героических событий, без любви, без подвигов, без славы?

А ведь было же что-то в детстве. Я смутно помнил слова «Цусима» и «Порт-Артур». Были баррикады, опрокинутые конки, маленькие красные флаги, дружинники в драповых пальто, залпы «Потемкина». Куда же все это девалось? «Господи,— шептал я,— ты высшая сила. Ты всемогущ. Если ты действительно всемогущ, так пошли мне... дай мне...» Я не мог выразить словами свою просьбу, но я почему-то был уверен, что являюсь единственным человеком в мире, любая просьба которого исполнится высшей силой.

«...пожалуйста, уведомьте, получаете ли Вы мои письма».

«Действ. арм. 26-II-16 г. Милая Миньона!..»

По-видимому, она не поддержала мое обращение «дорогая», и мне пришлось благоразумно отступить на позицию «милая».

Итак:

«Милая Миньона! За день до назначенного срока мы уже знали, что уходим в резерв. Нас известил об этом всезнающий солдатский телеграф».

Откровенно говоря, жаль было покидать хорошие, обжитые землянки, хотя позиция и была несравненно опаснее прежней. Раза три в день немец непременно обстреливал местность, стараясь нащупать нас. То слышались разрывы снарядов где-то впереди, со стороны наших пехотных окопов, то шальная немецкая шрапнель рассыпалась с железным грохотом по лесу справа от нас, то гранаты

поднимали облака снега на шоссе, совсем рядом с нашей позицией. Даже, как я уже, кажется, Вам писал, немецкие снаряды падали прямо на нас, но всегда по счастливой случайности безрезультатно, иногда даже вовсе не разрывались, может быть, потому, что я изо всех сил молил бога о пощаде, а может быть, потому, что я вообще «везучий».

...а дни стояли славные — яркие, солнечные, снежные, которым так подходило бы название «Зимняя весна». Синеглазые дни.

Представьте себе железнодорожное полотно где-то на полдороге между Минском и Вильно, справа и слева березовые и сосновые рощи, а за ними на десятки верст до самого горизонта расстилаются синеватые дали, рощицы, деревеньки, потонувшие в сугробах. Слева — проволочные заграждения, ломаная линия ходов сообщения и зеркала замерзших болот, ярко отражающих до вульгарности синее небо. Впереди на горе фольварк.

Сбоку от меня по железнодорожной насыпи движется лиловая тень идущего человека. Этот человек — я. Тени тонких ног в сапогах с ремешками, в галифе, кожаной куртки, папахи набекрень. Это я иду из нашего отдельного взвода на батарею — одна с четвертью версты.

Снег будто посыпан борной кислотой и вспыхивает на солнце синими, голубыми, желтыми, красными искрами. Славно, Миньоночка! Вот бы Вам поглядеть на эту красоту. Но... далеко где-то постукивает пулемет, как будто рубят котлеты...»

Довольно подробно и в меру своих сил писал я письма из действующей армии, обещая Миньоне быть совершенно правдивым. Однако я кое-что утаивал. Так, например, я не описал небольшой эпизод, свидетелем которого случайно оказался еще в первые дни на передовой, как раз днем после той лунной ночи, когда увидел мимолетное видение женщины, воскликнувшей с кокетливым серебристым смехом: «Только, ради бога, при мне не стреляйте!» Потом настал день, и я снова вылез из землянки подышать морозным воздухом. Тут я вдруг увидел толстого генерала с худым красным лицом, в бекеше, с биноклем на груди. С одышкой он взобрался на гребень нашего бугра, по всей

вероятности, с целью лично осмотреть пехотные позиции и расположение неприятеля. Я узнал в нем начальника дивизии, который принимал крещенский парад. Черт дернул его взбираться на бугор, остановиться и присесть на сугроб, чтобы передохнуть. Наверное, он страдал одышкой. Сидя на твердом сугробе, он посматривал вниз, увидел наш взвод — два орудия, — и вдруг его худое лицо побагровело. Он закричал своим властным генеральским голосом: «Взводного фейерверкера ко мне!» — и сердито заворочался на сугробе, как на большой подушке, продолжая неторопливо дышать, выпуская изо рта клубы пара.

Наш взводный фейерверкер Чигринский уже бежал снизу вверх к генералу, на бегу одергиваясь. Он остановился строго по уставу за четыре шага с рукой под козырек и отрапортовал:

— Ваше превосходительство, старший фейерверкер второго взвода первой батареи Шестьдесят четвертой артиллерийской бригады по вашему приказанию явился.

— Почему у тебя, так твою мать, орудийные затворы без чехлов? — закричал генерал страшным голосом.

И не успел Чигринский доложить, что только что была стрельба и чехлы еще не успели надеть, как генерал с усилием оторвал свое грузное тело от сугроба, вплотную подошел к вытянувшемуся Чигринскому и три раза ударил его кулаком в перчатке — два раза по скулам и один раз жкнул в золотистые щеголеватые усы над белыми оскаленными зубами.

Чигринский, справный фейерверкер, любимец солдат, красивый молодец-фронтовик, стоял перед генералом как деревянный, и только три раза его голова откинулась, принимая генеральские удары.

— Жопа! — с одышкой сказал генерал и, уже забыв, зачем он сюда пришел, крихтя спустился с пригорка, раздраженной походкой удалился, и лишь после того как он скрылся из глаз, Чигринский вытер ладонью кровь с подбородка и, сделав вид, что не видит меня, вернулся к орудиям и приказал наводчикам надеть чехлы, после чего

довольно громко, отчетливо, с ненавистью в глазах и с отяжкой произнес матерное ругательство.

До сих пор мне как-то не верилось, что солдат бьют, и теперь это меня поразило до глубины души. Мне было страшно и стыдно встретиться глазами с Чигринским, и я молча спустился по земляной лестнице глубоко под землю в свой орудийный блиндаж, лег на душистые еловые ветки, долго лежал в полутьме с открытыми глазами, не зная, что же теперь делать. Но делать было нечего. И я заставил себя забыть этот мордобой, что оказалось хотя и очень трудно, но возможно. Я его забыл. Вернее, сделал сам перед собой и перед всеми другими вид, что забыл.

Уехать из бригады домой я уже не мог, так как принял присягу, но внутренний голос сказал мне: в этом ты тоже виноват. Я постарался заглушить этот внутренний голос, но слова «тоже виноват» дохнули на меня, дохнули в мою душу морозом и возбудили нелепое предчувствие неизбежного ужасного конца этой войны.

«...укладываемся уже с полудня. Обед привезли в обычное время. Артельщик очень опасается обстрела: двуколка походной кухни с хорошо начищенным медным котлом, блестящим на солнце, вероятно, хорошо просматривается немецкими наблюдателями. Это создает нервное настроение. Обед раздается торопливо.

После обеда поднимается холодный ветер, и небо затягивается сыроватыми облаками. Опять становится хмуро. Среди туч слышится стрекотанье нашего аэроплана-наблюдателя.

— Ишь, так и ныряет в хмарах,— говорит волжанин Власов, задрав голову.

«Хмары» вместо «тучи». Правда, красиво?

В сумерках ужинаем, как всегда, остатками обеда и увязываем свои походные ранцы на передки, где уже давно покоится мой чемодан, заметно полегчавший и похудевший.

До наступления настоящей, надежной темноты остается часа полтора. За четверть версты вправо от нас по шоссе движутся незнакомые пехотные части, сменяющие на позициях нашу пехоту. Их не видать в темноте, только слышится скрип обозных колес, мерный бой тысячи солдатских ног, идущих походным маршем, бречанье кухонь и пулеметов, изредка морозное ржанье лошадей.

Собираясь в дорогу, наши батареи идут за какими-

то досками в сторону шоссе. Образуется большое скопление. Немец его замечает. Начинается артиллерийский обстрел. Со всех сторон ложатся снаряды. Небо как бы сплошь исполосовано их тошнотворным свистом. Впереди на фоне ночных облаков багрово-желтыми огнями вспыхивает и рвется шрапнель, кропя лес железным дождем. Осколки бризантных снарядов срезают с берез кружевные сучья, и они падают к моим ногам. Сначала до жути страшно. Сердце холодеет. Господи, пронеси! Но скоро наступает странное безразличие (двум смертям не бывать, а одной не миновать и т. д.).

И все же меня не оставляет вечное чувство какой-то своей необъяснимой, как бы врожденной неприкосновенности, будто бы я кем-то и когда-то заговорен от смерти. Странное чувство!

Приводят лошадей. Цепляем свои пушки к передкам и уходим длинной процессией во тьму. По приказанию командования нам полагается совершать свой поход по шоссе. Но это верная гибель. На шоссе все время рвутся немецкие снаряды. Видимо, шоссе хорошо пристреляно. Вопреки приказу, повинуясь непреодолимому чувству самосохранения, едем несколько в стороне от шоссе.

Совсем стемнело. И оттого что вокруг темным-темно — ни зги не видать, — люди идут молчаливо, тревожно прислушиваясь к каждому постороннему звуку.

Оттого что я в полном боевом снаряжении, с бебутом на поясе, с тяжелым солдатским наганом в кобуре на боку, с красным шнуром от нагана на шее, я чувствую некую военную гордость.

За скрипом орудийных колес и бречаньем конской упряжи полета неприятельских снарядов почти не слышно, да и летят они над нами куда-то в другую сторону. Угадываешь опасность по отдаленному блеску немецкого орудийного выстрела и после этого по грохоту разрыва. Жутко!.. Чтобы заглушить страх, я во все горло пою:

«Оружьем на солнце сверкая...»

Обстрел усиливался. Снаряды рвутся все ближе. Через десять минут наша основная батарея, до которой нашему отдельному взводу остается пройти какие-нибудь четверть версты, начинает прикрывать нас своим огнем и бьет по верх наших голов непрерывными очередями. От красного блеска орудийных залпов, от гроыхания и скрежета ору-

дийных колес в голове сумбур. Лица у нас еще более сереют при вспышках выстрелов, губы плотно сжаты.

Потом, минуя нашу беспрерывно ведущую огонь батарею, выходим на шоссе. По шоссе серыми массами движется пехота: батальон за батальоном, пулеметные команды.

Роты одна за другой выплывают из тьмы и скрываются, как призраки.

Возле деревушки по названию Бялы остановка... Что такое?.. Оказывается, ожидаем свою батарею, чтобы наконец соединиться с ней. Ждем долго. Обстрел немцами шоссе, слава богу, прекратился. По шоссе все текут и текут серые массы пехоты. А мы стоим и ни с места!

Топот коня. Разведчик. Оказывается, на батарее в передке шестого орудия сломалось дышло. Задержка на пятнадцать минут, которые кажутся вечностью.

Стоим, стоим, стоим... И ни с места.

Часть людей разбрелась по каким-то пустым, брошенным землянкам. Хочется пить. Воды нет. Ем снег, как в детстве. Над нами нависает немецкая осветительная ракета, ярко заливая окрестности своим химическим, каким-то гелиотроповым светом. И тут же знакомый отвратительный звук летящего снаряда: дзззз... и трах!

Опять обстрел. Снаряд за снарядом как бы невидимо чертят темноту ночи. Немец бьет по деревушке. Бьет, бьет, бьет методично, без перерыва, словно гвозди вколачивает. Немецкая кинжальная батарея где-то настолько близко, что, когда летит снаряд, все ему поневоле кланяются, так низко он пролетает. Снова ужас леденит сердце. Господи, только не в меня! Господи, пронеси!

Наконец дышло исправлено и батарея подходит. Мы снимаемся с места. Обстрел стихает. Через час мы уже будем в резерве. От сердца отлегло. Проезжая мимо деревеньки Бялы, натываемся на побитых немецкими осколками лошадей. Одна еще жива, лежит в луже, почти черной от крови, и судорожно подергивает задней ногой. Здесь же рядом лежат два солдата: один убит наповал, другой ранен. Возле них суетится санитар с фонарем. Я нечаянно ступаю сапогом в лужу свежей крови.

Настроение ужасное. Кажется, что я весь с ног до головы в крови, которую никогда и ничем уже не смыть.

Далее еду верхом на одной из так называемых заводных лошадей, которую дает мне разведчик. Заводная

лошадь — это значит запасная, резервная. Меня укачивает в седле, как в люльке. Я забываюсь, но скоро прихожу в себя и уже думаю о Вас, насвистывая «Ямщик, не гони лошадей...». А. П.».

Из этого письма явствует, что я продолжал осторожные попытки сблизиться с Миньоной, различными, весьма наивными способами дать ей понять, что я к ней более чем равнодушен, надеясь вызвать ее взаимность.

Хотя обращение «дорогая» не вызвало в ответ «дорогой», но я не терял надежды добиться хотя бы «она его за муку полюбила». Я пускал в ход лирическую грусть, любовную тоску и даже, как видите, прибегал к мещанским романсам, весьма популярным в то время и безотказно действующим на сентиментальных барышень.

...Как и сейчас, впрочем, под названием старинные русские романсы...

Какой только мещанской дребеденью не была набита моя голова! Тут были и «Отцвели уж давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больном», и «Дремут плакучие ивы», и «Дышала ночь восторгом сладострастья», и даже «Я смотрю на тебя, ты неловкий такой, если любишь меня, так целуй, черт с тобой! А не любишь меня, я тряхну головой и скажу: черт с тобой, черт с тобой» или что-то в этом роде, или «Гай да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом, светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем», как будто бы парочка могла быть троим. Ну, конечно, если не считать ямщика.

Я как бы невзначай упомянул «Оружьем на солнце сверкая...» и применил более сильное средство: «Ямщик, не гони лошадей...» — скрыв за многозначительным многоточием «мне некого больше любить, мне некуда больше спешить», что должно было напомнить Миньоне наш намечавшийся роман или то, что тогда называлось «легкий флирт» или даже более изысканно, на английский лад — «легкий флёрт».

Нельзя сказать, чтобы она была ко мне совершенно равнодушна, но все-таки нежелательно холодновата, играя скорее в покровительственную дружбу, чем в любовь.

Несмотря на свое сходство с отцом-генералом, Миньона отличалась прехорошеньким личиком, которое можно было бы назвать кукольным, если б не какая-то властная черточка в рисунке губ, как бы созданных не столько для поцелуя, сколько для выговора. Но все остальное: английская блузка с шелковым матросским галстуком в виде пышного банта, плиссированная юбочка, маленькие ручки, круглые щечки и сиреневые глаза — все это было кукольное, что особенно прельщало, несмотря на строгий характер.

И все же если я и был влюблен в Миньону, то поверхностно, как бы буднично, а в глубине, в самой-самой глубине души безнадежно и горько любил Ганзю. Моя последняя встреча с ней перед отъездом в действующую армию выпала из моей памяти. Кажется, мы шли вдвоем в степи, а вокруг нас в сухой траве, как всегда бывает перед закатом, особенно громко звенели и тикали, как маленькие дамские часики, степные сверчки.

В это второе лето через год после начала войны, когда все уже успокоилось и казалось, что война сама по себе, а жизнь в стране идет по-прежнему, сама по себе, я гостил у товарища на Усатовых хуторах недалеко от Хаджибеевского лимана, а Ганзя жила на даче на Куяльницком лимане, где вся ее семья пользовалась грязелечебницей. Между этими двумя лиманами простирались куски первозданной степи. Таким образом, Ганзя и я оказались соседями.

Мы встретились на трамвайной станции Хаджибеевского лимана, куда она приехала из города от портнихи, с тем, чтобы я ее потом проводил через степь домой, на дачу возле грязелечебницы. Весной она окончила гимназию и теперь впервые надела только что сшитый почти дамский костюмчик, что-то клетчатое, черно-красное, обшитое тесьмой: короткий пиджачок с закругленными фалдами и юбка английского фасона, на четверть ниже колен. Костюм морщил под мышками, и это ее немного смущало.

Мне было странно видеть ее полудевочкой-полудамой, в соломенной шляпке с клетчатой лентой.

Может быть, она приехала на эту встречу специально для того, чтобы показаться мне уже не гимназисткой. Она была по-прежнему мила, но некрасива, как еще не распустившийся цветок. Она была уже причесана директор — с волосами, поднятыми с затылка вверх. На щеке у нее

я заметил маленькую мушку, вырезанную из черного пластыря маникюрными ножницами, что тогда начинало входить в моду.

Я был уязвлен нашим неравенством: она уже окончила гимназию, даже, кажется, с серебряной медалью, а я хотя и старше ее, но все еще был гимназистом, второгодником и, вместо того чтобы готовиться к переэкзаменовкам, бродил по Хаджибеевскому парку среди вековых вязов и черных пней, на которых в тени сидели бабочки, сложив крылья, внутри яркие, а снаружи серого деревянного цвета, так что их было нелегко заметить среди древесной коры.

В пруду плавали лебеди: черные с красными клювами и белые с клювами желтыми. Оркестр в концертной раковине играл «Торжественную увертюру 1812 год» Чайковского, которая до войны находилась под запретом, так как в ней содержалось несколько тактов крамольной «Марсельезы». Теперь же французы были союзниками и «Марсельезу» разрешили, хотя она и попахивала революцией.

Мы молча прошли вокруг пруда, потом Ганзя, вынув из сумочки маленький кошелек, купила в газетном киоске последний номер «Нового сатирикона», на лаковой обложке которого была помещена цветная карикатура: кудрявый темно-зеленый дуб, а под ним розовая свинья с лысой головой депутата Пуришкевича, подкапывающего своим пяточком корни дуба.

В чем тут заключалась соль, мы не поняли, зато на другой странице были изображены два франта в наимоднейших фраках и с моноклями. Они разговаривали между собой.

«— А ты знаешь, Коко, что графиня NN наконец-то устроила фэйф-о-клок?»

— С паршивой овцы хоть фэйф-о-клок».

Это нас развеселило.

Была еще одна карикатура, военная. Возле громадной пушки два немецких солдата в касках с шишаками пишут мелом на громадном снаряде:

«Уважаемые враги, если прилагаемый при сем чемодан не разорвется, то просим вернуть его нам обратно».

Здесь заключался намек на плохое качество немецких снарядов. Все-таки война напоминала о себе!

Но уже вечерело, и я пошел провожать Ганзю, через степь на Куяльницкий лиман. Мы были вдвоем, одни в целом мире. Но все равно нас почему-то всегда разделяло некое магическое поле: я ее любил, а она меня — нет.

Как я ни старался навсегда ее забыть, какие бы увлечения ни испытывал, все это было не больше чем отливом, после которого начинался новый, еще более сильный прилив безнадежной любви.

...Качаясь в седле, как в люльке, я пел совсем не «Ямщик, не гони лошадей...», как писал Миньоне, а совсем другое:

«Я вновь перед тобою стою очарован и в ясные очи гляжу».

...Хотя очи были не ясные, а карие, какие часто встречаются у молдаванок. Она и была, кажется, наполовину молдаванка, наполовину румынка, о чем свидетельствовала ее фамилия Траян.

Опять начинался прилив. Я думал только о ней одной и ни о ком больше. Меня вдруг так к ней потянуло! Хоть бы на миг ее увидеть!

А жизнь продолжалась по-прежнему.

«25-II-16 г. Д. армия. Милая Миньона! У меня к Вам очень большая просьба. Пожалуйста, устройте так, чтобы я попал на пасху домой. Лично я с такой просьбой обратиться к начальству не имею права, но если Вы (и так далее...), то меня могут послать в командировку. Хотя бы по делам комитета связи. Мне очень хочется приехать хоть на недельку к Вам. В письмах всего не расскажешь, а рассказов хватит на три года. На днях напишу длинное письмо. Жду и надеюсь. Я в резерве. Тоска. Теснота. Духота».

Я лукавил. Мне просто до отчаяния захотелось увидеть Ганзю.

«3-III-16 г. Действ. арм. Милая Миньона! Представьте себе длинную снежную дорогу. Ночь. В лицо дует чистый студеный ветер. Редкие снежинки садятся на нос, губы,

ресницы... Седло тихонько поскрипывает. Путь утомителен. Душа устала. На сапоге стынет человеческая или лошадиная кровь. Склоняешь голову, мурлычешь вполголоса какой-нибудь романс, что-нибудь такое...

Но вот по сторонам затемнели среди снега березовые перелески, где-то впереди среди ночной черноты, еще почти неуловимый для глаз, притягивает огонек, похожий на тлеющую папиросу.

Один. Другой. Третий. Село.

Сзади, шипя и визгливо кашляя, огибают нашу колонну длинный открытый штабной автомобиль. Он светит двумя огромными электрическими глазами и бросает перед собой на снег продолговатые световые пятна. Минута — и он быстро проезжает мимо, унося две строгие генеральские фигуры в высоких папахах: вероятно, командир корпуса со своим начальником штаба.

Остановка. Размещаемся по избам, где набилось множество постороннего народа: какие-то саперы, артиллеристы чужих бригад. Все смешалось. Спим кое-как и где попало. Кусают блохи. На следующий день нас расквартировывают уже как следует. Начинаются батарейные занятия.

На меня находит полоса острой грусти. Ей-богу, если бы можно, то напился б! Душа полна чем-то огромным, светлым и вместе с тем безнадежно горьким.

И эта горечь похожа на горечь нашей степной серебряной полыни, цветущей в июльское полнолуние.

Для того чтобы хоть как-нибудь забыться, я курю. Курю много, бестолково, и от этого у меня с непривычки кружится голова, тошнит.

В избе теснота, духота, дурной запах, и все время безостановочно кто-то играет нечто мучительно однообразное на гармонике, у которой действуют лишь басовые клапаны, а остальные западают, от этих мучительных звуков мне вспоминается детство: сильная зыбь на море, вечер, тучи, и маленький колесный пароход, помнящий еще севастопольскую кампанию, везет меня из Аккермана в Одессу, качает, где-то на горизонте гремит гром, обшивка скрипит, скрипят на палубе корзины с виноградом, зашитые холстом, из машинного отделения дует жарким ветром, нагретым железом, машинным маслом, и тошнит, тошнит, и где-то внизу, в третьем классе, играют на гармо-

нике, причем басовые ноты сливаются со стуком машины, скрипом шпангоута и зловещим отдаленным громом.

«Укачало, сплю...»

Выхожу на улицу. Темно и оттепель. Совсем как ранней весной. Где-то в конце села горит огонек; как серое прозрачное облачко маячит березка.

Напротив в офицерской халупе играют на пианино, которое возится повсюду вслед за батареей в обозе второго взвода, вальс Вальтейфеля.

Завтра выступаем. Пишу это письмо в караульном помещении. Не забудьте же о моей командировке на пасху. Привет всем. А. П.»

Так как письмо писано в караульном помещении, то можно заключить, что я стал заправским солдатом и меня уже ставили на пост часовым.

Караульное помещение, как мне помнится, находилось в отдельной, особой избе, где было не так тесно и всегда топились печка.

Я был еще канониром, то есть самым нижним чином, но уже считался обстрелянным солдатом и меня наряжали в караул. Наряд в караул продолжался двадцать четыре часа. Один караульный стоял часовым на посту, другой, только что сменившийся, мог поспать, а третий, которому подлежало сменить на посту первого, имел право отдыхать, но не имел права при этом скинуть верхнюю одежду и сапоги, а только немного ослабить на шее револьверный шнур и расстегнуть верхний крючок шинели. Это соблюдалось весьма строго по всем правилам гарнизонной службы и воинской присяги. Часовой же, стоящий на посту с обнаженным холодным оружием, то есть бебутом, или с заряженной винтовкой, являлся лицом неприкосновенным и подчинялся только своему караульному начальнику, разводящему и особе его императорского величества.

Самой трудной считалась третья смена — от двенадцати до трех ночи.

Я стоял на посту номер один у орудийного парка. Но это только так называлось, что я стоял. Я имел право хо-

дить вокруг расставленных в большом порядке орудий, передков и зарядных ящичков. На мне был надет поверх шинели громадный, кисло пахнувший козлом постовой тулуп, на ногах постовые валенки, и в руке, приложив к плечу, я держал обнаженный бевут, то есть большой артиллерийский кинжал длиной более половины шашки.

Пост ответственный. Мало ли что может случиться в полной темноте. Немецкая тыловая разведка может взорвать зарядные ящички. Ведь до неприятельского расположения, в сущности, не так далеко, верст двадцать от силы. А может подкрасться свой же фельдфебель — проверить, не спит ли часовой, и если спит, то возьмет да и снимет с орудия замок или выкрадет из железного ящичка оптический прицельный прибор — панораму, которая, как утверждал солдатский телеграф, стоила шестьсот рублей. И тогда часовой идет под суд, а военно-полевой суд шутить не любит.

Не дай бог заснуть на посту. А стоит только замечтаться, прислониться к зарядному ящичку или, что еще хуже, присесть на покрытый снегом орудийный лафет — и конечно дело! Не хочешь, а заснешь.

Ночная темень окутала все вокруг. Снежные вихри крутились и бегали, догоняя друг друга. Трудно было что-нибудь разглядеть вокруг.

Увязая по колено в сугробах, я протоптал валенками тропинку и ходил по квадрату, внутри которого белели засыпанные снегом орудия и зарядные ящички.

Производя в уме сложное арифметическое действие, я вычислил, что каждый час моего пребывания на посту содержит в себе 3 600 секунд. Каждый шаг примерно секунда. Значит, каждые 3 600 шагов — час. Каждый час надо загигать один палец. Как только загнул три пальца — тут тебе и смена.

Я ходил в облаках метели и считал шаги. Сначала считал сознательно. Потом шаги считались в уме, как бы автоматически, сами собой. Время тянулось бесконечно, но воображение все время рисовало картины минувшего, и мысль тщетно пыталась объяснить, что же со мной, соб-

ственно, произошло. С чего началась моя горькая, неразделенная любовь, о которой я переставал думать во время отливов и которая мучила меня, как только начинался прилив.

Сейчас начинался прилив, и он уже нес предчувствие ее появления.

Каким же образом она вошла в мою жизнь и стала ее частью?

Виновницей была Калерия, о существовании которой я было совсем забыл, всецело занятый письмами к Миньоне. Впрочем, тогда Миньоны не было еще и в помине. Тогда еще Миньона со всей своей семьей жила в Тирасполе, где стояла «их» бригада. Миньона еще не существовала в моем воображении. И душа моя была свободна.

Если бы не глупые ухищрения Калерии, ничего не случилось бы. Но Калерия нарисовала себе сентиментальную картину загородной прогулки за фиалками, где ее кавалером буду я. Для того чтобы не спугнуть меня и придать всему этому предприятию характер чего-то вроде пикника, она составила квартет: во-первых, конечно, она со мной в паре, а во-вторых, ее брат Вольдемар в паре с ее задушевной подругой, некой Ганзей, в которую Вольдемар был влюблен.

Две парочки. Какая идиллия!

Ранняя весна. Загородная прогулка к морю. Поиски первых фиалок. Квартет разбредается в разные стороны: Вольдемар с Ганзей, Калерия со мной. Что может быть прекрасней?

Из дому вышли в четыре часа. Как и предполагалось, Вольдемар пошел в паре с Ганзей, а я с Калерией. Предполагалось, что Вольдемар и Ганзя влюблены друг в друга. Как и полагалось влюбленным, они все время отставали, а мы с Калерией летели вперед. Нам то и дело приходилось останавливаться, поджидая отстающих. Калерия была возбуждена, взволнована, заглядывала на ходу мне в лицо влюбленными глазами и была так хороша, что если б не

рост, не нос и не невозможное имя Калерия, то еще неизвестно, чем бы кончился поход за фиалками.

Чувствуя себя предметом неразделенной любви, я, конечно, испытывал глупую гордость и скрывал ее, как говорится, «под маской печоринской иронии».

Мне недавно исполнилось семнадцать, и я уже выдавливал перед зеркалом прыщи — «бутон д'амур», — говорил уже не по-детски, а грубым голосом и, отрастив волосы, до сих пор стриженные под машинку, в поте лица трудился над устройством прически и по нескольку раз в день драл свои жесткие черные волосы на две стороны палочкой сального фиксажура, завернутого в серебряную бумажку, хотя настоящего джентльменского пробора так и не получалось, потому что волосы на макушке продолжали торчать в разные стороны и не хотели ложиться.

Я завел себе диагональные брюки со штрипками и светло-серые гетры а-ля Макс Линдер.

Шагая по протоптанной в снегу тропинке и считая секунды, я живо представил себе Калерию, которая тогда шла рядом со мной быстрыми мелкими шажками и при этом все время болтала всякий вздор, употребляя множество гимназических поговорок и острот, и сама первая смеялась. Было понятно, что она несет чушь просто от хорошего настроения, оттого, что получается такая дивная прогулка и что она идет рядом с тем, кого любит, и даже как бы случайно касается его локтем, то есть меня.

Шли по загородному шоссе сначала мимо домиков местных скульпторов, где в садиках виднелись глыбы каррарского мрамора и незаконченные кладбищенские ангелы, потом мимо пустых дач с еще по-зимнему заколоченными окнами сквозь голые ветки. Кое-где уже просвечивало море. Подул тяжелый ветерок, и уже по шоссе катили, воняя бензином, автомобили городских богачей, трещали мотоциклетки, блестели лаком крылья экипажей. Но теперь было еще почти пусто, и лишь гимназисты с развевающимися шарфами гоняли на велосипедах да с грохотом проносились пустые вагоны новой трамвайной линии, оставляя за собой струю ветра, поднимающего с земли прошлогодний сор.

— Ну, как вам, Саша, понравилась моя Ганзя? — спросила Калерия меня. — Вы совсем не обращаете на нее

внимания. И напрасно. Она прелесть. У нее с Вольдемаром роман. У Вольдемара губа не дура.

Дул весенний ветер. На ходу оправляя подол выбившегося из-под пальто темно-зеленого форменного платья, придерживая поля черной касторовой шляпы с овальным гимназическим гербом и салатного цвета бантом, Калерия сделала непоправимую глупость, сказав:

— Напрасно вы иронически улыбаетесь...

(Я действительно иронически улыбался.)

— Знаете, в нее все поголовно влюблены, и Вольдемар просто с ума сходит от страсти. Так что имейте в виду...— И она шаловливо погрозила мне пальчиком и как бы нечаянно взяла меня под руку.

Я обернулся и посмотрел на Ганзю.

У нее было незапоминающееся лицо с мелкими чертами и, кажется, карие глаза. меховая зимняя шапочка, черное плюшевое пальто с перламутровыми пуговицами, из-под которого выглядывали маленькие ножки. Правая рука ее в это время — как на моментальной фотографии — была на отлете, кисть откинута в сторону, и пальцы подогнуты. Маленькая, она казалась еще совсем девочкой.

Рядом с ней шел Вольдемар, брат Калерии, в своей узкой аккуратной гимназической пинели. В его форменной фуражке со щегольским, как бы офицерским лакированным ремешком на околыше, в бледном лице с пробивающимися усиками, а главное, в какой-то деланной, напряженной улыбке было нечто, свойственное красивым ревнивцам.

Я почему-то понял, что он безумно влюблен, а она — так себе... Может быть, только позволяет себя обожать, не больше. Мне показалось, что они совсем не пара. Он для нее слишком взрослый, гимназист-переросток. Хотя и красивый, но самолюбивая посредственность, вышибленный из казенной гимназии и перешедший в частную.

А она... А что она? Только то, что маленькие ножки! И в лице что-то молдаванское. Уж если на то пошло, то она больше подходит мне, неожиданно подумал я.

Через глухой приморский переулочек мы вышли к обрывам и увидели по-весеннему туманное море, откуда дул в лицо крепкий мартовский ветер, так называемый верховой константинопольский.

— Какая красота! — не вполне натуральным голосом воскликнул я, еще не сознавая, что это патетическое восклицание относится, в сущности, к совсем не замечательной Ганзе.

— Ничего особенно красивого не замечаю, — тотчас же отозвался Вольдемар, как бы почувствовав во мне соперника. — Море как море. Много воды — и больше ничего. Фантазия поэта.

Это был тонкий намек на то, что я сочинял стихи. Голос у Вольдемара был как бы с третиной. Высокий тенор. Фальцет.

— Не правда ли, Ганзя, — прибавил он, пожимая ее руку, — не более чем много соленой воды?

— Не нервничайте, — ответила она. — Вам море не нравится, а Саше Пчелкину нравится. У каждого свой вкус.

Сказано это было тем расчетливо двойственным тоном, как будто она хотела дать мне понять, что не стоит обращать внимания на Вольдемара, потому что (вы же видите!) он нервничает, а море, конечно, очень красиво, ему не очень нравится, что вы сумели заметить его красоту; но в то же время, как бы обращаясь к Вольдемару, говорила доверительно: стоит ли спорить с мальчишкой? Вы же взрослый человек, и я с вами вполне согласна, что все эти речи насчет красоты моря не больше чем фантазия доморощенного поэта. Но будьте же снисходительны.

Она, по-видимому, уже научилась мирить соперников.

— Ганзя, рыбка, — нежно сказала Калерия, которая тоже была влюблена в свою маленькую гимназическую подругу, — а как ты? Нравится ли тебе море? Ведь правда до ужаса прекрасно!

— Ничего себе, — ответила Ганзя равнодушно и сейчас же засмеялась, показывая, что ей самой смешно ее

равнодушные к свободной стихии, которая «катит волны голубые и блещет гордою красой».

Да она просто обыкновенная ломака, подумал я и перестал обращать на нее внимание до той минуты, когда мы, совершив ритуал поисков хилых диких фиалок, вылезших из-под прошлогодней листвы, возвращались домой на трамвае, с новенькими плетеными откидными сиденьями, уже при свете электрических лампочек в стеклянных тюльпанах, и трамвайные окна были того грустного синего цвета, какой бывает во время великопостной всеобщей. На одной из остановок в полупустой вагон ввалилась шумная толпа гимназистов, возвращавшихся с футбольного матча. Среди них выделялся знаменитый инсайд-правый, наверняка забивший сегодня два гола. Он держал под мышкой грязный футбольный мяч. С расстегнутым воротником куртки, в белых футбольных бутсах, с красивым римским носом и сдержанной улыбкой победителя, он протискивался боком к передней площадке и вдруг увидел Ганзю.

С особым шиком приподняв над кудрявой головой измятую фуражку с наполовину отломанным гербом, он произнес слегка фатовским голосом:

— Бож-ж-же мой, кого я вижу! Ганзя! Собирали фиалки? Это шикарно! Когда же мы с вами наконец опять встретимся у Козубских?

— Со временем, — весело ответила Ганзя.

Не без иронии оглядев меня и Вольдемара, чемпион протиснулся, подняв над головой мяч, на переднюю площадку и, еще раз улыбнувшись Ганзе, спрыгнул на ходу и пропал в потемках.

Я с удивлением понял, что ничем не замечательная Ганзя не такая уж простая, как могло показаться. Оказывается, у нее есть какой-то свой, недоступный для меня мир, где она, может быть, даже царит среди всех этих спортсменов, между которыми попадают дети известных богачей, как, например, этот знаменитый инсайд-правый.

Подобное открытие неприятно поразило меня.

Какое, однако, пошлое лицо с красивым римским носом и наглыми глазами у этого богатенького сыночка. Вот уж действительно инсайд-правый. Именно такие типы нравятся девчонкам.

Я, который уже в мыслях своих успел отвергнуть ничем не замечательную Ганзю, вдруг почувствовал ревность.

— Что это вы такой грустный? — спросила у меня Ганзя, когда мы подходили к воротам.

Я промолчал. На лестнице мы стали прощаться. Прежде чем войти в квартиру Калерии и Вольдемара, Ганзя бережно, обеими руками сняла свою котиковую шапочку, протянула Вольдемару и повелительно сказала:

— Держите.

Потом взяла у Калерии круглое карманное зеркальце и мельком взглянула на себя, и когда отдавала обратно, зеркальце блеснуло мне в глаза, бегло отразив электрическую лампочку, горевшую в подъезде.

Извинившись передо мной, Ганзя стала перчесываться. Набирая шпильки одну за другой в губы, она отколола косу, обернутую вокруг головки, как корона.

С поразительной ясностью я вспомнил, как она одной рукой придерживала освобожденную косу, а другой вынула шпильки изо рта и не глядя протянула Вольдемару:

— Держите.

Вольдемар с рабской покорностью взял шпильки и посмотрел на Ганзю с выражением почти отчаяния. А она озабоченно посмотрела на Калерию, тряхнула головой, и коса, медленно раскручиваясь, опустилась. Волосы у Ганзи были темно-каштановые с еле заметным золотистым отливом, густые, длинные с рыжеватыми пушистыми кончиками.

Я еще раз, как бы проверяя себя, посмотрел на Ганзю, на ее слегка веснушчатый носик, маленький подбородок, и мне стало горько оттого, что, собираясь перчесываться, она извинилась только передо мной, а перед Вольдемаром как перед своим человеком не посчитала нужным извиниться. А может быть, это потому, что она его просто не уважала? Да, именно так. Она его не любит, подумал я, как Чацкий.

Когда же она, взяв у Калерии гребешок, стала расчесывать косу и водопад волос, потрескивающий электрическими искорками, упал на ее лицо, я понял, что в моей жизни случилось нечто неизбежное, как бы заранее предопределенное судьбой. И сердце мое помертвело...

Ночная вьюга продолжала кружить над артиллерийским парком, покрывая белыми подушками и пухлыми перинами орудия и зарядные ящики. Дверь караульного помещения вдруг отворилась, бросив в метель яркую призму света, в которой возникли и пошли прямо на меня две фигуры: разводящий и новый часовой.

Значит, третий палец был автоматически загнут и кончилась мучительная третья смена.

Через пять минут я уже спал глубоким, как забытье, летаргическим сном в караульном помещении на нарах, подложив руку под щеку, как в детстве, и мне снилось, что я летаю в какой-то незнакомой большой комнате под самым потолком, а когда проснулся, увидел избу, наполненную очень ярким светом позднего зимнего солнца; в печке трещал огонь, было тепло, даже жарко, караульные ели из котелков, и моя душа еще некоторое время никак ни могла вернуться из ночных странствий.

«12-III-16 г. Действ. арм. Милая Миньона, примите эту несколько запоздавшую поэму в прозе.

Сижу. Перед глазами на фоне подземной черноты как бы вырезан огненный квадрат. Топится печка. Слышно, как бурлит вода в невидимом чайнике. Дрова почти прогорели, трещат, и поленья покрываются клетчатым пеплом. Под ними — угли, похожие на слитки расплавленного золота, которого я, по правде сказать, никогда в жизни не видел, но так мне представляется.

Огонь жжет глаза, губы, руки, волосы...

Сижу как слепой, вокруг ничего не разглядишь. Напрягаешь изо всех сил зрение и слева от себя улавливаешь (скорее угадываешь) бледный дневной свет, проникающий сквозь оконце размером с тетрадку для слов. Под оконцем на нарах — силуэт солдата, пишущего письмо, пристроив на колени какую-то досочку.

При еле проникающем в землянку дневном свете лицо солдата кажется бледно-зеленоватым.

Во тьме нашариваю папаху, перчатки. Куртку нечего искать: она всегда на мне, даже когда сплю. Ощупью выбираюсь на свет божий. После подземной тьмы даже бледный вечерний свет с такой силой бьет в глаза, что некоторое время передо мной плавают только как бы тени предметов, их обморочные отпечатки.

Весна. Справа шоссе. Оно обсажено очень старыми, еще по-зимнему голыми березами, слабо видными сквозь голубоватую мартовскую дымку. Под сапогами пружинит и всхлипывает, оттаивая, земля.

Воздух так влажен и нежен, что, кажется, пахнет фиалками. Но не теми темно-лиловыми бархатными пармскими фиалками, букетики которых продаются весной у цветочниц на углу Дерибасовской и Екатерининской, а теми дикими фиалками, которые я когда-то собирал на Малом Фонтане...

...Хилые, почти бесцветные цветочки, быстро вянущие, жалкие, но так нежно, неповторимо пахнувшие весенней сыростью...

Кажется мне или на самом деле пахнет фиалками? Вряд ли. А может быть, и вправду... или это только...

Небо серое, бессолнечное. Вечереет. Не хватает только мирного великопостного звона. Я влюблен в весь мир. В жизнь, в весну, даже в ту сырость. Сердце мое готово раскрыться, как цветок, и ждет первого весеннего, теплого дождика.

На батарее веселье: играет гармоника и откуда-то взявшаяся скрипка. Танцуют мой взводный Чигринский и бомбардир Котко, маленький, чернявенький, в своей папаше из телячьего меха, чем и отличается от других солдат. Танцуют вдохновенно под прыгающие звуки полочки, положив руки на плечи друг другу и с силой топая сапогами по еще не вполне оттаявшей земле, оставляя на ней отпечатки подметок, подбитых гвоздями.

Как-то весело и как-то грустно.

Ночь подходит; незаметно подкрадывается; синяя, зовущая к любви, к нежности. Загорается огонек ночной наводки: фонарик, привешенный на середине белого шеста дневной наводки, вбитого в землю несколько отдаленно позади орудий. При стрельбе днем отмечаемся по этому шесту, наводя на него оптический прибор, называемый панорамой, а еще лучше — выбираем в далеком лесу какое-нибудь отдаленное дерево. Чем дальше дерево, тем лучше создается наиболее точный угол прицела. А во время ночной стрельбы отмечаемся по нашему бессонно-

му фонарику. Вам понятно? Наводимся назад, а стреляем вперед. Непонятно? Впрочем, это не важно. Вы мой бессонный фонарик. Простите за армейскую пошлость.

Милая.

Боюсь произнести: любимая. А. П.».

Кому же в конце концов предназначалось это лирическое послание? Миньоне? А фиалки? А ранняя весна и великопостный звон?

«Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей блистанье...»

«7-III-16 г. Действ. армия. Миньона! В нашей землянке душно и дымно. Играют в лото. Со стороны третьей батареи доносится редкая орудийная пальба. Как у нас принято говорить, тюкают трехдюймовки. Звуки привычные. Каждый выстрел, как тугий резиновый мячик, ударяет в наше маленькое окошечко, стекло дребезжит.

Ведется нескончаемая окопная беседа о женах, о детях, о родной деревне или о родном городе, о надоевшей войне, которой и конца не видно, о мире, о дороговизне в тылу... Мало ли о чем еще... Даже туманные намеки на грядущие политические перемены...

На минуту артиллерийская перестрелка стихает, и вдруг раздается сильнейший разрыв, даже скорее взрыв — словно кто-то швырнул в наше оконце горсть дроби. Высказывается предположение, что немецкий снаряд угодил в один из зарядных ящичков третьей батареи и снаряды взорвались.

Все тревожно замолчали.

Зловещий звук, который мы услышали, не был похож на обычные звуки артиллерийских дуэлей: выстрел, полет снаряда, разрыв. Было что-то другое.

— Побегать посмотреть? — сказал кто-то.

— А ну на самом деле...

Мы выбегаем наверх из землянки, оставив на дощатом столике в полном беспорядке фишки, карты, бочоночки лото.

По ту сторону шоссе над хвойной маскировкой третьей батареей стоит желтовато-черное облако еще плотного, нерассеявшегося дыма и пахнет горелой взрывчаткой.

— Что это? Разрыв?

— Да, и здоровый разрыв... на самой батарее.

...из окопа телефонистов вылезает старший телефонист. Все к нему:

— Что такое? Разрыв? Прямое попадание? Кто-нибудь ранен? Или убит?

Старший телефонист оглядывается — нет ли поблизости офицеров. Офицеров нет.

— Свой же снаряд,— говорит он, понижая голос.— Разорвался перед самым дулом, как только вылетел, так и... Продадут нас. Собственными снарядами уже бьют. Измена в тылу. Ранены наводчик и второй номер.

Наши батарейцы, у которых есть в третьей батарее земляки, встревожены.

Больше всех волнуются Колыхаев и Ковалев, у них у обоих близкие дружки там.

— Какого орудия наводчик ранен? Какой номер зацепило?

Но старший телефонист этого не знает.

— И сильно ранены?

— Один, говорят, сильно: распорол живот осколками. А другой полегче, хотя тоже крепко. Но не так чтоб...

— Слышь, узнай по телефону, кто ранен.

Мы расходимся по землянкам в томительной неизвестности. Тягостное молчание, уже ни играть в лото, ни разговаривать никто не может. Трудно смириться с мыслью, что разорвался свой же снаряд. Значит, тыл посылает нам бракованную шрапнель. А может быть, это и вправду измена?

У Колыхаева и Ковалева на лицах печать тревоги. Время тянется мучительно долго. Наконец в землянку спускается всеведущий разведчик.

— Ну что? Кто? — спрашивает Ковалев.

— Да недостоверно,— мямлит разведчик, отводя глаза от Колыхаева.

Но Колыхаев каким-то таинственным образом прочитал правду на отвернутом в сторону лице разведчика.

— Стародубец? — почти шепотом спрашивает Колыхаев.

— Он,— со вздохом отвечает разведчик.

— И сильно?

— Здорово.

Колыхаев бледнеет, и мне страшно видеть эту как бы пророческую бледность на его грубоватом рыжеусом лице рыбака с Голой Пристани. Стародубец — земляк и кум Колыхаева.

— Помрет? — спрашивает Колыхаев с деланным спокойствием: дескать, мы все здесь, на позициях, под богом ходим — сегодня тебя, завтра меня. — Помрет?

— Не скажу. Может, и вытянет. Хотя... Кто его знает... Доктор...

— А что доктор?

— Доктор ничего...

Колыхаев берет за шапку.

— Надо идти. — В дверях останавливается. — А кто еще? Другой кто?

— Другой канонир Сурин, второй номер.

— А...

Больше ничего не говорит Колыхаев. Ведь Сурин не земляк Колыхаева.

Я иду вместе с Колыхаевым в третью батарею, которая как две капли воды похожа на нашу, только расположена в другом месте. Возле землянки Стародубца уже стоит бригадный экипаж, привезший доктора. Несколько батарейцев. Они почтительно и молчаливо пропускают Колыхаева в землянку. Задев папачой бревно нижнего наката, Колыхаев спускается вниз. Я за ним.

На нарах, покрытых, как водится, ельником, лежит Стародубец, которого я еще никогда не видел. У него обыкновенное солдатское лицо, спокойное, но очень бледное, почти белое, как известь. Дневной свет скупо проникает в крошечное окошечко землянки и ложится на опущенные веки Стародубца, отчего они как бы отсвечивают смертельной зеленью. Возле него фельдшер и знакомый бригадный врач, громоздкий, рыжеусый, с вороньими глазами.

Фельдшер, тоже мне знакомый, тот самый, который недавно вкатил мне в лопатку шприц, делая противохолерную прививку, держит в руках таз с окровавленной водой. У его ног на земляном полу валяются вымоченные кровью тряпки. У Стародубца под вздернутой окровавленной гимнастеркой с Георгиевской медалью — туго забинтованный живот. Но уже сквозь бинт проступает кровь. Доктор держит Стародубца за руку и посматривает на свои серебряные часы, раскрытые, как раковина, считает пульс, но, видимо, пульс уже не прощупывается, так как тараканы

брови доктора хмурятся. Несколько человек собирают и увязывают вещи Стародубца: полотенце, мешочек с пайковым сахаром, пачки пайковой махорки, спички, узелок ржаных сухарей, приготовленных Стародубцем для отправки жене и детям в голодный тыл.

Никто не знает, умер уже Стародубец или еще жив.

В дверях — взводный офицер Стародубца, он смотрит на Стародубца умоляющими глазами и тревожно повторяет одно и то же: «Стародубец... Ну, Стародубец...» — словно хочет его разбудить.

Вдруг веки Стародубца вздрагивают и приоткрываются над изумленными зрачками, подернутыми туманом. По губам его под усами, такими же точно, как у нашего Колыхаева, проползает нечто вроде насильственной улыбки. Он узнает своего дружка и земляка Колыхаева и силится что-то сказать. Колыхаев наклоняется над ним.

— Ты что, Стародубец?.. Ранен?

— Вот, Прокоша, видишь сам, — с величайшим трудом выговаривает Стародубец, двигая помертвевшими губами. — Прощай, кум... Пускай там напишут...

Его глаза закрываются.

Потом раненого с величайшей осторожностью и не без труда выносят из землянки наверх, в наклонном положении укладывают в экипаж и в сопровождении фельдшера и доктора увозят на станцию Залесье в госпиталь.

Хоронят Стародубца через два дня. Колыхаев возвращается с похорон голодный, злой и усталый. Он садится, не снимая шинели, на земляные нары, вытирает мокрые усы и говорит:

— Так и так. Нема больше Стародубца. Был, а теперь нема.

Вдруг лицо его искажается, и он кричит сорванным голосом:

— Скажите мне кто-нибудь — кому все это надо? Немцы бьют. Свои бьют. Одно побоище вокруг. И кто ее выдумал, эту войну? Покажите мне этого хриstopродавца, антихриста! Я из него душу вырву... И когда это убийство кончится?

Потом он молча обедает, молча моет ложку, молча ложится спать. Во сне храпит и стонет. А вечером при свете коптилки диктует мне письмо в город Херсон, на Голую Пристань, жене Стародубца:

«Дорогая Прасковья Никифоровна, проливаю слезы и пишу вам известие, что сего числа и месяца...»

...разрыв собственного бракованного снаряда и смерть Стародубца вызвали у солдат глухое, видимо, долго скрываемое озлобление, смысл которого мне хотя и неясен, во очень меня тревожит. По-моему, в умах этих людей созревает что-то ужасное. Кажется, они верят в антихриста. Дай-то бог. Пошлю на всякий случай это письмо с нарочным, а не по полевой почте. А то не дойдет...

Мне уже, кажется, приходилось писать Вам, что наша батарея левее широкого шоссе, обсаженного очень старыми, даже уже почерневшими березами. Представьте себе, что это и есть то самое историческое шоссе Отечественной войны двенадцатого года, а березы эти кутузовские. По этому Виленскому шоссе, мимо этих самых берез отступала разбитая великая многоязыкая армия Наполеона.

Тогда вся война была на виду. Воины не зарывались в землю и не отыскивали скрытых мест, чтобы спрятать там свои батареи. Пушки стреляли прямой наводкой. Кавалерия красовалась на самых открытых местах, мигая на солнце саблями, пиками, яркими блестящими мундирами. Пехота шла сомкнутым строем и рассыпалась в цепь лишь в крайних случаях, уже подойдя почти вплотную к неприятелю. Артиллерия выезжала на возвышенности и оттуда била по хорошо видной цели без всяких наблюдателей и тем более телефонистов.

Теперь не то. Местность вокруг нас буквально напичкана воинскими частями, артиллерией всех калибров, пулеметными командами, минометами, огнеметами... А если средь бела дня обойти окрестности, то можно подумать, что попал на необитаемый остров: все ушло в землю, все

тщательно укрывается и маскируется от хищных биноклей наблюдателей с аэропланов, привязных аэростатов, с вершушек деревьев. Неопытный человек (а то, пожалуй, и опытный) может пройти рядом с батареей и ничего не заметить. Коновязи с лошадьми спрятаны в лесных чащах. Пехота сидит в глубоких узких окопах, огражденная кольями проволочных заграждений, закиданных ельником, так что и не заметишь. Земля изрезана замаскированными ходами сообщения, извилистыми, ломаными, мудреными. Артиллерия таится на обратных склонах холмов, заставлена целым лесом срубленных елей, так что нащупать ее очень трудно. Почти невозможно. Но именно что почти. А «почти» на войне не считается.

Зато ночью все вокруг преобразается. Откуда ни возьмись на дорогах появляются пехотные колонны, едут кухни, пулеметы, обозные и санитарные повозки, пароконные двуколки, передвигаются артиллерийские батареи.

Солдаты в сером, походном, защитном. Их массы. Они похожи один на другого. Даже лица их кажутся одинаковыми. Движение всю ночь.

Но при первых лучах зари местность как по мановению волшебного жезла опять превращается в необитаемый остров.

На шоссе, сравнительно недалеко от нашей батареи, местечко Сморгонь. Может быть, это даже не местечко, а город. Полулитовский-полубелорусский, место тоже историческое. Через Сморгонь, бросив армию, в двенадцатом году зимой, на легких саночках, в собольей шапке бежал Наполеон со взводом своих гусар.

Отступая из Восточной Пруссии, наша теперешняя армия дошла до Сморгони и здесь остановилась, прочно задержав наступление немцев. Здесь пролегает линия нашего Западного фронта, а мы просто называем это «у нас под Сморгонью». Ваш А. П.».

Следующее письмо:

«9-III-16 г. Действ. армия...»

Я никогда не забывал украшать свои письма этой пометкой, еще тогда не потерявшей для меня свой особый смысл: она являлась доказательством моей причастности

к великому событию войны и, быть может, русской военной славы.

Ах, как я был наивен!

«Дорогая Миньона! Опять передвижение. Из резерва мы перешли на позицию. Ввиду того, что окопы и земляные сооружения оказались в неисправности, всю боевую часть отправили с шанцевым инструментом, то есть с лопатами, кирками, топорами и пилами, вперед, с тем чтобы мы поскорее исправили дефекты.

В два часа дня мы вышли. Представьте себе мокрый мартовский день, непролазную грязь, в полях едва-едва еще зазеленевшие озимые, а в сосновых лесах зеркальные лужи.

Если желаете увидеть меня о натюрель, извольте: грязная-прегрязная папаха (даже не верится, что некогда она была девственно белая), мешковатая шинель, тяжелый револьвер в потертой кобуре, малиново-красный револьверный шнур на шее, бебут на поясе, через плечо — противогаз, да еще к тому же на ручке бевута (нашего большого артиллерийского кинжала) в черных ножнах с медным шариком на конце болтается кружка, сделанная из пустой консервной банки, а за голенищем правого сапога деревянная ложка, порядочно уже облезлая и обкусанная.

Чем Вам не настоящий фронтовой солдат?

Шагаем прямо по четвертьгаршинной грязи. Я повыше забираю и заворачиваю полы шинели, отчего делаюсь похож на страуса или в крайнем случае на кургузового аиста.

Весенний ветер задувает в ресницы.

Идет нас человек пятьдесят. Поручик Тесленко верхом на лошади провожает нас примерно версту, а потом поворачивается назад. Он, видно, устал: маленькое, пестрое, простонародное личико, как бы немного примятое, с припухшими от бессонницы глазами, лошадь — по брюхо забрызганная грязью. Вид совсем не воинственный. А ведь

он герой. Человек очень храбрый. Почти легендарный. Солдаты про него даже песню сложили, как я Вам уже, кажется, писал.

Справа и слева слышны звуки каких-то боевых действий. Пулеметы не смолкают. Орудийные очереди. Отдаленные крики «ура». Но нас это пока не касается.

На следующий день после переселения на вновь отремонтированную позицию наша батарея ведет огонь по закрытым целям. Впервые меня ставят наводчиком, и я, наведя орудие, выпускаю три снаряда. Телефонист, высунувшись из своего окопчика, сообщает, что мои снаряды угодили в скопление немцев, которые тут же разбежались, оставив на месте несколько убитых.

Ночью внезапная тревога: «Батарея, к бою!» Опять стрельба. Стреляем много, часто, очередями, торопясь. Оказывается, мы отбили ночную атаку немцев.

Чувствую себя прекрасно. Даже не очень одиноко. Огрубел. Ругаюсь нецензурно и курю махорку. Зато поздоровел. Колю дрова. Хожу по воду. Да! Во время ночной тревоги впопыхах надел правый сапог на левую ногу, а левый на правую. Так и провел возле орудия весь бой.

Солдатский телеграф сообщает, что ожидаются большие события. Молитесь за Россию, которая, не жалея сил и крови своих сынов, оттягивает немецкие корпуса с запада, с французского фронта из-под Вердена. Спасаем Париж!

Получил Ваше письмо. Спасибо. Оно согрело меня, а это очень кстати: в землянке сыро, холодно, со стен течет, спать можно лишь согнувшись, да, кроме того, единственное стеклышко окна разбилось от звуков стрельбы, и теперь сидим в темноте, так как пришлось заделать дыру доской. Пишу кое-как. Дорогая Миньона, в Вашем письме поразительно верно сказано о моей теперешней и прежней жизни. Именно такое сознание и у меня: что-то навеки потеряно. Вспомнил, что еще прошлым летом, в прошлой жизни, нацарапал стишки, которые вдруг вспомнил:

«Перед вечером дорожки покропил июльский дождик, застучали тихо капли мелкой дрожью по асфальту. Перед вечером над книгой я задумался в качалке. Сонно, сумеречно, грустно было в комнатах прохладных. Я о чем-то

светлом думал, я о ком-то дальнем думал, и с востока незаметно подошел душистый вечер, нежно пахло маттиолой. Дождь прошел. И небо в звездах черным зеркалом казалось, отражавшим душный город разноцветными огнями. А в раскрытое окошко, прилетев на свет из сада, мотыльки кружились плавно над зеленым абажуром».

Тогда я, каюсь, был немного в Вас влюблен. Помните мое идиотское объяснение в любви у Вас на балконе осенью? Но почему же «я о ком-то дальнем думал»?

А славное все-таки было время. Но его уже никогда не вернешь. А сейчас у меня радость: выдали сахар. Пишите же. А. П.».

По этому письму я мог заключить, что, кроме того, что я продолжал попытки втянуть Миньону в любовную переписку, меня уже обмундировали, как полагалось по уставу (кроме папахи). И уже перестал быть волонтером-охотником в духе толстовского Оленина из «Кзаков», а приобрел вид Грушницкого из «Героя нашего времени». Мне наконец выдали отличную, по-артиллеристски длинную шинель с черными петлицами, обведенными красным кантом. Мне повезло. Незадолго до моего прибытия в бригаду, осенью 1915 года, как раз где-то в районе станции Залесье или, может быть, Молодечно состоялся высочайший смотр войск Западного фронта, куда входила 64-я артиллерийская бригада. Для царского смотра солдатам выдали новые шинели, пошитые из сукна высшего качества, хотя и солдатского, так называемого гвардейского. В цейхгаузе осталось несколько таких шинелей, и мне досталась именно такая шинель с суконными погонами, на которых масляными красками по трафарету была изображена цифра 64 и над ней две скрещенные пушки; слой краски был такой толстый, что даже, высохнув, потрескался, придавая новой «смотровой» шинели вид как бы уже побывавшей в боях.

Подобные шинели солдатского гвардейского сукна без пуговиц, а на крючках были очень в моде, и их носили по примеру государя императора почти все не только обер-, но также штаб-офицеры и генералы-фронтовики, щеголяя своим солдатством. Шинели были так скроены, что грудь

их, застегнутая на невидимые крючки, казалась особенно красиво выпуклой.

Таким образом, моя меховая куртка была отменена, а желтый офицерский пояс заменен черным солдатским с медной бляхой, украшенной все теми же двумя скрещенными пушками. Белую романтическую папаху, ставшую довольно грязной, оставил до весны, до перехода на летнюю форму одежды. Юфтевые сапоги оставил тоже, хотя они имели неположенные ремешки на голенищах.

Я принял наконец вполне пристойный вид настоящего скромного артиллериста-фронтовика, вольноопределяющегося, солдатские погоны которого в портняжной команде бригады обшили черно-желтым шнурком, что соответствовало моему первому разряду. Выдали мне также бязевое исподнее с черными штампами воинской части — кальсоны с одной оловянной пуговицей и нижнюю рубаху с тесемками на вороте.

Что же теперь осталось от прошлого? Разве только киевский крестик на тонкой серебряной цепочке, который болтался на моей худой, еще мальчишеской шее, да рядом с ним ладанка, маленький холщовый мешочек с зашитым в нем зубком выветрившегося чеснока — общепринятое средство от скарлатины. Домашнее мое исподнее белье пришло в ветхость. В сущности, от него остался лишь клочок кальсон с двумя оловянными пуговичками, обшитыми полотном, с дырочками, смотрившими, как детские глазки. Ноги мои в вечно сырых нитяных ковриках болтались в сапогах и всегда мерзли и натирались. Теперь же по милости фельдфебеля Ткаченко, тонкого политика, мне выдали особенно редко кому попадавшиеся портянки, но не полотняные, а суконные, обширные. Научившись обматывать ими ноги, что оказалось весьма непростой наукой, я вбил ноги в сапоги и сразу почувствовал себя человеком: ноги уже не мерзли, были в тепле, не болтались в сапогах, а угрелись, как малютки, укутанные в шерстяные одеяльца.

Хорошо было бы еще надеть на сапоги шпоры, но, увы, шпоры полагались только фэйерверкерам, а до фэйерверкерских нашивок следовало еще дослужиться. А пока что я был по званию всего лишь рядовой, назы-

вавшийся в артиллерии канониром. Меня утешало, что «канопир» звучало гораздо эффектнее, а главное, непотятнее, чем серое слово «рядовой». Штатские люди даже могли посчитать канонира кем-то вроде офицера. Но с точки зрения старых солдат, канонир был всего лишь самым младшим солдатским званием, как говорилось в армии, серая порция.

Я был всего лишь серой порцией, и это печально.

Мой чемодан, набитый сахаром, папиросами, печеньем «эйнем» и множеством всякой домашней чепухи, по мнению тети и папы, необходимой для фронтовой жизни, скоро заметно отошал, сахар съеден, папиросы выкурены, глицериновое мыло смылилось, бумага исписалась.

Теперь я зависел исключительно от солдатского пайка и от посылок из дому. Паек был хороший, артиллерийский, но сахара никогда не хватало. Дома я привык потреблять много сахара, бросал в стакан чая по два или три куска, то есть по солдатским понятиям пил чай внакладку (неслыханная роскошь), так что за один день выходило кусков пятнадцать, половина месячной порции. А потом сидел на бобах и пил чай без сахара. Никто из солдат не пил чай внакладку. Это почиталось величайшим, непростительным барством, офицерской, дворянской привилегией.

Солдаты пили чай вприкуску, держа в зубах крошечный осколок рафинада, которого хватало на несколько кружек и даже иногда остававшегося на потом, до следующего чаепития. Большинство же пили чай даже не вприкуску, а вприглядку, то есть только смотря на кусочек сахара, а свой сахарный паек копили в холщовых мешочках, с тем чтобы при первой okazji послать домой, где сахар с каждым днем дорожал и вообще считался недоступной роскошью.

Когда я бултыхал в кружку большой кусок колотого рафинада, мои товарищи по оружию многозначительно переглядывались не то с осуждением, не то с восхищением: вот, мол, хоть и простой канонир, хоть и вольноопределяющийся, а позволяет себе вроде офицера. Ничего не поделаешь, как-никак, барин, привык пить чай внакладку.

«Ну, конечно, когда, даст бог, выйдет из вольноопсров в прапорщики, тогда заживет!»

Несмотря на все мои попытки внушить товарищам-батарейцам, что я живу на солдатском положении из соображений высокого патриотизма, желая разделить с простым народом все тяготы войны, солдаты меня хотя и не опровергали, но про себя знали, что «их Саша» тянется в прапорщики и скоро дотянется, так как имеет сильную руку в лице генеральской дочки.

А в общем, орудийцы, присмотревшись ко мне, приняли меня за своего и даже научили хорошо колоть дрова — вещь не простая.

«Я научился ровно и глубоко всаживать топор в сосновый чурбачок, поставленный на попа. Не без усилия вскидывал этот чурбачок вместе с топором вверх, поворачивал над головой и с силой обрушивал на землю, причем чурбачок разваливался пополам, и я лихо колот его половинки на отдельные поленья, так замечательно пахнущие скипидаром. При этом в крепком морозном воздухе раздавался музыкальный звук лопающегося дерева. Я и белье научился стирать казенным казанским мылом, серым с синими прожилками, так что и синьки не требовалось...»

(Я, извините за грубость, бегал до ветру и, сидя довольно далеко от батарейной линейки над очком специально открытого нужника, кряхтя и по-солдатски повесив на шею ремень, отчаянно боялся, что именно сейчас начнется обстрел, налетит немецкий снаряд и я буду убит при столь постыдных обстоятельствах. Так что, едва справив нужду, я поскорее возвращался, застегиваясь на бегу, при общем добродушном смехе батарейцев...)

«16-III-16 г. Действ. армия. Милая Миньона! 14 марта батарея говела. Возле козырька, под которым стоит первое орудие, устроили нечто вроде иконостаса из срубленных елочек и установили походный алтарь. Расчистили площадку и посыпали ее песком. Утрамбовали. Над орудием арка из хвойных веток и над ней буквы, спле-

тенные тоже из хвои: Б. Ц. Х. (Боже, царя храни.) Ранним утром нас вызвали из землянок в «церковь».

Очень пасмурный, дождливый, пронзительно-холодный день. Вокруг непроницаемый туман. Дождь пополам со снегом и ледяной крупой, которая бьет по лицам и спинам. На площадке толпа серых шинелей, потемневших от дождя. Вхожу в эту толпу; стоим лицом к хвойной арке, откуда, из-под козырька орудия, доносится голос бригадного священника. Он громко читает молитву. После этого мы по очереди подходим к походному окладному алтарю: высокие козлы с брезентовым верхом, где лежит Евангелие. Видно, как священник, в теплой рясе с каким-то военным орденом, взмахивает епитрахилью, накрывает чью-то стриженую солдатскую голову, кладет на нее крестное знамение и наскоро бормочет невнятную формулу отпущения грехов, в которой улавливаю только «да простит господь бог». Склоненная голова без головного убора поднимается, рука крестит лоб, а фигура в мокрой шинели, согнувшись, отходит в сторону, давая место другой мокрой фигуре.

Собственно, исповеди никакой нет. Одна формальность. Все делается быстро, по-походному. Вот тебе и отпущение грехов. А каких, собственно, грехов? Какие грехи у солдат?

По окончании исповеди минут через пятнадцать краткая речь священника отца Аркадия и сейчас же без промедления причастие, совершающееся так же быстро, автоматически, как и исповедь.

Три солдата почтенной наружности — два баса и звянящий тенорок — поют нечто великопостное, и от этого пения в душе у меня вдруг начинает звенеть какая-то забытая с детства струна».

...что-то увиделось, как тогда в трамвае... Великопостная синева церковных окон, лампы, стройное тихое пение хора, запах ладана...

«Потягивало ладаном. Солдат, исполняя роль церковного прислужника, машет огнедышащим кадилом. Все причащаются, и я тоже причащаюсь теплым кагором и

крошкой белого хлеба, превращенными в тело и кровь Христовы.

Причащаюсь и отхожу в сторону.

И от всего этого у меня осталось впечатление склоненных, коротко остриженных солдатских голов с красными от холода ушами, на мочках которых висят капельки дождя, как сережки.

Вокруг уже не морозящий, а проливной дождь, и скука в землянке, и чувство неловкости и даже стыда от этой евхаристии перед орудием, украшенным хвойными гирляндами.

Вспомните же дождливый день в конце некоего августа на даче, срывающий все планы на свиданье в садовой беседке!

Наш бревенчатый потолок как парочно протекает над моей головой. А назавтра — вдруг! — солнечный день без единого облачка. Нет, Миньона, Вы только представьте себе: настоящая русская северная весна, словно бы картина из «Снегурочки». Звенят жаворонки. Кричат вороны. Все вокруг ослепительно блестит: лепечут бриллиантовые ручки, ключи, речки, сияют озера. Из каждой лужи бьет в глаза солнце. В каждом солдатском зрачке — весна. Даже колесо белорусского колодца, из которого я набираю в ведро воду, скрипит и поет, как свирель Леля.

Господи, как прекрасен мир, а мы...

Если бы мне пришлось пылче умереть, я, пожалуй, пожалел бы о своей жизни, о молодости, о любви.

Неприятельские аэропланы, перестрелка, озера небесного цвета. Война!

Кто же все это смешал воедино, какой антихрист?

Ваш А. П.».

А вот и следующее письмо:

«11 мая 1916 г. Действ. армия. Пожалуйста, пришлите мне свою фотографическую карточку...»

Однако в чем дело? Почему такой длинный перерыв в переписке? Ах да! Я все-таки добился, конечно не без содействия Миньоны, командировки и провел пасхальную неделю в тылу, в родном городе, дома.

Об этой пасхальной неделе у меня сохранились самые смутные воспоминания, хотя осталось общее представление, что именно в этот короткий период в моей душе произошел какой-то странный поворот, а телесно я превратился из юноши, почти мальчика в молодого мужчину, и этому возмужанию содействовало все вместе: и яркая южная весна, и пасхальная неделя, которую я провел совсем не так, как предполагал, а главное, то ощущение причастия, которое я принял еще на страстной неделе в действующей армии перед походным алтарем, поставленным возле орудия смерти, на батарее, с непокрытой, коротко остриженной головой, мокрой от дождя неполам с мартовским снегом.

Меня не покидал серебряный и винный вкус причастия, которое торопливо сунул мне глубоко в рот бригадный священник. Впервые в жизни я не испытал таинственного страха, восторга и умиления, принимая святую частицу тела Христова и каплю теплой его крови. Я как бы почувствовал в тот миг, что это мое последнее причастие и отрешение от церкви. Я еще не сознавал, что со мной случилось нечто непоправимое: потеря веры. Веры уже не было. Ее убила война. А церковь еще продолжала меня волновать всеми соблазнами пасхальной заутрени, бумажными цветами, кострами свечей, перевитых тончайшими сусальными ленточками, парчовыми и глазетовыми ризами священнослужителей, резкими восклицаниями хора, восторгом воскресения того, кто «смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав...».

Не знаю, даровал ли он живот, то есть жизнь, мертвому Стародубцу и тем солдатам, которые тогда ночью лежали на снегу в лужах крови...

В эту пасхальную ночь я отбросил все мучительные мысли. Судьба несла меня куда-то, не спрашивая, хочу я этого или не хочу. Все сделалось вопреки моим намерениям.

...бренча не положенными мне по званию шпорами, купленными в галантерейном магазине, подтянутый, без шинели, впервые в жизни побрившийся в парикмахерской, где меня щедро обрызгали цветочным одеколоном, я окунулся в теплую мглу южной пасхальной ночи, озаренную огнями плошек, свечей, бумажных и стеклянных

трехцветных коронационных фонариков, которые все же не могли затмить созвездий, висевших над городом. Созвездия как бы колыхались от слитого колокольного звона, гудевшего над крышами и ходившего тяжелыми волнами.

Не помню уже, каким образом, но я очутился в кладбищенской церкви за Привозом, среди толпы празднично разодетых мещан, христосующихся друг с другом. Незнакомая, не слишком юная девица с наркотическими глазами, прижатая ко мне толпой, сказала:

— Христос воскрес, солдатик!

Мы трижды поцеловались, и ее напомаженный рот оставил на моем лице неизгладимые следы.

Под ее праздничной кофточкой трещал корсет всеми своими пластинками китового уса, и матерчатая роза уже вываливалась из прически а-ля Вяльцева. На ее грубо нарумяненной щеке рядом с несколькими точками невыдавленных угрей была прилеплена модная в то время мушка. Модница, подумал я, и мы, пробиваясь сквозь толпу, выбрались из храма на свежий воздух, под звезды, и она, крепко взяв меня за руку своей грубоватой рабочей рукой, повела в глубину кладбища, отыскивая глазами подходящее местечко, которое было не так легко найти: всюду сидели и лежали парочки. На некоторых могилах горели свечки. Под ногами хрустела скорлупа пасхальных крапенок.

Мы быстро добрались до кладбищенской стены, где в конце кладбища уже начали хоронить погибших на фронте военных летчиков, ставя на их свежих могилах вместо обычных крестов скрещенные пропеллеры. Здесь было глухо, безлюдно, темно и пахло фиалками.

Мы разговелись салом, крупными крапеными яйцами и несладким куличом в ее маленькой компатке, оклеенной цветными картинками из пасхальных номеров иллюстрированных журналов.

Пасхальная командировка, на которую я возлагал столько надежд, обманула меня. С Ганзей я не увиделся, так как она уехала на праздники в деревню, в имение ее

отца. Миньона выздоравливала после инфлюэнцы и ходила закутанная в оренбургский платок. Дома тоже было пеладно. Тетя переехала в Полтаву. Отец постарел. Жильцы, которых пустили в свободные комнаты, не платили денег.

Казалось, что все в мире разладилось...

«Простите, что до сих пор не писал Вам. Мне нет оправдания. Почему не писал? Сам не знаю. Просто так. Никому не писал. О том, как я доехал до позиций, можете судить по стишку, приложенному к этому письму. У Вашего отца я был. Он обошелся со мной очень приветливо, и меня удивляет, почему, Миньона, Вы всегда рисуете его этаким грозой всех Ваших поклонников. Ничего подобного! Если же это так, то я исключение. Он поинтересовался, как я провел в тылу пасхальную неделю, беспокоился о Вашем здоровье, спросил, почему я до сих пор не произведен в бомбардиры, и даже поинтересовался, прислали ли мне на станцию лошадей. Он расспрашивал обо всех молодых людях, бывающих у Вас в доме, в частности припомнил верного рыцаря Вашей старшей сестрицы, небезызвестного красавца студента. Ох, чувствую я, что скоро Ваша старшая сестрица делается мадам Ольшевской.

В батарее у нас нового мало. Все по-прежнему, если не считать, что перестроены окопы, блиндажи и землянки. Стоим на прежней позиции. Чего-то ждем. Зеленеют березы. Вечера стоят тихие, розовые, какие-то необычайно чуткие. Появились майские жуки, которые поют в воздухе, как виолончельные струны. В полях какие-то простенькие цветочки: желтые, розовые, белые, голубые. В лесу есть фиалки, но они почти не пахнут, а так, лишь чуть-чуть. Раскручивается молодой папоротник. Вероятно, скоро будут ландыши, уже предчувствуешь их тонкий водянистый запах. А потом пойдут и грибы. По крайней мере, в темных глубинах леса появился грибной дух.

В городе Сморгони, который от нас в сторону неприятеля за две с половиной версты, вокруг разбитых домов, среди развалин буйно цветут сирень, конские каштаны.

Пользуясь сравнительным затишьем, я часто хожу в Сморгонь.

Эти путешествия связаны с некоторой опасностью, но так жутко интересно. Город разбит вдребезги. Повсюду из груды мусора и обгорелых балок выглядывают где уцелевшая стена с обоями, где высокая кирпичная труба. Тишина вокруг поразительная. Тишина небытия. А сады благоухают так, что с ума можно сойти. Одурманивают. Развалины заросли бурьяном. Жутко бродить по изломанным деревянным тротуарам. Город небольшой, захолустный. Идешь мимо какого-нибудь провинциального особняка с дырами вместо окон, заглянешь в палисадник, где как ни в чем не бывало разбушевались сирень и жимолость, и живо представляешь себе, как в этом самом палисадничке еще совсем недавно, в мирное время, мечтала какая-нибудь барышня литовочка или белоруска с косами белыми, как лен. Может быть, даже и целовалась с каким-нибудь студентом, приехавшим сюда на летние каникулы, или с юнкером местного сморгонского юнкерского училища, так называемым шморгонцем.

...наломаешь себе огромный-преогромный букетище сирени всех оттенков синего, лилового, розового цветов — и по глубокому ходу сообщения тащишь его домой, на батарею.

Вокруг леса, сосновые — синеватые, березовые и ольховые — янтарно-зеленые против солнца. А вечер розовый. Идешь — и в сердце грусть оттого, что некому бросить в окно этот роскошный букет сирени. Понимаете, как это печально, что *некому?*

Вспоминается детство, когда я крал в чужих садах сирень и, ужасно смущенный, носил ее черноволосой девочке Тане, прилежно учившей уроки под окном, поглядывая на меня, стоящего возле дома с большой рогатой веткой краденой персидской сирени в руке.

Одиноко!

Придешь домой на батарею. Уже темнеет. Вокруг заброшенные поля. Давно уже не кошенные жита и овсы. В родной землянке товарищи мои, орудийцы. Наберешь в бак для каши воды, поставишь в него букет, сидишь на нарах и нюхаешь. Какой чудесный запах сирени! Немножко горький, миндальный, неповторимый.

А сколько этот запах вызывает воспоминаний!»

Описывая свое хождение за сиренью, я почему-то умолчал о главном. О том впечатлении, которое произвел на меня полуразрушенный костел. Проваленная черепичная кровля на трубах поверженного органа, разломанная раковина кропильницы, остатки раскрашенного деревянного распятия, опрокинутая кафедра — все это лежало на полу среди каменного мусора, покрытое остатками стрельчатых готических окон, напоминающих рыбы кости.

Я стоял по колено в мусоре, среди подавляющей тишины этих руин, тишины, быть может, еще более оглушающей, чем взрывавшиеся здесь фугасы.

Казалось, отсюда было изгнано все живое, и все-таки из трещин уже пробивалась какая-то растительность, скользнула ящерица. Дух божий продолжал присутствовать здесь, ограниченный с четырех сторон остатками готических колонн.

Прижимая к груди букет сирени, я сел на камень и как бы слился всем моим существом с могущественной тишиной разрушенного храма, тягостной, как обвинительный приговор, вынесенный не кому-нибудь другому, а именно мне. Я был обвиняемый. Моя вина была огромна и доказана. Я признавал свою вину, еще не понимая, в чем она заключается. Я только смутно подозревал: неужели судьба выбрала именно меня стать последней каплей безумия, охватившего мир?

Это я, мальчишка, второгодник, бездельник, молил у судьбы бурю. Это передо мной тянулась бесконечная, как загробная жизнь, безлюдная, раскаленная улица, и я требовал у бога войны. Неспособный к созиданию, я стал разрушителем.

Теперь все в мире по моему хотению рушилось, как обрушились эти готические своды, на обломках которых валялось раскрашенное распятие, с ярко-красным сердцем, нарисованным на грудной клетке распятого.

Не я ли убил Христа? Не я ли был от рождения антихристом?

Эта догадка привела меня в ужас, который вспыхнул, как взрыв, и, не успев меня испепелить, вдруг погас и

был мгновенно забыт, как слишком мучительное сновидение.

Что-то приснилось угнетающее, чего уже невозможно было вспомнить, проснувшись. Может быть, меня постигло мгновенное умопомешательство, умопоступление?..

«Был у нас бой. Несколько раз батарея попадала в такой переплет, что господи упаси! Например, немец бил по батарее шестидюймовыми бризантными и фугасными снарядами. Я сто раз умирал и сто раз воскресал. После обстрела вся площадь батареи оказалась изрытой, исковерканной, перепаханной, засыпанной кучами сырой земли. Ни одного живого места! Снаряды рвались за четыре-пять шагов от нашей землянки. И самое удивительное, что ни одного человека не только не убило, но даже не оцарапало.

В землянку телефонистов угодил снаряд — только щепки вверх полетели, оставив лишь глубокую яму, но, представьте себе, в землянке, на счастье, не оказалось ни одного человека; все были «в гостях» в первом взводе у земляков, которые только что получили посылку из дома и угощали их нежнейшим домашним свиным салом, завернутым в хустку.

Осколок от первого же снаряда, налетевшего внезапно, пока я еще не успел укрыться в блиндаж, попал в меня, но так как снаряд разорвался далеко, тупой осколок был на излете и просто стукнул, как камень. Даже не разорвал гимнастерку. Только синяк. Кровь, к сожалению, не пошла, а то подумайте — ранен и остался в строю. Верный Георгиевский крест! Досадно.

А бомбардира мне до сих пор не дают. Пустяки. А в команду связи телефонистом не назначают. Это уже не пустяки, это штуки Тесленко, который, кажется, меня почему-то невзлюбил.

Сегодня описывать наш батарейный быт не хочется.

Ходят слухи, что командиром нашей батареи назначатся капитан Де Спиллер, а поручику Тесленко дают штабс-капитана и оставляют старшим офицером. Пожалуйста, напишите, знаете ли Вы Де Спиллера, и если знаете, то сообщите, что это за человек? Каков у него характер? И вообще...

Ради бога, пишите. Мне никто не пишет. Все меня забыли.

«Чем дальше от юга и моря, тем в сердце спокойней и проще, тем в сердце спокойней и проще и сердце полно тишиной. В открытые окна вагона дышали весенние рощи, дышали весенние рощи прохладой и мокрой землей... Заря занималась сквозь слезы, туманы скользили по елям, и пели в садах станционных, в росистых садах соловьи...»

Не сердитесь на эти дилетантские стишки, где смешались две пасхальные поездки: с фронта в тыл и из тыла на фронт. Я ведь ни на что не претендую. Но они посвящаются Вам. Вы же знаете, что я Вас люблю».

И тут я соврал.

«Нет, не тебя так пылко я люблю...»

«На одной станции на рассвете я увидел на платформе две фигуры, стоящие под высоким деревом с шапками вороньих гнезд. Это была курсистка в маленькой шапочке пирожком и рядом с ней студент с длинными семинарскими волосами из-под фуражки.

Около них виднелся жалкий багаж: баульчик, плед с подушками, затянутыми двумя ремнями с деревянной ручкой, стопка книг. Кто они? Куда едут? Что ждет их в жизни? Брат и сестра? Жених и невеста? Я увидел их заспанные счастливые лица, чуть тронутые приливающим светом весенней зари, такие милые, такие русские, такие провинциальные.

Но паровик свистнул, эхо полетело куда-то в лесную даль, и эта жанровая картинка, как бы специально написанная художником-передвижником для весенней выставки, поехала назад и скрылась навсегда, оставив в сердце чувство умиления и странной горечи.

Извините за лирические отступления. Ваш А. П.».

И вот опять начались мучительные приливы неразделенной любви. Как же это все-таки случилось — в сотый раз задавал я себе праздный вопрос. Ну, ходили за фиалками. Ну, когда она сняла шапочку, коса раскрутилась,

рассыпалась, и на ее незаметное лицо упали волосы с золотистыми кончиками... Ну, потом я стал подниматься к себе на четвертый этаж, машинально считая ступеньки, что сохранилось у меня с детства, так же как привычка переступать через тени деревьев: между первым и вторым этажами было сорок четыре ступеньки, а между остальными по сорок пять. Лестничный марш с четным количеством ступенек считался счастливым, а с нечетным — несчастливым. Но в тот вечер все лестничные марши казались мне счастливыми потому, что меня как бы незримо сопровождала Ганзя или, во всяком случае, ее душа, в то время как она сама, ее телесная оболочка осталась внизу пить чай у Калерии и Вольдемара.

Не зажигая огня и не снимая шинели, я распахнул окно в своей крошечной отдельной комнатке и боком сел на подоконник. С моря дул ровный ветер, и казалось, что звезды дрожат не то от этого ветра, не то от весенней сырости.

Я перегнулся вниз до тьмы черного двора, куда падал свет из окон первого этажа, где в данное время находилась Ганзя и, вероятно, пила чай вместе с Калерией и Вольдемаром. У меня закружилась голова, плечи дрожали, я боялся упасть вниз с четвертого этажа. Я еще не вполне оправился после скарлатины, которой переболел зимой, и поход за фиалками был первой длительной прогулкой после выздоровления.

Красивую, но пошатую Калерию я отверг, а с ее братом Вольдемаром сблизился.

Вольдемару уже пошел двадцатый год, и он казался мне вполне взрослым мужчиной, чуть ли не пожилым человеком с черными усиками и небольшими, косо побритыми бачками, хотя, в сущности, он был таким же гимназистом, как я сам. Он учился туго, часто оставался на второй год, хотя был усидчив, педантичен и старателен.

В его высоком, как бы сломанном голосе, стройной, несколько старообразной фигуре, волосатых руках, в правильном красивом лице и тщательной прическе было что-то, как мне тогда казалось, приказчиье.

...Такие молодые люди обыкновенно играют на мандолинах...

У него был высокий тенор неудачника, и когда он пел своим надорванным фальцетом романсы, то непременно на самой высокой ноте или срывался, или до того вытягивал шею, будто хотел дотянуться прической до потолка. И когда Вольдемар пел для гостей под аккомпанемент сидящей за пианино Калерии, я испытывал за него чувство неловкости.

Кроме того, будучи в душе натурой артистической, Вольдемар считал себя художником и писал масляными красками разные картинки, злоупотребляя черной краской в неразбавленном виде. Когда же я говорил ему, что чисто черного цвета в природе, а особенно в живописи, вообще не существует, то он мне снисходительно, как старший младшему, улыбался и, показывая на свои гимназические брюки, говорил своим высоким тенором:

— А брюки, по-вашему, какого цвета?

И был уверен, что прав и остроумен.

Рисовал он — именно рисовал красками, а не писал — главным образом портреты вымышленных красавиц или пароходы в открытом море, очень тщательно вырисовывая в женских портретах черные прически, брови и глаза, а в пароходах — мачты, спасательные круги, снасти, плюпбалки, иллюминаторы и клубы очень черного дыма, выходящего из наклонных труб. На спасательных кругах особо тонкой кисточкой он выводил славянской вязью название парохода: «Русь», «Варяг» или что-нибудь вроде этого, патристическое, — а также изображал бело-синекрасный кормовой флаг, как бы желая еще больше подчеркнуть свой патриотизм.

Волны у Вольдемара на картинках всегда выходили светло-зелеными, зубчатыми, с зигзагами пены — в духе Айвазовского.

Пароходы и море изображал он с таким знанием дела потому, что отец его плавал на пароходах Добровольного флота старшим механиком, и я иногда видел его во дворе, по которому он проходил, отправляясь в рейс, в черной военной фуражке с белыми кантами, по-нахимовски надвинутой на затылок, в короткой, как бы горбатой, тоже нахимовской шинели, держа в руке загадочный ящичек палисандрового дерева, содержащей в себе какой-то драгоценный прибор особой точности.

Вольдемар до страсти любил сниматься и дарил свои фотографии знакомым с цитатами из Кольцова или Апухтина. Снимался он на Дерибасовской улице в «Электро-

фотографии» и всегда в разных позах, но с одинаковым выражением красивого лица. Несмотря на нашу видимую дружбу, я и Вольдемар никак не могли сойтись на «ты» и говорили друг другу «вы», в чем заключалось нечто тайно-враждебное.

Калерия сразу же поняла, что сделала непростительную ошибку, затеяв глупейшую прогулку за фиалками и познакомив меня с Ганзей. Ей стало ясно, что я потерял для нее навсегда.

Случилось то, что не могло не случиться.

Как только Ганзя стала перечесываться и Калерия посмотрела на меня, она поняла все даже раньше, чем понял это я. Слезы покатались по ее прелестным щекам и по крыльям большого носа.

Но уже было поздно и ничего нельзя было поправить.

...Я сидел на подоконнике и упорно думал о Ганзе. Она уже полностью овладела моей душой. Почему? Кто на это ответит? Быть может, это самая великая тайна жизни.

Мне представлялось, что я нахожусь на пороге прекрасной, небывалой любви. У меня на душе было так чисто, ясно, просто, я не сомневался, что стоило бы Ганзе приглядеться ко мне, узнать меня поближе, то она сразу бы полюбила меня, потому что я особенный, я почему-то ни на миг не сомневался.

Эта уверенность была во мне так крепка и естественна, если можно выразиться — так врожденна, что я не только не пытался ее объяснить, но даже вряд ли ощущал ее в себе. Она была таинственной предпосылкой моего бытия, нечто как бы дарованное мне какой-то высшей силой.

Впоследствии я понял, что появление мое на свет божий от меня не зависело, так же как от моей воли не зависело ничто.

Все зависело от случайных обстоятельств. Необъяснимые обстоятельства сделали меня единственным и неповторимым, точно так же как единственным и неповторимым чувствует себя каждый человек, появившийся в мире.

Высшие силы распоряжались моей судьбой. Высшими силами были обстоятельства. Даже любовь явилась следствием не зависящих от меня обстоятельств ранней весны, морского ветра, мигающих звезд, освобожденных из-под котиковой шапочки волос и шпилек, набранных в бесцветные, скорее женские, чем девичьи, губы.

Она все время была рядом невидимкой.

То, что она была почти невестой Вольдемара, не имело для меня никакого значения, потому что я в это не верил, не мог верить. Мне казалось, что я уже давно, с незапамятных времен, знаю и люблю Ганзю, что было бы странно, если б я не любил ее, что ее нельзя не любить и я буду ее любить всю жизнь, как бы длинна моя жизнь ни оказалась.

Стало холодно.

Я слез с подоконника и захлопнул окно, в стеклах которого мелькнули и закачались звезды. Я включил электричество, и моя крошечная комнатка с выбеленными стенами, предназначенная, по мысли архитектора, для прислуги, но доставшаяся мне, так как кухарку переселили в кухню, показалась мне такой же особенной, неповторимой, каким был я сам, отгороженный от всего мира.

Я положил локти на жиденький письменный столик рыночной работы с неряшливыми гимназическими учебниками и тощими тетрадками, погладил свой нафиксатуренный пробор и решил, что новое положение впервые в жизни полюбившего человека обязывает меня завести дневник и подробно описывать в нем все свои чувства. Все так делают. По обстоятельствам всеобщности я уже неоднократно начинал дневник и тут же бросал его за неимением значительных, важных событий жизни, а также за неимением мыслей.

Теперь же со мной случилось не только нечто важное, значительное, но единственное на всю жизнь, и мне захотелось немедленно же выразить то странное душевное состояние, в котором я находился. Я вынул из ящика новенькую, еще скрипучую общую тетрадь в черном клеенчатом переплете, купленную специально для домашних работ по алгебре (красный обрез, страницы в клетку), развернул ее слипшиеся листы и на первой странице написал

красивым почерком: «Дневник Александра Пчелкина». Затем подумал и написал внизу: «Весна 1914 года».

Подождал, когда чернила высохнут, перевернул страницу и задумался. Только что мне казалось, что повествование о любви с первого взгляда польется само собой; а теперь находился в затруднении, не зная, что же, собственно, нужно писать, с чего начать. Не худо бы, думал я, все, что случилось, изобразить по порядку: сначала, как я пришел к Вольдемару и Калерии и вдруг увидел в столовой незнакомую девочку-гимназистку Ганзю, как мы познакомились и как она сказала: «А я вас представляла по описаниям Калерии совсем другим». Потом поход за фиалками и прочее.

Однако в этом не было ничего достойного тех чувств, которые охватили меня. Значит, следовало начать как-то иначе. Но как? Начну просто, подумал я, — я полюбил, а потом уж пойдет все само собою: как? почему? когда?

Я тер голову руками, но так ничего и не мог придумать, потому что на самом деле писать было не о чем.

Я старался сосредоточиться, силился представить себе Ганзю, описать ее возможно подробнее, объяснить, почему я ее полюбил, а вместо этого мне представлялась желтая полоса зари за каким-то цветочеством, бегущие трамвайные столбы, деревья, Калерия в касторовой форменной шляпе, весело рассказывающая про какую-то гимназическую подругу, толстую дурочку, перепутавшую что-то на уроке естественной истории и не умевшую сказать, что на что падает — рыльце на пыльцу или пыльца на рыльце...

Я встал со стула, прошелся по комнатке, отделявшей меня от всего громадного мира, подошел вплотную к оконному стеклу, отразившему мой нос и блестящие пуговицы черной гимназической куртки, возвратился к столу, снял пальцами с пера волосок, вытер испачканные чернилами пальцы о брюки и написал:

«Я полюбил...»

Поставил многоточие и больше уже ничего не мог придумать. Так и осталась на всю жизнь эта единственная недописанная строчка...

«15-V-16 г. Действующая армия. Милая Миньона. Вы, кажется, интересуетесь нашим бытом? Извольте.

Вообразите себе, что у нас на батарее нечто вроде «мобилизации промышленности», как сейчас любят писать газеты. Возле четвертого орудия открылся ложечный завод. У нас на фронте это не ново. Солдаты — народ сообразительный, привыкли применяться к обстановке и местности. Извлекают пользу из чего только можно. Теперь у нас, солдат-батарейцев, не встретишь традиционной деревянной ложки. Теперь мы все хлебаем борщ алюминиевыми ложками уже не деревенского фасона, вполне городского.

Дело вот в чем.

Дистанционные трубки шрапнели и головки некоторых видов других снарядов изготавливаются преимущественно из алюминия. После артиллерийских дуэлей дистанционными трубками и боевыми головками немецких снарядов вокруг нашей позиции усеяна земля.

Предприимчивые батарейцы собирают их, как грибы, затем плавят на огне и отливают в форме. Получаются очень приличные алюминиевые ложки. Место их производства называется в духе времени — «литейный завод».

Теперь представьте себе, милая Миньона, такую картину: среди елочек, маскирующих батарею, возле блиндажа четвертого орудия — куча песка, пылает костер, пахнет горелым, и в песке возятся, как дети, наши солидные, многосемейные батарейцы.

Что же происходит?

В костре стоит стакан стреляного орудийного снаряда, в котором плавится алюминий. В кучке песка копаются с засученными рукавами гимнастерки мой друг бомбардир-паводчик, бывший рыбак с Голой Пристани Прокоша Колыхаев. О нем я уже Вам, кажется, писал. Русоусый симпатичный дядька.

Он поглощен работой — весь внимание. Он делает из песка литейную форму. Работа аккуратная, чистая.

Маленький немец-колонист из Малой Акаржи по фамилии Веварт сидит возле костра на корточках и закуривает от уголька сигарку. На его обязанности лежит поддерживать огонь и подбрасывать в костер сухой валежник.

Сибиряк Горбунов колет дрова.

Возле Колыхаева разложено уже штук пять готовых, но еще не отшлифованных алюминиевых ложек. Они еще грубы, пористы, шершавы.

Колыхаев расчищает ровную гладкую площадку, высыпает ее слоем мелкого песочка. Затем берет деревянный ящичек без дна — ящичек от посылки, — набивает его мокрым песком, утрамбовывает своей могучей ладонью, намозоленной еще в мирное время веслами, и вдавливают в песок одну уже вполне готовую и отшлифованную ложку. Потом с величайшей осторожностью он переворачивает ящик и накладывает его вниз вдавленной ложкой на песчаную площадку. Опять трамбуется все это литейное сооружение и с такой же осторожностью поднимает ящик. Затем бережно извлекает из мокрого песка ложку, прокладывает круглой палочкой желобок для расплавленного алюминия и опять накладывает одну половину уже пустой формы на другую.

Все это делается с чрезвычайно серьезным лицом, с видом собственного достоинства.

Немец-колонист Веварт сует палочку в шпательный стакан, где плавится алюминий. Палочка загорается.

— Колыхай, металл уже готов, — говорит Веварт на своем ломаном языке. — Белый, как мильх, как молоко, как сметан.

Колыхаев берет заранее приготовленные две палки, связанные вместе с одного конца телефонным шнуром, хватывает ими раскаленный стакан.

— А ну тикай, тикай! — кричит он, устремляясь от костра к литейной форме. Палки на глазах обугливаются и дымятся. Колыхаев действует быстро, уверенно, сноровисто. Пока палки еще окончательно не загорелись, Колыхаев наклоняет шпательный стакан над формой, и тонкая струйка молочно-белой светящейся жидкости льется в желобок.

Готово!

Батарейцы окружают литейную форму и терпеливо ждут, когда металл остынет и настолько затвердеет, что готовую отлитую ложку можно будет вынуть из формы. Вскоре песок выбивают из ящичка, в его сероватой горке поблескивает белая новорожденная ложка. Ее извлекают на свет божий. Она еще горяча, и Колыхаев любовно перебрасывает ее с ладони на ладонь. Полубоившись своим изделием, он присоединяет ее к другим еще не отшлифованным ложкам.

В стакан бросают обломки неудачно отлитых ложек, дистанционные трубки, разную алюминиевую мелочь, и все начинается снова.

Может быть, я неточно, бестолково и непонятно описал Вам, дорогая Миньона, процесс изготовления алюминиевых ложек, но, вероятно, я сам нечто вроде неудачно отлитой алюминиевой ложки и меня надо заново переплавить. Как вы думаете?

Колыхаев так усердно старается потому, что ему хочется непременно сделать собственными руками ровно дюжину алюминиевых ложек, чтобы, когда поедет в отпуск, отвезти их в подарок своей жинке, о которой мы ничего толком не знаем, кроме того, что ее зовут Нина. Или, как он говорит, «моя дорогая супруга Ниночка». В свободное время он шлифует свою дюжину, доводя ее до блеска. Вот это называется любовью!

Остается одно — постараться остаться в живых, дожидаться своей очереди и поехать домой на побывку, захватить заодно с дюжиной алюминиевых ложек также фунтов десять ржаных сухарей, насушенных из остатков хлебного пайка, и мешочек сэкономленного рафинада.

Солдатский телеграф сообщает, что у нас в тылу начинается голод.

...Но едва Колыхаев успел отлить очередную ложку, как из своего окопчика высовывается дежурный телефонист:

— Батарея, к бою!

И мирная картина вмиг меняется.

Вот Вам одна из подробностей нашего быта. Извините, прерываю письмо. Сейчас будем стрелять. Черт бы его побрал!.. Ну вот, слава богу, благополучно отстрелялись. Вы не думайте, что стрелять мы не любим. Стрелять мы любим, это наше постоянное занятие. Но, к сожалению, после каждой стрельбы полагается чистить дуло орудийного ствола, а это занятие тяжелое, хлопотливое, надоедливое, и мы его терпеть не можем.

Чистят орудийный ствол так называемым банником. Банник — это длинная круглая палка, состоящая из двух свинчивающихся половинок. В развинченном виде банник обычно прикреплен к лафету. Когда баннику надлежит идти на работу, обе половинки свинчивают и к концу одной из них еще привинчивается цилиндрической фор-

мы щеточка. Получается длинная палка с вращающейся щеткой на конце.

Опишу Вам процесс чистки дула орудийного ствола, который производится следующим образом, будь он проклят! Прежде всего ствол орудия приводится в строго горизонтальное положение, а затвор открывается. В самой чистке участвуют все восемь номеров орудийной прислуги под строгим наблюдением фейерверкера. Номера обносят банник вокруг пушки и останавливаются перед дулом. Фейерверкер поливает щетку банника керосином, и орудийцы, взявшись все вместе, осторожно вводят банник в канал ствола, что дело совсем не простое, так как щетка идет туго. Раз десять полагается провести банник туда и обратно из конца в конец канала ствола. А это не так-то легко.

Но это лишь начало!

После того как канал ствола прочищен как следует керосином, щетку обертывают чистой полотняной ветошкой, и снова начинается чистка — туда и обратно, — на этот раз для того, чтобы вытереть насухо от керосина. То же раз десять. Мускулы рук устают от напряжения.

Теперь канал ствола чист. Орудийный фейерверкер, зажмурив один глаз, заглядывает в ствол, как в подзорную трубу, внутри которого винтовая нарезка очищена до зеркального блеска.

Но тут появляется монументальная фигура фельдфебеля подпрапорщика Ткаченко. Он отстраняет величественным мановением руки орудийного фейерверкера и заглядывает сам, лично, в канал ствола своим хозяйским глазом. Не дай бог, если он обнаружит на зеркальной поверхности стали хоть одно пятнышко! Тогда процедура чистки начнется снова, а орудийному фейерверкеру — два наряда вне очереди! Однако бог миловал. Фельдфебель не имеет претензий и величественно удаляется, заложив руки за свой кожаный желтый пояс офицерского образца.

Однако это еще не все.

Теперь надлежит смазать канал ствола орудийным салом, которым обильно покрывают щетку, обернутую новой ветошкой, и наконец, как выражаются с досадой орудийные номера, — опять двадцать пять!

Короче говоря, чистка орудия продолжается часа полтора и повторяется каждый раз после стрельбы, даже если был произведен хотя бы один выстрел.

От чистоты канала ствола зависит точность стрельбы, которой мы особенно гордимся.

Зато потом, заглянув в стол, я вижу витые зеркальные парезы и маленький кружочек голубого неба с верхушкой слки.

Отбой!

Но так как батарее приходится стрелять по три, по четыре, даже по пять раз в день, то жизнь наша превращается в сплошную мучительную чистку орудий. Я думаю, что чистка орудий — самое ужасное следствие войны.

Ах дьявол!.. Простите... Прерываю письмо, так как опять зовут чистить орудие. Бегу, бегу. Ваш А. П.».

Я откладываю в сторону письмо и, вытирая платком утомленные чтением своего же молодого, неразборчивого почерка, слезящиеся, слабые глаза, вспоминаю свою жизнь на батарее.

...«Литейный завод» работал полным ходом не только у нас на позиции, но также и в резерве и на передках у ездových. Была даже, помнится, установлена рыночная цена на алюминиевую ложку. Сорок копеек штука.

Куда ни посмотришь, всюду сидят солдаты и, согнувшись, шлифуют только что отлитые шершавые алюминиевые ложки наждачной бумагой.

Во время одного из очередных обстрелов немцами нашей батарее налетевшая бомба, как на грех, угодила прямо в «литейный заводик». После этого непрошеного визита «литейный цех» оказался на крыше землянки в другой батарее. Дровишки, приготовленные для костра, обращены в труху, а куча чудесного речного песка исчезла вообще, рассеялась от взрыва.

Наши батарейные остряки говорили, что герман (то есть немец) нарочно из любезности пустил свой снаряд вместе с алюминиевой дистанционной трубкой прямо в стакан, чтобы не затруднять наших производителей ложек.

Солдаты изобрели еще один вид окопной промышленности. Они научились красить белую материю в защитный, зеленый цвет. Делалось это очень просто. В котле кипятится на костре вода, бросаются в нее болотная трава, крапива, березовые листья, лопухи и тому подобные «красящие вещества». Когда настой хорошенько уварится, приобретет темно-зеленый цвет, в котел бросают исподнюю бязевую рубаху и кипятят часа полтора. После этого рубаха оказывается окрашенной в отличный защитный цвет и превращается из нижней в верхнюю, в гимнастерку.

По вечерам, если нет стрельбы, у нас музыка и танцы. Играют на гармонике, на скрипочке и... на лавровом листе, добытом у повара. На батареейной линейке у правого фланга на самодельной скамье, вбитой в землю, сидят трое солдат: гармонист Фока Терещенко, называющий себя почему-то Абдул Фарис из Батума, рябоватый парень с чересчур крупным носом, высокий, нескладный, как Петрушка или Ванька Рутютю уличного кукольного балаганчика, затем канонир Куликов, играющий на чрезвычайно маленькой, почти детской скрипочке, и еще некая неизвестная нам личность, солдат из резерва. Он засунул в рот лавровый лист и извлекает из него тонкие жалобные звуки, не совпадающие со слитными звуками гармоники и скрипки. Однако именно это несовпадение и создает какую-то необъяснимую прелесть мелодии.

Несовпадение... Да, именно несовпадение, подобное несовпадению моей странной, необъяснимой, вечной любви к Ганзе со всем окружающим меня миром, со всей моей жизнью отчаянное несовпадение. Но такова уж, видно, была моя судьба.

Звуки гармоники, скрипки и лаврового листа почему-то до слез напоминали мне Ганзю, которую я никак не мог себе представить, а только всей душой чувствовал, что она как-то незримо, бестелесно присутствует в мире.

Мелодия моей любви.

«Гармоника испорчена, у нее западает несколько клавиш. И в этом тоже есть какая-то необъяснимая прелесть несовершенства.

Перед музыкаптами большой круг хорошо вытоптанной земли. Батарейные танцоры посреди этого круга щеголяют друг перед другом четкостью и выделенностью танцевальных па. Преобладают танцы салонные — полька-кокетка, полька-стоп, вальс «На сопках Маньчжурии», венгерка и прочие. Но есть танцы и характерные русские народные: казачок, барыня, классический малороссийский гопак.

Не знаю, может быть, я и ошибаюсь, но мне всегда кажется, что в этих танцах, порою и неуклюжих, есть и красота и грация. Вот, например, пара: взводный фейерверкер второго взвода в паре с телефонистом-наблюдателем Марченко. Трио играет польку-стоп. Крепкая, мощная фигура взводного плавно, ритмично нагибается; ноги ходят ходуном, и нежно побрякивают шпоры. Наблюдатель Марченко — совсем иное дело. Он танцует как бы неподвижно — танцует не передвигаясь по площадке, стоя на одном месте, танцует выражением лица, глазами, бровями, губами, осанкой, всей фигурой. Самый процесс танцев для него не важен. Скорее он не танцует, а статично переживает музыку, ее мотив, ритм.

Любил я солдатские танцы! И было мне грустно, да и сейчас жалко, что не научился я танцевать. Сколько радости потерял я в жизни...

...вот выходит в круг здоровенный, плотный, даже толстый, что редко бывало среди солдат, хохол, по прозвищу Тарас Бульба, старший фейерверкер, кавалер двух Георгиевских крестов, и начинает гопак. Он тоже, собственно, не танцует, а плавно выступает и время от времени выкрикивает нечто веселое, озорное, вроде:

— И-и-эх-ма! Пошел! Веселей, не жалей! И-и-эх!

Глядя на его огромную фигуру и круглое обширное лицо, более всего похожее на смеющееся солнце, все зрители помирают со смеху.

А тем временем где-то слева за лесом уже давно кипит ужасная артиллерийская перестрелка, от которой тяжело вздрагивает земля. Скоро, наверное, дойдет и до нас.

«Действ. арм. 27 мая 1916 г. А вот Вам, дорогая Миньона, чтобы Вы не скучали, для развлечения — фантастический роман, как бы вроде «перевод с английского» в духе обожаемого Вами Локка, но сочинения Александра Пчелкина.

Итак, начинается роман:

«— Миньона! Какими судьбами? Главное, каким сверхъестественным образом?»

Все это было так невероятно, так похоже на сон, что у меня в первую минуту не нашлось ничего другого, кроме этих банальных восклицаний.

Она подняла на меня свои серовато-сиреневые глаза и, чуть-чуть улыбаясь, промолвила:

— Вы, кажется, меня не ожидали.

Я молчал, придумывая, что бы предпринять, если все это окажется не сном, а действительностью.

Я был ошеломлен.

Миньона провела своим кошачьим язычком по губам и протянула мне руку:

— Ну здравствуйте. Как поживаете?

Я пожал ее нежную ручку, нерешительно помял в своей отвратительной немытой лапе, и, перевернув, поцеловал в розовую ладошку.

Она звонко рассмеялась:

— Фу, какой вы смешной и... глупый.

Признаться, вид у меня был в ту минуту не очень умный. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Войдите в мое положение: быть дпевальным на новой, только что построенной саперами и еще не занятой артиллерийским взводом позиции в полуверсте от немецких окопов, сняв сапоги, греть на костре в котелке воду для чая, обернуться и вдруг увидеть ее здесь, наяву,— исключается всякая вероятность, и тем не менее... Однако!.. Гм... Я думаю, что не только меня, но всякого нормального человека подобное явление поставило бы в тупик, в угол носом.

Впрочем, мое смущение продолжалось недолго. На всякий случай я ущипнул себя за ухо, убедился, что не сплю, и решил быть невозмутимым.

Бывают же на свете чудеса.

— Миньона... Миньопочка... Но... какими же все-таки судьбами?

Она неопределенно махнула рукой, и я понял, что это, в сущности, не так важно.

— Садитесь, — сказал я, — за неизменным диваном вот сюда, на траву. Я так давно вас не видел. Дайте же на себя посмотреть.

Она села рядом со мной на траву, подобрала под себя ноги в туфельках номер тридцать четыре и тут же съехидничала:

— Во-первых, вы меня видели сравнительно недавно, на пасху, но вам тогда, кажется, было не до меня. А во-вторых, нечего на меня смотреть так внимательно: я такая же, как всегда.

И действительно она была совершенно такой же, как всегда, как дома. Как на балконе. Белая матроска с большим желтым шелковым бантом, серенькая юбка; коротенькие кудряшки, перехваченные темной лентой. Лицо кукольное, и от носика к роту характерная складка. Все как следует, туфельки ничуть не запачканные. Шляпы нет. Как будто бы она только что вышла из дома пройтись по Французскому бульвару, да и прошла совершенно случайно, незаметно, мгновенно тысячу верст от Одессы до наших передовых позиций, что случается только в фантастических романах.

А может быть, как-то перенеслась по воздуху, даже туфельки не испачкала.

— Однако у вас здесь, на позициях, недурненько, — сказала она, — хотя офицеры неважно. Грязные такие. Закопченные. Да вы сами тоже не особенно... Надеюсь, вы меня угостите чаем?

— Это можно, — ответил я, — вопрос только: есть ли у вас сахар?

Она с удивлением посмотрела на меня.

— Одну минуточку, — в замешательстве пробормотал я, — сию минуточку сбегаю к пехотинцам в штаб батальона, там дежурит наш батарейный телефонист, может, у него разживусь сахаром, кстати и заваркой. А вы пока что постерегите котелок. Как только вода закипит — снимите.

Она понимающе кивнула. Я сорвался с места и ринулся к высокой железнодорожной насыпи, где виднелась землянка телефонистов пехотного батальона. На бегу я обернулся: она сидела возле костра на зеленой травке среди желтых, белых и синих луговых цветов. Она и сама была похожа на цветок.

Сердце мое дрогнуло. «Милая!» — подумал я и хотел послать ей воздушный поцелуй, но в этот миг вспомнил что-то важное и крикнул ей издали:

— Да! Еще вот что: если в блиндаж полезут пехотинцы, гоните их ко всем чертям, а то они порастащат все доски!..

Она кивнула.

Пока я бегал в штаб батальона и унижался перед телефонистами, умоляя позычить до следующей выдачи десять грудок сахара, заварку чая и кусок сала (хлеб у меня был), Миньона сидела и с любопытством разглядывала местность, куда она попала по воле автора этой фантастической повести.

Что же она увидела?

Справа шагах в ста тянулась высокая железнодорожная насыпь линии Минск — Вильно, надежно прикрывая нашу артиллерийскую позицию от глаз неприятельских наблюдателей. Под насыпью виднелись серые бугорки землянок, над которыми вился легкий дымок. Слева белели свежими сосновыми бревнами и обшитыми досками два резервных блиндажа, куда в случае наступления немедленно будут выдвинуты два наших орудия, так сказать, «кинжальный взвод». Эти блиндажи я и послан был охранять. Невдалеке от блиндажей извивалась, блестя на солнце, и тихонько журчала маленькая речушка, даже не речушка, а скорее ручей. В ярком небе плыли все еще как бы пасхальные облака. За железнодорожной насыпью, на переезде кудрявились березы, и далеко впереди, за бугром как декорация рисовался разбитый снарядами мертвый город. Из пожарища торчали остатки кирпичных стен и печные трубы, вокруг которых как ни в чем не бывало зеленели цветущие сады... Продолжение следует...»

Прочитав это, я усмехаюсь. Вот, оказывается, на какую хитрость пустился я, чтобы убить двух зайцев: описать свою фронтową жизнь и в то же время поддержать полужюбовные отношения с генеральской дочкой. Выдумка с фантастическим романом давала для этого полную возможность.

«Д. арм. 1 июня 916 г. Фантастический роман без заглавия. Перевод с английского. Продолжение.

«Глава вторая. Через десять минут я вернулся из шта-

ба батальона; подходя к ручью, у меня было опасение, что Миньоны я не увижу и вся эта история окажется не более чем плодом моего воображения. Но о счастье!

Она сидела в траве на прежнем месте между моими сапогами и серебряными извилами ручейка, вся в полевых цветах и сама, как уже было замечено, похожая на цветок.

— Ну как, моя дорогая, — спросил я, — вода в котелке закипела?

— Вода? А разве она должна была закипеть? — спросила Миньона, сделав большие глаза, и засмеялась, хотя ее смех показался не вполне уместен, так как вода в котелке клокотала и уже выкипела наполовину.

Я вздохнул, снял котелок с огня и бросил в кипящую воду щепотку заварки, добытую у телефонистов путем некоторых унижений. Я расстелил на траве носовой платок, который, к счастью, выстирал рано утром в ручье, положил на него кусок свиного сала, четверть пайковой буханки ржаного солдатского хлеба и десять грудок рафинада. Потом я сбегал в блиндаж, который охранял, захватил шинель, бинокль и единственный сдобный сухарь — высушенный ломоть пасхального кулича, привезенного мной из дома. Шинель я разостлал для Миньоны, сам сел подле нее на траву, и мы принялись за чай.

До сих пор я воображал, что Миньона питается исключительно утренней росой, цветочной пылью, лунным светом и запахом фиалок. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что полфунта свиного сала как не бывало! Сдобный сухарь под ее жемчужными зубками перешел в область самых отвлеченных воспоминаний. А опустошенный котелок стоял в траве как надгробный памятник, будя грустные воспоминания о девяти отошедших в вечность грудках рафинада.

Лично я съел кусок черного хлеба, сгрыз последнюю грудку сахара и взглянул на мир еще более оптимистично.

Да и можно ли, читатель, смотреть на мир иначе, когда вокруг нежное, солнечное утро, десять часов, роса на полевых цветах еще не высохла, у ног щебечет ручеек, а рядом с вами очаровательное существо с большими серолиловыми глазами, маленькими ручками, еще более маленькими ножками в туфельках номер тридцать четыре и волшебным именем Миньона?

Да-с!

— А теперь поболтаем,— сказала Миньона, облизывая кошачьим, как уже упоминалось, язычком прелестные губки, созданные не для свиного сала, а для поцелуя.— Объясните, где мы с вами сейчас находимся? И почему, в то время как идет война, вы болтаетесь здесь без всякого дела? — И в ее девичьем голоске прозвучала генеральская, нотка.

— О прелестная! — ответил я.— Находимся мы возле города Сморгонь, развалины которого вы видите, если можно так выразиться, на горизонте. А нахожусь я здесь, в непосредственной близости от неприятеля, в качестве сторожа, дневального. Сторожу же я вот эти два новеньких орудийных блиндажа в три наката. Мой взвод — две трехдюймовки — скоро перейдет в эти хорошенькие блиндажики и в должный срок неожиданно ударит по немцам с самой близкой дистанции, и даже, может быть, прямой наводкой, картечью. Через два часа, ровно в двенадцать, меня сменил другой дневальный, и я должен буду вернуться обратно на батарею...

Она не дослушала и, прижавшись ко мне, с ужасом прошептала:

— Боже мой! Вы меня пугаете. Мы находимся в непосредственной близости от немцев? В таком случае у меня одна надежда на вас. Не оставьте меня!

— О, не бойтесь! Со мной вы как за каменной стеной! — воскликнул я, ловя себя на глупом желании поцеловать ее в шею.

В этот миг за железнодорожной насыпью тяжело бухнуло, раздался сверлящий свист, и высоко над нашими головами пронеслась немецкая граната. Я по привычке сразу же припал к земле и потянул за собой Миньону. Мы услышали сухой дробный разрыв снаряда, и через некоторое время вокруг нас пропело несколько осколков. Немец стрелял через наши головы по ближнему лесу.

Миньона лежала у меня на руках как убитая. Лоб ее был холоден, а руки горячи. Я растер ей виски платком, смоченным остатками чая. Она очнулась.

— Миньона, дитя мое,— прошептал я,— не бойтесь. Это далеко. Это не опасно. Это обычно.

Она виновато посмотрела на меня.

— Если это обычно, тогда я не буду больше бояться. Я уже не боюсь.

В это время ударил второй пушечный выстрел. На этот

раз она не вскрикнула и не упала в обморок. Я сунул ей в руки бинокль «цейс»:

— Смотрите туда.

Она приставила бинокль к глазам и посмотрела туда, куда я ей показывал. До нас долетел грохот взорвавшегося снаряда.

— Ах, как забавно! — восхищенно воскликнула она. — Жаль, что здесь нет моих сестричек. Вот бы тоже полюбовались взрывом.

Пропели осколки.

Потом я повел ее в Сморгонь посмотреть развалины. Ведь в фантастическом романе все может случиться.

Мы долго бродили по грудам обгорелых кирпичей, по запущенным садам, забирались на обгорелые чердаки разбитых снарядами домов. Наломали громадный букет отцветающей сирени. Она посмотрела в сторону полуразрушенного костела, стоявшего как призрак.

— А туда можно? — спросила она.

— Туда нельзя, — почти с ужасом ответил я, вспомнив расколотую раковину кропильницы, поверженное распятие и красное деревянное сердце на грудной клетке мертвого спасителя.

И я обошел костел стороной, как убийца, который преодолевает чувство притяжения к тому месту, где он совершил преступление.

Мы молчали. Между нами как бы стояло видение полуразрушенного храма с поверженным в прах распятием богочеловека. А он был так хорош. А мы были так молоды... Продолжение следует». А. П.».

Продолжения не последовало; моя фантазия исчерпалась. Но главное, конечно, было не в том, что фантазия исчерпалась. Исчерпалась вера в то, что банальная влюбленность в хорошенькую Миньону может вытеснить из моего сердца Ганзю. А на фронте началось уже настоящее, и я впервые понял, что такое война.

«15 июня 916 г. Действующая армия. Дорогая Миньона, только что офицер, командующий стрельбой, объявил пятнадцатиминутный перерыв. Голова болит от жары и грохота. На наблюдательном пункте, кажется, Ваш отец вместе со стариком Шеллем. Они ведут стрельбу всей бри-

гадой, то есть всеми шестью батареями сразу, стрельба редкая, но ужасно методичная, упорная, назойливая.

Это, вероятно, последние приготовления перед прорывом немецкого фронта. Так называемая артиллерийская подготовка. Господи, только бы...

Право, кажется, если бы нам удалось прорваться и отнять у немцев ближайшую цель нашего наступления — город Вильно, то не надо мне ничего: ни славы, ни здоровья, ни даже Ваших писем...

Простите, прерываю письмо: надо идти чистить оружие, будь оно трижды... Виноват!.. Ей-богу, для нашего брата батарейца страшен не бой и даже не самая смерть, а чистка орудий...

...Ну, слава богу, почистили.

Я весь в орудийном сале и керосине. Время тянется невыносимо скучно. Я ждал жарких боев, передвижений, наступления, атак и прочего. А вместо всего этого скучное стояние на позиции, которую герман обстреливает шестидюймовыми бомбами. На днях пришлось пережить страшный обстрел. Я как раз был дневальным на новой позиции своего взвода. Позиция еще не занята орудиями. Блиндажи еще пустые. Я их охраняю. Но они находятся очень близко от пехотных окопов, всего саженях в двухстах. Так как одному дневалить скучно, то я забрался в окоп к телефонистам штаба батальона, где вместе с пехотными дежурят также наши артиллерийские телефонисты — мои друзья.

Мы варили суп из молодого щавеля, который в изобилии растет среди развалин Сморгони, а также грели чай на костре. Вдруг нас побросало на землю, и по головам из всех сил хлопнул упругий выстрел, как бы на один миг окрасивший все вокруг в кроваво-красный цвет. Сразу запахло какой-то химической гадостью. Вроде фосфора. Запах, характерный для немецких тяжелых бризантов. Мы ринулись в окоп спасаться.

А тут — массированный обстрел!

Снаряд за снарядом. Крыша землянки, как назло, жиденькая, тощенькая, всего в два наката. Бомбы ежеминутно рвутся рядом с землянкой.

Грохот... Химический запах... Сумбур в голове... И страх, страх... Даже не страх, а ужас... Непреодолимый, животный. Одна-единственная мысль острым гвоздем сто-

ит в сознании: если немецкий снаряд прямым попаданием угодит в нашу землянку, то не то что убьет, а испепелит, превратит в ничто. И самое ужасное, что ведь, если разобратся, я сам этого захотел, пошел добровольно.

Я смотрю на телефониста. Он бледен. Губы сиреневые. При каждом свисте пролетающего снаряда мы все как по команде втягиваем головы в плечи и для чего-то прижимаемся к земляным стенкам, как будто это может спасти. Бьет лихорадка. Хочется убежать куда-нибудь в более надежное место. Но без разрешения командира мы не имеем права покидать свой пост. За это военно-полевой суд.

Я хватаю телефонную трубку и даю зуммером сигнал: одно тире. Слышу:

— Квартира у телефона.

— Доложите командиру, что штаб батальона под сильным обстрелом шестидюймовых батарей. Что делать? Просим разрешения перейти в укрепленный блиндаж второго взвода.

Медлительная пауза.

— Командир приказал, если возможно, уйти из штаба батальона.

От сердца отлегло. Мы быстро хватаем свой телефонный аппарат, разъединяем провод и бежим как обезумевшие к спасительному блиндажу. Вокруг ад. Фонтаны черной и рыжей земли. Воют осколки. Но вскоре мы уже в сравнительной безопасности. И тут же начинаем с непонятной жадностью есть сало, захваченное в штабе батальона.

(Свое сало солдат ни при каких обстоятельствах не забудет захватить с собой, хотя бы черти тащили его в некло!)

В блиндаж вкатывается кубарем сверху телефонист-пехотинец. У него как-то странно согнуто тело, глаза дикие, налитые кровью. И жалко, и смешно, и в то же время до ужаса страшно. Он с ног до головы дрожит мелкой дрожью, перепачкан глиной, лоб мокрый от пота. Из трясущихся пальцев валится открытый перочинный нож и кружок черной изоляционной ленты, которой он, видимо, соединял перебитый осколком телефонный провод.

— Вы что? Ранены? Контужены?

Он ничего не в состоянии вымолвить, только продолжает дрожать и плачет. Оказывается, возле него разорвал-

ся снаряд, не убил, не ранил, а только подбросил и ударил об землю — и он до сих пор не может опомниться.

В блиндаж вкатывается еще несколько пехотинцев, застигнутых врасплох внезапным артиллерийским налетом. Они все дрожат как в лихорадке, у всех в глазах мольба: жить!

В угол блиндажа попадает бомба. Разрыва я не слышу и прихожу в сознание неизвестно через сколько времени. На меня смотрят несколько пар солдатских глаз. Оказывается, блиндаж не пробит. Счастливая случайность? Может быть. Но мне кажется, что бог наказал меня бессмертием. Он карает меня необходимостью и в дальнейшем участвовать во всем этом мировом безумии, которое я сам накликал.

Я не ранен. Даже не контужен. Душа моя потрясена.

Обстрел прекратился.

Но мы все сидим еще полчаса в чудом уцелевшем блиндаже, не в силах унять дрожь, и никак не можем прийти в себя.

...потом тихий летний вечер, трава розовая от закатного солнца, цветы. Березки четко рисуются на фоне заката. Через ручей — мостик. На мостике носилки с убитым солдатом. Убитый похож на большую куклу, наряженную в большие сапоги и рваную, окровавленную гимнастерку. Возле носилок стоят, видимо отдыхая, два санитары. Отвернувшись в сторону, они курят сигарки, свернутые из газеты, и сплевывают в ручей. А. П.».

«22 июня 916 г. Д. арм. 19 июня рано утром, часа в три, на рассвете, из телефонного окопа выскакивает старший на батарее:

— Батарея! Приготовить противогазы!

Это что-то новое и очень грозное. Неужели немцы пустили удушливые газы?

Я дневальный и только что собрался смениться и отправиться в землянку спать. Теперь же я бросаюсь вниз по земляной лестнице уже не спать, а будить спящих.

— Ребята,— кричу,— приготовьте противогазы!

Начинается суэта, некоторое даже замешательство:

впервые надо воспользоваться противогазом. А где эти самые противогазы, обязательное ношение которых до сих пор считалось ненужной формальностью? Противогазы всегда засовывались куда-нибудь подальше, в самый низ походных ранцев или вещевых мешков. Теперь противогазы разыскиваются, извлекаются на свет божий, и их начинают примеривать. Никто толком не умеет с ними обращаться — знали, да забыли.

Я как дневальный, то есть лицо ответственное, среди общего замешательства стараюсь сохранять спокойствие и быть распорядительным. Вместо того чтобы разыскивать свой противогаз и надеть его, приходится расталкивать заспавшихся батарейцев.

Со стороны пехоты слышится быстрый, какой-то непривычно бестолковый, нервный ружейный и пулеметный огонь.

— Батарея, к бою!

Никогда этот, в общем-то, привычный приказ не звучал так тревожно.

В начале войны противогазы были чрезвычайно примитивны: матерчатые наморднички, которые надевались на лицо и завязывались на затылке тесемками. Их следовало смачивать какой-нибудь жидкостью: водой, чаем, а если под рукой ничего не было, то и просто собственной мочой, всегда имевшейся под рукой. Смачивать наморднички мочой считалось даже лучше, так как, дескать, упомянутая жидкость хорошо нейтрализовала ядовитый газ. Но потом на вооружение поступили новые, более усовершенствованные противогазы: жестяные коробки с угольным порошком и резиновым респиратором, через который надо было дышать. Затем имелись очки в жестяной оправе для предохранения глаз, а также особые щипчики, которыми следовало защипнуть нос, чтобы удушливый газ не попал через ноздри в легкие. Щипчики висели на веревочке. Все это надо было долго прилаживать, а между тем огонь на передовой усиливается до шквального.

Нервы дрожат, как натянутые струны. Ведь именно нынче вечером должно было начаться наше наступление. Неужели немецкая разведка пронюхала это и немец упредил нас?

— Противник на участке Аккерманского полка выпустил газы! — раздается отчаянный крик из телефонного окопчика. — Надеть противогазы!

Мы быстро, но не совсем умело надеваем противогазы, надеваем очки, зажимаем щипчиками носы, прилаживаем ко рту резиновые респираторы. Сквозь мутные, непротертые стекла очков плохо видно, но еще труднее дышать. Сидим как чучела друг против друга с щипчиками на носах, стараясь дышать поаккуратнее. Дверь в землянке распахнута. Лампа, висящая над столом, еще не погашена и горит по-утреннему тускло, как бы утомленно.

Дышать все тяжелее. Тишина. В висках стук. Чувствуешь, как кровь с напряженным шелестом струится по венам и артериям. Сверху в дверь начинает вползать слабый зеленоватый туман. То ли это обыкновенный утренний туман, то ли... ужасная догадка: неужели это и есть тот самый страшный удушливый газ, о котором мы столько слышали?

Но почему-то никому не приходит в голову, что нужно выйти из землянки наверх. Как-то привыкли считать, что в землянке, под тремя накатами безопасней.

Через несколько минут напряженного молчания и сопения кто-то начинает каплять в респиратор. Канонир Ищенко по прозвищу Старик клонит голову и делает руками какие-то умоляющие знаки. Он задыхается. И никто не знает, что нужно делать, как помочь. Еще несколько человек с хрипением опускают головы. Они явно задыхаются. Я же почему-то чувствую себя замечательно. Мой респиратор хотя и хрипит, но довольно хорошо пропускает очищенный воздух.

Но что же делать? Чем разогнать газ, медленно наползающий, мощный, как тяжелая вода, сверху в наше подполье?

Инстинктивно хватаю из ранца пачку писем мне, зажигаю и кидаю на земляной пол. Огонь и дым. Прощайте, милые письма, полученные мною из тыла от друзей и близких. Они так помогали мне переживать все тяжести войны. А Ваши письма особенно. Я берег их как драгоценность и часто перечитывал. Но что же делать, если другой бумаги не нашлось?

Костер горячей бумаги. Дым и огонь борются с наползающим удушливым газом.

Старик погибает. Вот он уже лежит на земляных нарах, хрипит и судорожно пытается сорвать со рта респиратор, который, как видно, засорен и не дает дышать. Если сорвет — верная смерть. Я хватаю его за руки. Мы боремся. Но в этот миг сверху раздается крик:

— Батарея, к бою!

Мы выползаем наружу. Я буквально силой выволакиваю Старика наверх. Все вокруг в газовом тумане. Каждое движение затрудняет дыхание. Но все-таки легче, чем под землей. Взводные передают команду своим орудиям. Их голоса звучат сквозь респираторы противогазов каким-то диким хрипом. Каждое слово для них почти губительно. Но ничего не поделаешь — надо же командовать стрельбой. В этом их подвиг: вести стрельбу во время газовой атаки.

От утреннего холода начинаешь знобить. Хочется лечь на землю и уткнуться головой в траву. Но воинский долг есть воинский долг. Батарея ведет огонь, но работать при орудии невероятно трудно. Забираясь под очки, газ щиплет глаза. Дышать уже почти невозможно. Еще несколько минут — и мы погибнем. Батарейный фельдшер в противогазе проносит на своем могучем плече, как мешок с овсом, кого-то из потерявших сознание. Кто-то обезумевший срывает противогаз, пробегает с кровавыми глазами и кровью из носа и в судорогах падает на землю.

Но батарея, хотя и с трудом, с перебоями, не прекращает огня. Стреляем из последних сил. Почти в бессознательном состоянии я ставлю ключом дистанционные трубки, еле различая цифры на алюминиевом кольце шпательной боеголовки.

— Прицел сто тридцать, трубка сто двадцать пять, десять патронов беглых!

Умеренный утренний ветерок медленно рассеивает и уносит шлейф удушливого газа. Старший по батарее отрывает от губ респиратор противогаза, подавая пример и всем нам. Мы с облегчением следуем его примеру.

Но теперь неприятель начинает обстреливать нас восьмидюймовыми снарядами. Первый же снаряд попадает в соседнее орудие, только обломки колес полетели вверх ко всем чертям. Результаты: пять человек контужены, один ранен, четверо еще раньше отравлены газами.

Обстрел батареи продолжается. Снаряды рвутся совсем близко, глушат и притупляют сознание. Мы отвечаем,

стреляя до изнеможения, и я уже ничего не чувствую, ничего не сознаю, ничего не боюсь и хочу всем своим существом только одного: тишины, степной южной ночи, сверчков, звездного неба.

По-моему, подобные мысли на батарее, ведущей смертельную дуэль,— признак начинающегося сумасшествия. Но что же делать, если это именно так.

Бой кипит до полудня. Потом отбой. Все батарейцы в изнеможении от усталости. Устали от грохота, от свиста осколков, от газов, от работы при орудии, от ежесекундного страха смерти...

Подсчитываем потери. Уносят раненых. Уводят контуженых. Убитых, как это ни странно, нет. Это сама судьба бережет меня и всех моих окружающих для каких-то неизвестных нам высших целей. Нет, серьезно. Даже странно. Я все время чувствую какую-то свою зловещую неприкосновенность. Теперь бы залезть в землянку и погрузиться в беспмятство сна.

Двое из контуженых еще продолжают лежать в землянке на нарах. Они спаслись от верной смерти просто чудом. Бледны, измучены, истерзаны ужасом, в полуобморочном состоянии. Я стараюсь помочь им чем могу. Но чем могу я им помочь? Я сам еле стою на ногах, наглотался газов, тошнит, в глазах темно. Безумно хочется спать, спать, спать...

Но черта с два! Не тут-то было! Изволь носить пустые лотки, подбирать стреляные гильзы, которых накопились кучи, выгружать ящики новых, только что привезенных снарядов и т. д.

Наконец — чистить орудие! А ведь я Вам, кажется, писал, какая это мука!

Производим всю эту работу, собирая последние силы. Но это только так кажется, что последние. Их хватит, этих последних сил, еще на многое... Служба есть служба!

Мимо батареи по шоссе, мимо столетних кутузовских берез проносят носилки с ранеными. Сплошной вереницей тащатся с передовой санитарные и простые обозные повозки, нагруженные, как дровами, почерневшими трупами и полутрупами пехотинцев, попавших первыми под удушливые газы.

А когда газы дошли с передовой линии до нашей батареи, то их убойная сила почти иссякла. Да и ветерок нам помог. А то бы... И подумать страшно.

...Идут по шоссе в тыл на переформирование, еле передвигая ноги, с трудом таща на плечах винтовки, серые пехотные солдатики с пеньельными лицами... и офицеры, пехотные прапорщики, мальчики девятнадцати — двадцати лет, которые еще совсем недавно гоняли голубей, играли в футбол, ухаживали за гимназистками, писали в альбом стихи...

Из дивизиона прибегает телефонист. Оказывается, землянка дивизионного командира разворочена до основания восьмидюймовым снарядом, превращена в яму с водой. Все место вокруг обстреляно специальными снарядами с удушливыми газами; соединение цианистого калия еще с какой-то химической дрянью называется хлорциан. Ветерок приносит со стороны разбитой дивизионной землянки запах, похожий на испарение эфира или чего-то в этом роде. Что-то одуряющее, сладковатое, миндальное, зловещее.

Однако, как это часто бывает, в дивизионной землянке как раз случайно никого не оказалось. Все были на наблюдательном пункте.

Часа два отдыхаем, а потом на батарею приходит приказ: в восемь часов вечера приготовиться к бою и навести орудия по таким-то и таким-то целям, заранее уже пристрелянным.

Солдатский телеграф тут же сообщил, что мы будем наступать на высоту правее дороги, которая проходит как раз рядом со вторым дивизионом нашей бригады. В восемь часов вечера предполагается взорвать минные галереи. Их уже давно втайне от немцев выкопали саперы впритык к неприятельским позициям. После взрыва наша пехота бросится в атаку и попытается выбить ошеломленного неприятеля с высоты, командующей над местностью.

Розово. Закат. Березы. Дула наших трехдюймовок смотрят на багровый диск заходящего солнца. Ни единого звука, кроме неугомонных жаворонков. Синие лампадки васьильков.

Васильки — как синие лампадки в алом храме золотой зари.

Что, не нравится? Слишком кудряво? Безвкусно? Согласен. Но ведь каждый миг... Эх, да что там говорить! Где наша не пропадала! Рядом со смертью даже обыкновенная пошлость делается священной. Может быть, это моя последняя мысль?

— Через пятнадцать минут всем укрыться в блиндажи и окопы. Будет взорвана подземная галерея. После взрыва оставаться пять минут в укрытии, а затем номерам занять свои места у орудий. Будет бой. Открывать быстрый и точный огонь. — Таков приказ с наблюдательного пункта, переданный по телефону на батарею.

Все укрываются в блиндажи и с напряжением ловят малейший звук со стороны пехотной линии. Пятнадцать минут проходят. Ожидается страшный взрыв, грохот, землетрясение. Шутка ли? В минную подземную галерею заложено пятьдесят пудов динамита. Но никакого грохота нет. Вместо этого земля вокруг нас начинает потихоньку вздрагивать. Дрожь земли усиливается. Окоп, в котором мы сидим, качается, как корабельная каюта во время крепкой волны. Со стороны пехоты до нас доносится глухой слитный треск ружейной пальбы.

Выскакиваем из-под земли наверх. Взбираемся на земляной отвал окопа. На западе из-за леса поднимаются тяжелые зелено-желто-черные скалистые массы дыма. Они медленно ползут в зенит безмятежно розового закатного неба. Вокруг темно, как в пещере. В ужасающей тишине опять слышится крик фейерверкера:

— Батарея, к бою!

И через миг вокруг нас уже настоящий ад: артиллерийский бой, который много раз уже пытались описать, и всегда неудачно, потому что ни слов подходящих, ни красок таких нет.

Грохот пятнадцати батарей разных калибров сливается с ружейной и пулеметной дробью, сквозь которую слышится отдаленное «ура» пехоты, идущей в атаку. В ушах нечто вроде кузницы.

Смеркается.

Я работаю орудийным номером. Номеров мало, а потому приходится исполнять обязанности за троих: устанавливать дистанционные трубки, заряжать и подносить лотки с унитарными патронами. Лотки тяжелые. Взвалишь на каждое плечо по лотку и бежишь от погреба к орудию.

В ушах стоном стоят надорванные голоса орудийных фейерверкеров, бегающих по батарейной линейке с записными книжками, где записаны цели и прицельные установки.

— По цели номер двенадцать два патрона беглых!.. Четыре патрона беглых!..

Почти каждую минуту мое орудие бросает в сгущающуюся темноту багровые полотнища яркого огня, и тогда елочки маскировки вдруг выхватываются из тьмы, словно отлитые из червонного золота, и тут же погружаются во мрак до следующего выстрела.

Из дула прыгающего орудия летит сноп искр.

Я ослеплен и оглушен. Со стороны пехоты «ура» усиливается. Офицер, командующий стрельбой, кричит сорванным голосом, стараясь перекричать грохот боя:

— По телефону передают!.. По телефону!.. Аккерманский полк!.. Передают из пехоты!.. Аккерманцы заняли первую линию немецких окопов!.. Немецких окопов!.. Девяносто восемь немцев взято в плен!.. Девяносто восемь!.. Захвачено четыре пулемета!..

В душе вспыхивает радость. Впервые я неожиданно для самого себя чувствую поэзию и вдохновение боя.

Батарея работает с удвоенной энергией, ведя огонь безукоризненно точно и быстро. Недаром же наши трехдюймовочки называются скорострельными.

Через час новое сообщение:

— Аккерманцы заняли вторую линию! Высота наша! Немцы отступают!

От восторга я чуть не кричу «ура».

Бой продолжается всю ночь до утра. На рассвете все стихает. Мы ложимся отдыхать возле своих пушек прямо на земле, среди стреляных неубранных гильз и осколков. Сквозь сон слышу, что Аккерманский полк залег между второй и третьей линиями неприятеля. Слава богу! В наказание за газы пленных не брали. Перекололи всех. Так им и надо!

Впрочем, нет. Голос порядочности говорит, что колоть пленных — гадость и низость. Но другой голос, как бы опьяневший от крови, кричит: неправда! так и надо! коли! бей! уничтожай! И вдруг я сам себе делаюсь отвратителем... Боже мой! И это я? Тот самый нежный, мечтательный влюбленный, который... Нет! Я уже ничего не понимаю. Понимаю только одно: есть и спать. Но нет! Опять «батарея, к бою!» Опять бой. Опять оглушающий грохот. Теперь мы отбиваем немецкие контратаки. Бьемся без перерыва двое-трое суток. Высота наша. Ее взять помогли взорванные мины галереи, проложившие в земле траншеи, в которых закрепилась наша пехота.

Сейчас уже 22 июня. Наверное, ночью снова будет бой. Вот уже наша соседка справа, третья батарея, начинает стрелять очередями. Сейчас будем и мы. Я устал, устал. На душе темно. Отчего Вы не пишете? Я с каждой почтой ожидаю от Вас весточки. Неужели Вы забыли прошлое лето? Ваш собственный корреспондент А. П.

Газы выели вокруг всю зелень. Трава — как осенью. Листья берез пожелтели, будто их облили серпой кислотой. Жуткий вид. Вот Вам пожелтевший от фосгена молодой березовый листок, сорванный мною на нашей батарее. Сохраните его в назидание потомству. Саша».

Я тщетно искал среди ветхих страничек березовый листик, некогда сожженный фосгеном. По-видимому, он давно уже истлел и рассыпался в прах.

Как сейчас вижу кучу сжигаемых мною писем на земляном полу землянки, и особенно мне жалко одно-единственное от Ганзи, которое она прислала мне на фронт скорее всего лишь потому, что считалось хорошим тоном хотя бы раз написать на фронт знакомому воину — офицеру или солдату, как бы подчеркивая этим свой патриотизм. В письме Ганзи было несколько строк, в которых она ободряла меня и желала всего лучшего, однако же не просила меня ей писать. Помню, как я был взволнован, получив в канцелярии конверт, надписанный ее почерком. Помню, как я шел с ее письмом в кармане из канцелярии на батарею.

«22 июля 916 г. Д. арм. Дорогая... Дождь. Холод. Сыро. Серо. В халупе неудобно и пусто. Не хочется ни читать, ни писать. Натер себе ногу и не могу ходить. Батарея сто-

итло аэропланам. Охраняем стоянку нашего знаменитого аэроплана — гиганта «Ильи Муромца». Впрочем, их не один, а два, но не знаю, как будет родительный падеж, множественное число: «Ильей Муромцев»? Ну, кончаю. Всего Вам доброго, моя славная, дорогая Мин. Живите счастливо и весело. Не болейте. Не простужайтесь. Влюбляйтесь в студентов. Берите от жизни все. Я сейчас в очень скучном настроении и не могу написать Вам ничего интересного. Был отравлен газами. Ваш отец навестил меня в лазарете. Я был очень тронут. Но все обошлось, остался лишь кашель. Ну улыбнитесь же мне! За окном дождь и порывистый, совсем не южный, холодный осенний ветер, а во дворе кричат куры. Кажется, надо говорить — не кричат, а квохчут? Ну пусть квохчут. Но это не важно. Ваш А. П.».

Столько событий — и такое коротенькое письмо, всего одна страничка небрежным почерком. Видно, опять начался прилив любви к Ганзе, как я ни старался заменить ее в сердце своем Миньонкой.

Я думаю, что этому приливу способствовала сумрачная, холодная погода, напомнившая мне ту осень, когда однажды собралась наша постоянная компания и очутилась в глухом приморском переулке, в саду чьей-то дачи с заколоченными окнами и уже по-зимнему завернутыми в солому штамбовыми розами на клумбе, усыпанной рыжими листьями.

В поисках уголка мы забрались в беседку и некоторое время прислушивались к гулу штормового прибора, звеневшего бронзой в прибрежных скалах, и к пронзительному крику чаек, летающих среди клочьев морской пены.

Черные стволы осыпавшихся деревьев, ранняя ржавая заря, запах гниющих астр.

Мы сидели — кто на сырой скамье, кто прямо на дощатом круглом столе, кто верхом на перилах. Девочки были уже в зимних пальто, но еще в кастровых форменных шляпах, а мальчики в теплых шинелях, попахивавших нафталином.

Нас было всего человек шесть.

Ганзя Траян сидела на столе, свесив ножки все в тех же почти детских башмачках на пуговицах и все в том

же черном плюшевом пальто, в котором была в тот незабвенный мартовский день, когда я впервые уви-дел ее.

Я вспомнил, как тогда вечером сидел на подоконнике один, думал о ней и мне казалось, что начинается прекрасная, светлая, ясная любовь, которую я предчувствовал еще зимой, выздоравливая после скарлатины, а в тихой квартире на обоях краснели закатные отпечатки окон.

В моем юношеском романе это было описано примерно в таком роде. У него (то есть у меня) на душе было так чисто, хорошо и просто. Он (то есть я) не сомневался, что если бы она узнала его поближе, прислушалась к его словам, пригляделась к нему, то, наверное, сразу бы полюбила его (то есть опять же меня, так как роман был написан в третьем лице, хотя я имел в виду именно самого себя).

«Ему (то есть мне) было досадно, что тогда, в марте, когда ходили за фиалками, я так мало говорил с ней, и мне очень хотелось поскорей увидеться с ней снова и доказать, что он достоин любви, что он не такой, как все, а особенный. В том, что я особенный, неповторимый, я почему-то никогда не сомневался. Уверенность в своей неповторимости была так крепка, так естественна, что я даже и не пытался объяснить себе, почему, собственно, я единственный и неповторимый. Эта уверенность была как бы врожденной. Он напряженно и бессознательно повторял ее странное имя, сквозь которое все вокруг получало как бы некое новое значение. Мир вокруг обновился. В этом мире царила только она одна. У нее такое особенное лицо. А какое такое? На этот вопрос я не мог ответить, потому что не мог его вспомнить. Оно было неуловимо, абстрактно. И у нее были такие печальные, тоже абстрактные глаза. Вероятно, она глубокая, но скрытная натура. Несомненно, у нее есть какой-то свой, особенный, прекрасный, ни для кого не доступный душевный мир, в котором она живет одна и в который никого не пускает. Даже влюбленного в нее Вольдемара. Она одинока. Одиночество ей тягостно. Но когда-нибудь, и даже, наверное, очень скоро, она встретится с таким же, как она, умным, глубоким, одиноким, особенным, единственным в мире молодым че-

ловеком, который поймет ее, полюбит — но, конечно, не такой пошлой, мещанской любовью, как, например, Вольдемар, а любовью возвышенной, прекрасной, достойной ее, впустит ее в свой тайный душевный мир, и с ним она будет вполне счастлива. Этим человеком будет он. Иначе и быть не может, потому что разве есть на свете хоть один человек, который умел бы так сильно ее полюбить с первого взгляда и был бы лучше и поэтичнее его? Надо только, чтобы она поняла это. И он беспрестанно думал об их будущей любви и счастье, которое ему представлялось несколько литературно: запущенный сад, кусты цветущей сирени, закат, а может быть, и не закат, а раннее солнечное утро, и они идут вдвоем, совсем одни по благоухающей аллее. Самой судьбой они предназначены друг для друга. Но только она должна это понять, и тогда... О, тогда!..»

Так оптимистично я представлял себе дело в своем романе, путая «он» и «я».

Однако что же? Да ничего. Наступило и прошло лето, на время приостановившее болезнь моей любви, так как все разъехались. Потом наступила осень, а с нею и на время забытая любовь. Я не сказал бы, что любовь вспыхнула с новой силой. Она просто при первой же встрече обнаружилась, как не слишком опасная, но неизлечимая болезнь, довольно мучительная.

И вот:

«Деревья шептались, а сад пожелтый отжившие листья ронял».

Расстегнув шинель, Вольдемар достал из бокового кармана щеточку для усов и бровей, а также гребешочек, которым, сняв фуражку, поправил пробор. Затем, повернув к Ганзе красивое лицо с черными бровями, усиками и подбритыми височками, запел с надрывом: «Я вновь пред тобою стою очарован и в ясные очи гляжу».

Он пел высоким любительским тенором, дрожащим фальцетом, откровенно обращаясь к Ганзе, только к ней одной. Он отдавал ей всю свою душу. И это понимали все. Он вымаливал у нее взаимности, и она с лицом, полуза-

крытым полями форменной шляпы, казалась совершенно равнодушной.

Я силился угадать, какие чувства владеют Ганзей. Скорее всего ею не владели никакие чувства. Она как бы даже не понимала, что Вольдемар поет исключительно для нее. Или делала вид, что не понимает. А у него в глазах стояли слезы, и горло с небольшим кадыком вылезало из узенького крахмального воротничка и напряженно дрожало.

«Она его не любит»,— думал я, сам себе и веря и не веря. Но одно только чувствовал я, что меня она не полюбит никогда.

Почему? Неизвестно. Между нами с самого начала возникла как бы непреодолимая преграда. Мы легко разговаривали друг с другом, даже шутили, больше того, мы чувствовали друг к другу приязнь. Но мне этого было мало. Я жаждал взаимной любви. А ее-то и не было.

Я любил Ганзю, если так можно выразиться, отвлеченно, как будто не я ее увидел, и выбрал, и вспыхнул, а кто-то другой, не ведомый ни мне, ни ей, выбрал ее для меня на всю жизнь, не спрашивая, хочет она меня полюбить или не хочет.

Все совершалось помимо меня и помимо нее.

Может быть, моя любовь к Ганзе была не материальная, а то, что называется платоническая, и не вызывала в ней ответной искры.

Но, боже мой, насколько эта платоническая, еще даже не юпошеская, а детская любовь оказалась сильнее той, другой, уже не вполне платонической, а материальной, даже почти страстной влюбленности, которая ненадолго вспыхнула летом, когда у нас во дворе появились девочки в кружевных платьях, из которых одна была уже совсем взрослая барышня, две другие — близняшки-третьеклассницы, а средняя, с короткими бронзовыми кудряшками и серо-лиловыми глазами была Миньона.

Жаркими июльскими ночами Миньона снилась мне, она овладела моей душой, и я забыл Ганзю.

И вдруг осенью в осыпающемся саду, куда уже незаметно прокрались ранние сумерки, а в беседке, где сидела наша компания, сделалось совсем темно, я почувствовал такой прилив любви к Ганзе, что у меня похолодели руки. Я понял, что люблю по-прежнему ее одну и никакой другой, кроме нее, не существует, а почему — неизвестно.

Я почувствовал щемящую грусть.

«Деревья шептались, а сад пожелтый отжившие листья ронял. Смеркалось. И вдруг чей-то голос несмелый в вечерней тиши задрожал. Окрепили и льются певучие звуки, и с каждым мгновеньем растет в них властная нота непонятой муки и слез накопившихся гнет».

«Я вновь перед тобой стою очарован и в ясные очи гляжу».

«Певец неизвестный, ты счастлив, страдая, ты можешь хоть в песне любить и, в звуки дрожащие душу влагая, страданья свои облегчить. А я, с любовью своей одинокой, никак не согретой, живу, без жгучего взгляда, без песни глубокой, без светлого сна наяву».

Все померкло в моей душе. Чем же все это могло кончиться? Ничем.

И вот теперь в белорусской халупе, где-то в районе, под шум холодного ветра, глядя в маленькое окошко на белые пузыри проливного дождя, я с отчаянием произносил ее имя: Ганзя, Ганзя, неужели ты меня никогда не полюбишь? Уж лучше тогда пусть меня убьет осколок немецкой гранаты.

«25 июля 916 г. Действующая армия. Дорогая Миньона, докладываю, что после боя 19 июня, о котором я подробно писал Вам, началась полоса боев. Ночи превратились в непрерывный оглушающий грохот, блеск разрывов, пулеметную дробь, напряженную, сверх человеческих сил работу возле орудия и пр.

Дни — мертвая тишина на батарее, ослепительный летний зной, тяжелый, кошмарный сон без сновидений, без мыслей и ощущений бытия.

Только когда в полдень приезжает кухня с обедом, люди в силу физической необходимости выползают из прохладной глубины окопов-погребов. Лица у всех помятые, опухшие от сна. Тоже бредят во сне, вскакивают, скрипят зубами, стонут, мычат. Я так утомлен, истерзан. Болят глаза. И я это чувствую во сне. Мучительно! Наверху, на батарейной линейке, тягостная тишина. Зной. Слышатся чьи-то шаги и звон шпор. Дверь отворяется, и в подземный сумрак блиндажа коео падает широкая полоса яркого полуденного света.

В блиндаже храп, сопение, стоны сквозь сон... Можно подумать, что на нарах лежат тяжелобольные, умирающие...

Я открываю глаза и вижу в дверях, в столбе солнечного света сухую фигурку Тесленко с биноклем через плечо. Он подходит к нарам и долго, внимательно всматривается в спящих солдат. Вся его фигура выражает трогательную заботу. Он как бы шепчет спящим солдатам: «Спите, милые, отдыхайте».

Сиросонья я удивленно смотрю на Тесленко и ничего не понимаю. Сажусь на нарах и что-то бормочу непонятное.

Тесленко смотрит на меня и смеется. Говорит:

— Вольноопределяющийся Пчелкин, спасибо за службу. Как себя чувствуете? Ну спите, спите... Не вставайте. До свиданья, Пчелкин, вы вчера ночью были молодцом!

Он выходит из землянки, и только тогда я вскакиваю и становлюсь по стойке «смирно». Но уже поздно. Его шпоры звучат наверху, на батарейной линейке. Вслед ему я бормочу: «Рад стараться, ваш... вско... бродие» — и тут же падаю на нары, погружаясь в сон, похожий на небытие.

Вокруг сопят, плачут во сне, тяжело стонут, всхлипывают»...

Прочитав полустертые временем строки, я вспоминаю этот случай с Тесленко, имевший тогда для меня большое значение. Дело в том, что недавно произведенный в штабс-капитаны и назначенный командиром нашей батареи Тес-

ленко был, как тогда говорилось, из простых, чем очень отличался от других офицеров нашей бригады, в большинстве дворянских и помещичьих сыновей.

Все в Тесленко, начиная от фамилии, было простонародно, а внешностью своей он скорее походил на пехотного солдата, чем на артиллерийского офицера, разве что от солдата его отличал цейсовский бинокль и хромовые офицерские сапоги, впрочем довольно потертые. Ну и, конечно, четыре новенькие звездочки на офицерских полевых погонах, не золотые, а защитного цвета.

Он был, как уже упоминалось, любимцем солдат и быстро делал карьеру, но не по протекции, а по личным качествам самого храброго офицера в бригаде, умевшего лучше всех стрелять, то есть вести огонь батареи с наблюдательного пункта: быстро, точно, не хоронясь от неприятельских пуль и осколков за бруствер. Если надо, он стоял во весь рост, наблюдая за тем, как ложатся наши снаряды.

Остальные офицеры бригады — чаще всего так называемая белая кость — его недолюбливали; впрочем, как и он их. Конечно, это не имело характера антагонизма, а скорее скрытой неприязни.

Тесленко видел во мне недоучку, попавшего в бригаду по протекции генеральской дочки, с тем чтобы пробиться в прапорщики или даже, чего доброго, схватить Георгиевский крестик. Единственно, чего Тесленко не мог понять — почему я не воспользовался привилегией жить вместе с офицерами, а зачислился на батарейный котел и поселился с солдатами. Он сразу же взял меня на заметку и через фельдфебеля подпрапорщика Ткаченко, своего верного слугу и помощника, стал приводить меня в христианский вид, то есть выбивать из меня дух свободного волонтерства: романтическую дагестанскую папаху, кожаную куртку, офицерский пояс и слишком широкие погоны с накладными пушечками, но без номера части.

Через того же фельдфебеля он обмундировал меня, как положено нижнему чину артиллерии — канониру, — и посадил за зубрежку всех воинских уставов. Он неукословно следил за тем, чтобы при встрече с ним я становился во фронт, чего от других батарейцев не требовал. Дело в том, что по уставу нижним чинам, как правило, полагалось становиться во фронт не только генералам, но также и своему ротному или батарейному командиру, если даже он был младшим офицером. В действующей армии, в виду неприятеля, под огнем это не очень соблюдалось, но так

как я уже один раз нарвался на командира дивизиона, а Тесленко строго следил, чтобы я не манкировал, то я тянулся изо всех сил.

Короче говоря, Тесленко решил или сделать из меня исправного солдата, или замучить дисциплинарными взысканиями и в конце концов выпереть из батареи.

Я это понял и решил не давать повода к неудовольствию своего батарейного командира, старательно исполняя все свои обязанности.

В последнем бою таскал на плечах тяжелые лотки со снарядами из погребца на батарею, обливаясь потом; торопясь и еле дыша, холодея от свиста немецких снарядов, которые рвались совсем близко и даже иногда осыпали меня фонтапами сырой земли и оглушали скрежещущим полетом зубчатых осколков, я все-таки, пробегая мимо командующего стрельбой Тесленко, каждый раз становился ему во фронт и делал это до тех пор, пока он не крикнул мне сквозь грохот разрывов:

— Ну уж ладно, хватит! Можете не становиться во фронт! — Махнул рукой и вытер свое маленькое, как бы помятое личико перчаткой.

Теперь же, спустившись в землянку к спящим батарейцам, он похвалил меня за хорошую службу, и я понял, что в устах легендарного Тесленко это была не только похвала, а как бы даже боевая награда вроде Георгиевской медали, посвящение меня в настоящие боевые солдаты.

Может быть, именно с этого дня началась моя подлинная фронтовая жизнь.

Странно, что об этом важном событии я ничего не написал Миньоне. О каком только вздоре я ей не писал, а об этом, быть может самом значительном, — молчок.

Да что ж... Мальчишка был, о себе прошлом думаю я, и мальчишка довольно-таки скверный. Может быть, я, этот мальчишка, и был носителем бациллы войны: стапавился под артиллерийским огнем во фронт и чувствовал себя героем.

«В разгаре боев, — было написано дальше в моем письме Миньоне, — днем иду я в лавочку, чтобы купить кофе и папирос, без которых уже не могу обойтись. Привык! По дороге встречается какой-то пехотный подпоручик, который, увидев меня, кричит во всю глотку:

— Пчелкин! А чѳоб ты пропал! Иди сюда!

Я обдергиваюсь, направляюсь к нему строевым шагом и строго по уставу, с рукой под козырек, не доходя четырех шагов, останавливаюсь как вкопанный и рапортую:

— По вашему приказанию прибыл. Чего изволите, ваше благородие?

— Ты что — выпил или опупел? Какое я тебе благородие? Не узнал, что ли?

Вглядываюсь. И вдруг, к своему крайнему изумлению, узнаю в пехотном подпоручике своего бывшего гимназического товарища Мишку Подольского, который еще в прошлом году бросил гимназию и поступил в военное училище, выпекавшее за четыре месяца пехотных прапорщиков. Теперь он уже дослужился до подпоручика, на его шапке болталась красная лента темляка ордена Анны четвертой степени, так называемая клюква, и он даже, ввиду большой убыли пехотных офицеров, уже командовал ротой.

Я его сразу не узнал, потому что на его сильно загорелом лице выросли довольно большие усы и вообще... Офицерские погоны, на шапке клюква... Сами понимаете!

— Ах, черт возьми! Какими судьбами? Ты где?

— В Аккерманском полку. Командую ротой, брат. А ты?

— В Шестьдесят четвертой артиллерийской.

— Артиллерия — бог войны.

— Пехота — царица полей.

Обменявшись армейскими любезностями, через некоторое время я уже сижу у Подольского в землянке, и мы пьем чай из настоящих стаканов, с настоящим вишневым вареньем без косточек и курим настоящие папирсы фабрики Попова «Сальве» с противоникотиновым фильтром в мундштуке.

Шикарно!

Все-таки мне как-то не по себе, и я никак не могу отделаться от мысли, что мне, нижнему чину, приходится сидеть в присутствии офицера, хотя этот офицер всего только Мишка Подольский, не более. То и дело я вскакиваю, тянусь и называю его «ваше благородие». Видно, школа Тесленко и Ткаченко дает себя знать.

Впрочем, вскоре, как Вы понимаете, начинаются интимные разговоры о женщинах, о любви...

А о чем еще могут разговаривать на фронте два молодых военных в перерыве между боями?

Он повествует о своей последней любви, а я ему о своей, разумеется, не называя имени.

Говорит подпоручик Подольский настоящим армейским баритоном и обращается к своему денщику (подумайте только, у Мишки уже есть денщик, пожилой тульский благообразный мужичок в солдатской одежде) примерно таким образом:

— А ну-ка, братец, подлей нам еще кипяточку.

Разговор у нас самый задушевный. Мы вспоминаем гимназию и учителя арифметики, которого некогда так боялись. Вспоминаем, как я разбил стекло в актовом зале. Боже мой! Как это было давно и как это было прекрасно!

Миша Подольский кладет ноги на свою походную офицерскую кровать и, пуская колечки табачного дыма в бревенчатый потолок, вещает многозначительно, поднимая брови:

— Да, брат Саша, ничего не скажешь: женщины в нашей жизни — это все! Как хочешь, а без любви не проживешь: любовь, братец Пчелкин, великая вещь!

И он довольно многословно и отчасти витиевато развивает мысль о любви.

Я выпил чай с вареньем (с вареньем!), выкурил штук пять «Сальве» и не имел основания оспаривать его соображения насчет любви.

Тем более что... Впрочем, не буду об этом...

— Да, Миша,— говорю я со вздохом,— любовь — это великая вещь. Полюбить можно раз, только раз всей душой, и любовь эта будет чиста, как лазурное море на юге весной, как росинка в изгибе листа...

— Росинка? — с некоторым изумлением поднимает он брови, но, немного подумав, говорит:— Н-да... Росинка... Пожалуй, ты прав.

Мы условливаемся почаще встречаться, благо служим в одной дивизии, и я ухожу.

Вечером перед началом очередного ночного сражения я мельком вижу его на шоссе рядом с нашей батареей. Он едет верхом на сивой лошадке, ведя свою уже довольно потрепанную роту из резерва на передовую.

Ночью бой, в котором Миша убит, о чем я узнаю от раненого пехотинца Аккерманского полка, бредущего по шоссе в полевой госпиталь.

Вот тебе и чай с вареньем, вот тебе и последняя любовь! Действительно последняя. Спи с миром, дорогой боевой товарищ! Сегодня ты, а завтра я. Тот, кто сумел умереть за родину, вероятно, умел по-настоящему и любить! Умел и имел право на большую взаимную любовь.

Вот так, дорогая Миньона. Скучно на этом свете, господа, как выразился Гоголь».

Прочитав эти строки, я сначала поморщился, а потом рассмеялся, вспомнив, как однажды вскоре после революции в толпе гуляющих по традиционному круговороту (Дерибасовская — часть Екатерининской — Пале-Рояль — узкая щель между Пале-Роялем и стеной городского театра — Николаевский бульвар — опять часть Екатерининской — и опять Дерибасовская; замкнутый круг, вернее некое городское кровообращение во мгле декабрьского вечера, скупо освещенного еще действующими электрическими фонарями), среди демобилизованных офицеров-фронтовиков, черноморских моряков с посыльного судна «Алмаз» и броненосца «Синоп», студентов, гимназистов, приказчиков, проституток, эмансипированных горничных и работниц с табачной фабрики Попова, среди папиросных огоньков, — и вдруг нос к носу столкнулся с убитым Подольским, который уже без погон и с красным бантом на груди, зажатый фланирующей толпой, вел под руку сестричку милосердия в козынке, едва прикрывающей кокетливую челку над широким крестьянским лбом с двумя вертикальными морщинками и подкрашенными бровками в шпурок.

По-видимому, это была его последняя любовь, самая что ни на есть последняя, уже послереволюционная.

Как и следовало ожидать, раненый солдат что-то напутал, потому что Подольский был передо мной вполне живой, и мы с ним обменялись веселыми приветствиями, приложив руки к козырькам.

«22 июня утром, едва только кончился бой и батареи повалились как мертвые в своих блиндажах и один только я остался наверху, будучи дневальным по батарее, как при-

летел немецкий тяжелый снаряд и со страшной силой разорвался недалеко от батареи. За ним другой, третий, четвертый... Да не простые, а восьмидюймовые... И — все они делают порядочный перелет, и вдруг я вижу, что из воронок, вырытых этими снарядами, на батарею ползет какой-то странный, необычный желтовато-зеленый дым, и я чувствую зловещий миндальный запах фосгена. Ясно, что снаряды газовые. Бросаюсь в блиндаж, одной рукой хватаю висящий на стене противогаз, а другой рукой начинаю трясти первого попавшегося спящего батарейца. В мозгу гвоздем сидит одна-единственная мысль: если не успею разбудить, погибнет от газа. И все остальные спящие тоже погибнут.

— Ребята, — кричу, — подъем! Вставай! Живо надевать противогазы!

Потом выскакиваю наверх и начинаю бегать по блиндажам будить спящих. Ведь я дневальный. На мне ответственность.

— Ребята! Вставай! Газы!

Я выкрикиваю эти слова и в то же время пытаюсь натянуть на голову резиновую противогазовую маску новой конструкции, выданную нам взамен устаревшей.

Но уже глаза начинает жечь и щипать. Горло сжимают спазмы. Не имею силы вздохнуть. В груди острая боль, отдающаяся в лопатках. Мысль-молния: наглотался фосгена.

Восьмидюймовые немецкие снаряды продолжают рваться за батареей, и оттуда легкий ветерок тянет на батарею тяжелый ядовитый туман.

Солдаты выскакивают из блиндажей. На их лицах ужас. Они торопливо натягивают на головы новые противогазы. Мне худо. Головокружение. При каждом вздохе в легких кинжальная боль. В висках оглушительный шум. Сначала стучит сильно, звонко и часто. Потом все реже и реже. Сознание неотвратимо уходит. Я уже еле сознаю, что со мной делается. Где? Почему вокруг меня какие-то люди? Кто они? Ах да, тень фельдшера и рядом с ним тень моего взводного. А я сам почему-то лежу на одеяле, разостланном на траве, и почему-то призрак фельдшера берет призрак моей руки, потом подносит к моему носу какую-то склянку. Что-то пронзительно острое. Нашатырный спирт. На миг сознание проясняется. Фельдшер наклоняется надо мной и что-то говорит. Не слышу. Не понимаю. Два

спорящих голоса доносятся как бы из-за глухой стены. Я делаю усилие, стараясь улыбнуться, дать понять, что я жив еще, и в тот же миг лечу в пропасть небытия.

Где я? Трава. Солнце. Ветер. Деревья. Шевелится стеклянная листва. Я укрыт шерстяным одеялом. Ах да! Я узнаю это одеяло. Такие одеяла, пахнувшие карболкой, имеются у нас в околотке. А вот и знакомый доктор. Рыжий. Громадный. Вороньи глаза. Тараканьи усы.

Сразу почему-то вспоминается, как он орудует у себя в околотке вместе с фельдшером по фамилии Шкуропат. Какая странная фамилия. Оба в халатах поверх военной формы.

— Открой рот. Покажи горло.

Доктор немного боком, как ворона, мельком заглядывает в разинутую солдатскую пасть.

— Ангина. Шкуропат, смажь ему горло йодом.

Шкуропат берет из стакана специально обструганную лучинку, оборачивает ватой, макает в склянку с японским йодом и лезет черной, как деготь, ваткой в багровое горло.

Солдат морщится, кривится, сплевывает.

— Иди в батарею. Следующий!

У меня до сих пор при виде не то рачьих, не то вороньих глаз доктора возникает во рту резкий и в то же время мучительно сладковатый вкус японского йода. Почему именно японского? Потому что японцы наши союзники и присылают нам всякие медицинские товары, в частности йод, который выделывают в Японии из океанских водорослей, а также очень маленькие, крошечные термометры — стеклянные палочки немногим больше спички. Их надо не ставить под мышку, а держать во рту, что очень смешит наших больных солдат...

Но теперь доктор наклоняется ко мне, выслушивает меня стетоскопом и командует:

— Шкуропат! Быстро! Поверни его спиной вверх, задержи ему рубаху!

Меня переворачивают, и доктор крепкой опытной рукой вонзает мне шприц в ту же лопатку, куда он недавно вкапывал противохолерную прививку. Я не успеваю крикнуть, как он вгоняет второй шприц. Это камфора.

Впоследствии доктор как-то заметил мне:

— Скажите спасибо, что я не пожалел для вас казен-

ной камфоры и вкатил вам по знакомству не один, а два укола. А то бы вы были уже давно на том свете.

Меня несут в санитарную повозку. Чувствую себя легче. В повозке кроме меня еще четверо раненых и отравленных газом. Двое хрипят, умирают. У них почерневшие, как уголь, лица. Повозку трясет по набитой фронтовой дороге. И под хрипенье умирающих я вдруг засыпаю и через какое-то время вижу чисто вымазанные белые стены какой-то комнаты. Сознание возвращается. Я слышу паровозные свистки, стук вагонных буферов и понимаю, что нахожусь в дивизионном лазарете на станции Залесье. Дышать легче. Понимаю, что спасен. Меня спас второй укол, сделанный по знакомству. Ведь мне приходилось встречаться с доктором еще до фронта у Вас в доме. Кажется, он даже пытался ухаживать за Вами? Значит, в конечном счете это именно Вы спасли меня. Вам я обязан жизнью...

Белый хлеб. Слабый больничный супчик. Халат и туфли. Понимаю, что меня здесь держат на офицерском положении, чем я тоже, вероятно, в конечном счете обязан Вам...

Утро. Солнце бьет в окно. Я только что проснулся. Сажу на постели и думаю. Хочу восстановить в памяти по порядку, что же со мной произошло в течение последних суток. Но все как-то не складывается. Кашляю.

Из соседней палаты доносится позвякивание шпор, и у моей койки появляется Ваш папа. Ну да. Для Вас он просто папа, но для меня, артиллерийского солдата, он ваше превосходительство, генерал-майор, командир бригады, мое самое высшее прямое начальство, так что можете себе вообразить мое самочувствие. Смесь страха, радости и гордости: меня, ничтожного канонира, посетил сам командир артиллерийской бригады.

Это надо понять!

— Здравствуйте, Пчелкин.

Я делаю отчаянную попытку вскочить с койки, но из этого ничего не получается, я падаю обратно на тюфяк.

— Здрав... желай... ваш... дительство... — только и успеваю я пробормотать хриплым голосом.

— Ничего, ничего, лежите, — говорит Ваш папа, улыбаясь Вашей улыбкой. И снова его круглая, ежиком стриженная, серебряная голова, его небольшая фигурка, его

розовые щеки и подстриженные усики, его внимательные серо-голубые глаза сиреневого оттенка напоминают что-то глубоко Ваше, фамильное, милое.

Я очень тронут его посещением, которое произвело большое впечатление на весь лазарет: еще бы, генерал посетил нижнего чина!

Мои шансы в лазарете повисились.

К вечеру Ваш папа присылает мне с адъютантом несколько переводных романов, иллюстрированных журналов и газет. Мне приносят также и почту. В том числе письмо от Вас.

Боже, как хорошо: дни солнечные, душистые, июльские. Поправляюсь после фосгена. Разрешают выходить. В полдень лежу на стое только что скошенного сена в халате, в туфлях и читаю.

Меня хотели отправить на лечение в Москву. Большой был соблазн увидеть первопрестольную! Но я упросил начальство, чтобы меня отправили долечиваться обратно в батарею, тем более что через неделю вся бригада уходит со старых позиций под Сморгонью. А у меня легкие не задеты. Только бронхи, так что надеюсь скоро совсем выздороветь. Может быть, буду хрипло разговаривать — только и всего...

Моя батарея снова назначена по аэропланам. Переход более двухсот верст пешком...

...На днях опять уходим. Если верить солдатскому телеграфу, уходим очень далеко, чуть ли не на другой фронт. Будем грузиться на поезд.

До свидания, до следующего письма, в котором все опишу подробно. А. П.».

В этом моем старом письме, полном множества событий, чувствуется спешка. Я стал вспоминать события, не попавшие в письмо. Прежде всего прощание со старыми позициями под Сморгонью, с местностью, где я прожил почти семь месяцев, к которой привык, где так много пережил, передумал, перечувствовал, где остались развалины костела, поверженное распятие, красное сердце на грудной клетке деревянного Христа.

Всякое расставание — это расставание навсегда, хотя кажется, что все прошлое еще может вернуться. Нет! Прошлое превращается в воспоминание, в нагромождение минувших событий, мыслей, чувств, расположенных уже без всякого порядка. Время уже не властно над памятью. У памяти свои законы. Время исчезает, оставляя лишь хаос раскрепощенного сознания.

Мучительное мгновение превращения настоящего в прошлое. А подлинные события, ушедшие в небытие, вдруг возвращаются откуда-то, как из черного провала обморока, видоизмененные, очищенные, препарированные и бесконечное число раз повторяющиеся в двух перспективах, как отражение горящей свечи, поставленной между двух зеркал, уходит в бесконечность прошлого, а также одновременно в бесконечность будущего.

В бесконечность прошлого и в бесконечность будущего ушли вспомнившийся мне прифронтовой лес, желто-красные колонны мачтовых сосен и маленький пехотный солдатик, мужичок-землячок, сидящий на снегу под сосной. Лес, казавшийся мне до сих пор пустынным, вдруг ожил. Откуда ни возьмись появились солдаты: ездовые в стеганых телогрейках, пехотинцы в коротких порыжевших шинельках, санитары в бязевых халатах. Они стояли вокруг солдатика под сосной, в ужасе глядя на его окровавленную смерзшуюся бороденку, безумные глаза великомученика и трясущиеся руки, протянутые вперед. Ужасные руки с оторванными кистями. Вместо кистей из запястий висела странная лапша, как бы составленная из красных, желтых, и синих оборванных волокон, сочившихся сукровицей.

Солдатик мычал, как немой, и все его тело дрожало мелкой дрожью. Он мычал и плакал. Слезы текли по его лицу.

Оказывается, у него в руках взорвалась дистанционная трубка, которую он свинтил с неразорвавшегося немецкого снаряда. Солдатик пытался развинтить эту боеголовку, дистанционную трубку, с тем чтобы добыть из нее алюминевые кольца, необходимые ему для изготовления алюминевой ложки.

Чувство самосохранения подсказало ему, что боеголовка — штука опасная, и он, чтобы уберечься от возможного взрыва, спрятался за надежный ствол мачтовой сосны, обнял его руками и начал ковыряться ножиком в боеголовке; спасая голову, он забыл о руках. Боеголовка, как и следовало ожидать, взорвалась в руках у неопытного пехотинца и напрочь оторвала ему обе кисти, которыми он, еще не сознавая, что случилось, схватился за лицо и обмазал бороду кровью, уже свернувшейся и почерневшей на морозе.

Эта картина, возникшая из прошлого, встала теперь передо мной с такой стереоскопической детальностью, что я застонал.

Другая картина из прошлого представляла летний пейзаж с песчаным косогором, поросшим диким кустарником, по которому я пробирался из сбоза на батарею. Внезапно я увидел небольшую суглинистую плешину и три фигуры.

Двое из них, судя по погонам, были комендантского взвода, а третий, худой, высокий, белобрысый человек в какой-то странной синеватой шинели, висевшей на нем, как халат, — усердно копал лопатой яму и уже стоял в ней по пояс. Один из солдат комендантского взвода держал ружье на изготовку, а другой, как бы дожидаясь чего-то, курил козью ножку и поплевывал себе под ноги.

В этой группе, расположившейся в глухом месте, вдалеке от артиллерийских и пехотных позиций, показалось мне что-то неприятно-странное, и я спросил:

— Что это вы, братцы, делаете?

На мой вопрос тот солдат, что курил и поплевывал, держа винтовку у ноги и обнимая рукой штык, ответил:

— Да вот поймали в нашем боевом расположении шпиона: чи он переодетый немец, чи поляк. Ничего особенного. А вы, господин вольноопределяющийся, идите себе, куда идете.

Я откозырял и пошел своей дорогой, пробираясь сквозь кустарник, и лишь отойдя на порядочное расстояние, вдруг со всей ясностью осознал значение только что увиденного, в особенности согбенную спину человека в синеватой шинели, стоявшего с лопатой в руках по пояс в яме, его желтые волосы, шевелящиеся на ветру.

В первое мгновение я обомлел, но тут же мне пришла спасительная мысль: ничего, мол, не поделаешь, так надо, война есть война, а шпион есть шпион.

Все же мутный осадок остался на всю жизнь.

Оба случая — и солдат с оторванными кистями рук под мачтовой сосной, и белобрысый шпион, копающий собственную могилу под наблюдением двух стрелков из комендантского взвода, — являлись случаями исключительными. А жизнь на батарее текла своим привычным порядком.

Как это ни странно, война научила многих неграмотных солдат читать и писать.

Зимой, когда почти все боевые операции были приостановлены и жизнь ушла глубоко под землю, в блиндажи и землянки, батарейцы стали скучать. Время заполнилось перечитыванием писем с родины, игрой в самодельные шашки, или, как они назывались, в дамки, чтением вслух неизвестно откуда взявшихся потрепанных лубочных книжек с заглавиями вроде «Любовь авантюристки», «В погоне за золотом», а также классической повести еще, вероятно, со времен Ермолова и покорения Кавказа «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа».

Иногда до глубокой ночи в нашей орудийной землянке чадила керосиновая лампочка без стекла, копать щипала глаза, в густом воздухе топор можно повесить — и батарейцы, затаив дыхание, слушали назидательный голос грамотея, который почти по складам читал им всю эту чепуху.

Я, считая своим долгом «сеять разумное, доброе, вечное», написал отцу, чтобы он прислал мне какую-нибудь книгу Льва Толстого, и, получив «Анну Каренину», начал читать солдатам вслух этот роман. Солдаты слушали его, затаив дыхание, как, впрочем, и все предыдущие книжки, причем больше всех им понравился Стива Облонский, его они весьма одобряли, а что касается Анны Карениной, то она была единогласно названа шлюхой.

Разумное, доброе, вечное мои товарищи по батарее воспринимали весьма своеобразно.

Вообще-то грамотных в батарее оказалось больше, чем неграмотных. Неграмотных всего трое: мой друг Прокоша Колыхаев, цыган из города Ананьева по фамилии Улиер и огромный, как медведь, но по-детски добрый и даже ласковый, со щербатыми зубами сибиряк Горбунов откуда-то с берегов Байкала.

Первым научился грамоте Колыхаев. Он получал через каждые два дня письма от своей обожаемой, как он выражался, благоверной и благочестивой супруги Нины, в которую до сих пор был влюблен и втайне страдал от вынужденной разлуки. Его угнетала необходимость читать ее письма и отвечать на них. А так как в письмах содержались откровенно любовные, а также семейные секреты, то Колыхаев пытался сам их читать, а иногда обращался за помощью ко мне. А уж ответ приходилось писать кому-нибудь из грамотеев под его диктовку, например столяру Попленко, и это Колыхаева очень стесняло.

Поэтому Колыхаеву пришла дерзкая мысль написать жене письмо самому, не прибегая ни к чьей помощи. Попробовал. Забился в угол землянки, достал из вещевого мешка заветную стеариновую свечу, которую очень берег на всякий случай, зажег ее, прилепил к выступу мазаной печки и развернул последнее письмо своей «благоверной, благочестивой и сильно грамотной» супруги Нины. Он изучил его детально и всесторонне, а потом «позычил» у меня лист почтовой бумаги, приладил его к какой-то дощечке и стал что-то царапать химическим карандашом, время от времени обильно его облизывая, отчего губы его стали лиловыми.

Он действовал бесхитростно: переделывал письмо своей супруги, обращенное к нему, мужчине, применительно к ней, к женскому роду. Жена писала «дорогой Прокоша» — значит, следовало написать почти то же самое, но только заменить слово «Прокоша» словом «Нина».

«Дорогой Нина», — вывел он крупными буквами, так называемыми воробьями. Дня через два письмо было готово и отослано. Благоверная Нина, конечно, ничего не поняла, но любящим сердцем угадала, что хотел написать ее дорогой супруг Прокоша. С тех пор Колыхаев писал жене сам, в крайних случаях советуясь со мной, напрактиковался и стал писать весьма недурно.

Потом под моим руководством научился писать сибиряк Горбунов. Начал он писать как-то сразу, хотя и с ошибками, но, в общем, толково. У него появилась мечта стать

вполне грамотным, и я обещал летом научить его как следует писать и читать, а он за это помогал мне стирать белье и научил пилить и колоть дрова.

Цыган Улиер с черно-синей бородой и кудрявой шевелюрой цвета ежевики тоже брал у меня уроки грамоты и даже пытался писать самостоятельно, но ничего у него не вышло. Он был чудесный, добрый, хороший человек, но уж очень неразвитый от природы. Одно письмо жене своей в город Ананьев он писал месяца три, всю зиму, да так и не дописал.

За пять верст от батареи, в тылу, в деревушке Бялы открылась лавочка земского союза. В ней продавались белые булки, сало, табак, рафинад, печенье «Мария» и «Альберт». Когда становилось известно, что лавочка открыта, орудийная прислуга приходила в волнение. Сейчас же снаряжались два-три человека за покупками. Деньжата у солдат водились. Ведь мы получали денежное довольствие. Канонир получал пятьдесят копеек в месяц, бомбардир — семьдесят пять, младший фейерверкер — рубль десять копеек. У кого был Георгиевский крест, тот, кроме того, получал в месяц три рубля.

Были также среди солдат картежники, игравшие на деньги, а у картежников, как известно, всегда то пусто, то густо, но чаще всего густо.

Мой взводный фейерверкер Чигринский, о котором я уже упоминал, был крупный картежник. Когда позволяла обстановка, он ходил куда-то в пехоту, где велась крупная игра в «очко» и «железку». Иногда он возвращался в выигрыше. У него всегда имелось в наличности рублей десять — сумма для нас фантастическая.

Однако впоследствии я понял, что его исчезновения из батареи, хождение в пехоту и в соседние артиллерийские дивизионы имели двойную цель: во-первых, игру в карты, а во-вторых, еще что-то гораздо более значительное. Я думаю, игра в карты являлась только прикрытием тайной, подпольной политической деятельности. В чем заключалась эта деятельность, я тогда совсем не понимал, но чувствовал в ней что-то скрытно революционное.

Однажды я случайно услышал, как, дежуря по батарее и расхаживая по линейке вдоль орудий, красавец Чигринский мурлыкал про себя: «Вышли мы все из народа,

дети семьи трудовой, братский союз и свобода — вот наш девиз боевой». Мотив и слова были мне до сих пор неизвестны. Песня была не общеизвестная солдатская, не народная, а какая-то совсем другая...

...Лавочка представляла обыкновенную белорусскую халупу, разделенную на две части. В одной помещалась собственно лавочка, а в другой жила заведующая лавочкой сестрица. Лавочка обыкновенно открывалась в одиннадцать часов утра, так как земсоюзовская сестрица любила поспать в полное свое удовольствие. Но уже с девяти часов у двери лавочки, на которой висел амбарный замок, собирается длинная очередь, именуемая по-армейски затылок. Кого только нет в этом затылке: саперы, артиллеристы, пехотинцы, санитары, фельдшеры, даже однажды появился мортир Черноморского флота, прикомандированный к пехоте вместе со своей двухдюймовой морской скорострельной пушечной системой Гочкиса с деревянным прикладом, из которой он палил по немцам с самого близкого расстояния. Пушечка эта была снята с какого-то военного корабля.

...Затылок шумит, волнуется, в морозном воздухе пахнет махоркой. Здесь особенно заметна работа солдатского телеграфа.

Из уст в уста передаются самые последние новости и слухи — не только фронтовые, но также и тыловые, политические, подчас зловещие: насчет воровства в интендантстве, насчет полковника Мясоедова, повешенного за шпионаж и измену, насчет сибирского мужика Распутина, хозяйничающего в доме Романовых, как у себя в избе, насчет голодающего народа, насчет лучших земель, захваченных кулаками и помещиками, насчет неизбежного военного поражения и скорого заключения мира, о котором вся армия только и мечтает.

Хватит! Повоевали! Будя! Попили нашей солдатской кровушки!

Обо всем этом говорилось больше намеками, с присказками, ужимками, многозначительными умолчаниями, скорее ворчливо, чем грозно.

Солдаты не стеснялись высказываться в моем присут-

ствии. Меня давно уже считали как бы своим, несмотря на мои погоны вольноопределяющегося.

Ах, как это было непохоже на мое прежнее представление о войне!

Вот бы, думал я тогда, привести сюда авторов военных рассказов, заполняющих газеты и журналы того времени, и поэтов, воспевающих в своих патриотических стихотворениях безымянных героев в серых шинелях, идущих на врага «с железом в руках и с крестом в сердце».

Но вот ровно в одиннадцать появлялась неизвестно где ночевавшая сестрица в черной кожаной куртке на меху, в валенках и папахе, не без лихости заломленной над блаудливым румяным личиком с кудряшками на лбу.

— Здравствуйте, солдатики!

— Здрав... жлай... сестрица!

— Ну-ну, не толпитесь, не напирайте. Всем хватит. Щелкает амбарный замок.

— Кто с передовых позиций, вперед!

Несколько пехотинцев протискиваются вперед. Они вне очереди. Это их священное право.

Вскоре по всем фронтовым дорогам и тропинкам идут на позиции солдаты с узелками и кульками, а больше всего с пачками махорки «Тройка» и книжечками папиросной бумаги, оттопыривающими карманы их потрепанных, а местами слегка обгорелых боевых шинелек.

Лица счастливые, розовые с мороза. Они уже выбросили из головы все, что принес им солдатский телеграф, пока стояли в затылке у входа в лавочку.

Но нет. Они не выбросили из головы. Не забыли.

...Они не забыли... Они не забыли...

Против лавочки рубленая избушка — солдатская банька. Возле нее христолюбивое воинство топчется со свертками белья и березовыми вениками под мышками. Вениками, наломанными с кутузовских берез, они запаслись впрок еще прошлым летом и хранили их в своих вещевых мешках вместе с противогазами, не зная, доживут ли они до зимы.

В промежутке между боями шла монотонная армейская жизнь, страх смерти исчезал, а «равнодушная природа» продолжала свой круговорот: морозы сменялись оттепелями, зима переходила в весну, сверкали ручьи, голые деревья покрывались зеленью, наступало лето, солнце лгло неизменно, случались грозы и ливни со всей их неопишуемой красотой, в лесах пахло грибами, незасеянные крестьянские поля зарастали сорняками, скудная белорусско-литовская земля, истерзанная войной и засоренная камнями, принесенными сюда еще со времен ледникового периода, которые давно уже никто не убирал и не складывал на обочинах, как водится, белыми пирамидками, кое-где рождала хилый колос самосеяной ржи или синюю коронку василька, теплящуюся, как лампадка.

В один из таких знойных дней я сидел на лафете, грелся на солнышке и думал о Ганзе, о своей страшной безответной любви, когда сзади ко мне подошел Колыхаев, постоял некоторое время молча и наконец произнес:

— Вот это пасекомая так насекомая!

С этими словами он осторожно двумя пальцами снял с воротника моей гимнастерки и показал жирную полупрозрачную платяную вошь, зеленовато-черную внутри.

Добродушно улыбаясь в усы, он положил насекомое на ноготь большого пальца и прищелкнул другим ногтем так, что послышался звук лопнувшего пузырька.

Я был ошеломлен. Я так тщательно следил за собой, ходил в баню, часто стирал белье, даже в лютые морозы. Выстиранные рубахи и подштанники, развешенные на слочках маскировки, надувались от жгучего северного ветра, да так раздутые, с раскинутыми рукавами и ледяными, гремя, как жестяные. Когда я вносил их в натопленную землянку, они оттаивали, но оказывались совершенно сухими. Мороз высушивал их. Приятно было надевать свежевывстиранное белье, пахнущее с мороза ландышем!..

И вдруг на мне нашли вошь!

Конечно, подумал я, это простая случайность. Вошь паползла на меня с кого-то другого. Но Колыхаев внимательно осмотрел меня со всех сторон своими зоркими рыбацкими глазами и снял с моего погона еще одну вошь, которая с медленной скоростью секундной стрелки мелкими стежками ползла по нагретому солнцем сукну.

— Так что поздравляю вас, обовшивевши,— добродушно сказал Колыхаев, казняя второе насекомое.

— Не может быть! — воскликнул я, покраснев так ярко, словно меня уличили в чем-то постыдном, в позорной болезни.

— Что тут, друзья, за происшествие? — раздался сановный голос фельдфебеля Ткаченко, вместе со всеми остальными батарейцами вылезшего из своей особой фельдфебельской земляночки погреться на солнышке.

Я резво вскочил на ноги и вытянулся.

— Ничего. Не тянитесь. Седайте обратно,— сказал Ткаченко, выпятив по своему обыкновению живот и грудь с Георгиевскими крестами и медалями, и сделал передо мною несколько шагов туда и назад, как бы перед фронтом.

Он обдумывал происшествие: в армии велась неусыпная борьба со вшивостью.

— А ну, господин вольноопределяющийся,— наконец сказал он,— попросю вас, скидайте гимнастерку, и давайте побачим, что у вас там такое завелось.

Я снял пояс и стянул через голову гимнастерку, ту самую, из толстого японского сукна, некогда купленную на толчке. Гимнастерка вывернулась наизнанку, показав все свои внутренние швы и завязанные узелочками шнурки, которыми были прикреплены пуговички погонов. Шнурки эти оказались покрытыми белесым бисером гнид, которые блестели также внутри швов.

Ткаченко нахмурился и приказал вызвать на линейку всех свободных от нарядов батарейцев. Он прошелся несколько раз туда и обратно вдоль строя, погладил себя по своему офицерскому поясу, облежавшему живот, и сказал:

— Вот что, друзья. Скидайте гимнастерки и рубахи, и посмотрим, что у вас там делается.

Мне и сейчас, уже старику, неприятно вспомнить картину знойного июльского дня и ряд полуголых батарейцев, сидящих кто на земле, кто на лафете, кто на пороге землянки и под наблюдением фельдфебеля бьющих вшей, выловленных в складках нижних рубах и гимнастерок.

— Вот, друзья, до чего вы себя допустили за долгую зиму в землянках. А ну-ка скидайте шаровары, так как насекомые больше всего любят размножаться в суконных штанах и подштанниках. Не стесняйтесь, так как здесь в радиусе на двенадцать верст вы не найдете ни одной жинки, кроме дивчины из лавочки земского союза. Так что действуйте смело!

Развели костер из сухого валежника, и батарейцы трясли над ним верхнюю и нижнюю одежду, выжаривали насекомых, которые, падая в огонь, электрически потрескивали.

Фельдфебель, в общем, был удовлетворен: его батарея не слишком сильно обовшивела за зиму. Могло быть и хуже.

...На пять или восемь верст в окружности между развалинами Сморгони, деревней Бялы, железнодорожной станцией Залесье и деревянным мостом через синюю реку Вилию, на который немецкие аэропланы постоянно сбрасывали бомбы, и всегда версты на две мимо, лежала лесистая местность, казавшаяся такой мирной, даже безлюдной, а на самом деле набитая войсками всех видов оружия, особенно артиллерией.

Бродя в свободное время по окрестностям, я то и дело натывался на хорошо замаскированные батареи разных систем и калибров. На одну версту фронта я насчитал сто пять, как принято говорить, стволов: несколько батарей полевых трехдюймовок, гаубичные дивизионы, тяжелые орудия и даже две железнодорожные платформы с чудовищными виккерсовскими дальнобойными пушками: их наблюдатели находились в корзинах привязанных аэростатов и постоянно висели высоко в небе. Я уж не говорю о морских двухдюймовках системы Гочкиса, размещенных в пехотных окопах.

Вся эта могучая убойная сила была нацелена на одну сравнительно небольшую высотку, занятую немцами.

Я сначала не понимал, на кой черт тратить столько усилий против такой сравнительно пустяковой цели. Но как-то, побывав на станции Залесье в вагоне-лавке Союза городов, я купил столичные газеты и увидел в них множество цензурных плешей и целых длинных статей, замаскированных черной цензурной так называемой икрой, действительно похожей на паюсную. Кроме того, там были помещены указы о смещении старых и назначении новых сановников. Все это заставляло думать, что в тылу далеко не все благополучно, что Российской империю трясет.

Прочитав же телеграммы из-за границы, а также сводки верховного главнокомандующего и шагая по железно-

дорожному полотну Минск—Вильно в свою батарею, впервые понял я истинные масштабы войны, которую до сих пор не воспринимал как мировую. Я понял, что наступает критический момент и мы спасаем своих союзников — французов и англичан, отвлекая немецкие дивизии с западного фронта на себя. Мощная демонстрация на нашем небольшом участке фронта, о котором будущие историки, может быть, даже и не упомянут как об одной из героических страниц русской славы и верности союзникам, стала для меня особенно дорогой, и мне не хотелось переходить на какой-то другой фронт.

Но ведь я сам вместе со всеми батареями проклинал утомительную позиционную войну, сидение на одном месте, надоевшее до последней степени, неизвестно когда этот кошмар кончится.

И вот он кончился. По-видимому, для нас кончилась позиционная война и наконец-то начнется война веселая, полевая, с быстрыми передвижениями, как и подобает войне наступательной, победоносной.

Я уже забыл на некоторое время распятие среди развалин костела и тягостное ощущение, что сам антихрист вселился в меня.

Я желал перемен в своей судьбе. А стоило мне только чего-нибудь пожелать, как оно исполнялось. В этом было что-то зловещее.

«Г. Рени, Бессарабской губернии, 11 августа 916 года. Сейчас я в Рени. Дунай — серая, как бы пыльная, широкая, некрасивая река. Арбуз стоит три-четыре копейки. Привет всем Вашим. Дорогая Миньона, продолжаю прерванное. Прежде чем попасть на берег Дуная, нам еще пришлось порядочно помотаться. Оставив наши насиженные места под Сморгонью, мы прошли пешим порядком верст пятьдесят по лесистым местам и болотистым дорогам и остановились в убогой, серой деревеньке: бревенчатые избы с почерневшими соломенными крышами. Может быть, эти избы еще помнят Наполеона и войну двенадцатого года.

Рябины с гроздьями огненно-воспаленных ягод. На огородах репа и грядки белых, лиловых, розовых маков. В небе сизые тучки. Север! Возле деревни, за ручьем, по-

середине ярко-зеленой зыбкой топи, пружинящей под сапогами, аэропланная позиция, которую мы должны охранять. Там находится надежно замаскированный отряд военных летательных аппаратов типа «Илья Муромец» конструкции молодого политехника Сикорского.

Вы, наверно, об этом уже читали в газетах.

Признаться, я не без волнения узнал, что мы будем охранять прославленные аэропланы «Илья Муромец», это ведь наша национальная гордость. Наше единственное свое собственное, неповторимое изобретение в области воздухоплавания, или, точнее, авиации. До сих пор нигде, кроме России, нет такого устойчивого, громадного, грузоподъемного аппарата тяжелее воздуха. Куда с ним тягаться неуклюжему немецкому дирижаблю «Граф Цепелин»!

Наши трехдюймовки установлены на новых деревянных усовершенствованных станках, позволяющих без труда поднимать орудийные стволы почти вертикально, в зенит, почему появилось новое слово «зенитная артиллерия», наши трехдюймовочки стали зенитками.

Разбиты палатки для прислуги, остается ждать немецкого налета. Однако погода хмурая. Значит, немец не прилетит?

Ужасно хочется хотя бы одним глазком посмотреть на легендарного «Илью Муромца», которого мы назначены охранять. Однако до сих пор мы его еще не видели. Только иногда из-за леса, где расположены защитного цвета большие палатки авиационного отряда, доносится грозный громоподобный гул могучих аэропланов моторов.

Иногда густое пение невидимых пропеллеров становится до того явственным и близким, что все мы невольно задираем головы, надеясь увидеть в тучах легендарный самолет. Напрасно. Это всего лишь слуховой обман. Моторы работают не в небе, а пока лишь на земле. Их пробуют.

Наши офицеры уже успели побывать в гостях у авиаторов и видели диковинные аэропланы-гиганты. Говорят, нечто изумительное. Огромные, но в тоже время легкие, отлично сконструированные.

Я ждал с нетерпением, когда и мне посчастливится увидеть их своими глазами.

Наконец дождался.

Раннее утро. Только что взошедшее солнце бросает свои красные косые лучи на мою палатку. Палатка внутри наполнена розовато-желтым светом утреннего солнца. Я выхожу из палатки и вижу ярко-зеленую трясину,

кустики можжевельника и на стеблях луговых трав и цветов капельки росы — остатки предутреннего тумана. Эти капельки в лучах солнца ярко горят всеми цветами радуги — янтарными, рубиновыми, изумрудными, фиолетовыми.

Отчего я проснулся в такую рань? Спросонья мне кажется, что где-то совсем недалеко идет бой. Его гул катится по лесам. Но ведь мы далеко от передовых позиций, верст за пятьдесят. Выстрелов не может быть слышно. Может быть, просто шалят нервы? Прислушиваюсь. Гул, похожий на звуки боя, короткими упругими волнами ходит в воздухе, раздаваясь где-то вверху, в небе, и отдается многократным эхом по окрестным лесам.

Задираю голову.

В небе слышатся шум и гром мощных авиационных моторов. Вижу: прямо надо мной, в самом зените крестообразно распластанный летательный аппарат. Это «Илья Муромец» или, может быть, «Русский витязь». Какой огромный! Как спокойно и быстро плывет в небе. Он летит очень высоко. Так высоко, что его каюта, о которой мы слышали от офицеров, видна еле-еле.

Аэроплан, похожий на в десять раз увеличенный «фарман», описывает красивый, плавный круг и уходит куда-то далеко за зубчатую кромку леса, синеющего на горизонте. Уменьшается. Постепенно теряет форму распластанного креста распятия. Теперь видны обе его плоскости как две слабые полосы. Шум моторов слабеет. Солнце поднимается выше. Две плоскости аэроплана сливаются в одну, превращаются в точку. Он уже очень далеко, верст за семнадцать, а все-таки еще виден простым глазом.

На батарее оживление. Все смотрят в небо. Выпукло поблескивают офицерские бинокли.

Говорят, что «Муромец» ушел далеко во вражеский тыл, захватив с собой порядочный запас бомб.

Через три часа знакомый гул моторов. Но на этот раз несколько жидковатый. В полуденной синеве отчетливо силуэтится знакомый воздушный корабль, возвращающийся с боевого задания. К вечеру солдатский телеграф сообщает, что «Муромец» совершил налет на немецкие тылы, взорвал склад снарядов, сделал важные наблюдения, сфотографировал узловую станцию и подвергся ураганному обстрелу неприятельской зенитной артиллерии, подбившей

два его мотора, так что он с трудом дотащился домой на остальных двух моторах, оставляя за собой шлейф дыма.

На следующее утро получаю разрешение и отправляюсь в авиационный отряд посмотреть муромцев. Отряд расквартирован в чем-то старинном родовом имении. Огромный столетний парк, такой густой и темный, что сквозь листву небо просвечивает слабой голубой сеткой. Пахнет сыростью, мхом, древесной старой корой. Поражают крупные бабочки. Через ручей перекинуты затейливые мостики, сделанные из березовых сучьев. Круглые беседки с белыми колонками. Пруд с почти черной, тяжелой, неподвижной водой, покрытой водяными лилиями — неюфарами. В барском доме помещаются наши авиаторы, которых с легкой руки футуристов уже называют новым словом (неологизмом!) — летчики. Там и сям на дорожках мелькают их синие костюмы.

Палатки с аэропланами находятся позади парка, в поле. Палаток всего две. Они очень велики, просторны и укреплены сложной системой веревок и кольев. В сущности, это даже не палатки, а целые полотняные ангары.

Я и сопровождающий меня моторист отряда входим в первую палатку-ангар. Здесь ровный, желтоватый, как бы полотняный свет и чувствуется много неподвижного воздуха.

...столетний парк и красивые бабочки, сидящие на пнях, напомнили мне парк Хаджибеевского лимана. Незабвенный парк...

Посредине палатки стоит громадный, раза в четыре больше обыкновенного «фармана», многоместный и четырехмоторный, по виду легкий, несмотря на свой многопудовый вес, биплан. На его крыльях во время полета может свободно ходить механик и в случае надобности, так сказать, на лету починить мотор или даже два мотора, а всего их четыре, но не вращающиеся вместе с пропеллером, как традиционные «гном-роны», а стационарные, неподвижные.

Кабина похожа на небольшой железнодорожный вагон, может быть, даже вагон конки с квадратными окошками.

Вы, наверное, видели в «Ниве» или каком-нибудь другом журнале фотографию государя императора в походной форме на борту «Ильи Муромца»: держась одной рукой за поручень, он стоит на фюзеляже и своими лучистыми

глазами смотрит с улыбкой прямо в объектив фотографического аппарата — вот, дескать, какой у нас богатырский боевой аэроплан.

Вместе с мотористом, который дает мне объяснения, я обхожу вокруг аппарата, удивляясь толстым резиновым шинам его колес. Он представляется мне чем-то вроде скелета доисторического животного, выставленного напоказ в некоем полотняном походном музее.

Всего не опишешь, но впечатление большое. Особенно поражает, как я уже говорил, легкость всей конструкции, хотя вес аэроплана более ста пудов.

Потом мы переходим в другую палатку, и я осматриваю другой аэроплан того же типа, тот самый, который на днях выдержал ураганный огонь немецкой зенитной артиллерии.

Я смотрю на его поцарапанные осколками, местами залатанные плоскости и живо представляю себе, как вокруг него в небе рвалась неприятельская шрапнель, в то время как из-под его нижней плоскости отрывались подвешенные там грушевидные бомбы и со свистом и воем падали на немецкие тылы, поднимая целые облака черного дыма, в середине которых мигали красные молнии.

За взрыв неприятельского артиллерийского склада, беспристрастно зафиксированный пластинкой фотографического аппарата, специально установленного на «Илье Муромце», командир корабля представлен к белому крестику.

Наша зенитная батарея почти все время бездействует, так как немцы почему-то в нашем районе не летают. Поэтому возле батареи в палатках помещаются только дежурные орудийные номера на случай тревоги, а остальные живут в деревне недалеко от позиции.

Я и два моих товарища-вольноопределяющихся занимаем отдельную квартиру. Большая бревенчатая комната, где мы занимаемся уставами, читаем и пишем письма, всегда чисто вымыта и выметена, стекла в окнах протерты. Хозяйка наши — три белорусские красавицы с льняными косами. Всех их родственников мужского пола забрали на войну. Они остались одни. Им скучно, и мы в некотором роде развлечение для них.

По вечерам при свете керосиновой лампочки происходит нечто вроде посиделок, или, на нашем с Вами языке, легкий флирт (о, совсем невинный, уверяю Вас!) с при-

месью милого сельского кокетства. Бога ради, не подумайте худого. Вы же прекрасно знаете... Впрочем, о своих чувствах молчу... молчу...

...но вот в один прекрасный день призвал меня к себе командир батареи, куда меня недавно перевели для дальнейшего прохождения службы, и сказал приблизительно следующее:

— Так как вы имеете право на получение офицерского чина, то я должен сказать, что нашить на вас офицерские погоны нетрудно. Но их надо заслужить. Вас недавно перевели в мою батарею. В прежней батарее вы слишком сблизились с нижними чинами. Отчасти это хорошо, так как вы научились тянуть солдатскую ляжку. Но теперь вы должны готовиться стать офицером, и дальнейшее сближение с нижними чинами не только нежелательно, но даже вредно для службы. Вы уже имеете одну нашивку. Вы заслужили звание бомбардира... (Представьте, я даже забыл Вам написать, что недавно меня произвели в бомбардиры. Так что Вы теперь со мной не шутите!..) Теперь перед вами стоит задача получить звание младшего фэйерверкера как важную ступень к офицерскому чину. Для этого от вас требуется...— И так далее и тому подобное...

За четверть часа командирского внушения, которое я выслушал по стойке «смирно», ноги мои превратились в деревяшки, а живот до сих пор так и остался втянутым, хотя с тех пор прошло уже месяца полтора.

Короче говоря, на другой день утром я посмотрел в окошко и увидел перед нашей халупой разведчика, который держал в поводу оседланную лошадь. Он постучал деликатно в окно и позвал меня:

— Господин вольноопределяющийся, пожалуйста на верховую езду.

В сердце у меня стало пусто и холодно, желудок опустился. Я вышел из халупы. За домом, за огородом, в чистом поле стоял в картинной позе молоденький прапорщик, взводный офицер моей новой батареи Матюшенко, по виду ужасный тонняга, держа в одной руке стек, а в другой веревочную корду. Он поздоровался со мной на несколько небрежный гвардейский манер, на что я, естественно, вытянулся и гаркнул на всю окрестность:

— Здрав... желай... вашбродь!

Недалеко от него стояла лошадь.

— Подойдите-ка поближе, вольноопределяющийся, э... э... как вас? Пчелкин!

Я подошел поближе.

— Перед вами стоит животное под названием лошадь,— сказал он, показывая стеклом на лошадь.— Повторите.

— Лошадь, ваше благородие,— сказал я бодро.

— Хорошо. Наука о лошади называется гиппологией. Повторите.

Я повторил.

— Прекрасно. Вы делаете успехи. Теперь займемся наукой о лошади, то есть гиппологией. Итак. Э... лошадь, которую вы видите перед собой, разделяется на три части: перед, туловище и зад, называемый в обществе порядочных людей круп,— сказал профессорским голосом прапорщик Матюшенко и для большей наглядности обвел стеклом все три части лошади.— Повторите.

— Перед, туловище и зад, имеющий также название круп,— сказал я.

— Прекрасно! — сказал прапорщик.— Перед лошади состоит из головы, туловище из туловища, а зад, который, как вы уже знаете, в приличном обществе принято называть круп, оканчивается так называемым хвостом.

Он подошел к лошади и приподнял рукой в замшевой перчатке густой лошадиный хвост, откуда вылетело несколько крупных летних мух.

— Повторите.

— Голова, туловище и круп, оканчивающийся так называемым хвостом,— отчеканил я.

Прапорщик строго нахмурился, но не сумел сдержать мальчишеской улыбки и принял предложенную мною игру.

— Прекрасно, вольноопределяющийся, очень хорошо. Вы делаете успехи в науке, которая называется гиппология. Так как же называется наука о лошади? Повторите.

— Гиппология, ваше благородие.

— Блестяще! Пойдем дальше. Туловище лошади снабжено четырьмя ногами, снабженными на конце так называемыми копытами. Повторите и покажите передние ноги и задние.— И т. д.

Забавляясь таким образом, я под руководством прапорщика изучил в общих чертах науку гиппологию, после

чего начались практические занятия верховой езды. Это уже было хуже. Обливаясь потом, я вскарабкался на спину проклятого животного, и тогда началась настоящая драма. Я уже, правда, и раньше ездил верхом и даже считал, что езжу недурно. Но, оказывается, я ездил не по правилам, и моя дилетантская езда оказалась детским лепетом по сравнению с тем, что меня ожидало теперь под мудрым руководством прапорщика Матюшенко.

Теперь, когда я уже беру барьеры, знаю толк в лошадях и твердо усвоил, что то, чем бегают лошади, называется ногами — передними и задними, — мне все это кажется забавной комедией, именуемой уроками верховой езды.

Но тогда!

О господи! Довольно толстая рыжая кобыла по кличке Жито, бега по кругу на корде, трясется подо мной и поровит каждую минуту сбросить меня на землю. Еле удерживаюсь в седле, которое уже достаточно сильно набило и натерло мой, так сказать, круп. А прапорщик Матюшенко ходит посередине круга и покрикивает своим шикарным гвардейским тенором:

— Черт знает что! Вы сидите на лошади, как собака на заборе! Доверните носки! Не хватайте лошадь за брюхо, вы ее этим раздражаете! Держитесь «шлюзами»! Не держитесь за луку! Это неприлично. Не хватайтесь руками за холку! Лучше упасть с лошади, чем хвататься за холку!

Я тряся, как мешок с овсом, и думал: тебе хорошо, черт полосатый, кричать, а мне-то каково! Доверните носки. А если они не доворачиваются? Сам попробуй довернуть носки, если это тебе так нравится!..

...В общем, через неделю я вполне понял, как страдал Ваш воздыхатель Жора Мельников, принужденный в прошлом году в период своих знаменитых уроков верховой езды изящно сидеть у Вас в гостиной и поддерживать великосветский разговор о погоде, о лошадях, о женщинах, в то время как его, если так можно выразиться, часть тела южнее спины горела как на сковородке, натертая и набитая седлом.

О, как я ему должен был бы сочувствовать!

...Кляюсь: я уже успел в нашем приаэропланном селе слегка влюбиться. Что ж; северные девушки не хуже наших южных. Представьте себе, какая идиллия ходить вдвоем в лес по грибы, есть чернику, пачкающую губы как бы школьными лиловыми чернилами, любоваться закатом и коротать летние бледнозвездные ночи, сидя на старом бревне перед халупой, и петь дуэтом песни вроде «Поварастиали стежки-дорожки, где проходили мильной ножки». И все это — клянусь Вам! — вполне невинно.

Ну ладно. Довольно. Только что объявили поход. А куда — неизвестно...»

Чтение этого длинного письма утомляет меня, я решаю дочитать его завтра и ложусь спать, приняв, как всегда, легкое снотворное. Но почему-то на этот раз недочитанное письмо не то чтобы волнует меня, но вызывает чувство, похожее на горечь разлуки с дорогим прежним, пережитым, и предчувствием чего-то нового, неизвестного. Я как бы навсегда прощаюсь с теми местами, где провел первые семь месяцев своей службы, вспоминая подробности этого времени, выпавшие из памяти.

Мне вспомнилось:

...Начало апреля. Снега растаяли. Прошло несколько весенних дождей. По дорогам и низинам непролазная грязь. Ночью хвойные леса шумят вокруг, как море.

Батарея стоит слева от шоссе, которое находится под обстрелом: у многих берез обрублены снарядами верхушки и надломлены стволы. Вдоль шоссе — солдатские могилы с уже посеребрившими деревянными крестами. Березы склоняют над ними сети своих ветвей, с которых падают дождевые капли. Как слезы. Ветер кропит ими могильные холмики.

Ночью, если днем была перестрелка, с пехотной линии мимо батареи несут, везут или ведут раненых. Они тяжело стонут, а то и просто кричат грудными надорванными голосами.

В ясную погоду с нашей батареи отчетливо виден

сморгонский костел, уцелевший от немецких снарядов. Но это только так кажется, что он уцелел. Он весь в трещинах и пробоинах, еле держится.

Я навсегда прощался с хрупким видением костела, с разросшейся вокруг него персидской сиренью, с разбитой кропильницей и деревянным распятием, поверженным среди строительного мусора.

Деревянное красное сердце на желтой грудной клетке богочеловека.

Справа синее река Вилия и желтеет новенький бревенчатый мост через нее, построенный саперами.

Батарея расположена на открытом месте, а потому замаскирована небольшими елочками, срубленными в бору. Поэтому издали батарея похожа не то на молодой лесок, не то на питомник.

На этой позиции, помнится, мы стояли больше месяца, и солдаты обзавелись кое-каким комфортом. Возле землянок устроили сосновые дощатые столики, скамьи, вбитые в землю, на столиках начертили пашечные клетки и по целым дням сражались в дамки. Многие так наострились, что, пожалуй, достойны называться чемпионами пашечной игры. Впрочем, общеизвестно, что лучшие в мире игроки в шашки — русские солдаты.

В дамки играют люди солидные, сверхсрочники, а молодые, с действительной службы, все свободное время посвящают игре в городки, или, как здесь говорят, в скракли: выбивают издали тяжелыми березовыми палками сосновые чурочки, разлетающиеся во все стороны со звуком, действительно схожим со словом «скракли». Батарея ведет огонь часто, но понемногу, разгоняет небольшие партии неприятеля, производящего земляные работы.

В два часа пополудни стрельбы почти никогда не бывало.

— Герман пьет каву (то есть кофе).

После двух часов, выпив каву, герман идет на земляные работы, и наша батарея, уведомленная об этом по телефону с наблюдательного пункта, начинает разгонять германа.

Батарейцы хорошо усвоили это боевое расписание и пользуются случаем — греют на костре в чайниках воду и попивают чаек, чаще всего «вприглядку».

— Герман каву, а мы чай Высотского.

Но один раз не угадали: только что насыпали в кипяток скуповатую заварку, как из телефонного окопчика выскочил дежурный:

— Батарея, к бою!

— Тьфу, черт, не дают спокойно чайку попить.

Побросали кружки, ломти черного хлеба, и через миг орудийные номера стояли уже на своих местах у орудий.

— По цели номер сорок пять. Угломер пятнадцать — тринадцать. Уровень тридцать — ноль. Прицел сто сорок. Гранатой. Первый взвод — огонь! Первое, второе!

И пошло и пошло!..

После отбоя высказывается соображение, что немец хитрый, черт: разделяется на две партии. Одна партия копает, другая пьет каву. Потом одна каву пьет, другая копает. А мы стреляй! Пока отстреляемся — глядишь, и чай захолонул. Обратное надо греть. Эдак и дров не напа-сешься.

...Против германа растет глухое неудовольствие...

А вокруг дивный солнечный день, в небе два-три белоснежных круглых облачка, с исподу голубоватые, плоско синееет река Вилия, желтеет новый наплавной мост, синееют леса, источая бальзамический запах хвои.

Благодать!

Прощай, белорусско-литовское Полесье. Жаль с тобой расставаться, да ничего не поделаешь. Такая наша солдатская служба.

Если день ясен, летают аэропланы. Уже с утра откуда-то сверху льется сонный журчащий звук мотора. Летит герман. Из землянок навверх выползают сонные батарейцы и поднимают помятые лица к небу. Долго не могут найти в яркой глубине белую точку. Водят пальцами в разные стороны, щурятся, пока кто-нибудь случайно не на-

ткнется на «таубе», вокруг которого апрельское небо уже покрыто белой оспой наших прапнельных разрывов. Беленькие оспинки пухнут, превращаются в небольшие трескучие тучки. Скоро все небо становится рябым.

Но, в общем, на земле тихо. Тишину нарушают жаворонки, вороны, ручейки... Весна...

О, как горько и вместе с тем как сладостно она напоминает поход за фиалками и Ганзю!

Никогда больше я не увижу ни этой, ни той весны. Будет еще много весен... но эти неповторимы, как первая любовь.

...Перед закатом я пошел к реке. Небо по-прежнему устойчиво безоблачное. Солнце лучистое, как будто сквозь слезы; с берез сыплются крупные капли. Идут весенние соки. Солдаты пробуравили стволы берез, приладили деревянные желобки и собирают березовый сок в свои ма-нерки и бачки.

Я вдруг ощущаю на губах вкус березового сока: чуть сладковатый, душистый, прохладный.

Помню, шел я мимо соседней батареи, опустив голову и глядя в землю. На душе у меня было тихо, горько и как-то очень хорошо... как в детстве...

Ночью я стоял у орудия дневальным. Небо полно звезд. Месяц на закате похож на раскаленный уголек, подернутый голубоватым пеплом тучки. Изредка слышатся отдаленные редкие ружейные выстрелы: па-та-ра! па-та-ра!

Странно, что все звездное небо как бы находится в незаметном вращательном движении. Еле уловимо глазом плывут знакомые с детства созвездия. Одна только маленькая, почти незаметная Полярная звезда неподвижна, как и моя любовь. Но не к той, которой я пишу, а к другой. В ту, которой я пишу, я влюблен. А ту, другую, я люблю. Влюблен и люблю. Две вещи совершенно разные, хотя и похожие.

Несовместимость!

Теперь мне это ясно. А тогда я мучился.

Теперь в не совсем прямоугольном, мягко очерченном светящемся пространстве появляется женская фигура в алых развевающихся одеждах, приближается, и ее грубый, но прекрасный профиль заполняет экран. У нее волнистые волосы и открытый рот полубога.

Богиня с лицом архангела. Она поет.

«Нет, не тебя так пылко я люблю. Не для меня красоты твоей блистанье. Люблю в тебе я прошлое страданье и молодость, и молодость погибшую мою».

Теперь ее глаза смотрят на меня в упор. Божественный женский голос с мужскими модуляциями, сливаясь с божественной струнной музыкой, есть воплощение моей души, полной восторга и отчаяния.

«...и молодость, и молодость погибшую мою...»

Я вытираю высохшей старческой кистью руки, покрытой гречкой, мокрые щеки, вспоминая свою погибшую молодость, белорусские или литовские леса, по которым двигалась наша артиллерийская бригада,— а куда? Никто не знал... Даже солдатский телеграф.

Чувствовалось, что война принимает новый оборот... Открывался румынский фронт.

Скрипя по мокрой песчаной дороге, батарея, в которую я был переведен из своей прежней батареи уже в звании бомбардира, с одной лычкой на погонах и с надеждой на звание младшего фейерверкера, то есть на вторую лычку,— батарея шагом выехала из смолистой тьмы леса и стала подниматься на бугор.

Впереди на серой лошади, опустив поводья, ехал еще мало мне знакомый командир батареи. Его сутуловатая высокая фигура немолодого штабс-офицера мерно покачивалась в такт лошадиному шагу, и казалось, что он бормочет себе под нос что-то спросонья. За командиром следовали трубач и два конных разведчика.

Чубатые разведчики держались молодцевато, и у всех у них фуражки были сбиты набекрень.

За разведчиками плелась двуколка, нагруженная катушками телефонного провода, а за двуколкой брнчали и

подрагивали на выбоинах дороги пушки с передками и зарядные ящики, сдвоенные между собою так называемой стрелой.

На лафетах трехдюймовок, обвешанных вещевыми мешками, ранцами, скатанными шинелями, котомками, чайниками и прочей дребеденью, сидя спали орудийные номера, хотя это и запрещалось уставом: они должны были идти рядом со своим орудием.

По сторонам зарядных ящиков и пушек, влекомых по тяжелому песку конной тягой с верховыми ездовыми, на крепких сытых лошадях сонно покачивались орудийные фейерверкеры.

Остальная прислуга, те, кто не сумел словчиться сесть на передок или зарядный ящик, шла пешком, тяжело роя сапогами сырой после ночного дождя песок, то и дело засыпая на ходу и спотыкаясь.

За ночь прошли тридцать верст, и солдаты изнемогали от усталости. Светало. Небо из черного, ночного стало водянисто-серым, и уже можно было различать лица солдат и масти лошадей. Где-то недалеко совсем по-домашнему кукарекнул петух, то ли предсказывая скорый восход солнца, то ли накликая дождь.

Я вспоминаю, как во время этого мучительного перехода без остановок мне удалось пристроиться на лафете и просидеть некоторое время с еще мало мне знакомым наводчиком Подкладкиным.

Мы проговорили напролет всю ночь, не спали и к рассвету ужасно надоели друг другу. Разговор шел о крестьянских делах, о которых я не имел никакого понятия и только читал кое-что в книгах и газетах, в то время уже изуродованных цензурой. Мы совершенно не понимали друг друга, волновались, сердились, перебивали друг друга.

— Слушайте, Подкладкин,— говорил я, раздраженно сдвигая на затылок фуражку и вытирая лицо ладонью,— дело совсем не в том, что аграрный вопрос в России...

— Господин вольноопределяющийся...

— Пойдите! Не перебивайте! Дайте докончить!.. Дело, повторяю, совсем не в том, что биржа...

— Нет, теперь вы пойдите с вашей биржей... Не перебивайте. Дайте мне. А потом говорите себе сколько вам угодно. Вы, конечно, как образованный, с аттестатом первого разряда, а мы, конечно, как люди темные, можно

сказать даже совсем без образования... Вот вы все говорите — аграрная, аграрная или биржа, биржа...

И Подкладкин начал сбивчиво и торопливо в десятый раз доказывать нечто совсем мне непонятное.

Я понимал, что Подкладкин совсем не умеет выражать ясно и понятно свои мысли, и это меня мучило, раздражало. Но еще больше раздражал меня его какой-то необъяснимо оскорбительный тон, как будто бы я был виноват во всех народных бедствиях, волновавших Подкладкина. А самое главное, что слово «говорить» он произносил с ударением на втором «о», то есть «говóрить», что воспринималось мною чуть ли не как издевательская насмешка.

Я чувствовал, что, говоря о земле, Подкладкин недоговаривает чего-то самого главного: то ли не умеет выразить свои мысли, то ли не доверяет мне как человеку чужому.

А я привык, что в моей бывшей батарее солдаты считали меня вполне своим и не стеснялись выражать в моем присутствии самые крамольные мысли, даже, например, такие, что пора всю эту волынку с войной кончать и начать делить помещичью землю.

К орудию подъехал фэйерверкер Черпак. Он сидел на грузной большой кобыле, и все на нем казалось тяжелым, большим: и пашка, и большой револьвер-наган в большой, старой, до блеска протертой кожаной кобуре, и сапоги, и шпоры.

— О чем у вас разговор, Александр Сергеевич? — спросил он меня.

— Да вот все спорим о земельном вопросе в России. Посудите сами: Подкладкин утверждает...

— Ничего я вам не утверждал, — угрюмо промолвил Подкладкин.

Черпак махнул рукой и обратился ко мне:

— Угостите папирской.

— Пожалуйста, пожалуйста. — Я достал кожаный портсигар, который завел совсем недавно, и протянул фэйерверкеру.

Черпак тяжело наклонился с седла, вытянул папирскую, вырубил кресалом из кремня искру и стал закуривать от дымящегося трута, поставив ладонь ковшиком. На миг огонек папиросы бросил красное пятно на грубое, но красивое лицо Черпака, и предутренний ветер отнес в сторону сизый дымок.

— Легкий, турецкий, — с удовольствием произнес Черпак тоном знатока, — «Дюбек лимонные», фабрики Асмолова. Аромат!

Еще минуты две для приличия Черпак ехал рядом, а потом тронул лошадь шпорами и свернул в сторону.

— Эй, Черпак! — крикнул я ему вдогонку.

— Чего изволите? — спросил Черпак, возвращаясь. Он уже как бы чувствовал во мне будущего офицера.

— Скоро бивак? А то больше сил нет.

— Деревушка вон там, за бугром, — ответил Черпак, показывая плеткой вперед. — Не помню названия. Чи Гаскевичи, чи Сухневичи, чи Заскевичи. Одним словом, как говорится, на «чи»... Чи не пойдете вы... — Черпак добродушно произнес нецензурное выражение, засмеялся, оскалил белые зубы.

— Слушайте, Черпак, а нам с вольноопределяющимся Петровым можно будет искать себе квартиру отдельно?

— Отчего же нет? Раз командир батареи разрешил, значит, можно. На то вы и вольноопёры, будущие офицеры...

В этих словах мне послышался как бы некий упрек, некое недовольство, даже как бы скрытая угроза.

Вообще эта ночь, сумбурный спор с Подкладкиным, как бы снова приоткрыли для меня нечто скрытое, то, что делалось в стране, в тылу, далеко от линии фронта.

Я соскочил с железного лафета и, припадая на отсиженную ногу, пошел по глубокому песку косогора, обогнал передок, ездовых, зарядный ящик, скрипящий своей стрелой, и подошел к головному оружию, на лафете которого дремал другой вольноопределяющийся, Петров, недавно прибывший в бригаду, малый веснушчатый, худой и безбровый.

— Как дела, Петров? — спросил я покровительственно и протянул своему коллеге, еще не нюхавшему пороху, портсигар.

— Курите. «Дюбек лимонные». Асмолова.

Петров поднял нестриженую голову и улыбнулся спросонья мне, своему старшему товарищу, детской, несколько провинциально-застенчивой улыбкой.

— Вот что, Петров, сейчас будет бивак. Мы с вами поселимся отдельно, вместе, в квартире по моему вкусу. Я уже говорил с начальством. Разрешено. Вы хорошо выспались на лафете? Мягкие части не отсидели?

— Выспался лучше не надо! — бодро ответил новенький.

— Небось снились саратовские барышни?

— Не без этого.

— О, да вы, оказывается, донжуан! А я, представьте себе, всю ночь разговаривал с наводчиком Подкладкиным насчет аграрного вопроса в России.

— Какой там аграрный вопрос, когда у мужика все равно ни черта нету земли,— пробормотал Петров.— Голодает народ.

— Но позвольте, ведь Государственная дума...— начал я, выпуская табачный дым из ноздрей и представляя себе карикатуру, виденную недавно в «Огоньке»: купол Таврического дворца в Петрограде и над ним зловеющая стая черных ворон...

— Е...ли они Государственную думу,— неожиданно, но с прежней детской улыбкой сказал Петров как нечто давно уже всем известное.— А вы знаете,— прибавил он как бы в виде извинения,— кажется, опять собирается дождь.— И посмотрел на хмурое небо.

Он слез с лафета, и мы пошли рядом в ногу по краю дороги, вдоль полосы мокрой розовой гречихи, от которой перед дождем особенно сильно пахло медом.

— И пахнет медом от гречихи,— мечтательно процитировал я.

— И коростель скрипит во ржи,— дополнил Петров. Мы оба засмеялись...

...А в это время где-то очень далеко, за тридевять земель, в тридесятом царстве прошлой жизни, жили-были и, может быть, еще не проснулись, лежа на горячих подушках, две девушки, не знакомые друг с другом: одна яркая, прелестная, как бы внезапно появившаяся из куста сирени, а другая неопишимо никакая, неяркая, незаметная, как та звезда, которую всегда так трудно найти в небе, полном знакомых созвездий.

...погружаемся в эшелон на станции со странным названием Столбцы, возле Барановичей.

Пушки втаскиваем на железнодорожные платформы по доскам, а лошади, звонко стуча подковами, идут по настилу в товарные вагоны со знаменитой надписью «Сорок человек — восемь лошадей».

И точно: в числе сорока человек нижних чинов я попадаю в вышеупомянутый товарный вагон-теплушку и устраиваюсь на нарах, покрытых соломой, от которой пахнет лошадыми.

Четверо нар. Двое налево, двое направо, одни над другими, на каждый по десять человек, итого — сорок. Точно. Все правильно.

Длинное путешествие по железной дороге, а куда — неизвестно. По названиям станций ничего не поймешь. Военная тайна! Но, видимо, где-то срочно нужны наши трехдюймовки.

Эшелон гонят без остановок.

Солдатский телеграф сообщает, что генерал Брусилов прорвал австрийский фронт и нас гонят к нему на подкрепление.

Это приятно. Надоело топтаться на одном месте — ни взад, ни вперед. Хочется наступления, подвигов, взятия городов, боевых наград!

А пока что наша теплушка, отчаянно мотаясь и гремя на стыках, стремглав катится вперед, и в широко раздвинутых ее дверях мимо нас проносятся леса, полустанки, головастые водокачки, озера, изредка таинственные решетчатые «тригонометрические знаки», реки, над которыми мы пробегаем по железным мостам, наполняющим воздух музыкально-броневым грохотом.

Посредине вагона в проходе традиционная печурка с коленчатой трубой, выведенной в боковую форточку. Ну уж тут, натурально, появляется традиционный орудийный чайник, вмещающий едва ли не ведро кипяточка, мелко, по-хозяйски, расчетливо наколотый рафинад, походные ржаные сухари, скупая артельная заварка чаю.

Летний железнодорожный сквозняк вытягивает из теплушки сизый дымок махорки «Тройка»...

И начинается мирное солдатское теплушечное житие: кто-то рокочущим густым басом негромко начинает любимую солдатскую песню о Ермаке, покорителе Сибири:

«Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали, и непре-рыв-но гром гремел, и вихри в дебрях бушева-а-ли...»

Сорок разнообразных солдатских басов, альтов и даже дискантов подхватывают знакомую, родную песню, и в несущейся невесте куда теплушке солдатский хор грозно и мрачно звучит, как орган, на котором неведомый органист играет Баха, но не просто Баха, а какого-то еще более могучего русского Баха, может быть даже самого Ермака, сидящего с глубокой думой на берегу гремящей сибирской реки — Иртыша, что ли?

Не знаю, какое тайное значение солдаты придавали древней романтической картине: гроза, буря, молнии и сидящий на диком бреге Ермак. За кого они его принимали: за охранителя границ великого Русского царства или за самого Пугачева?

Но меня беспокоили солдатские лица, в общем-то свои-ские, вдруг ставшие грозными, как бы отражая гром и молнии приближающейся народной бури.

Народная баллада грядущей революции.

Что-то нынче солдатами не пелись сентиментальные песни про «стежки-дорожки, где проходили миленькой ножки», или «пожалей ты меня, дорогая, освети мою темную жизнь». Нет. Нынче что-то другое владело их душами. Их душами владело «славное море, священный Байкал» — слова, которые я сначала понимал превратно или совсем не понимал. Что за «корабль — омулевая бочка»? Что за баргузин, который должен пошевеливать какой-то вал? Что за вал? Что за баргузин? Баргузин представлялся мне громадной фигурой какого-то легендарного сибирского богатыря вроде Ермака, державшего в могучих руках деревянный вал, чудовищное весло величиной с сосновый струганный ствол, опущенный в воду священного Байкала.

Но все это оказалось лишь плодом моего незрелого воображения. На самом деле баргузин — это название ветра, вал — это волна, которую пошевеливает этот ветер баргузин. Вот и все. Но магия этих странных сказочных слов осталась, и в общем солдатском хоре я с удовольствием подтягиваю своим немзыкальным голосом чудным звукам народной песни.

Но ведь это не простая песня. Это баллада. Она воспевает мужество беглого каторжника. А откуда он бежит? Он бежит с царской каторги. Очень возможно, что он попал на царскую каторгу как революционер, которому

сочувствует народ: «Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой». В этом суть всей песни. А забайкальский пейзаж говорит о ссыльных декабристах.

«...ох, дорогая Миньона, совсем не прост наш солдатик, защитник веры, царя и отечества. Я начинаю задумываться над судьбой России.

Впрочем, забудьте и вычеркните. Это не для цензуры. А письмо опять постараюсь отправить не полевой почтой, а с оказией, чтобы не вышло неприятностей.

Но как Ваше здоровье? Берегите его. У Вас слабые легкие. Не простужайтесь.

Итак, наш воинский эшелон несется в неизмеримо громадных просторах России, а куда — неизвестно.

«Конь несет меня стрелой, а куда — не знаю».

Наконец мы оказываемся в Буковине, и солдатский телеграф разносит весть о том, что нас бросают в брусилловский прорыв.

Рано утром разгружаемся на станции Черновицы. Сама станция и дома вокруг нее разбиты снарядами. Пыльно. Солнечно. Зелено. Слева на горизонте в легком, как бы голубом тумане голубые горы. Это уже не то Румыния, не то Австрия. Гористо и красиво уже какой-то чужой, не русской красотой.

Вот оно куда занесло нашу артиллерийскую бригаду, оторванную от своей пехоты. Впереди завоеванная Буковина.

Вперед, на помощь героям брусиловцам!

Пыльная дорога. Мужчины в белых холщовых штанах, в жилетах поверх длинных вышитых рубах, в шляпах, изпод которых падают на плечи длинные нестриженные волосы. Женщины в ярко вытканых платьях. Пыль на дорогах особенно белая, мелкая, как мука. Она садится на лицо, на руки, пудрит обмундирование, делая всех седыми, а черные артиллерийские шаровары превращает в серебристо-бархатные. В пыльных садах чертова уйма спелых лиловых слив, покрытых бирюзовым налетом, груш, яблок,

грецких орехов в темно-зеленой мясистой кожуре. Ешь — не хочу! Но скоро надоело, объелись, пардон, до поноса.

Город Черновицы. Потом вдребезги разбитая Коломыя. Развалины, поросшие бурьяном, остатки стен особнячков с аляповатыми фресками амуров, нимф...

Тяжелые переходы. Ночью привалы в палатках, при свете какой-то нерусской луны. Поход форсированным маршем. Потом уже Галиция. Тот же зной, то же солнце, те же отяжелевшие от пыли фруктовые сады, подсолнечники и высокие розовые, белые, алые, кремовые мальвы, на кольях плетней — глечики.

Огромные партии пленных австрийцев в серо-пыльных мундирах, похожих скорее на какие-то больничные халаты.

Ночью за горизонтом беглый блеск артиллерийской стрельбы. Ее звуки все ближе и ближе... И вдруг — стоп! Назад! Куда же? Опять неизвестность. Солдатский телеграф молчит. Нами всеми руководит чья-то таинственная железная воля.

...И вот мы опять грузимся на платформы и в теплушки — сорок человек и восемь лошадей.

Замелькали поля Галиции, отроги голубых Карпат, пыльная фруктовая Буковина. Под нами сверкнул стальной быстрый Днестр. Бессарабия. И вдруг знакомая с детства станция Жмеринка, крупный узел Юго-Западной железной дороги. Здесь уже все знакомое, степное, родное. Новороссия. До нашего города совсем недалеко. Неужели туда на переформирование?! И сразу мне представляется куст персидской сирени, белая скамья над обрывом, морской простор.

По поводу ожидаемого переформирования в тылу в нашей теплушке пир горой. Откуда ни возмись появилось ведро бессарабского белого вина, не вполне честным путем раздобытого разведчиками в Жмеринке, и мы на радостях основательно выпили, закусывая сливами и грушами. С непривычки я опьянел, плел всякую чепуху про любовь и целовался с орудийным фейерверкером, у которого оказались колючие жесткие усы.

Я всех любил, и меня все любили и предсказывали, что скоро я получу звание младшего фейерверкера, а там и рукой подать до золотых погон.

В таком возбужденном состоянии я заступил на дежурство при двух орудиях моего взвода, ехавших на открытой платформе.

Поезд тронулся. Степной ветер быстро выдул из меня легкий хмель слабого бессарабского вина, и я сидел на лафете с обнаженным бебутом в руке, наслаждаясь стремительным движением нашего эшелона, с каждой секундой приближавшего меня к Вам.

Мимо пробегали телеграфные столбы, и я считал в уме расстояние между ними секундами: раз-два-три-четыре-пять. Обычный пассажирский поезд пробегал между двумя столбами за семь секунд. Теперь же от столба до столба было четыре секунды. Наш эшелон гнали со скоростью курьерского поезда. Не останавливаясь мы проскочили крупную узловую станцию Барзула. И вот уже — станция Раздельная. Чуть ли не сорок верст до моря, до Вас. Можете себе представить мое волнение! Еще каких-нибудь полчаса — и ко мне вернется прошлое...

Но не тут-то было. Близок локоть, да не укусишь. Видно, прошлое уже никогда не возвращается.

На станции Раздельная короткая остановка, после чего наш эшелон переходит по стрелкам на другую сторону и поворачивает на запад. Куда? Кто-то пускает слух, что бригада наша направляется в Тирасполь и станет там лагерем в ожидании новых событий: со дня на день доселе нейтральная Румыния должна вступить в войну против Германии и, таким образом, сделаться нашим союзником.

При слове «Тирасполь» в душе у меня все переворачивается. Ведь Тирасполь — это Ваш город. Там стояла 15-я артиллерийская бригада, которая после начала войны выделила из себя нашу 64-ю. А до войны вы все, барышни Заряницкие, каждое лето проводили в лагере у своего отца под Тирасполем. В Вашем представлении Тирасполь всегда казался чем-то вроде земного рая: природа, воздух, парное молоко, романы с артиллерийскими офицерами. Вы и Тирасполь в моем воображении неразрывны. И вот теперь чья-то неведомая воля мчит меня именно в Ваш Тирасполь. Чудеса!

Ночь. Звезды. Маленькая фиолетовая луна. Туча искр из паровозной трубы. Поле, откуда доносится запах конопли, иммортелей, полыни, чебреца. Теплый ветер бежит по звездам.

Станция Тирасполь!

Поезд стоит тридцать минут. Я дежурю на открытой платформе, прислонясь к орудийному колесу, весь под обаянием тех прошлых тираспольских ночей, которые я никогда не переживал, но прелесть которых всем своим существом чувствую по Вашим рассказам.

Но что это? Три звонка. Свисток. Стук буферов. Под моими ногами платформа дергается. Я хватаюсь за орудийный щит. Поехали дальше! Мне грустно. Я люблю Тирасполь, а он уплывает куда-то назад, вдаль, в степную ночь...

...И вот мы уже на берегу Дуная, в городе Рени...

...как у нас поется в бригаде: «Я на камешке сажу, на реку Дунай гляжу», а об Одессе и не мечтай! Ваш А. П.».

Вспоминается мне пыльный, знойный придунайский городишко Рени в Бессарабской губернии. В мирное, довоенное время этот городок жил сонной жизнью уездного захолустья. Два ресторана. Базар, где продаются местные кавуны, дыни да помидоры. Собор с синим полинявшим куполом. Кондитерская «Реномэ», парикмахерская «Реномэ», фотография «Реномэ». И бюро похоронных процессов тоже «Реномэ». И все это принадлежит одному хозяину-греку.

Теперь не то.

Город, говорят старожилы, не узнать. Он весь теперь какой-то военный, как бы защитного цвета хаки. Куда ни посмотришь — всюду военные. Пехотинцы. Артиллеристы. Авиаторы. Моряки. Саперы. Военные врачи. Сестры милосердия. По деревянным тротуарам позванивают шпory. То и дело, обдавая облаками мелкой, белой, как мука, бессарабской пыли местных так называемых кисейных девиц, прокатывают парные неуклюжие фэатоны, унося в кеведомую даль ослепительно-белые, словно отлитые из гипса, накрахмаленные кители и черные нафабранные усы морских офицеров Дунайской флотилии.

По окраинам расположены непрерывно прибывающие и прибывающие войска всех родов оружия. Вот на пыльном, поросшем бурьяном и будяками пустыре красуется совсем новенькая четырехорудийная, видно, еще не побывавшая в деле гаубичная батарея. Вот только что не египетские пирамиды, сложенные из блоков прессованного

сена. Палатки. На плетнях развешаны солдатские портянки, бязевые рубахи, кальсоны. Проветриваются шаровары и раскинувшие рукава гимнастерки. Дымят походные кухни, кипяильники на колесах.

Вспоминается, как проходил я мимо бивака сербских добровольцев, лихих молодцов в незнакомых странных головных уборах, которые теперь распространены повсеместно и называются пилотки, а тогда вызывавшие удивление.

Возле канавы, густо поросшей дерезой, унизированной бледно-лиловыми продолговатыми ягодками, между вербами протянута коновязь и топчутся лошади, отбиваясь хвостами от мух и слепней. Лица у братушек сербов смуглые, глаза как угли и как-то по-западному, даже по-американски, по-ковбойски сжатые энергичные рты.

Вот на плацу бивак наших казаков, лихих донцов с чубами из-под фуражек. Вот пулеметная команда.

Все чего-то ждут.

Солдатский телеграф сообщает, что не сегодня завтра нейтральная Румыния объявит Германии войну и тогда сразу же мы переберемся за Дунай, в Добруджу, и вместе с румынами ударим по врагу.

Но тянулись дни, а румыны все еще чего-то выжидали.

Войска изнывают от жары, пыли, безделья, нетерпенья.

Но что из себя представляет это скопление всех родов оружия — неясно. Кто говорит, что это новый фронт, кто считает это отдельной особой армией, кто — экспедиционным корпусом. Однако единого командования еще нет, отсюда какой-то всеобщий беспорядок.

Всем распоряжается, как говорят солдаты — всем заворачивает, некий контр-адмирал Дунайской речной флотилии, военный комендант города Веселкин, фигура отчасти комическая, отчасти злобная. Он тучен, курнос, бородат, полупьян, неряшлив, и если бы не его летний белый сюртук из чертовой кожи с контр-адмиральским черным орлом на погонах и не кортик, то его можно было бы принять за чеховского околоточного. Солдатский телеграф уверяет, что адмирал Веселкин — незаконный сын императора Алек-

сандра III. Вполне возможно. Он похож на него как две капли воды, только немного пониже ростом.

У Веселкина навязчивая идея: всюду наводить порядок. Он воюет на базаре с торговками, бьет морды солдатам, не ставшим ему во фронт, сажает на гауптвахту фланирующих по бульвару прапорщиков, штрафует извозчиков, непристойными словами ругает барышень.

Увидав издали белый сюртук, прохожие шарахаются в стороны, прячутся по домам, торговки в развевающихся юбках убегают с базара, таща свои лотки и корзины, из которых сыплются в пыль огурцы и помидоры, солдаты прыгают через плетни и прячутся в дерезе, извозчики из всех сил хлещут своих лошадей и несутся вскачь — дрожки вихляются и заезжают на деревянные тротуары. Адмирал Веселкин грозит им кулаками и оглашает воздух самой что ни на есть непечатной бранью.

О каком же тут порядке может идти речь? Сплошной хаос! И это все буквально накануне открытия нового фронта военных действий.

Даже сейчас, когда жизнь моя уже прошла, память с поразительной отчетливостью воскрешает все, что я испытывал тогда на берегу Дуная, и прежде всего внезапную, нестерпимо острую тоску по родному дому, по городу, по тому неповторимому миру юности, от которого я так глупо бежал.

Боже мой, что я наделал!

Я испытывал почти осязаемую близость родного новороссийского августа, пламенную густоту неба, грубый запах разросшегося за лето бурьяна, осыпавшего ботинки желтым порошком своего некрасивого, но могущественного цветения, трепет пухлых мотыльков-бразжников, кружащихся в палисадниках над яркими, как бы целлулоидными разноцветными цинпиями, огненными каннами, и каменную скамью над обрывом.

Я готов был бежать домой и стать дезертиром.

Искушение было так велико, что однажды я отправился на железнодорожную станцию, перешел через рельсы

на запасной путь, где стоял пустой состав пассажирского поезда Рени — Одесса, взобрался по высоким ступеням и открыл незапертую тяжелую дверь пустого вагона «микст» — наполовину желтого, наполовину синего. Я вошел в уборную первого класса и запер за собой дверь на задвижку. Здесь было прохладно, очень тихо и пахло душистой дезинфекцией хорошо вымытого фаянсового унитаза и умывальника с куском туалетного брокаровского мыла и льняным полотенцем с монограммой железной дороги — ЮЗЖД.

Я увидел себя в зеркале и удивился. Я давно уже не видел себя в зеркале. Загорелое незнакомое лицо, уже не детское, возмужавшее, но все еще не вполне солдатское. Стриженная голова. Пыльные жесткие волосы. Выгоревшая фуражка с солдатской кокардой. Две защитного цвета пуговички на помятом вороте летней гимнастерки с покоробившимися погонами вольноопределяющегося, украшенными скрещенными пушечками и бомбардирской лычкой. Узкие глаза, как у покойной мамы. Щеки со следами недавнего бритья. Безвольные потрескавшиеся губы и общее выражение преступного отчаяния.

Кто я? Трус? Дезертир? Ах, все равно, лишь бы поскорее любой ценой вернуться в тот мир, который я так легкомысленно отверг. И тут же я почувствовал, что к прошлому нет возврата. Вернее, того прошлого уже вообще нет. Оно невозвратимо. И я сам этого захотел! Я сам его уничтожил.

В ртутном блеске зеркала, исцарапанного алмазными вензелями, я увидел окаянные черты антихриста, падшего ангела, наказанного тем, что все его желания исполнились.

Теперь мое преступное желание бежать от войны могло исполниться, стоило только не отпирать задвижку до тех пор, пока поезд не подадут к перрону и потом он не тронется, увозя меня обратно, в утраченный мир любви и юности.

А воинская присяга?

Ведь это я сам без принуждения положил два пальца

на серебряный оклад Евангелия, и присягнул умереть за веру, царя и отечество, и целовал поданный мне наперсный крест бригадного священника, обжегший на морозе мои детские губы. Теперь я стану клятвопреступником, меня предадут военно-полевому суду, сорвут погоны, и я буду копать яму шанцевым инструментом — лопатой, — уже стоя в яме по пояс, в то время как два солдата из комендантского взвода, один с винтовкой на изготовку, а другой скручивающий из газеты сигарку, будут стоять надо мной, терпеливо дожидаясь, когда я наконец кончу копать.

Я очнулся и, торопливо оглядываясь по сторонам, открыл задвижку, выбрался из уборной и спрыгнул из тамбура на железнодорожное полотно, усыпанное ржавой щебенкой с кусочками кремня и сгоревшего угля.

На этот раз мое желание как будто бы не исполнилось. И слава тебе, господи! Я перекрестился, как бы желая изгнать из себя дьявола.

Но я ошибся. Желание мое все-таки исполнилось самым неожиданным образом. Как только я добрался до бивака своей батареи, меня потребовали к командиру, который с несколько насмешливой улыбкой приказал мне отправиться в бригадную канцелярию получить суточные, приварочные, командировочные, увольнительные документы на пять суток и железнодорожные литеры. Оказывается, по приказанию из штаба бригады меня командировали в Одессу на пять суток, считая время проезда по железной дороге.

— Повезете с собой бригадную почту, а на обратном пути захватите у генеральши Заряницкой два пуда муки для офицерской столовой. А то вы здесь болтаетесь без всякого дела. Обрато вернетесь как раз к началу военных действий.

Таким образом, я, все еще не веря своему счастью, поехал в том самом пассажирском поезде, но только в вагоне третьего класса, в любезный мне город, смутно догадываясь, что эту поездку устроила мне Миньона. Так оно и оказалось. Но только вряд ли здесь была любовь, а скорее дружеское участие.

— Скажите мне спасибо,— были ее первые слова, когда я появился у Заряницких, переступив порог бледно-зеленых дверей с начищенной медной дощечкой.

Я не сразу узнал Миньону в вышедшей мне навстречу низкорослой девушке в косынке с красным крестом, в сером платье сестры милосердия. Только бледно-сиреневые глаза и кончик бронзового короткого локона, высунувшийся из-под косынки, напомнили мне ту Миньону, которую я видел в последний раз на первый день пасхи, после бессонной ночи с той модисточкой, мимолетную связь с которой я и вовсе не считал изменой, потому что это находилось в той теневой стороне моей жизни, которая никакого отношения не имела к жизни, так сказать, подлинной, настоящей.

Эти две жизни как-то не принято было смешивать. Они соотносились друг с другом, как бодрствование и состояние глубокого сна со сновидениями, не всегда даже потом запоминающимися.

«Тогда» в полдень я стоял перед Миньоной в состоянии бодрствования. Я был я. Она была она в своем пасхальном платье. Сквозь полуоткрытую дверь коридора в солнечном луче виднелась часть пасхального стола с куличами, гиацинтами и винными бокалами зеленого стекла. Слышался говор офицеров-визитеров. Синел папиросный дым. Миньона и я, слегка помедлив, похристосовались и покраснели — я сильно, она слегка.

Теперь на том же самом месте, как тогда, она подала мне руку, я неловко ее поцеловал, почувствовав слабый йодистый госпитальный запах. Из столовой доносился стук швейных машинок. Там дамы-патронессы — офицерские жены — шили солдатское белье и щинали корпию.

Все было не так, как я себе представлял. Миньона оказалась мне старше, чем была в действительности. Я пошел провожать ее в лазарет, где она дежурила. Город явился мне праздничным, хотя как бы и не вполне знакомым: густая августовская зелень бульваров и парков, знойное небо, яркое море с белоснежным маяком и множеством военных, среди которых попадались итальянские и фран-

пузские офицеры и англичане во френчах с ленточками орденов. Попадалось много автомобилей и экипажей. Видимо, город процветал. Война щедрой рукой разбрасывала сотысячные ассигнования, земские союзы и ведомство императрицы Марии не скупилась на сотенные бумажки, так называемые катеньки, для раненых офицеров, разъезжавших со своими желтыми костылями на извозчиках в сопровождении госпитальных сестриц или дам-патронесс в больших шляпах. В магазинах шла бойкая торговля. В табачных лавках продавались жестяные коробки с английским трубочным медовым табаком — кэпстеном. Мальчики-газетчики бегали по улицам, возвещая скорое вступление в войну Румынии.

Миньона взяла меня под руку с левой стороны, так как правой рукой я все время отдавал честь проходящим и проезжающим офицерам.

В парке ярко краснели августовские цветы.

— Вы молодец, что так много мне писали,— сказала она, прощаясь со мной возле госпиталя.— К сожалению, сегодня я дежурю, а завтра...

Она слегка прижалась к моему плечу, и я уловил в ее глазах знакомую, немного насмешливую улыбку.

— Что завтра? — спросил я.

— Завтра я буду свободна целый день...

Попрощавшись с Миньоной, я пошел по знакомым, но почти никого не застал дома. Иные еще не возвратились после летних каникул. Иные уже куда-то уехали. Многие из моих товарищей поступили в школы прапорщиков. Вольдемар стал так называемым земгусаром, то есть полувенным чиновником Союза городов, и носил узкие погончики и странную кокарду, даже, кажется, с красным эмалевым крестиком. Он куда-то торопился и был заметно смущен своим видом, говорившим мне, что его сестра Калерия гостит на Куяльницком лимане у Ганзи и они вернутся не раньше конца августа.

Произнеся имя Ганзи, он многозначительно и отчасти горестно поднял свои короткие густые брови, и голос его зазвенел знакомым надтреснутым фальцетом обидчивого самолюбивого ревнивца, из чего я заключил, что из его романа с Ганзей ничего не вышло и он получил отставку.

— А вы, Саша, я вижу, настоящий герой-фронтовик. Но где же ваш Георгий? — Он засмеялся своим блеющим

смешком и погладил усики, придававшие ему вид провинциального красавца.

Упоминание Ганзи меня обожгло. Но я сделал вид, что это мне безразлично. Я даже нашел в себе силы спросить как бы вскользь:

— А она еще не вышла замуж?

Мой вопрос, в свою очередь, настолько обжег Вольдемара, что он не нашел в себе мужества ответить как-нибудь остроумно и лишь процедил сквозь зубы:

— Насколько мне известно, нет.

Вспоминая все это, я с грустью понял, что моя исключительная память, которой я некогда славился, почти ничего не сохранила о моем коротком пребывании в тылу.

Кроме того, что на некоторых городских пустырях проходили пехотные учения юнкеров или солдат запасных батальонов, одно только и осталось в памяти ярко и отчетливо — это то, что, как я узнал от Вольдемара, Ганзя проводила летние месяцы на Куяльницком лимане, вероятно, на той самой даче, куда некогда я проводил ее по стени, поросшей иммортелями и полынью, и потом мы сидели на террасе, и мама Ганзи принесла нам на блюде нечто, показавшееся мне в сумерках, при еще очень слабом свете восходящей луны, оранжевыми ломтиками голландского сыра, а на самом деле это были скибочки нарезанной дыни, сразу же наполнившей теплый воздух своим персидским, несколько спиртуозным ароматом.

Лицо Ганзи трудно было рассмотреть в сумерках, хотя полынь на горе уже слегка серебрилась от лунного света. Впрочем, я никогда не мог рассмотреть ее лица, да и сейчас не берусь его описать. Единственное могу сказать — что бог, создавая Ганзю, не забыл положить в нее немного корицы...

...Потом принесли лампу, вокруг которой летали мотыльки...

Тогда я не пробыл дома даже пяти дней. Румыния вступила в войну. Мне следовало спешить в действующую армию.

Вечер накануне отъезда я провел с Миньоной. Она сняла форму сестры милосердия, надела свое обычное летнее платье английского стиля, с большим атласным бантом на шее и превратилась в прежнюю Миньону.

На голове кружевная накидка, на плечах оренбургский платок. Ее знобило. Может быть, у нее и впрямь начинался туберкулез? Она продолжала играть роль друга и покровительницы, хотя была моложе меня. На правах любимой дочки командира бригады она строго расспрашивала меня о продвижении по службе и удивлялась, что я до сих пор не произведен в младшие фейерверкеры, а все еще хожу в бомбардирах, которым, кстати сказать, не положено носить шпоры, а я их ношу. Впрочем, о шпорах она упомянула с лукавой улыбкой. Эта улыбка как-то сблизила нас, чему содействовала густая темнота августовской ночи в разросшемся саду дачи Вальтуха.

Задевая темные кусты давно уже отцветшей сирени, в недрах которой кое-где таинственно тлели зеленые камушки светлячков, мы вышли к знакомой скамейке над обрывом.

Черное небо, осыпанное скоплениями крупных и мелких звезд, отражалось в как бы отсутствующем море, откуда доносились размеренные всхлипывания волн.

Вокруг стояла настороженная военная тишина, и голубой луч прожектора скользил по звездам и вдруг пропал, с тем чтобы снова возникнуть и пройти стеклянно-фосфорической дугой по небосводу от горизонта до горизонта.

Маяк ввиду военных действий на Черном море был погашен.

Я искал глазами среди скопления августовских созвездий Полярную звезду. Для того чтобы ее обнаружить, следовало провести между двух крайних звезд ковша Большой Медведицы воображаемую прямую и продолжить ее почти до самого зенита, где находилась Полярная звезда, маленькая, ничем не замечательная, еле заметная, поражающая воображение своей вечной неподвижностью, недоступностью.

— О чем вы думаете? — спросила Миньона.

Я положил руку на спинку скамьи и не без осторожности сделал попытку обнять Миньону за плечи.

— Миньона, — сказал я, — кажется, я вас люблю.

— Только, пожалуйста, не врите, — сказала она и отвела мою руку своей опасно горячей ручкой.

Это мое «кажется» было, конечно, заимствовано из романа «Средь шумного бала».

Я стал преувеличенно сильно кашлять, как бы давая понять, что опять эти проклятые газы, этот фосген...

Отчасти это было правдой. Я все еще продолжал время от времени покашливать.

— Ах, бедный мальчик, — сказала Миньона не без иронии.

И опять наши отношения не выяснились. А письма из действующей армии продолжались.

«...вся пристань запружена повозками, обозами, артиллерией, лошадьми, блоками прессованного сена, рогожными тюками. Погрузка идет полным ходом. Визжат лебедки, скрипят сходни, слышатся крики грузчиков, фырканье лошадей. Баржи выкрашены в защитный цвет. Почти все баржи румынские или греческие. Фоном для этой картины служит прекрасный Дунай с пыльной, серебристо-кудрявой зеленью на противоположном, уже румынском берегу.

Как-то я написал Вам, что Дунай — скучная река. Не верьте. Это, наверное, тогда у меня было скверное настроение. Дунай прекрасен! Полуденное солнце бьет почти отвесно в стальную, широко движущуюся воду, и оттуда прямо в глаза летит поток ослепительных лучей и искр.

Не помню, писал ли я Вам об адмирале Веселкине, коменданте местного гарнизона. Если не писал, то тем лучше. Слава богу, прибыл наконец командир корпуса генерал-лейтенант Гернгросс, и я был свидетелем, как Веселкин сдавал ему командование всеми войсками, доселе находившимися в его подчинении.

Я в это время только что приехал и еще находился на перроне вместе со всеми Вашими посылками, связками писем и мешком хорошей пшеничной муки мелкого помо-

ла, посланной Вашей мамочкой для Вашего папочки, что делало меня похожим на вьючного мула.

По перрону бегал, наводя порядок, адмирал Веселкин. В это время подошел экстренный поезд, остановился, и к синему пульмановскому вагону подкатили красную ковровую дорожку. В тамбуре вагона стоял худой, строгий генерал в летней походной форме, с орденами на груди и на шее, в лайковых перчатках и походной фуражке с полями, приподнятыми на прусский манер. Одну руку генерал заложил за широкий пояс отличной коричневой кожи, а другой рукой слегка опирался на золотой эфес своей шашки с георгиевским темляком. Сделав небольшую паузу, генерал упруго соскочил на перрон, где его уже ожидал вытянувшийся в струнку адмирал Веселкин, выкатив глупые романовские глаза в красных жилках. Слегка пошатываясь, он подошел к генералу Гернгроссу, приложил руку к козырьку и отрапортовал о сдаче командования новоприбывшему.

Генерал Гернгросс корректно, но очень коротко и не без брезгливости пожал лапу Веселкина в белой нитяной перчатке и сказал: «А теперь, ваше превосходительство, можете быть свободны», сел в автомобиль и отбыл в свой штаб.

И в городе, слава тебе господи, воцарился порядок, а разрозненные воинские части почувствовали себя единым целым, то есть отдельным особым армейским корпусом.

У коменданта пристани мы — я и несколько отставших артиллеристов нашей бригады — наводим справки и визируем свои командировочные удостоверения. Наша бригада два дня назад переправилась в Румынию. Мы ее догоняем, и нам предстоит путешествие вверх по Дунаю на барже, которая должна отвалить от пристани часов в пять еще вполне солнечного вечера. На баржу уже погружен наш артиллерийский парк и обоз второго разряда. До отплытия время тянется скучно и сонно. Утомляет портовый шум и гам.

Наконец все готово. Два десятка барж битком набиты телятами, лошадьми, прессованным сеном, солдатами. Мы устраиваемся в большой головной барже, отлично приспособленной для перевозки войсковых частей. Здесь и чистая

кухня с котлами для борща, каши и кипятка, и вместительные трюмы с койками для людей и на совесть выскобленными обеденными столами, на одном из которых я и пишу не без удобства это письмо.

Видно, что со стороны подготовки к войне (в смысле средств передвижения) Румыния больше чем постаралась.

Маленький буксирный пароходик «Рени» пыхтит возле нашей баржи, и видно, как на его пузатом борту суетятся матросы и флегматично покуривает трубку-носогрейку смуглый коренастый капитан, по внешнему виду итальянец или грек.

Баржи соединяются по четыре в ряд впереди и по три сзади. В таком порядке буксирный пароходик должен потянуть их за собой вверх по течению. Как-то не верится, что он в состоянии это сделать: не хватит силенок!

Но вот все готово. Убирают трапы. На баржи с пристани прыгают последние матросы. Визжат паровые лебедки, накручивая якорные цепи. С передних барж передают на буксир стальные тросы, и «Рени», методично бурля винтом, натягивает их, как струны. Течение медленно поворачивает баржи боком. Набережная отделяется и уходит назад. Кипит вода. Баржа идет без единого толчка, без малейшего намека на движение. С буксира что-то кричат в рупор.

Дунай сейчас удивительно красив. Он потерял свой обычный серый цвет и полностью отразил в себе закатное небо, стал голубовато-розовым и удивительно гладким, без единой морщинки. В таких случаях принято писать, что река как зеркало, в котором отразились живописные берега.

Городок Рени уходит, все уходит назад, вот он уже потонул в садах. Лишь у пристани белеет и блестит в лучах заходящего солнца ожерельем иллюминаторов флагманский корабль адмирала Веселкина, бывшего начальника местного гарнизона.

И как странно на этом живописном фоне, на этой, так сказать, палитре беспорядочно смешанных закатных красок видеть защитного цвета баржи и солдат в защитном френтовом.

Вот уже Рени совсем скрылся из глаз, растворился в отражении закатного зарева, стал всего лишь воспоминанием...»

Вот именно, думаю я, перечитывая эти стертые карандашные строки: скрылся из глаз, потонул, стал невозвратимым прошлым. Ах, как легко и бездумно меняя я в юности свою жизнь, превратившуюся в воспоминание.

Ну какой черт понес меня на войну? О, если бы я тогда знал, что однажды покинутое уже больше никогда не возвратится, а если и возвратится, то уже совсем другим.

...Отец постарел, вставил себе зубы, и они как-то зловеще изменили его родное лицо. Квартира не прибрана. Раньше мне никогда не приходило в голову, на какие средства мы живем. Отец с утра до вечера ездил по урокам. Сначала ездил на трамкарете, на конке, потом на электрическом трамвае, изредка позволял себе роскошь нанять извозчика за двугривенный. А много ли он зарабатывал? Как говорится, едва сводил концы с концами. Выручали жильцы, которым сдавали лишние комнаты. Но они платили неаккуратно. Один даже оказался запойным пьяницей. Квартира напоминала постоянный двор. У младшего братишки, гимназиста, была своя жизнь — друзья, футбол, шаланда в «Отраде». В сущности, всего и осталось что увеличенный фотографический овальный портрет покойной мамы в черной раме, да красная лампадка, озаряющая венчальный образ спасителя с пальмовой веткой, похожей на сложенный пластинчатый китайский веер, и бутылочка святой воды за образом, как-то напоминающая навсегда ушедшую жизнь.

Нищая юность!

Я любил отца, но никогда о нем не думал, из действующей армии ему писем почти не писал, разве только для того, чтобы попросить что-нибудь прислать: табак, сахар, что-нибудь вкусненькое, копченой колбасы, сыру, ванильных сухарей, денег, глицеринового мыла. Мне как-то даже в голову не приходило, что все это достается с таким трудом.

Как заботливо отец собственноручно зашивал в холстину эти посылки, аккуратно переводил мне пятерки

и даже десятки, которые с таким трудом ему доставались!

А прекрасные хромовые офицерские сапоги, бывшие в то время на мне? Я получил их в посылке, пришедшей по полевой почте, на биваке возле Черновиц. Сапоги, спитые на заказ, стоили никак не меньше двадцати рублей. В сущности, я мог бы свободно обойтись казенными, солдатскими. Но мне хотелось шикнуть, и я послал отцу мерку.

Сапоги были действительно отличные, правда, тесноватые, но разносятся! Они придавали мне нечто офицерское, особенно со шпорами.

Все это вдруг показалось мне ужасным. Я разыгрывал воина-фронтовика, защитника отечества, не забывая на каждом письме ставить слова «Действующая армия» и описывать артиллерийские дуэли, газовые атаки, походы, живописные лишения боевой солдатской жизни, а в это время мой отец, одинокий старик, вдовец, каждую ночь в нижней рубашке и подштанниках стоял на коленях перед образом, освещенным огоньком красной лампадки, и, кладя седую плешивую голову на потертый коврик, истово осеняя себя крестным знамением, плакал и молил всемогущего господа бога пощадить меня, его сына, отвести от меня руку смерти. Не было минуты, чтобы он с ужасом не представлял себе моей гибели, его мальчика, так похожего лицом на мою маму, на его покойную жену.

Вечный страх за сына изнурял его, лишал сна; за несколько последних месяцев он еще более постарел, с трудом нося под мышкой кипы голубых ученических тетрадок, накрест перевязанных шпагатом.

Только сейчас, на барже, несущей меня невесть куда по Дунаю, я вдруг почувствовал стыд и такую душевную боль, что едва не застонал.

Моя душевная боль почему-то была связана также с неразделенной любовью, из-за которой, собственно, я и ушел на войну.

«...мимо нас,— продолжал я строчить письмо Миньоне,— быстро проходит судно под цветным румынским флагом. На палубе виднеются синеватые мундиры румынских солдат. Наши солдаты бросаются к бортам, машут фураж-

ками, платками, и громкое русское «ура» льется по гладкой поверхности европейской реки, достигает румынского судна и возвращается оттуда с ответным воинским приветствием на румынском языке.

Двое суток плывем мы по Дунаю. Однообразные берега, поросшие серебристо-пыльной кудрявой зеленью, как будто вытканной на гобелене. Кое-где на прибрежных лугах пасутся стада буйволов, которые очень удивляют своим дьявольским видом наших солдатиков.

За все это двухдневное путешествие мы ни разу не останавливались, не причаливали к берегу, и все-таки связь с внешним миром поддерживается: кое-где, когда мы проплываем мимо придунайских городков или сел, к нашим баржам цепляются лодки, нагруженные арбузами. Завязывается оживленная торговля при помощи ведер, привязанных к длинным веревкам. С лодок в ведра грузят арбузы. Такие плавучие лавочки — наше единственное развлечение. От лодочников-румын мы узнаем военные новости. Стараясь быть понятыми, спрашиваем на якобы румынском языке: «Романешты... разбой... как там дела?» — что должно пониматься примерно так: как дела на румынском фронте?

«Разбой» по-румынски значит война. А «бун» значит хорошо.

— О, бун! Бун! Трансильвания бун! — кричат нам снизу лодочники-румыны.

Стало быть, дела идут хорошо, наступаем в Трансильванию.

А что оно такое, эта самая Трансильвания, вряд ли кто-нибудь из наших солдатиков знает.

Вообще мало кто понимает, зачем воюют, с кем воюют, для чего и кому это надо.

Изредка мимо нас вниз по течению пробегают сербские пароходики. Мы приветствуем их громкими криками. Сербы — это понятно. Братушки. Братья славяне».

Ночью мне не спалось. В тысячный раз мучил вопрос, что же такое у меня произошло или даже и сейчас продолжает происходить с Ганзей Траян?

Как все это началось, было ясно. Началось с фиалок. Ну а потом? Потом в свое время наступила осень, желтые листья, ранние сумерки и все та же тесная компания,

состоящая из гимназисток, гимназистов и даже одного студента-первокурсника. Компания эта — «наша компания» — кочевала во второй половине дня после уроков по опустевшим приморским дачам с заколоченными ставнями, с мусором на открытых террасах, по обрывам. Мы стояли тесной кучкой по колено в бурьяне, очарованные картиной черноморского шторма.

Норд-ост, срывающий шляпки и фуражки, подбивающий под колени полы серых гимназических, уже зимних шинелей, треплющий подолы зеленых гимназических юбок, несущий в лицо вихри пыли и морские брызги, колючки репейника, пушинки чертополоха.

Прибрежные скалы наполняли воздух бронзовым звоном прибоя.

Маленькая Ганзя Траян казалась совсем незаметной среди этой тесной компании, где каждый и каждая на свой лад переживали красоту шторма: кто с восторгом только что обнаруженной страсти, кто с отчаянием ревности, кто предчувствуя приближение первой любви, кто подозревая измену, кто предвкушая свидание. Студент-первокурсник, раскинув руки с новенькими крахмальными манжетами — поэт, — со слезами на глазах кричал против ветра: «Какой простор! Какой простор!» — вспоминая таинственную картину Репина: офицер и курсистка, взявшись за руки, шли прямо в открытое бушующее серо-зеленое море и уже были по колено в прибое — она размахивая муфтой, — что воспринималось как намек на некое освободительное движение.

Кто-то кому-то жал розовые озябшие ручки.

А одна хорошенькая пятиклассница-вакханка с пылающим от ветра личиком кричала, хохоча:

— Мой идеал — кружиться в вихре вальса!

Конечно, Вольдемар не отходил от Ганзи, как телохранитель, готовый убить каждого, кто покусится до нее дотронуться. Калерия щипала и выкручивала мне руку, а у самой от сора, принесенного бурей, покраснели глаза и слезинки текли по крыльям носа.

Быстро темнело, и казалось, что эту темноту несли с

собой бурые облака, низко мчавшиеся над взмыленным морем.

Всем своим видом я изображал презрение к красоте шторма, в то время как сердце у меня ныло от отчаяния, и только одна Ганзя, отворачиваясь и морщась от ветра, как бы находилась по ту сторону человеческих страстей, во всяком случае, так мне казалось.

Чем же это в конце концов разрешилось? Что было потом? А ничего. Компания разошлась по домам, и только...

«Наконец баржи прибыли к месту назначения, в город Чернавода. Типичный захолустный городишко восточного типа. Беленький. Пара минаретов. Это уже за граница. Румыния. Здесь через Дунай протянулся длинный ажурный железнодорожный мост вполне европейского вида.

Утро немного туманное, перламутровое, на фоне молочно-голубой реки и лилового неба тяжело и черно рисуются наши канонерки, идущие одна за другой куда-то вверх по Дунаю. Зловещие призраки войны и смерти. Нехорошие предчувствия.

Пристани запружены народом и войсками. Пока разгружаются баржи, прибывшие еще до нас, мы обречены на томительное ожидание высадки. С берега доносятся воинственные звуки военного оркестра: румыны приветствуют наши прибывшие войска.

Но вот я уже на берегу вместе со своей поклажей и мешком муки, будь он трижды...

Шумные улицы. Пахнет кофе, бараниной и еще чем-то пряным. Пестрят одеяния молдаван, красные фески, яркие ткани торговков. Продаются с лотков восточные сладости. Все кофейни заполнены румынскими солдатами и офицерами. На нас, русских, они смотрят с любопытством. Задают какие-то вопросы. Но так как ни мы по-румынски, ни они по-русски ни черта не понимаем, то можно только догадываться, о чем идет речь, по отдельным словам: «Галиция», «Трансильвания», «бун», «карашо», «бум-бум», «Германия — бах» и т. д.

Ну, все ясно!

Мы им отвечаем такими же воинственными меж-

дометиями и отрывистыми географическими названиями:

— Карпаты. Буковина. Бах-бах!

Вход в кофейни румынским нижним чином не запрещен, и можно наблюдать группы наших и румынских солдат, сидящих за маленькими чашечками черного турецкого кофе, к которому подается стакан свежей воды и блюдечко с ягодкой вишневого варенья. Союзники обмениваются между собой мнениями по поводу военных событий при помощи жестов, восклицаний, многозначительных подмигиваний.

Столик, за которым я пишу Вам это послание, стоит на площади перед кофейней. Площадь усеяна сеном, соломой, конским навозом. Над входом в кофейню водружен румынский флаг. На маленьком блюдечке одна-единственная вишенка и стакан холодной воды — «апа фреска», — в которой отражается утреннее солнце.

Сейчас пойду искать вокзал, откуда поеду уже поездом на запад, на позиции. Что-то у меня дурные предчувствия. Ах, если бы Вы знали, как тягостно приближаться к роковой черте передовой линии... Не забывайте же меня. Скоро напишу. А мешок с мукой тащу с собой повсюду, не беспокойтесь, доставлю по назначению. Пускай Ваш батюшка побалуется русскими блинами и пышками. Ваш А. П.

А за некоторый мой неловкий поступок на даче Вальтуха великодушно простите. Больше не буду. А.»

Следующее письмо:

«29 августа 916 г. Румынский фронт. Южная Добруджа. Город Меджидие, куда довез меня из Чернавод пассажирский поезд, медленный, как черепаха. Однако вагоны на европейский лад: из каждого купе дверь прямо наружу, на перрон. Вагон по-ихнему называется каруцца, что вполне соответствует скрипу, издаваемому им во время движения.

В каруцце, куда я попал вместе с мешком муки, едут вполне мирные румынские обыватели в соломенных и фетровых шляпах и в парусиновых туфлях.

Мое появление в вагоне вызвало нечто вроде сенсации. Еще бы: живой русский воин в полной походной форме, даже со шпорами. Немного, конечно, портил впечатление мешок муки. Но, может быть, румыны подумали, что в мешке динамит. А вообще они приняли меня за офицера и оказывали все виды самого изысканного внимания: угощали початками вареной кукурузы, называемой у них папушей, свежей брынзой, помидорами и даже отличным виноградом.

Ну, конечно, разговор о войне. На каком языке? Вообразите, что мне пригодился французский, по которому я в гимназии не вылезал из двоек. Но кое-что в памяти застряло. Так что незаконченное среднее образование пригодились.

Мирные румынские пассажиры весьма воинственно настроены и готовы совместно с доблестной русской армией поколотить не только немцев, но главным образом своих соседей — болгар и венгров, с которыми у них, оказывается, какие-то застарелые территориальные счёты.

Почти у всех пассажиров в руках газета «Адеверуль», где помещается большое количество военных сводок и патриотических корреспонденций. Среди пассажиров обращает на себя внимание одна довольно смазливенькая русинка из Чернавод в голубом кружевном платье, с голубой вуалью на голове, полузакрывающей белобрысое личико с голубыми глазками. Она с нескрываемым обожанием смотрит на меня, на мою выгоревшую гимнастерку, на мои шпоры, на пушечки на моих боевых погонах с бомбардирской лычкой, все время на странном полурусском языке благословляет меня на ратные подвиги и непрерывно крестит меня своей худенькой ручкой, как бы желая сохранить мою жизнь.

Но, пожалуйста, не подумайте чего-нибудь... Это чисто патриотические порывы таинственной славянской души хорошенькой и очень молоденькой белобрысенькой русинки.

Но так или иначе румынская каруцца наконец с божьей помощью дотащила меня до Меджидие. Это маленький южнодобруджский городок совершенно турецкого типа: базар, шашлыки, небольшие белые мечети с низенькими минаретами.

В одной из мечетей я обнаружил ящики с имуществом нашей бригадной канцелярии, над распаковкой которых трудились знакомые мне писаря. Оказалось, что все бата-

реи уже ушли вперед, и мне указали маршрут, по которому я должен их догонять. С облегчением оставив в канцелярии изрядно надоевшие посылки и особенно тягостный мешок с мукой, я пустился в путь, пристроившись к какому-то обозу с патронами. В обозе уже работал солдатский телеграф, сообщая, что наш экспедиционный корпус, называемый теперь румынским фронтом, придвинулся вилотную к болгарской границе, а кое-где даже и перешел ее, так что с наших наблюдательных пунктов в стереотрубу кто-то из наблюдателей видел болгарский город Базарджик. Но это сомнительно. До Базарджика еще очень далеко: обычные преувеличения разведчиков-наблюдателей. А пока что, сидя на обозной повозке, я приближался к своей батарее, расположенной где-то в степной балке.

Вокруг ни одного деревца. Ровная сухая степь, милая моему сердцу. Вдруг послышался зловеющий треск авиационных моторов. Обозные лошади, задрав оглобли, шарахнулись в сторону. Над нами пронеслась эскадрилья немецких самолетов с черными крестами на крыльях. Самолеты пронеслись так низко, что можно было рассмотреть фигурки авиаторов в кожаных шлемах и очках, что делало их похожими на каких-то опасных насекомых. Я спрыгнул с повозки, бросился в степь и лег на жнивье, закрыв голову руками, как будто это могло меня спасти. Все обозные сделали то же самое. Однако немецкие самолеты пронеслись мимо и скрылись за горизонтом, не заметив нас. Как говорится, на этот раз я опять отделался легким испугом.

Может быть, меня охраняло крестное знамение, сделанное маленькой ручкой белобрысой русинки?

Однако когда я прибыл на место назначения, выяснилось, что утром эскадрилья немецких аэропланов сделала палет на наше расположение, обстреляв из пулеметов несколько батарей резерва, и сбросила до сорока бомб. Только благодаря счастливой случайности лошади в это время были на водопое за восемь верст, а то всех бы их покалечило. Впрочем, палет не причинил нам никакого вреда.

Наши авиаторы, конечно, поспешили отдать неприятелю визит вежливости и в обед вернулись обратно, принеся известие, что в ближайших тыловых деревнях противника замечено накапливание крупных сил. Немедленно

же пехотой была произведена разведка, установившая смену неприятельских полков и прибытие приблизительно двух свежих дивизий — турецкой и немецкой. Серьезного наступления противника не ждем, но все-таки приняли меры предосторожности: подтянули резервы, выставили заставы, а наша артиллерия выслала на наблюдательные пункты кроме обычных наблюдателей-солдат также и офицеров.

Меня с места в карьер назначили телефонистом, и я спешно заканчиваю письмо, так как приходится взваливать на спину телефонные катушки и тянуть провод на наблюдательный пункт, так что пока до свидания. Не забывайте. Ваш А. П.

Р. S. Надеюсь, Вы не сердитесь на меня за неразумный поступок на даче Вальтуха. Я заметил, что у Вас очень горячие руки. Не больны ли Вы? Берегите себя. Ведь у Вас слабые легкие. А.».

«29 августа 1916 г. Южная Добруджа. Дорогая Миньона, кажется, я Вам уже писал, что здесь города восточного типа. Пыль, жара, запах кофе и жареной баранины. Ни один черт по-русски не говорит. Ужас! Жалованье нам выдают румынскими бумажными леями. В данный момент мы стоим на позиции возле самой болгарской границы. Население — болгары, которые иногда постреливают в нас из-за угла.

Солдатский телеграф сообщает, что надо быть осторожным, так как некоторые колодцы отравлены. Уже были случаи. Почти все население бежало. Но в одной брошенной деревне я видел старуху всю в черном, страшную, похожую на сушеную грушу. Она смотрела с ненавистью нам вслед и посылала проклятья на своем непонятном языке. Такая старуха может и колодец отравить.

Вокруг от горизонта до горизонта голая степь и больше ничего. Что-то в этом есть древнее, может быть, даже скифское, сарматское. Здесь некогда воевал с турками мой прадед и освобождал братьев славян мой дедушка. И вот теперь я бреду в пыльных сапогах под палящим августовским солнцем, со страхом озираясь по сторонам.

Наша артиллерийская бригада, оставившая свою пехоту под Сморгонью, теперь придана сербским бригадам.

Сербы дерутся, как львы! Сербские душки офицеры в своих красных бархатных шапочках, которые так пленяли одесских барышень, оказались на поле боя настоящими храбрецами, оправдали доверие прекрасного пола: пленных не берут, раненых добивают на месте. Прелестные ребята!

Пишу, примостившись на каком-то ящичке. Были эффектные бои и стычки с болгарской кавалерией. Подробности скоро, а сейчас не до писем. Ваш Пчелкин».

Это было, кажется, последнее более или менее регулярное письмо. Армия все время находилась в движении. Полевая почта работала плохо. Письма и посылки часто пропадали, не находя адресата.

Теперь, вспоминая об этом времени, я с трудом восстанавливаю последовательность событий, менявшихся с поразительной быстротой, так же, как менялось мое душевное состояние. Из мальчишки, юноши я медленно превращался в молодого человека.

Под Сморгонью я прослужил почти полгода. Нельзя сказать, чтобы боевые действия там были менее опасны, чем теперь, в Добрудже. Но под Сморгонью велась война окопная, позиционная, и боевые действия имели (если так позволительно сказать) более упорядоченный характер, так что образовался некий быт, привязанный к одному определенному месту: лесному массиву возле разбитого снарядами небольшого белорусского города.

Воинские части укрывались в хвойных густых лесах, солдаты жили в надежных блиндажах и глубоких землянках, покрытых в три, а то и в четыре наката толстыми сосновыми бревнами, почтовая связь с тылом действовала довольно быстро, надежно. А красота северной природы, знакомая мне только по картинкам, рассказам отца и по «Временам года» Чайковского, так сильно поразила мою душу, и без того потрясенную первой мальчишеской любовью, что я долго не мог очнуться.

Однако очнулся, привык, и мне уже стала в тягость позиционная война.

«...и как бы ни любил я вас, привыкнув, разлюблю тотчас...»

Я даже привык к тому, к чему, казалось бы, невозможно привыкнуть: к постоянному страху смерти. Чувство самосохранения приучило меня мгновенно разбираться во всех звуках прифронтальной полосы, которые безошибочно определялись как безопасные и опасные. Я научился совершенно точно угадывать отдаленный, еще очень слабый звук неприятельского орудийного выстрела и потом улавливать приближающийся свист немецкого снаряда, заранее и безошибочно определяя перелет, недолет или точное попадание, что давало возможность своевременно броситься в блиндаж или, равнодушно посмеиваясь, следить за невидимой траекторией перелета, сверлящей воздух над головой, заканчивающейся тупым ударом в землю и безопасным взрывом, протянувшим издали во все стороны звенящие струны осколков — тоже безопасных, если вовремя лечь на землю.

Своевременно приходили письма и посылки. Своевременно по расписанию приезжала на позицию походная кухня с обедом и ужином. Своевременно укладывались спать на земляные нары, покрытые пахучим ельником, в глубоком блиндаже под тремя накатами, и почти каждую ночь меня будили странные сухие, скрежещущие звуки. Это во сне скрежетал зубами немец-колонист Веварт, которого мучили глисты, и этот звук был похож на то, будто кто-то ходил в сапогах по скрипучему морозному снегу.

Не хватало воздуху.

Спящие солдаты громко бредили во сне. Распространялся тяжелый запах, тогда кто-нибудь просыпался и сердито бормотал:

— А ну кто тут пускает шептуна?

А вокруг была все та же ставшая уже привычной неслезанно прекрасная русская природа, и неподвижно виднелся на горизонте полуразрушенный костел, среди развалин которого валялось деревянное распятие.

Позиционная жизнь надоела мне, так же как некогда, совсем недавно, еще в мирное время, жарким, пыльным июльским днем надоела мне длинная улица с угрюмой гранитной мостовой и тягостно блестящими трамвайными рельсами, где на неотразимо скучном полуденном солнце

в бесконечных витринах выгорала галантерея, одуревший от тоски, от неразделенной любви, от переэкзаменовок, я проклинал мирное время и желал войны.

Мое желание исполнилось как по волшебству. А теперь мне наскучила позиционная война, благонамеренная переписка с генеральской дочкой, фронтовые будни, и я пожелал какой-то другой войны, более романтической, войны полевой, с быстрыми передвижениями, внезапными атаками и контратаками, фланговыми охватами, окружениями, взятиями городов, с биваками под открытым небом и всем тем, что казалось таким прекрасным.

Судьба, которая почему-то никогда не отказывала мне в исполнении самых глупых, самых безрассудных желаний, и на этот раз пошла мне навстречу, подарила мне самую что ни на есть полевую войну.

Меня зовут Александр Сергеевич Пчелкин. Я старик. Даже старик глубокий. Сравнительно недавно, лет пятьдесят назад, я прочел у одного известного писателя следующее любопытное место:

«Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живущих на земле».

Если так, то почему бы мне не говорить о себе? Вот я и говорю, рассказываю кое-что из своей молодости, перечитываю старые письма, кусочки дневника.

«3 сентября 916 года. Южная Добруджа. Действующая армия. Дорогая Миньона! Можете меня поздравить. Только что мне присвоено звание младшего фейерверкера, то есть нашта на погоны вторая лычка, неуклюжий бевут заменен шашкой — впрочем, не менее неуклюжей, — шпоры я уже ношу на законном основании, как имеющий право на верховую лошадь из конского состава, которую мне также присвоили приказом Пятой батареи, где я числюсь уже не в качестве орудийного номера, а телефонистом-наблюдателем, о чем я всегда так мечтал.

Теперь мне до прапорщика один шаг.

Пишу Вам наскоро в турецкой деревушке, покинутой

жителями, где остановился на отдых наш взвод телефо-
нистов и конных разведчиков.

Подобные турецкие деревушки, кое-где еще сохранив-
шиеся в Добрудже, — всего лишь жалкие остатки некогда
блистательной Порты, в течение многих лет, а может быть,
даже веков властвовавшей здесь над сербскими, болгар-
скими и румынскими землями, владевшей почти всем Чер-
ным морем.

Вокруг плоская равнина, местами совсем дикая, а ме-
стами возделанная под пашни, огороды и фруктовые сады.
Хлеб давно уже убран, и у нас под ногами колючее жни-
вье, успевшее зарости ежевикой — спелой, черной, удиви-
тельно вкусной, сладкой.

Особенно отличаются наши лихие конные разведчи-
ки, способные в одну минуту изловить брошенного хо-
зевыми большого белоснежного гуся с оранжевым клю-
вом.

Как он ни старался убежать, как ни размахивал своими
могучими сизыми крыльями, как ни гоготал отчаянно на
всю степь, можно сказать, на весь румынский фронт, как
ни отбивался, как ни щипался и шипел, многоопытные
разведчики быстро его скрутили, отрубили ему пашкой
голову, грубо ощипали, разрубили на куски, сунули в вед-
ро, посолили крупной серой солью и сварили на костре
вместе с остатками перьев и красными перепончатыми ла-
пами.

Мне тоже достался квадратный кусок с толстой пупы-
ристой кожей. Хотя мясо оказалось не вполне доварен-
ным, жестким, я смолотил его с громадным удовольстви-
ем, сидя на колком пшеничном жнивье у тлеющего костра
и заедая гусятину ежевикой.

Должен сознаться, что я тоже немного помародерство-
вал — пошел шарить по жалким турецким мазанкам с
плоскими крышами и в одной из них в плетеном, мазан-
ном глиной чулане нашел персиковую пастилу, полупро-
зрачную, темно-зеленую, скатанную в длинный рулон, как
линолеум. При виде этого восточного лакомства у меня по-
текли слюнки. Я оторвал кусочек и осторожно лизнул.
Вкуснота неописуемая! Однако, помня об отравленных
колодцах, воздержался от дальнейшего.

Впрочем, не думаю, чтобы персиковая вяленая на
солнце пастила была отравлена и нарочно оставлена для
нас. Ведь гусь-то не был отравлен!

Теперь мне до слез жалко, что я не поел восточного лакомства.

Никого из Ваших еще не видел. Армия находится в постоянном движении. Воинские части перемешались. Полный бедлам.

Письмо это пошлю Вам, как только найду полевую почту. А пока прощайте, пора двигаться дальше. Подтягиваю подпругу и сажусь в седло. То есть сейчас сяду. Возможно, уже к вечеру придется тянуть телефонный провод на самую что ни на есть передовую, в пехотную цепь, а это довольно щекотливое занятие, особенно если по тебе в это время стреляют. Ваш мародер А. П.»

Предчувствие не обмануло меня. То, что я написал для красного словца, желая покрасоваться, обернулось истинной правдой. На следующее же утро я был назначен в наряд на дежурство в седьмую роту поддерживать связь пехоты с артиллерией.

Дежурство в седьмой роте пользовалось дурной славой. В течение предыдущих двух суток на наблюдательном пункте в седьмой роте был убит один наблюдатель и ранены пулями два телефониста. Все трое артиллеристы.

Получив приказание идти на дежурство в седьмую роту, я похолодел, но сделал вид, что даже рад такому серьезному боевому заданию, и лихо козырнул мало мне знакомому подпоручику, начальнику команды телефонистов-наблюдателей.

После того как меня произвели в младшие фейерверкеры, меня посылали в самые опасные места, проверяли мои боевые качества: гожусь ли я в офицеры?

Со мною в роковую седьмую роту отправились наблюдатель и еще один телефонист с запасной катушкой черного кабеля за спиной и эриксоновским телефонным аппаратом в кожаном футляре. Дежурство начиналось с наступлением вечерней темноты.

Пройдя впотьмах версты полторы по неубранному кукурузному полю, задевая сухие стебли и шуршащие листья, сказавши вполголоса пароль пехотному часовому, появившемуся во тьме, мы все трое спрыгнули в траншею и пошли гуськом, по глубокому ходу сообщения к артиллерийскому наблюдательному пункту, где, сидя, как в

могиле, нас с нетерпением ждали наблюдатель и два телефониста, которых мы пришли сменить.

— Как дела?

— Как сажа бела.

— Спокойно?

— Пока что.

— А что?

— Разведка доносит, что у них смена полков. Пришли две новые дивизии: одна немецкая, другая турецкая.

— Вот это номер! А турки как — в своих фесках?

— В фесках, да только не в красных, а в защитного цвета.

— Смотри ты: турки, турки, а тоже понимают.

— Вместо «ура» у них полагается кричать «алла».

— Идут в атаку на «алла»?

— Пока молчат.

Весь этот разговор шел шепотом.

Мне вспомнились две консервные банки с тушеной говядиной на троих и паек хлеба, но не русского житного, а белого пшеничного румынского — несвежего, залежавшегося на складе, с бирюзовой плесенью в разломе, но все же довольно вкусного.

Кипяточком мы разжились у пехотинцев, а заварка и сахар были свои.

Обычное предчувствие неминуемой смерти именно сегодня продолжало томить меня.

Сидя на земле, я придвинул к себе телефонный аппарат и несколько раз проверил связь. Я позуммерил и поговорил с телефонистом, дежурившим на батарее. Звук телефонного зуммера напоминал утиное кряканье. Кроме голоса дежурного телефониста в кожаной телефонной трубке слышалось множество незнакомых и даже иногда не вполне понятных микроскопических голосов, принесенных по телефонной сети из разных, даже самых отдаленных участков фронта, как бы представляя тончайший звуковой чертеж театра военных действий. Иногда прослушивались писклявые позывные немецких телефонов и немецкая речь, как будто бы набранная мельчайшим звуковым готическим шрифтом. Значит, где-то случайно русские провода пересеклись с немецкими.

Прослушиваясь к ним, можно было составить некоторое представление о зловещем передвижении и накоплении войск Макензена, готовящихся к внезапному наступлению по всему фронту.

Ночь была звездная, и я по привычке искал в небе затерявшуюся в мировом пространстве неяркую Полярную звезду, даже, собственно, не звезду, а звездочку.

У неприятеля было тихо, и это еще более усиливало тревогу.

Ротный командир не спал, готовый ко всяким случайностям. Видно, его тоже томила тревога, тайное предчувствие смерти. Плохо различаемый в потемках, он ходил взад-вперед по узкому глубокому окопу, на дне которого в полном боевом снаряжении, с винтовками в руках спали солдаты его роты, положив под головы вещевые мешки и сами похожие на эти вещевые мешки.

Позади на фоне звездного неба маячили фигуры часовых, торчали их винтовки с примкнутыми штыками. Видно, их тоже томило предчувствие верной смерти.

Я вздремнул, но в полночь меня разбудил осторожный шум. Сменялись секреты. Пришедшие из разведки солдаты донесли, что неприятель работает над возведением проволочных заграждений: вбивает колья и ставит рогатки.

Действительно, в ночной тишине слышался отдаленный стук деревянных молотков.

Это немного успокоило: перед наступлением никто не стал бы ставить заграждения. Очевидно, Макензен готовился к обороне. Или, во всяком случае, выжидал нашего наступления. А может быть, это была всего лишь военная хитрость — усыпить наше внимание?

Под утро, угревшись под шинелью с расстегнутым хлястиком как под одеялом, я заснул, и мне в первый раз в жизни приснилась Ганзя. Я ее не видел. Она лишь как бы незримо присутствовала — бесплотная, неуловимая, может быть, даже несуществующая.

В этом сне не было событий. Было только одно чувство печали и неизбежной смерти. Я часто видел этот сон без событий, но только без присутствия Ганзи. Такой сон всегда предвещал начало прилива старой любви.

Я проснулся на рассвете. Меня разбудила неприятельская граната, резанувшая воздух над траншеей и разорвавшаяся далеко позади, сделав перелет.

Наблюдатель уже стоял у бруствера, прильнув к своей двурогой стереотрубе, и вглядывался в голубоватый

предутренний сентябрьский туман. Слышалось учащенное утиное кряканье эриксоновского телефона, вселявшее тревогу. В небе над всей изломанной линией наших окопов белели дымки неприятельской шрапнели. Звуки ее разрывов сливались с беспорядочным ружейным треском, становящимся с каждым мигом все гуще, компактнее, тревожнее.

Против боевого участка шестой роты, расположенной рядом с нами, несколько неприятельских мортирных и гаубичных батарей открыли ураганный навесной огонь, и яма, в которой, съезжившись, сидел я со своим телефонным аппаратом, тряслась, осыпаясь и трескаясь. Один или два тяжелых снаряда разорвались совсем близко. На голову и за шиворот посыпалась земля.

Ясно: немцы нас обманули и сейчас пойдут в атаку. Закрякал мой «эриксон». С батареи приказ: не отнимать телефонную трубку от уха и каждые пять минут проверять линию.

Из своей норы выполз ротный командир: показавшийся мне ночью неуклюжим и пожилым, на самом деле при утреннем свете это был молоденький поручик в зеленых наплечных ремнях, со свистком в чехольчике на груди.

— Рота, в ружье! — закричал он петушиным мальчишеским голосом. — Сейчас, ребята, пойдём вперед! Будем передовой заставой!

Из тумана появился солдат и, перевалившись через бруствер, упал на дно траншеи. Это был связной из секрета.

— Ну что там? — строго спросил его поручик.

— Пока ничего, ваше высокоблагородие. Видать, герман подготавливает атаку, а пока сидит у себя в окопах, не вылезает.

Артиллерийский огонь усилился.

Соседнюю роту вывели в ход сообщения, потому что находиться в окопах не стало никакой возможности.

Наступила тишина. Зловещая пауза.

Туман рассеялся. Наблюдатель уже стал кое-что видеть более отчетливо. Он обернулся ко мне и сказал:

— Передайте на батарею, что правее цели номер три показались неприятельские цепи.

Очевидно, эти цепи были замечены и с других наблюдательных пунктов, потому что до того времени безмолв-

ная наша артиллерия вдруг открыла по всей линии беглый огонь.

Немцы яростно отвечали.

Каждый миг в узкую щель нашего окопа мог влететь шальной снаряд и разорваться, превратив меня в клочья, в ничто. Никогда еще не испытывал я такого животного, безумного ужаса, как в то утро после нежного, безысходно-грустного любовного сна, так грубо прерванного.

Помню, что вместе со страхом смерти я испытывал необъяснимое чувство своей личной вины за все то, что совершается не только непосредственно вокруг меня, но также и во всем мире, охваченном пожаром всеобщей войны, всеобщего истребления людьми друг друга, хотя ни один из миллионов этих людей не хочет войны. Даже наверно злая воля управляла человечеством. Кто был виновником? Неужели это был я сам?

Вместе с тем я испытывал жалость к себе, к своей погибшей молодости.

Но все это таилось в глубине моей души, а внешне я полулежал на дне траншеи, одной рукой обняв кожаный футляр телефонного аппарата, а другой изо всех сил прижав к уху слуховую трубку, и подавал каким-то несвойственным мне механическим голосом команды, которые сообщал мне наблюдатель:

— По цели номер восемь! Прицел сто двадцать, трубка сто пятнадцать, прапнелью, два патрона беглых!

Все остальное вспоминалось теперь как бред: выползающие из своих земляных нор пехотинцы с вещевыми мешками за спиной, с саперными короткими лопатами, с котелками, прицепленными к поясам, отягощенным патронными сумками и противогазами, в касках, которые недавно появились в русской армии, с винтовками с примкнутыми штыками в черных, как картошка, руках.

Многие крестились.

Надо было вылезать из окопа на открытое со всех сторон пространство, где со звуком хлыста свистели пули.

Первым выбрался на бруствер взводный, крепкий унтер-офицер. Он тяжело перевалился через бруствер и, пригибаясь к земле, побежал вперед, становясь в тумане полупрозрачным. Следом за ним, посаженный сзади сол-

датами, перевалился через бруствер ротный командир, обчистил от земли колени, побежал вперед и тоже стал полупрозрачным. За ним вылезли из окопа несколько взводных, отделенных и фельдфебель, а там начали неохотно переваливаться через бруствер и таять в легком тумане рядовые солдаты — некоторые бородатые, а большинство с почти детскими испуганными лицами, последнего набора — и становились полупрозрачными.

Окоп зловеще опустел.

...со вкрадчивым свистом летели шальные пули; иные из них ударялись о бруствер и отскакивали рикошетом, крутясь вдоль траншеи.

Пороховой дым настолько сгустился, что стало трудно дышать. Наблюдатель едва держался на ногах от усталости, нервов, напряжения и страха, который изо всех сил скрывал.

Я передал ему телефонную трубку, а сам прильнул к окулярам стереотрубы. Мы поменялись ролями. Наблюдатель стал телефонистом, а я, телефонист, стал наблюдателем.

Поднялась страшная винтовочная и пулеметная трескотня, сквозь которую издали долетало слитное «ура» или что-то в этом роде, которое можно передать только звуками:

— А-а-а-а-а-а!..

Кроме меня с товарищами-артиллеристами да еще двух пехотных телефонистов, в глубине окопа не было уже ни души.

Изо всех сил, до боли в глазах напрягая зрение, пытался я сквозь завесу черного мелинитового дыма разрывов разглядеть в стереотрубу обстановку боя. Легкий ветерок помогал мне, относя в сторону траурную вуаль дыма. Я видел всюду — впереди, справа, слева — незаметно откуда-то взявшиеся цепи неприятельской пехоты. Стараясь перекрыть грохот боя, я диктовал сидящему у моих ног телефонисту установки все время сокращавшейся дистанции. Разрывы наших снарядов вырывали из наступающих цепей неприятеля десятки человек, но цепи почему-то почти не редели.

Наша рота, ушедшая вперед, окопалась и задерживала беглым огнем почти батальон наступающих немцев.

Даже сейчас — через столько лет! — я вижу осеннее сжатое поле, во всех подробностях приближенное ко мне пейзажной оптикой стереотрубы жнивье, усеянное живыми и убитыми, ползущими и неподвижно распластанными солдатами, и среди них черные гейзеры взрывающихся снарядов.

Каким-то чудом армия генерала Макензена была в тот раз остановлена, а мое предчувствие неизбежной смерти не оправдалось. Я не только не был убит, но даже не получил ни одной царапины...

«10 октября 916 г. Румфронт. Дорогая Миньона! Только сейчас дошло до меня Ваше письмо, а когда мое письмо дойдет до Вас — один бог знает.

Румынская компания, представлявшаяся всем нам чуть ли не увеселительной прогулкой, обернулась тяжелейшими боями. Здесь воевать очень трудно. Не то что под Сморгонью, хотя там тоже было не мед. Но там я чувствовал себя дома, в России. А здесь Добруджа, какая-то странная заграница. Совершенно плоское открытое место, на горизонте голубоватые Балканы. Лесов совсем нет. Нечем укреплять блиндажи, негде укрываться от вражеской воздушной разведки, от немецких авиационных бомб, нечем маскировать орудия, разве что сухими стеблями кукурузы.

В этих местах, между Дунаем и Черным морем, воевали некогда Каменский, Кутузов.

Мы все время в движении. Исколесили всю Добруджу. Обносились, обросли бородами, изголодались. Обозы отстают. Кухни блуждают среди сухой кукурузы, не находя своих частей. Кроме того, пошли дожди.

Сейчас я лежу в палатке, по которой сыплет нудный, затяжной дождь. Полотно палатки желтого цвета, поэтому кажется, что оно освещено солнцем. А на самом деле темный, унылый, дождливый день, низкие тучи грязного цвета, всюду лужи, покрытые концентрическими кругами и белыми пузырями дождя, похожими на рыбы глаза.

Боюсь, что бумага, на которой я пишу это письмо, промокнет и Вы ничего не разберете. Временами ворчит гром поздней осенней грозы: такое впечатление, что по низким тучам проезжает какой-то небесный обоз. Издали доносятся звуки артиллерийской канонады. Два звука — грозы и орудий — сливаются, происходит дуэль «двух жульнических батарей — одной земной, другой небесной».

Вы спросите, почему жульнических батарей? Не знаю. Мне так кажется. Вообще война — это сплошное жульничество перед человечеством. Простите!

Хотелось бы описать Вам по возможности как можно подробнее нашу обстановку. То наступаем, то отступаем... Несем потери... Теряем территорию... Вот, собственно, все, что я могу ответить на Ваш вопрос, как у нас идут дела. Дела как сажа бела. Не думаю, чтобы Вы что-нибудь поняли, если б даже я и попытался как можно подробнее описать обстановку, тем более что я сам ничего не понимаю. Что-то мне сильно не нравится этот румынский фронт. Впрочем, может быть, мои сомнения происходят исключительно из-за паршивой погоды. Дождь барабанит по палатке. Откуда-то снизу подтекает вода. Писать трудно, тем более что мои товарищи телефонисты-наблюдатели рядом со мной с громкими криками дуются в картишки, в «железку». Смеркается быстро. Настроение хоть повесься! Постараюсь это письмо послать с оказией, чтобы оно не попало в лапы военной цензуры. Кстати: что слышно в тылу? Солдаты, приезжающие из отпусков, распускают самые невероятные слухи. Такое впечатление, что все рушится, и войну мы проигрываем, и назревают события... Целую руку. Ваш А. П.».

Я лежал в палатке на сырой соломе, все время вытирая с лица дождевые капли, падающие сверху. Рядом играли в «железку». Уже настолько темно, что игроки зажгли огарок стеариновой свечи, прилепив ее ко дну пустой консервной банки.

Багровое пламя огарка, полузадушенное махорочным дымом, еще более сгущало сумерки, и на душе у меня было темно. Прилив давно уже начался, и только письмо Миньоне на некоторое время отвлекло меня от привычных мыслей о той, другой.

Но что это за привычные мысли?

Много раз в течение своей чрезмерно затянувшейся жизни я пытался понять, как же это все случилось, и никак не мог понять. Что же между нами было? Самое странное, что между нами ничего не было.

Я ее любил. Она меня нет. Приходилось мне одному любить за двоих.

Когда мы с ней встретились, она еще вообще никого не любила. А ее почему-то любили все: подруги, знакомые гимназисты, даже один студент. В сущности, она была еще совсем девочка. Ей едва минуло пятнадцать. Она была еще бутон. Но тем не менее в ней, вероятно, уже угадывалась будущая обольстительная женщина. Она была более женственна, чем все ее подруги, хотя внешне выглядела моложе всех, даже меньше ростом. На первый взгляд она казалась совсем незаметной.

Однако, сама того не желая (а может быть, желая), она уже свела с ума двадцатилетнего Вольдемара. Вслед за Вольдемаром она свела с ума и меня.

Может быть, слишком сильно сказано: свела с ума. Во всяком случае, она как-то незаметно овладела моим воображением, всеми моими мыслями и чувствами. Так же, как и она, я еще был подросток, не созревший для любви, громадное чувство, вызванное ею, было мне не по возрасту, как бывает одежда не по размеру. Я не испытывал к ней физического влечения. Мне даже не могла прийти в голову мысль взять ее за руку, не говоря уж о желании обнять или поцеловать. Я не мог дать себе отчета в том, что же, собственно, мне от нее нужно. Мне было достаточно одного сознания, что она существует на свете, что она рядом, что я могу ее видеть, что мы принадлежим к одной молодежной компании и что я постоянно встречаюсь с ней в разных знакомых домах, на вечеринках, на прогулках.

О моей тайной любви, конечно, догадывались все. Надо мной даже стали посмеиваться, как посмеивались над Вольдемаром. Мы оба, я и Вольдемар, были безнадежно влюблены в нее.

Кстати сказать, Ганзя было ее детское прозвище, которое так и осталось за ней на всю жизнь.

А она?

Предпочитала ли она кого-нибудь из нас? Неизвестно. Вернее всего, она ни к кому из нас не испытывала никаких любовных чувств. Ничего, кроме компанейского дружелюбия, даже, может быть, товарищеской симпатии. Скорее всего ей нравился некий студент из нашей компании, красавец и симпатяга с алым ротиком, лучистыми глазами, шелковистыми усиками, всегда щегольски одетый в форменный студенческий мундир (не в тужурку!) с твердым высоким синим воротником, подпиравшим бархатные щечки, и подбитой ватой грудью, на которой блестяли два ряда студенческих орленых золотых дутых пуговиц.

Вольдемар открыто к нему ревновал, вызывая всеобщее веселье. Я же не выражал своей ревности, втайне раздравшей мою душу при виде того, как ласково смотрят друг на друга Ганзя и студент.

Но мы с Вольдемаром сделались невольными сообщниками в ненависти к счастливому студенту. Мы осуждали его каждый на свой лад. Я критиковал его за легкомыслие и отсутствие глубоких знаний (сам будучи полным невеждой), а Вольдемар прямо говорил с ядовитой иронией, что у него алые губки, похожие на куриную гузку.

Да ведь был еще какой-то футболист, инсайд-правый.

В палатке, трепетавшей от проливного дождя, при лазурно-багровом пламени отарка я перебирал в памяти все, что касалось моей любви.

...Однажды во время игры в фанты ее лицо оказалось так близко, что общего его выражения я уже не мог разобрать. Видел только движущиеся коричневые брови и как бы отдельно от них карие глаза и растянутые в улыбке губы. Глаза выражали внимание, губы шевелились, лоб смеялся, брови хмурились, но в одно общее они не складывались. Может быть, это отсутствие общего и вселяло в меня чувство горечи. Для меня у нее нет общего.

Я возвращался к истокам своей любви, когда каким-то непонятным, таинственным образом вдруг почувствовал, что моя судьба теперь как-то связана с ее судьбой, хотя это была всего лишь игра воображения.

После похода за фиалками до конца учебного года мне

так и не пришлось видеться с ней, а там начались экзамены, летние каникулы, то да се, и я перестал о ней думать, хотя во мне все время теплилось сознание, что на свете существует она, и с этим уже ничего нельзя поделать.

У меня в гимназии был верный друг Боря. Характеры у нас были совершенно разные, что, как водится, еще надежнее скрепляло нашу дружбу.

Я, как мне помнится, был нервный, крикливый, жил воображением, а Боря был рассудительный несловоохотливый, сдержанный, склонный к недоверию, немного ироничный. Он тоже, как мы все в этом возрасте, жил воображением, но в его характере преобладало нечто, постоянно сдерживающее воображение.

Так или иначе, но мы считались самыми близкими друзьями и на большой перемене сидели внизу, в раздевалке, под шинелями, на длинном ящике с отделениями, в которых хранились галоши на свекольно-красной суконой подкладке с медными буквами инициалов.

Там я особенно охотно откровенничал.

— Понимаешь, Боря,— говорил я, жуя бублик, купленный в гимназическом буфете за две копейки,— я влюбился.

— В кого? — спросил Боря с ироническим выражением белобрысого лица и улыбнулся, показав свой передний криво выросший крупный зуб, что делало его лицо особенно характерным.

— Ты ее не знаешь,— сказал я.— Я сам с ней только три дня назад познакомился.

— И уже влюбился? — спросил Боря строго.

— Да,— вздохнул я.— Так случилось. Ее зовут Ганзя Траян, из гимназии Бален де Балю.

— Не знаю,— сказал Боря и еще ироничнее улыбнулся.— Ну и что же? Так сразу с места в карьер?

— Ты себе не представляешь, что со мной сделалось!

— Почему же я себе не представляю? Отлично представляю: ты влюбляешься в каждую юбку.

— Ах, Боря, нет. Это совсем не то! Такого со мной еще никогда не бывало. Даже дома заметили. Я о ней все время думаю.

— В то время как тебе не мешало бы подумать об уроках. А то смотри — выкинут за неуспеваемость. Ты и так висишь на волоске.

Я поморщился.

— Ах, боже мой, совсем не о том речь... Понимаешь, у меня вдруг при одной мысли о ней к сердцу приливает такая, знаешь ли, как бы тебе объяснить — горячая, что ли, волна, что, честное благородное, трудно делается дышать.

— Ну и врешь, что трудно дышать,— зашептал Боря, по своей привычке хладнокровно отделяя правду от выдумки.

Боря отчасти играл роль Базарова и уже готов был сказать мне великолепные слова: «Аркадий, не говори красиво», но сдержался из уважения к моему чувству любви.

Он только делал вид, что все эти мои любовные истории ему совсем не любопытны и просто смешны. На самом же деле разговоры о любви ужасно его волновали.

— Все это, брат, ты выдумываешь,— сказал Боря.

— Вот ей-богу, святой истинный крест, я не выдумываю,— почти со слезами на глазах сказал я и перекрестился.— Прямо-таки трудно вздохнуть.

Мы немного помолчали.

Я положил локти на колени, уперся подбородком в вывернутые ладони и, глядя исподлобья на чугунную печку, в слюдяном окошке которой горели золотые слитки раскаленного кокса, обогревая раздевалку, вздохнул:

— Это, кажется, Боря, я в первый раз в жизни так втрескался.

Боря дернул костлявым плечом и прищурился, как следователь, допрашивающий преступника:

— А, собственно, за что ты так сильно в нее влюбился? Что она — лучше других?

— Ах, в том-то и вся штука, что я не знаю, за что я ее полюбил. Просто так. В этом-то все дело.

— Не понимаю,— сказал Боря, и между нами начался один из тех волнующих и бестолковых разговоров, какие обычно происходят между близкими друзьями, которые чувствуют и думают по-разному, но терпеливо стараются понять один другого, потому что любят друг друга, несмотря на свою несхожесть.

Я с жаром доказывал, что когда любят по-настоящему, как я полюбил Ганзю, то эта любовь всегда бывает беспричинной, и если человек любит, то не за что-нибудь — ну там за красоту, или за ум, или за богатство, или за фарфоровые щечки и жемчужные зубки, или за серебристый смех и маленькие ножки,— а любят просто так, потому что это судьба.

— Ты понимаешь — она моя судьба!

Я слушал самого себя и любовался самим собой, своими такими чистыми и возвышенными взглядами на любовь.

Однако, утверждая, что настоящая, большая любовь всегда бывает без причин, я сам себе не очень-то верил, потому что трудно, даже невозможно верить чему-нибудь, происходящему без причины. Без причины ничего не бывает. Однако же...

А Боря, для которого любовь была вещью совсем непонятной и туманной, вернее сказать, за отсутствием любовной практики и вследствие прирожденной застенчивости штукой отвлеченной, старался говорить о ней как о вещи простой, ясной и обыденной, лишенной волшебства.

Мы не понимали друг друга, но каждая новая мысль, высказанная в раздевалке под шинелями, все больше и больше разъясняла и определяла для нас понятие любви.

Ох уж эти разговоры гимназистов о любви!

— Если ты утверждаешь, — говорил Боря прокурорским тоном, — что любовь возникает сама собой, без причины, то это надо проанализировать. Опиши мне самым подробным образом свое знакомство с ней с самого начала до того момента, когда ты пришел к выводу, что влюблен. Таким образом нам наверняка удастся обнаружить причину.

Я самым добросовестным образом поведал другу все подробности своего знакомства с Ганзей, поход за фиалками и т. д.

Мы оба, как два ученых-исследователя, сидя под вешалкой, где пахло побывавшими под дождем гимназическими шинелями, старались обнаружить причину моей внезапной любви, но у нас ничего не получалось.

...на румынском фронте, в палатке, потемневшей от дождя, я продолжал сам с собой исследовать причины своей любви к Ганзе. Этих причин могло быть две: красота и ум. Но она, несомненно, была прекрасна. А ума ее я

не знал. Значит, не в этих очевидных причинах было дело. Так в чем же?

Ах, чего бы я не дал, чтобы снова стать пятиклассником и очутиться вместе со своим другом Борей под шинелями и видеть перед собой печку, похожую на маленький сизочугунный замок, в слюдяном окошке которой пылал раскаленный кокс, создавая впечатление, что в замке какой-то праздник, торжество, бал, может быть, даже свадьба!

Нет, для любви не надо ни красоты, ни ума, и возникает она сама по себе, без причин.

Волшебство самовозгорания!

Да, но все-таки...

Ведь к Миньоне у меня тоже была любовь. Но она имела причины. Миньона была хороша собой, не слишком, но все-таки... Она была нарядна, неглупа, начитанна, дочь гезерала, у нее были сиреневые глаза, бронзовые волосы в крупных завитках. Она была склонна к флирту, который называла на английский манер флёрт. У меня с Миньоной все было более или менее ясно. Она мне физически нравилась. И ей я нравился до известной степени: все-таки лишний поклонник. Я без труда, легко и бездумно ухаживал за нею. Она принимала мои ухаживания как должное. Мы без затруднения болтали друг с другом. Я считался одним из ее счастливых поклонников. Она явно отличала меня. Все-таки я пописывал любовные стишки, а это всегда нравится.

Оба мы — Миньона и я — были слишком юны и незрелы для серьезного чувства. Но в будущем... Чем черт не шутит. Я мог стать офицером, и тогда...

Но это были лишь детские мечты.

С Ганзей все обстояло совсем по-другому.

Она была моложе Миньоны, но я познакомился с ней годом раньше, когда она только что вышла из отрочества. Она была первая. Первая и единственная: с первого взгля-

да и на всю жизнь. Я так глубоко любил ее, что мне даже и в голову не могло прийти ухаживать за ней или — еще хуже — флиртовать, добиваться взаимности. При ней я немел. Вероятно, она сначала даже не заметила моего чувства.

Правился ли я ей? Неизвестно. Мог же я понравиться ее подруге Калерии, которая даже была в меня влюблена. Так почему бы... Но нет. Неизвестно. Вообще ничего не было известно.

Правда, с моей стороны однажды была предпринята попытка выяснить отношения. Боря надумил меня добиться свидания. В представлении Бори свидание являлось непременно элементом любовного романа, счастливого или несчастного — не имело значения. Я схватился за эту идею. Да, конечно, свидание! Свидание необходимо. Свидание сблизит нас и создаст между нами определенные отношения, возможно, даже любовные.

В сущности, свидание было совершенно не нужно. Я и так виделся с ней почти каждый день то на вечеринке, то у нее дома, то просто на улице по дороге в гимназию, то у Калерии.

Самое слово «свидание» обладало магическим свойством любовного сближения.

...Дождь продолжал сыпать по палатке, вода натекала откуда-то снизу, и солома промокла, свеча догорала, задуманная махорочным дымом, солдаты с шумом дулись в «железку», кидая карты по разостланному брезенту, раскаты грома соперничали со звуками отдаленной канонады, а я в сотый раз прокручивал в воображении это единственное наше свидание, на которое я возлагал большие надежды, впрочем не оправдавшиеся, так как все равно ничего не определилось.

Устроить свидание по всем правилам оказалось делом весьма не простым, хлопотливым. Сложность его заключалась в том, что уже сам по себе факт свидания предполагал наличие взаимной любви. А так как взаимной любви — увы! — не было, то мне приходилось как-то перед самим собой выкручиваться, усыпляя совесть хитросплетениями вроде того, что еще доподлинно неизвестно, любит она или не любит, а может быть, и любит, только я этого

не знаю. Но даже если не любит, то свидание в конце концов может быть вовсе и не любовное, а попросту дружеское, даже, если угодно, деловое. Может быть, у меня к ней есть дело, касающееся только ее и меня — и никого больше.

Но какое же дело? Об этом надо подумать. Вопрос трудный. Надо придумать дело, не имеющее характера любовного и в то же время отчасти все-таки как бы вроде и любовное.

Легко сказать!

Так родилось нечто шитое белыми нитками: я вызываю ее на свидание для того, чтобы решить деликатный вопрос относительно чувств ревнивого Вольдемара. Поскольку общеизвестно, что Вольдемар влюблен до безумия в Ганзю, у меня якобы явилось подозрение, что Вольдемар ревнует Ганзю ко мне, хотя эта ревность совершенно необоснованна. Однако я решил поступить благородно и больше не встречаться с Ганзей ни на вечеринках, ни на прогулках, ни у нее дома, нигде, для того чтобы не давать Вольдемару повода для ревности и страданий. Назначил же я свидание для того, чтобы откровенно объясниться и узнать мнение Ганзи на этот счет.

Я, шестнадцатилетний хитрец, ставил ловушку. Она принуждена будет сказать да или нет, то есть косвенно признаться, что любит или не любит Вольдемара. Если любит, то как бы это ни было мне тяжело, но все-таки легче, чем неизвестность: мое сердце, несомненно, будет разбито, но, по крайней мере, я предстану перед Ганзей как благородный человек, жертвующий своим счастьем для друга. И я дам слово никогда больше не встречаться с Ганзей.

Можно ли принести большую жертву во имя подлинной вечной любви?

...сумбур царил тогда в моей голове!

А если она скажет, что вовсе не любит Вольдемара, и отвергнет мою жертву, то, значит, она вовсе не собирается отказываться от встреч со мной ради ревнивого Вольдемара, которого, очень возможно, вовсе и не любит. Тогда я с чистой совестью смогу наконец произнести заветные слова: «Я вас люблю».

А нет — так нет! Буду любить Калерию.

В сущности, все дело заключалось в самом факте свидания независимо от его содержания.

Она придет ко мне на свидание. Мы будем наедине. Нас свяжет некая тайна. О большем счастье я и не думал. Остальное уже дело техники.

Техника свиданий была в совершенстве разработана несколькими поколениями влюбленных гимназистов и гимназисток: он посылает ей записку с просьбой о встрече; она назначает ему свидание; они встречаются наедине.

Все это напоминало дуэль со всеми ее формальностями. Даже предусматривался секундант, то есть тот, кто будет передавать записки.

В этом заключалась известная трудность: кто передаст ей мою записку? Не так-то легко решался этот вопрос. Самой подходящей для этой цели, конечно, являлась ближайшая подруга Ганзи, упомянутая уже Калерия. Но, во-первых, она была сестрой Вольдемара, а во-вторых, сама была влюблена в меня, так что навязывать ей роль передаточной инстанции казалось невозможным, слишком жестоким. Однако я решился даже на эту жестокость.

— Ты, Пчелкин, просто негодяй, — сказала мне Калерия со слезами на прелестных глазах, но все-таки взяла записку и спрятала ее под нагрудником гимназического фартука.

В ней боролась любовь ко мне и любовь к подруге. Победила любовь к подруге: передача ей любовной записки считалась среди гимназисток делом священным.

Вернувшись после уроков домой, Калерия, как и следовало ожидать, увидела меня. Я шатался возле ворот.

— Ну как? — спросил я.

Поджав губы, Калерия вынула из-за нагрудника фартука и протянула мне ответ — розовую секретку в клеточку.

— Но имей в виду, Пчелкин, — сказала Калерия, глотая слезы, — я для тебя пожертвовала всем, и теперь ты для меня навсегда ноль!

В своем гневе она была прекрасна, однако нос портил все дело.

Мне было все равно. Я весь находился во власти лю-

божного жара. Получить от девушки не что-нибудь, а именно секретку считалось уже как бы доказательством наличия романа.

Я держал в руках секретку, на которой лиловыми школьными чернилами было написано мое имя. Я открыл секретку, то есть оторвал окружающий ее заклеенный купон, и на клетчатом листке прочел следующие незабвенные слова, тщательно выведенные аккуратным почерком добросовестной школьницы-отличницы, однако уже имеющим характерные особенности почти взрослого почерка:

«Приходите сегодня в четыре часа на боковую аллею Александровского парка. Ганзя».

Я торжествовал. Полученная секретка возвышала меня в собственных глазах, превращая из безнадежно влюбленного гимназиста-второгодника в счастливого любовника. Теперь пускай все узнают, что она назначила мне свидание в Александровском парке. И пускай красавец студент с маленьким ротиком не задается! И пускай Вольдемар поет своим фальцетом, глядя на нее умоляющими глазами: «Я вновь пред тобою стою очарован...»

Теперь я уже не буду стоять перед Ганзей как бессловесное животное, а зримо, открыто и бесстрашно скажу ей в боковой аллее Александровского парка: «Я вас люблю» — или даже еще лучше: «Кажется, я вас люблю». Как украсило это магическое «кажется» банальное объяснение в любви!

«Ганзя, кажется, я вас люблю», или даже лучше немного переставить слова: «Я люблю вас, кажется, Ганзя». В таком сочетании еще больше любовной музыки.

В течение двух часов, оставшихся до свидания, я мысленно переиграл все возможные и даже невозможные варианты свидания. Я потерял голову от счастья. В то же время секретка Ганзи вызвала во мне неясные подозрения. Уж слишком содержание записки казалось сухим, деловым. Особенно настораживало упоминание о боковой аллее. Можно подумать, что Ганзя уже не первый раз назначает свидания именно в этой боковой аллее. Возможно, что для нее боковая аллея являлась привычным местом любовных свиданий и встреча со мной вовсе не была исключением. А я так наивно воображал, что это первое ее свидание.

Первое свидание. Первая любовь. Первая аллея. Все должно быть первым. А иначе какой же смысл в свидании?

Но все эти сомнения рассеялись, в то время как я шагал по Французскому бульвару в направлении к Александровскому парку, боясь опоздать, а еще более опасаясь явиться слишком рано.

На колокольне Михайловского монастыря пробило четыре, когда я, перейдя пустырь с деревянными остатками велосипедного трека, так называемого циклодрома, вступил в боковую аллею Александровского парка, в глубине которого между черных стволов обнаженных деревьев просматривалась Александровская колонна, сооруженная в память пребывания в городе царя-освободителя, собственноручно посадившего здесь дубок, который уже превратился в большое ветвистое дерево. А дальше — море.

На всю жизнь в моей памяти осталась боковая аллея. С годами память ослабела, но вид боковой аллеи держался крепко, разве только исчезали детали, которые, впрочем, только засоряли пейзаж ненужными мелочами.

Хорошая память — фотография. Плохая — живопись.

В конце своей жизни я видел боковую аллею как рисунок углем.

В палатке на румынском фронте моя память была еще безукоризненно свежа, и я видел боковую аллею со всеми подробностями только что спиленных черных веток, еще не убранных с дорожки, покрытой влажным морским гравием, хрустевшим под ногами, как рассыпанная карамель.

Я видел лестницу, прислоненную к стволу дерева, и городского садовника в зеленой форменной фуражке, который спиливал ножовкой ненужную ветку. Опилки сыпались из-под пилы, и свежесрезанный торец ярко желтел.

Теперь я уже не помню, в какое время года обрезают в парке деревья — ранней весной или поздней осенью. Но я помню, что тогда обрезали деревья. Значит, свидание

было или ранней весной, или поздней осенью, когда листья уже облетели. Во всяком случае, во всю длинную перспективу боковой аллеи чернели стволы голых деревьев — австралийской разновидности робинии, но только с длинными острыми шипами и перекрученными ремешками стручков с выпуклостями созревших внутри семян. Все-таки, значит, была поздняя осень, октябрь или даже ноябрь, но погода стояла теплая, и я шел налегке, без шинели. От волнения я даже немного вспотел и расстегнул верхний крючок куртки, так что из-под суконого воротника виднелась на моей худой, еще почти детской шее цепочка нательного киевского крестика с ладанкой от scarlatины.

Короткий день клонился к вечеру, но было еще светло и воздух печально пахнул опавшей листвой. Безлюдье и тишина обширного парка с полоской моря показались мне оглушающими. Меня терзало сомнение — придет она или не придет? Если она придет, то это будет слишком большим счастьем. Пусть она даже опоздает, я готов ждать ее до темноты, когда зажгут газовые фонари.

Я несмело посмотрел вдоль аллеи и не поверил своим глазам: маленькая знакомая фигурка шла издали мне навстречу. Она была тоже без пальто, в гимназической форме, в будничном черном переднике, без шляпы, с открытой головкой и волосами, убранными в виде коронки, но с челочкой на лбу, что по гимназическим правилам запрещалось. Значит, она уже успела сбегать домой, оставить там книгоноску и шляпу, наскоро пообедать, перечесть, наслюнить и напустить челку на лоб, но не переделалась — и без опоздания явилась на место встречи.

Она неторопливо приближалась, но мне все еще не верилось, что все это происходит не во сне, а наяву. Но нет, только наяву у девочки могли быть запачканы чернилами пальчики и в углу прелестного, несколько растянутого рта виднеться засохшая заеда — след недавно съеденного арбуза. Она не улыбалась, но и не хмурилась. Выражение ее лица было будничным, как и весь ее вид.

Она не высказала ни малейшего удивления по поводу этого неожиданного свидания, как будто бы так оно и должно было быть. Она подошла ко мне, и мы молчаливо пошли по аллее — я смущенный, а она как ни в чем не бывало.

Вот наконец я с нею наедине!

Теперь бы мне и произнести приготовленную фразу: «Кажется, я вас люблю, Ганзя». Но вместо этого я начал с весьма многозначительным видом молоть вздор, еще накануне казавшийся мне весьма тонким и хитрым, насчет ревнивого Вольдемара, для спокойствия которого я готов пожертвовать собой и перестать ходить в гости к Ганзе, а также вообще перестать с ней встречаться, и хотел бы знать ее мнение по этому поводу.

Хитрец, я думал, что действую наверняка.

Выслушав мою горячую чепуху, она дернула хуленьким, еще почти совсем детским плечиком и сказала:

— Вот еще! С какой стати? Я вовсе не хочу из-за кого бы то ни было терять знакомых.

На этом свидание так и закончилось ничем.

Я проводил ее домой, по дороге мы болтали о том о сем, об учителях, о знакомых, и все осталось по-старому, кроме некоторого моего удовлетворения тем, что как бы то ни было, а свидание состоялось, на всю жизнь оставив в моей памяти неизгладимый след.

...Затяжной дождь продолжал шуметь по палатке. Ворчал гром. Издали доносились оружейные выстрелы. Солдаты, лежа на мокрой соломе, дулись в «железку».

Я продолжал думать о Ганзе. На этот раз прилив любви был так силен и продолжителен, что ни о чем другом я уже не мог думать.

В памяти беспорядочно возникали картины того счастливого времени, которое я не успел оценить.

...отрывки из моего юношеского романа, написанного еще не устоявшимся полудетским почерком:

«— Разве вы не зайдете к нам? — спрашивает она.— Напьетесь чаю.

Она пошла вперед, повернула направо в парадный ход и стала быстро, не оборачиваясь, подниматься по лестнице, легко перебирая рукой по перилам. Я шел за ней, печально опустив голову.

Подобно тому как все человеческие лица делятся по своему характеру на женственные и мужественные, сказать вернее, на отцовские и материнские, так и все квартиры в моих глазах делились как бы на женские и мужские.

Женские квартиры, которых меньшинство, отличались уютностью, большим количеством материй, подушек, мягкой мебели, приглушенным светом ламп, старообразными абажурами и каким-то особым будуарным запахом.

Мужские квартиры, которых большинство, всегда чистые, просторные, светлые, сильно освещенные лампами, с прочными удобными столами, твердыми стульями и сильным запахом табачной золы, таящейся в перламутровых недрах тропических раковин, заменяющих пепельницы. К этому запаху примешивается запах натертого мастикой паркета и твердой полированной мебели.

Квартира ее родителей имела явно выраженный тип квартиры мужской. В ней было все определено, просто, от голубого фонаря, висящего на жиденьких цепях в прихожей, до больших, но плохо написанных масляными красками картин в духе Айвазовского и Шишкина. Картины в довольно толстых золоченых рамах висели в холодной гостиной и не доставляли глазу никакой радости.

Когда мы вместе с Ганзей явились, в столовой уже пили чай. За столом сидела вся семья, кроме отца, который только что встал из-за стола и шел, поскрипывая ботинками, за папиросами, собираясь ехать в клуб. В зеркале мелькнула его стриженная под бобрлик голова. Кроме матери и брата, застенчивого тринадцатилетнего гимназиста Васи, за столом сидели еще бабушка в черной кружевной наколке на серебряной голове и глухая девушка в красной турецкой феске.

Всякий раз, входя в эту столовую, я испытывал чувство неловкости от сознания, что я никогда не буду здесь своим, а лишь случайным гостем. Мои губы сами собой складывались в неестественную улыбку — не то ироническую, что вот, мол, я сел не в свои сани, не то униженную, как у просителя.

— Ну, как вам гулялось? — приветливо спросила нас Ганзина мама, в то время как мы, Ганзя и я, еще жмурясь на яркую лампу после темноватой передней, входили в столовую. — Садитесь. Я вам сейчас налью чаю. Садитесь

и ешьте. Вот колбаса, вот яичница, вот вареники. Пожалуйста, без стеснения. Ганзя, что же ты? Поухаживай за своим кавалером.

— Давайте свою тарелку,— сказала Ганзя,— мама хочет, чтобы я за вами ухаживала, только я плохая хозяйка.

— Ты думаешь,— сказала мама,— что это очень хорошо и современно? Ты женщина. А женщина должна быть хорошей хозяйкой. А то тебя никто замуж не возьмет, когда вырастешь.

У Ганзиной матери были выпуклые женственные веки и небольшой изящный нос. Она была красива, но как-то простонародна. Можно было предположить, что впоследствии Ганзя будет похожа на нее. В ее карих — не то румынских, не то молдаванских — глазах весело отражался белый абажур висячей столовой лампы.

— Ну ты, мама, тоже скажешь! — пожав плечиками, отгрызнулась Ганзя и как бы в доказательство, что она не умеет и не желает быть хорошей хозяйкой, небрежно наложила на мою тарелку гору колбасы и вывалила всю яичницу-глазунью.

— Теперь вы должны все это съесть, так вам и надо. А я за хорошую хозяйку не нанималась.

Ганзя сердито сморщила свое незначительное и незапоминающееся личико и вдруг улыбнулась, в один миг став хорошенькой, даже красивой, похожей на свою мать.

Пока я ел и пил чай, она вышла из-за стола и вернулась, уже переодевшись по-домашнему — в красной блузочке с открытым воротом.

Потом мы сидели у нее в комнатке, которая была единственным женским уголком в этой неуютной квартире, носящей отпечаток хозяина-картежника, проводившего ночи в клубе.

Еще совсем недавно у Ганзи не было своей комнаты. Она спала с мамой и казалась совсем маленькой девочкой. Но недавно ей дали отдельную комнату, так называемую для прислуги. Совсем маленькую, возле кухни, в которой помещались только ее никелированная узкая кровать, совсем маленький декадентский письменный столик, за которым она готовила уроки, и еще тахта, покрытая ковром.

Удивительно, как быстро эта комната для прислуги стала такой особенной, как быстро она как бы переняла

привлекательность своей хозяйки, как бы воплотила всю ее женственность. Здесь уже как-то особенно, еще не по-дамски, но уже по-девичьи пахло духами «Персидская сирень» и еще чем-то нежным, похожим на запах детских волос.

Кроме тетрадок и учебников, аккуратно обернутых в синюю бумагу, на столике стояло семь традиционных фарфоровых слоников мал мала меньше, а на стене висела самодельная гипсовая тарелочка с цветной картинкой, изображающей хорошенькую курносенькую англичанку, прислонившуюся кудрявой головкой к морде породистой лошади с чуткими ноздрями».

На всю жизнь запомнил я молочно-белый абажур настольной керосиновой лампы, сквозь который пламя горелки просвечивало красной коронкой.

До сих пор даже здесь, на фронте, меня преследовали подробности того вечера, когда я впервые сидел в Ганзиной комнате на тахте, а она, не обращая на меня внимания, готовила уроки, переписывая в маленькую специальную тетрадку для слов французские глаголы.

В присутствии Ганзи я всегда немел.

Может быть, в этой комнате она целовалась с Вольдемаром, или со студентом с маленьким ротиком и ватной грудью, или с тем футболистом инсайд-правым...

Еще никогда я так сильно не любил ее.

Теперь во всем этот страшном мире, наполненном дыханием смерти, для меня существовала только она одна: нечто смутное, без определенных линий, размытых временем. Женственно выпуклые веки еще почти детских карих глаз, серая будничная юбка. Маленькие руки и маленькие ноги. Красная шелковая рубашечка с круглым вырезом, открывающим смугловатую шею с родинкой. Все, кроме лица, представлялось определенно, но лицо было неуловимо. Вместо лица плыло облачко: нечто общее, без частностей, смутно отражающее ее взгляд, усмешку. Неразличимое, но такое близкое, даже как бы родственное, отвечающее самым сокровенным движениям моей души.

...в тот смутный, дождливый день меня внезапно назначили орудийным фейерверкером в батарею, где я до сих пор исполнял должность телефониста-наблюдателя.

Батарея стояла на совершенно ровном, гладком, со всех сторон открытом месте, кое-как замаскированном сухими стеблями кукурузы. На позицию стали глубокой ночью, а когда рассвело, то в холодном, дождливом тумане мы увидели потоптанное кукурузное поле и мокрую землю, исковерканную недавним сражением. Откуда-то сбоку потягивало трупным запахом. Это разлагалось чудовищно раздутое тело румынского солдата в каске и синей шинели, лопнувшей по швам. Мы только что собрались предать это мертвое тело земле, чтобы оно не воняло, как был получен приказ «батарея, к бою!».

Тотчас после этого из-за плоского, дождливого, плохо видимого горизонта послышался знакомый звук орудийного выстрела, и над нашей батареей пролетел неприятельский снаряд, сделавший порядочный недолет. Батарея ответила двумя патронами беглых, и началась артиллерийская дуэль с невидимым противником, продолжавшаяся до самых ранних октябрьских сумерек.

«18 октября 916 г. Действующая армия. Румынский фронт. Дорогая Миньона! Сегодня произошло ужасное. Наша батарея, расположенная на открытом месте и не имеющая надежных блиндажей, кроме ровиков для орудийной прислуги, весь день вела артиллерийскую дуэль. Что такое артиллерийская дуэль на открытой позиции, Вы, конечно, представляете себе. Объяснять не буду. От неприятельского огня мы прятались в довольно глубокий ровик, наскоро вырытый рядом с зарядным ящиком.

Наши наблюдатели нащупали немецкую батарею, а немцы нащупали нас, и через каждые две-три минуты мы обменивались выстрелами. День был на редкость паршивый, холодный, сырой, туманный, дождливый, и вследствие плохой видимости артиллерийский огонь с обеих сторон был неточный: то сильный перелет, то недолет, то вообще куда-то в сторону. Тем не менее каждую минуту можно было ожидать прямого попадания, и я из предосторожности приказал всем номерам своего орудия, которым командовал, укрыться в окопчике, кроме наводчика.

Сделав очередной выстрел, наводчик тоже прыгал в окопчик, и мы все, прижавшись к земляным стенкам, с тревогой ожидали ответ неприятельской батареи, моля господ бога, чтоб немецкий снаряд пронесло мимо и чтобы он не угодил в наш окопчик.

Недавно в нашу батарею пришло пополнение, и ко мне в орудие попал совсем еще молоденький — последнего призыва, — семнадцатилетний деревенский паренек из-под станции Бобринская по фамилии Терез. Как у всех новобранцев, у него была голова, подстриженная под машинку весьма неряшливо, вследствие чего его нежные, почти совсем детские уши казались особенно заметны. На нем была не по росту большая шинель, еще не разношенные сапоги, и в руках он держал деревенскую торбу со шматком домашнего свиного сала, завернутого в хустку, а также мешочек с пайковым сахаром, который он уже успел получить вместе с восьмушкой махорки и полбуханкой житника.

Мы все были опытные, обстрелянные батарейцы, а он считался у нас еще серым, то есть молодым необстрелянным новичком, а потому на нем еще, как говорится, ездили — наваливали на него самую черную солдатскую работу. Это делалось, конечно, не со зла, а так полагалось по традиции воспитывать новобранца. А вообще к нему относились хорошо и дружелюбно, вроде как к младшему брату или сыну. Он даже нравился нам своей милой деревенской домашностью, еще не испорченной солдатчиной.

Его украинская фамилия Терез давала орудийным острякам повод покаламбурить: Терез, той раз, цей раз и т. д.

Я принял по отношению к нему начальственно-покровительственный тон. До сих пор я был среди солдат самый младший по возрасту, а теперь появился еще более молодой — семнадцатилетний.

Кстати, замечу в скобках, оказывается, на войну уже стали забирать почти мальчиков. Тревожный симптом! По-видимому, война идет к концу.

Этот самый Терез был ласковым, услужливым и очень старательным мальчиком, так что в батарее его полюбили, понимая, что со временем из него выработается справный орудиец. На первых порах его поставили при трехдюймов-

ке, которой я командовал в качестве оружейного фейерверкера, номером третьим, так называемым подающим. Он должен был в бою подавать патроны.

Да... Так на чем я остановился?

Я остановился на том, что наша батарея вела длительную, мучительно нудную артиллерийскую дуэль, и неприятельские снаряды с методическими паузами рвались вокруг нас, так что мы были принуждены почти все время сидеть в окопчике, и на огонь противника отвечал, в сущности, один только наводчик, который сам наводил, сам заряжал, сам производил выстрел и сейчас же после выстрела прыгал в окопчик, или, как он назывался, ровик, где мы сидели, как сельди в бочке, и все время дрожали от страха, ожидая, что какой-нибудь шальной немецкий снаряд прямым попаданием влетит к нам — и тогда от нас останется только кровавая каша.

Вы себе представляете, как это ужасно — сидеть в ямке, дрожать и каждую минуту ждать смерти?

Терез вел себя вполне мужественно, хотя его девичьи губы стали сизыми, а тонкая нежная шея, видневшаяся из-под грубого ворота солдатской шинели, совсем побелела.

Играя роль доброго командира, я похлопал его по плечу и сказал общеизвестное: «Не журишь, казак, атаманом будешь», хотя у самого от страха тряслись поджилки.

Мрачный день медленно, но уже заметно клонился к вечеру, но артиллерийская дуэль продолжалась, выматывая нервы. Вдруг после одного нашего очередного выстрела в окопчик вскочил бомбардир-наводчик и сказал, вытирая мокрый от дождя лоб рукавом шинели:

— Шабаш! Все патроны кончились.

— А в зарядном ящике?

— Пусто.

В первый момент у нас, по правде, сказать, даже отлегло от сердца: отбой! Но тут же закричал телефон и голос батарейного командира приказал выслать нескольких солдат за свежим боезапасом, который подвезли из резерва в небольшую лошадку шагов за сто позади батареи. Раз-

грузить повозку с патронами требовалось как можно быстрее, чтобы неприятельские снаряды не успели побить лошадей.

Лица у моих батарейцев посерели. Бежать сто шагов туда да сто шагов обратно с двумя тяжелыми лотками на плечах, по открытому полю, под огнем неприятельской артиллерии — дело серьезное. Но ничего не поделаешь. Боевой приказ есть боевой приказ. Мне, как оружейному фейерверкеру, следовало организовать доставку патронов и нарядить оружейцев, которые должны по очереди бегать за снарядами.

Я решил показать пример своим подчиненным, первым выскочить из окопчика и принести два лотка, хотя по долгу службы я не должен был этого делать и отлучаться от орудия.

Но мне хотелось показать свою храбрость.

Почему-то в последнюю минуту я раздумал. Не могу объяснить, что со мной случилось. Какой-то злой или добрый дух шепнул мне: остановись! подумай! — острое чувство самосохранения пронзило меня и подсказало, как надо действовать.

— А ну, друзья, кто первый пойдет за снарядами? — сказал я, подражая голосу фельдфебеля Ткаченко, и тут же, не дожидаясь ответа, прибавил: — Пойдет самый молодой, необстрелянный. А ну-ка, Терез, покажи свою храбрость!

Терез сидел совсем по-мальчишески на корточках, прислонясь к сырой стенке окопчика. Он вскочил, засуетился и, став передо мной по стойке «смирно», насколько это позволяла теснота ровика, сказал:

— Слушаюсь, господин оружейный фейерверкер!

Вся его фигурка выражала готовность, но в глазах мелькнуло что-то пронзительно-жалобное. По мокрым земляным ступенькам он выскочил из окопчика, и в тот же миг оглушающий удар разорвавшегося немецкого снаряда потряс почву, и не успели мы как можно теснее прижаться к земле, как сверху головою вниз на нас свалился Терез, покрытый складками разорванной пивели.

Но это уже был не Терез. Это был его труп. Его ноги в сапогах зацепились вверху за край земляных ступеней, так что все тело приобрело наклонное положение, голова оказалась на земле у наших ног, а из маленькой треугольной дырочки над правым глазом текла густая струйка крови, образуя на земляном полу все более и более разрастающуюся лужу.

Половина разбитого орудийного колеса повисла над нами, пробив крышу, сложенную из стеблей кукурузы, по листьям которых шуршал затаенный дождик. Наши глаза были прикованы к обращенному вверх лицу убитого Тереза, постепенно менявшему цвет. Сначала знакомое лицо Тереза еще имело обычный цвет живого человека, даже с нежной розоватостью щек и вокруг закрытых глаз с золотистыми ресницами. Постепенно эта розоватость исчезала, заменялась желтоватостью, а желтоватость стала заливаться синевой, особенно заметной в скульптуре затвердевших ушных раковин.

А вокруг стояла всемирная тишина внезапно прекратившейся артиллерийской дуэли.

Молчала наша батарея. Молчала батарея противника. Молчало наше искалеченное орудие. Только с вкрадчивым шорохом сеялся дождик, как бы незаметно сливаясь с надвигающимися сумерками. Отчего наступило это сводящее с ума молчание? Вероятно, из-за темноты, так или иначе, но бой прекратился, как бы сделав свое черное дело, убив Тереза и тем самым исчерпав себя.

Мы неподвижно стояли тесно друг к другу в окопчике и под угнетающий шелест затаенного дождя не могли оторвать глаз от лица необыкновенно молодого и красивого, как у скульптуры греческого юноши, с которого медленно сходила синева, заменяясь уже ровной, мраморной или, лучше сказать, гипсовой белизной подлинной, глубокой смерти, и маленькие, чудесно изваянные кисти рук высывались из-под лохмотьев шинели, а оскудевающая струйка густой, уже почти черной крови все текла и текла по белому лбу, и под головой натекала лужа, в которую мы боялись нечаянно ступить сапогом. Одна мысль терзала

меня — что на месте мертвого Тереза мог лежать мертвый я, и этого не могло вместить мое воображение.

Потом все было до ужаса обыденно.

Мы бережно, хотя и с каким-то страхом, выбрались из окопчика, вытащили оттуда тело Тереза и положили его возле лафета нашей искалеченной пушки, припавшей, как инвалид, на ось разбитого колеса, со своим щитом, изрешеченным осколками. Снаряд попал прямо в зарядный ящик, в котором, к счастью, уже не оставалось патронов, а то бы мы все полетели на воздух.

К зарядному ящику был привязан мой чемодан, от которого остались только ключья, а все то, что находилось в нем, в том числе фотографический аппарат «кодак», катушки с отснятой пленкой, Ваши письма, тетрадка моих стихов и заметок, не говоря уж о белье и непечатой коробке соленых бисквитов «Капитэн», присланных папой, — все это было сожжено прямым попаданием, превращено в черный пепел, развеяно, рассыпано по мокрому кукурузному полю и затянута тяжелым, вонючим, черным мелинитовым дымом разорвавшегося снаряда...

Что же было дальше? Дальше все было так обыденно, что стыдно писать. В наступивших сумерках из обоза приехала повозка, куда положили уже заметво похолодевшее, отвердевшее, прямое тело Тереза, покрыли его обдранной, обгоревшей шинелью и увезли в тыл хоронить. Имущество же, находившееся в вещевом мешке на дне окопчика, отправили вместе с телом, с тем чтобы переправить на станцию Бобринская его матери, кроме восьмушки пайкового табака, оставленного орудийной прислуге на курево, и торбочки с пайковым рафинадом, который орудийцы присудили оставить мне как ближайшему по возрасту товарищу убитого. Все знали мою страсть к сладкому.

Вот и все.

Пишу это письмо в румынской хате с опрятно вымазанным глиняным полом, устланном шерстяной ковровой дорожкой, в селе, куда отправили нашу батарею на отдых и для замены разбитого орудия и зарядного ящика.

Погода внезапно резко переменилась. Дождь прошел.

Небо расчистилось. Невероятно яркая осенняя луна, маленькая, почти синяя, стояла высоко в небе, и тень от хаты, от ее камышовой крыши, от плетеной клуни, где хранились кукурузные початки, сильно, угловато чернела, как нарисованная углем на голубой земле, а в воздухе уже слышался крепкий октябрьский холодок, так напоминающий о моей погибшей юности, когда я еще не был падшим ангелом.

Простите, не в силах больше писать. Со мною происходит что-то ужасное. Не презирайте меня. А. П.»

Теперь я вновь — в который раз! — переживал чувство презрения к себе и неискупимой вины перед молоденьким, милым, услужливым солдатиком Терезом, убитым вместо меня треугольным осколком, пробившим в его голове дырочку, из которой — вижу это как сейчас! — вытекала сначала алая, а потом почти черная струйка густой крови, впитываясь в сырую землю окопчика.

После того как тело убитого положили на солому в обозную повозку и увезли хоронить, кто-то из оружейной прислуги принес шанцевый инструмент, то есть хорошую крепкую армейскую лопату с ясеневым черенком, выкопал из земли окопчика сгусток запекшейся крови и вынес его на лопате как бы нечто вроде крупной темно-красной печени.

Теперь уже с трудом складывается картина того далекого прошлого. По-моему, я уже высказал мысль, что хорошая молодая память — фотография, а старая, разрушающаяся — живопись, даже, может быть, кубизм. Впечатления давно минувших лет вытесняют друг друга, создавая странную картину, обширное, даже необъятное живописное полотно, полное движения, в котором трудно разобраться.

Письма, которые некогда мне отдала Миньона незадолго до своей преждевременной смерти от скоротечной чахотки, были аккуратно сложены и даже перенумерованы ее рукой, но среди них одно письмо, последнее, оказалось в пачке раньше чем следовало. Когда оно попало мне в руки, я удивился его слишком поздней дате:

«6 ноября 916 г. Румынский фронт. Действующая армия. Миньона! Это письмо доставит Вам с оказией один наш батарец, едущий в тыл по командировке. Пожалуйста, отнесите к нему с полной серьезностью. Я обращаюсь к Вам с просьбой, имеющей для меня огромное значение. Если хотите, это вопрос жизни и смерти. Прошу Вас в самом срочном порядке походатайствовать перед своим отцом, чтобы меня направили в пехотное военное училище для зачисления там меня юнкером. Прием заканчивается 1 декабря, и нужно не опоздать. Не спрашивайте о причинах. Я понимаю, что таким образом я лишаюсь возможности стать артиллерийским офицером и сделаюсь пехотным прапорщиком. Но это мое твердое решение. Если Вы мне действительно друг, то Вы это делаете для меня. Время не ждет! Ваш Александр Пчелкин».

Миньона исполнила мою просьбу: я был отправлен в наш город и в декабре стал уже юнкером военного училища, будущим пехотным прапорщиком, навсегда распростившись с надеждой стать привилегированным артиллерийским офицером. Это, конечно, было для меня униженно.

Что же тогда со мной произошло? В чем причина?

Причин было несколько, и трудно сказать, какая из них казалась мне тогда главной. Во-первых, конечно, ужас и отвращение, внушенные мне почти годичным пребыванием в действующей армии. Любым способом, хоть на четыре месяца, попасть в тыл, лишь бы на время избежать смерти. Во-вторых, любовь к Ганзе, которая в последние дни измучила мою душу. Вместе с моим возмужанием почти детская любовь превратилась в страсть. Мне уже казалась жизнь невыносимой без нее. А ведь до сих пор я даже ни разу не взял ее за руку и никогда не произнес волшебных слов «я вас люблю». Я вел себя как робкий мальчишка, теперь же я смело посмотрю ей в глаза и, чего бы это мне ни стоило, добьюсь ее взаимности. Во всяком случае, я опять ее увижу. И в-третьих, в чем мне стыдно сознаться, у меня был низменный расчет избежать смерти: по всем признакам война скоро должна была кончиться позор-

ным поражением русской армии. На румынском фронте мы терпели поражение за поражением. На Западном фронте мы потеряли Варшаву. Наступление Брусилова захлебнулось. Не сегодня завтра сдадим Ригу. В тылу — хаос. Министерская чехарда. Голод. Начинается разруха. Забастовка на Путиловском заводе, снабжающем армию артиллерией. Пахнет революцией. Массовое дезертирство. Таким образом я рассчитывал, что в течение четырех месяцев моего юнкерства и месяца пребывания в запасном пехотном полку война кончится и я буду спасен.

Однако мои расчеты не оправдались. Несмотря на падение самодержавия, война еще не закончилась, и пехотных прапорщиков продолжали посылать на убой. Что же касается Ганзи, то в наших отношениях ничего не изменилось, хотя она уже была в полном расцвете своей молодости и красоты, курсистка, невеста, а я, хотя и пехотный офицер-прапорщик Керенского, как тогда говорилось, между нами стояла, как и в юности, странная, прозрачная стена моей молчаливой робости и ее милого равнодушия. Меня отправили все на тот же румынский фронт, где мое бедро пробил маленький треугольный осколочек, так похожий на тот, который некогда убил Тереза. Таким образом, я еще дешево отделался. Октябрьская революция застала меня в госпитале. Пришли немцы. Ганзя вышла замуж за того самого богатого футболиста инсайд-правого, который уже стал кавалерийским корнетом, потом, конечно, они бежали от революции за границу, так же как и отец Миньоны, бросив семью на произвол судьбы, уехал с белыми.

Помню еще короткий и грустный роман с Миньоной, ее горячие руки, кошачьи глаза в осажденном, лишенном света городе, при звуках ночной винтовочной стрельбы, и быстрое охлаждение Миньоны, когда она вдруг меня разлюбила, и я всю ночь просидел на берегу моря на шаланде, перевернутой дном кверху, и «ныло от тоски все существо мое, тоска была подобна черной глыбе, и если бы вы поняли ее, то разлюбить меня, я знаю, не смогли бы».

Ну и так далее, все как в тумане слабеющей памяти, а я продолжал видеть себя среди прострапства Добруджи, где обстановка с каждым днем ухудшалась.

...Начали весело, с наступления, дошли почти до Базарджика, как уверяли фантазеры разведчики, потом оставились, а теперь отступали по всему фронту, едва не погнав к Макензену в мешок.

Кое-где это уже было похоже на бегство.

Новая батарея, в которой я продолжал проходить все виды солдатской службы, все артиллерийские специальности, моталась с позиции на позицию, не имея возможности где-нибудь прочно закрепиться.

...Прекрасно утрамбованные белые шоссе и убранные поля, поросшие ежевикой. Холмы, покрытые душистой богородичной травкой и дикой лавандой, такой же синей, как полоска моря, иногда показывающегося на горизонте. Волнистые дали, волшебным образом приближенные окулярами козлино-рогатой стереотрубы почти вплотную к самым моим глазам, когда я вел с наблюдательного пункта стрельбу по разездам неприятельского авангарда.

Вести стрельбу значило передавать с наблюдательного пункта по телефону на батарею прицельные данные по обнаруженному противнику.

Тогда я обладал прекрасным молодым зрением (не то что теперь!). Из меня постепенно вырабатывался недурной наблюдатель, умевший толково вести стрельбу не только по неподвижным, занумерованным целям, но и по движущимся. Я научился стрелять с опережением, что считалось высшей степенью искусства артиллерийского наблюдателя.

Я заметил в узком дефиле между двумя пологими холмами дорогу, по которой, вероятно, только что проехала какая-то военная кавалерийская часть неприятеля, так как дорога еще продолжала пылиться. По всей вероятности, это был разезд венгерских гусар. Я прикинул на глазок дальность, приказал телефонисту, сидевшему у моих ног в окопчике, передать на батарею данные высоты и угломера и попросить сделать пристрелку.

Первый же снаряд (граната) разорвался очень удачно, в том самом месте, где дорога поворачивалась за холм. Я передал номер цели и стал ждать. Не могло же быть, чтобы неприятель больше не появился на дороге, минуя то место, которое уже было обозначено мною, передано на батарею и записано в книжке орудийного фейерверкера как цель номер один.

Через недолгое время дорога запылилась, и я увидел в

трубу, как из дефиле выехали три кавалериста и остановились, видимо осматривая местность. В стереотрубу ясно просматривались приближенные к моим глазам голубоватые шинели, масти лошадей и даже блестящие стекла бинокля в руках одного всадника.

— По цели номер один прицел сто десять, трубка сто пять, шрапнелью, два патрона беглых! — крикнул я телефонисту, повторившему мою команду в трубку.

Батарея уже давно была готова к бою, так как почти в ту же минуту далеко позади раздалось несколько тюкающих выстрелов наших трехдюймовок и над моей головой прошуршали снаряды. Вероятно, неприятельский разъезд тоже услышал их приближение, так как я увидел в трубу, как они рванулись в стороны, но было уже поздно. Я увидел, как невысоко над ними в тусклом небе разорвалась посланная мною шрапнель, а лошади шарахнулись, подымая облака пыли, а один всадник свалился с седла и остался неподвижно лежать на земле, в то время как остальные скрылись из поля моего зрения за холмом.

В первый миг я пришел в восторг от столь удачного залпа.

Я готов был, не отрывая глаз от окуляров стереотрубы, захлопать в ладоши, но вдруг меня пронзила ужасная мысль, что небольшая и не очень ясно просматривающаяся сквозь дорожную пыль человеческая фигурка с раскинутыми руками, которая неподвижно лежала на земле, есть не что иное, как венгерский гусар, еще миг назад живой, а теперь уже убитый шрапнелью, вызванною мной, наводчиком Пчелкиным.

Я был его убийцей, так же как был косвенно убийцей Тереза и, может быть, еще нескольких живых людей — немцев, австрийцев, мадьяр, — смерти которых я не видел и о которой не думал, так как считалось, что убийство на войне не есть убийство.

Однако совесть сказала мне в тот миг, что убийство есть убийство.

Это привело меня в смятение, которое, однако, скоро прошло, так как явилась хотя и лживая, но спасительная мысль: ведь и меня могли убить и сотни раз убивали, но только неудачно.

Однако тяжелый осадок остался в душе на всю жизнь.

Батарея продолжала кочевать в просторах Добруджи, под давлением Макензена неуклонно приближаясь к Дунаю, к тому месту, где река делает крутой поворот на восток к Черному морю.

Однажды, оторвавшись от главных сил, туманным утром после беспцельного блуждания по незнакомым местам батарея наша оказалась на вершине холма в полной неизвестности, откуда можно ожидать неприятеля.

Командир батареи, старый подполковник, которому, если бы не война, давно уже следовало выйти в отставку, высокий, сутулый, с унылым длинным носом, опущенным книзу, кусая мокрые усы, прошелся взад-вперед перед своей наскоро разбитой палаткой, посматривая вокруг в бинокль, а затем приказал, чтобы на всякий случай два взвода установили свои орудия по компасу на северо-восток, а один взвод на юго-запад, из чего явствовало, что неприятель может появиться со всех сторон, то есть что наша батарея попала в мешок, в окружение.

Конные разведчики, высланные уяснить обстановку, вернулись ни с чем, если не считать двух ведер зеленой водки, которой они поживились на каком-то румынском ликеро-водочном заводе, разграбленном отступающей матушкой-пехотой.

По оценке батарейных знатоков, в каждом ведре было не менее четырех кварт. Это был полуфабрикат, из которого делали ликер.

Однако ведро поставили посередине нашей палатки, и к нам потянулись с котелками и самодельными кружками представители оружейных расчетов.

До той поры я еще никогда не пил водки. Порядочно охмелевший немолодой, почтенный разведчик, старший фейерверкер и георгиевский кавалер двух степеней, сел на солому рядом со мной и, ласково заглядывая мне в лицо осоловевшими, как бы маринованными глазами, протянул полную кружку. Несмотря на все свое еще совсем детское отвращение к водке, я не посмел отказаться, желая показать себя молодцом перед старшим фейерверкером.

Я взял кружку, приблизил ее к губам и поморщился.

— Господин вольноопределяющийся, прошу вас по-товарищески, не отворачивайтесь. Выпейте вместе с нами. По-солдатски. А то, что она вонючая, румынская, то вы

ваешьте ее цибулей, и цибуля отобьет весь ее противный запах.

Старший фейерверкер вынул из кармана большую луковицу, разрезал ее пополам складным карманным ножом, отер о свои шаровары и половинку подал мне на своей грубой ладони с черными линиями жизни.

— Мерси,— сказал я, приложился губами к кружке и в несколько судорожных глотков, морщась от отвращения, выпил крепкую жидкость, имеющую вкус и запах полоскания под названием «Одол», которым в детстве меня заставляли полоскать горло, и заел половиной луковицы, распавшейся на моих зубах на несколько едких на вкус хрустящих колец, похожих на цыганские серьги. Жгучие слезы выступили у меня на глазах.

— Бувайте здоровы и не кашляйте,— сказал старший фейерверкер, показавшийся мне до ужаса похожим на покойного Стародубца.— И когда добьетесь до золотых погон, то не забывайте, как мы с вами выпивали румынскую ханжу и закусывали цибулей. Хотя навряд ли, потому что по всему видать — война кончится. Видите, что делается? Разве это фронт? Это бардак!

Я очень сильно опьянел и все дальнейшее воспринимал в страшном беспорядке, как бы сквозь поток струящейся воды: орудия, повернутые в разные стороны, и командира батареи, на которого полез на карачках в дымину пьяный, озверевший, неизвестно откуда взявшийся обозный ездовой Елкин без пояса, в расстегнутой гимнастерке, в грязных шароварах, ругавшийся по матери и кричавший:

— Куда же ты нас завел, так твою мать, а еще подполковник!

Два пьяных батарейца пытались его оттащить, а он, встав на ноги, лез с кулаками в лицо командиру батареи и продолжал выкрикивать что-то насчет измены и восьмисот десятин земли в Таврической губернии, которой владел подполковник.

— Кровопийца! Помещик! Грабитель!.. Подожди, мы еще до вас до всех доберемся, всех вас пожжем! — И так далее.

Несмотря на то что был сильно пьян, я все-таки понимал, что сейчас должно произойти нечто ужасное: нижний чин нанес своему командиру, офицеру, подполковнику, и, что особенно ужасно, в боевой обстановке, на глазах у всей батареи, оскорбление и даже пытался схватить его за погон, но был оттащен товарищами. По всем законам не только военного, но и мирного времени оскорбленный офицер должен был зарубить пашкой или на месте расстрелять из револьвера нижнего чина — оскорбителя. В этом не могло быть сомнения.

Я отрезвел от ужаса и закрыл лицо руками.

Но выстрела не последовало. Старый подполковник верно оценил обстановку. Если бы он выстрелил в своего оскорбителя, то неизвестно, чем бы это кончилось. Вокруг бушевала вольница вышедших из повиновения пьяных солдат. Они были способны растерзать своего командира и перебить офицеров, попрятавшихся в свои палатки.

Старый опытный офицер предпочел сделать вид, будто ничего не произошло. Он с равнодушной улыбкой на побледневшем лице прошел вдоль орудий, осмотрел в бинокль горизонт и скрылся в своей командирской палатке, в то время как пережившиеся батарейцы продолжали шуметь, спивать украинские песни, а кое-кто выражал вольные мысли насчет мерзавца военного министра генерала Сухомлинова, полковника Мясоедова, царицы-немки, продающей вместе с Гришкой Распутиным Россию немецкому кайзеру Вильгельму, а главное, насчет необходимости в самое ближайшее время забрать помещичью землю и честно, по совести поделить ее между крестьянами и замириться с германом, пока еще не перебили друг друга, потому что немецкие солдаты — такие же простые солдаты, крестьяне, как и мы сами.

Правда, эти опасные мысли даже и во хмелю выражались не столь громогласно, а в виде зловещей воркотни и были внушены двумя батарейцами, которые недавно

отвозили в Питер на Путиловский завод для ремонта и замены на новые орудийные стволы, отслужившие свой срок.

Из Питера все время были зловещие слухи о назревающей революции.

Один вольноопределяющийся, вернувшись из петроградского госпиталя, где он залечивал осколочное ранение, привез стишок, ходивший по городу, что

«в терновом венце революции грядет шестнадцатый год...» — это воспринималось как пророчество.

Пьяный бунт погас сам собой и не имел последствий, потому что батарея в это время стояла отдельно, неизвестно где, и не имела никакой связи с другими воинскими частями распадающегося фронта. Впрочем, невероятными усилиями командования отступление приняло более организованный характер. Фронт соединился, а скоро, отдав неприятелю часть Добруджи, наши войска закрепились между городами Меджидие и Констанцей, заняв оборонительную линию по хребту так называемого Траянова вала, где пехота и окопалась.

Траянов вал. Ганзя Траян. Ее имя преследовало меня всюду.

Наши батареи расположились за Траяновым валом, недалеко от передовых пехотных линий.

Макензен двигал свои войска с юго-запада, уже занял Констанцу и теперь всеми своими силами устремился на Траянов вал.

С артиллерийского наблюдательного пункта рядом с пехотными окопами я видел даже простым глазом город Констанцу, синие лиманы, белые домики с черепичными крышами, а за ними полосу Черного моря.

В этих краях когда-то бродил опальный поэт Овидий Назон, и я выучил в гимназии по-латыни несколько стихов из Овидиевых «Метаморфоз», даже перевел их на русский язык:

«Век золотой на земле воцарился сначала. Не было в нем ни судей, ни законов суровых. Смертные люди без них соблюдали во всем благородство, были верны и честны, не боясь наказаний суровых».

О золотом веке пел поэт-изгнанник, наступая старыми, разношенными сандалиями на сизую полынь, растущую по склонам Траянова вала. Но почему в моем воображении рядом с ним шла девочка-подросток, маленькая гордая римлянка-изгнанница? Может быть, она была его дочерью? Но тогда почему же она носила имя Траяна? Она была Ганзя Траян, о которой я не забывал ни на минуту и которая всегда скромно светила в зените на недостижимой высоте, как еле заметная Полярная звезда — вечная и единственная.

Судьба привела меня наконец к Траянову валу, где я решил умереть, как скиф, отвергнутый римлянкой.

Умереть было просто. Смерть стояла рядом: я исполнял должность второго телефониста при офицере-наблюдателе. Первый телефонист сидел на дне окопчика рядом с телефонным аппаратом и держал связь с батареей. Моя же обязанность заключалась в ответственности за целостность телефонного шнура, проложенного прямо по земле от наблюдательного пункта до батареи, всего около версты.

Войска противника могли появиться с минуты на минуту.

Я видел складки пустынной степной местности, поросшей сухими душистыми травами. Можно было подумать, что степь безлюдна. Но полковые разведчики и боевые охранения донесли, что немецкий корпус, развернутый по всему фронту, приближается к Траянову валу. Вдоль нашей отходящей пехотной цепи на горизонте стали медленно вырастать из земли как бы черные ветвистые деревья.

В первую минуту могло показаться, что это мираж. Но когда оттуда долетели звуки рвущихся тяжелых снарядов, то стало ясно, что это немецкая артиллерия бьет по нашей отступающей пехоте, скатывающейся с пологих холмов в длинные складки пересеченной местности. Потом показались неприятельские цепи. Наша батарея открыла огонь, но дистанция оказалась слишком велика и снаряды не долетали.

Тем временем немецкие тяжелые батареи замолчали. Было ясно, что они меняют позиции поближе к нам. Они пользовались складками местности, чтобы передвижение их было скрыто. Однако иногда немецкие серые гаубицы, зарядные ящики с их упряжками ненадолго появлялись и затем исчезали, поспешно скатываясь в балки.

Скоро отступающие цепи нашей пехоты докатились до Траянова вала и быстро окопались на его гребне.

Наступило томительное безмолвие, не обещавшее ничего хорошего.

Потом немецкая артиллерия, как видно уже ставшая на новые позиции, снова открыла огонь по всему фронту, а немецкая пехота полезла на Траянов вал, на наши окопы.

Собственно, окопов не было, а были всего лишь маленькие ямки, наскоро отрытые стрелками — каждым для себя.

И начался бой, продолжавшийся как мне показалось, несколько дней и ночей. Я находился в полубредовом состоянии, уверенный в своей неизбежной гибели. Эта уверенность не только меня не пугала, а напротив — я ее жаждал как избавления, как уничтожения вместе с собой всего того, что терзало мою душу: треугольная дырочка во лбу мертвого Тереза, умирающий Стародубец, вереница телег с почерневшими трупами отравленных газами солдат под Сморгонью, сгусток крови, смешанной с глиной, на лопате, серая фигурка венгерского гусара с раскинутыми руками посреди пыльной дороги, мучительно приближенная к моим глазам, прильнувшим к окулярам стереотрубы, глупые, назойливые письма Миньоне, неразделенная любовь к Ганзе, вся ничтожность и пошлость моей никому не нужной жизни, опустошенность души, в которую вселился демон всемирного разрушения...

День и ночь слились в одно ожидание смерти.

Десятки раз приходилось мне по долгу службы вылезать из окопчика и ползти вдоль телефонного шнура, для того чтобы найти место, где он перебит осколком или шальной пулей, и соединить оборванные концы.

Пули и осколки срезали вокруг меня головки диких степных растений. Меня закидывало кучами сырой земли, выброшенной снарядами, иногда разрывавшимися рядом. Крупный град шрапнели поднимал вокруг фонтанчики пыли. Но я был точно заколдован. Душа моя жаждала смерти, но тело, повинаясь инстинкту самосохранения, при каждом свисте снаряда изо всех сил прижималось к земле, к ее душистым травам.

В одной руке я держал складной ножик, в другой кружок траурно-черной изоляционной ленты. Я полз по-пластунски, обдирая локти. Обнаружив повреждение, я соединял концы перебитого провода, зачищал их ножиком, связывал друг с другом и обматывал липкой изоляционной лентой. Я весь с ног до головы был испачкан землей, лицо мое было поцарапано колючими растениями, тело ежеминутно содрогалось от животного ужаса, с которым я не мог справиться. Но воинский долг требовал от меня жизни и подвига: я отвечал за надежность телефонной связи между наблюдательным пунктом и батареей.

Я совершал свой так называемый подвиг механически, даже не понимая, что это называется подвигом. Соединив перебитый провод, я, как автомат, полз по-пластунски назад, автоматически сваливался в окопчик, автоматически докладывал офицеру-наблюдателю, что связь восстановлена, автоматически ел борщ с кашей, принесенные связным с батареи, и, неясно понимая, в какое время суток все это происходит, опять выползал наружу, чтобы связать снова перебитый провод.

Когда я в последний раз полз вдоль провода, ища повреждение, то вдруг увидел до глубины души поразившую меня картину бегства пехоты: по обратному склону Траянова вала, бросив свои окопчики, один за другим сползают солдаты. В ложине — раненые, убитые, покалеченные лошади, санитары, носилки. Пехотный прапорщик с искаженным лицом, размахивая револьвером, пытается остано-

вить бегущую пехоту, но солдаты, как бы не замечая его и не слыша страшных его ругательств, бежали в лощину, спасаясь от неприятельского огня, а прапорщик, оглушенный свистом и разрывами снарядов, кричал надорванным, осипшим голосом:

— Подлецы! Сволочи! Что вы делаете? Назад! Или я перестреляю вас как собак!

Наган-самовзвод дрожал в его руке, но прапорщик не решался стрелять в бегущих, это было бы слишком страшно, да и небезопасно: бегущие держали в руках винтовки и уже были случаи, когда в бою неудобный офицер получал в голову пулю, пущенную своими же солдатами как бы случайно.

Я соединил концы перебитого провода и бросился назад в свой окопчик, где офицер-наблюдатель торопливо складывал штатив стереотрубы. Только что по телефону пришел приказ сматывать провод и возвращаться на батарею, которая уже снималась с позиции.

Лошадь офицера-наблюдателя стояла в лощине. Он вскочил на нее, держа поперек седла штатив со стереотрубой, успел крикнуть:

— Телефонист, на батарею!

И в ту же минуту с разmozженной головой свалился с лошади в дикую лаванду.

Я и мой напарник, нагруженные катушками смотанного провода и телефонным аппаратом в кожаном чехле, побежали на батарею. Все пространство вокруг было усеяно бегущими и падающими солдатами.

Задыхаясь, мы вырвались из этого хаоса и увидели свою батарею с орудиями, уже надетыми на передки. Мы прибавили ходу, но так и не успели добежать до батареи. Шестерка испуганных лошадей уже увозила последнее орудие, до которого, казалось, рукой подать. За орудием, подпрыгивая на неровностях почвы, мотались зарядные ящики, со всех сторон облепленные спасающимися батарейцами. Я из последних сил старался догнать уходящую на рысях батарею, крича, чтобы нас не бросали. Но ездовые не слышали наших криков, и батарея скрылась в сумерках осеннего вечера.

Мы продолжали бежать за скрывшейся батареей. Вокруг было удивительно безлюдно. Помню, что мимо нас в темноте проехал кавалерийский разъезд. Он, конечно, мог бы нас подобрать, но у него не было свободных лошадей. Хоть бы одна свободная лошадь на двоих! Но увы! Один из кавалеристов приостановился и успел нам крикнуть:

— Идите в деревню Байрам Десусс!

И разъезд как бы растворился во тьме, только у кого-то из кавалеристов мигнул электрический фонарик.

Мы остались вдвоем, одни, нагруженные двумя тяжелыми катушками, с телефонным проводом и телефонным эриксонским аппаратом, тоже не легким.

Была ночь. Пустыня. Угрожающее безлюдье между двумя армиями: отступающей и наступающей. В этом странном пространстве, где даже не слышалось привычной степной музыки, как бы хрустального хора сверчков, а была только немая музыка звездного неба, шли с юго-запада на северо-восток, ориентируясь по Большой Медведице и Полярной звезде, мы, два отставших солдата разбитой армии.

В памяти моей сохранились лишь кое-какие подробности, хотя общая картина тоже сохранилась и даже имеет название: «Несколько суток между нашими арьергардами и немецкими авангардами».

Многое кажется мне теперь необъяснимым, хотя в действительности существовало вполне реально. Каким образом все-таки мы с Кацем оказались в безлюдной степи всеми брошенные и куда девались наши войска? То, что мы не успели добежать до батареи, понятно: сначала по долгу службы мы должны были намотать на катушки несколько верст телефонного шнура и потом тащить их на себе, перекинув брезентовые лямки железных катушек через плечо, да вдобавок тащить телефонный аппарат, а бросить всю эту тяжесть к чертовой матери не позволяла совесть, а главным образом — воинский долг, предписывающий беречь казенное имущество как зеницу ока и отвечать за его потерю по законам военного времени. Пока мы с этим возились, батарея снялась с позиции, и мы ее

уже не догнали, не добежав каких-нибудь двадцати шагов.

Но куда же девалась отступающая пехота со всеми своими ранеными, санитарными повозками, патронными двуколками, обозами и уцелевшими офицерскими лошаадьми?

До сих пор не могу понять: куда они девались, бесследно, бесшумно растворившись в ночной темноте? Скорее всего, пехота отступила или, вернее, бежала врассыпную по какому-то другому направлению, оставив своих убитых и раненых среди диких степных трав и растений: римских свечей, медуницы, шалфея, лаванды, богородичной травки, серебристой при звездном свете полыни.

А немцы закрепились на новых позициях, приводили себя в порядок, с тем чтобы на другой день продолжать и развивать свое наступление.

Возможно, даже наверное так это именно и было.

Таким образом, мы, нагруженные казенным имуществом, были в безлюдном, но опасном пространстве приостановившихся военных действий.

Что же наиболее ясно сохранилось в моей памяти? Во-первых, конечно, мой напарник-телефонист по фамилии Кац, которого раньше я знал мало, так как меня все время переводили из батареи в батарею, чтобы я, будущий офицер, не успевал особенно сблизиться с нижними чинами.

Кац оказался косым на один глаз, не слишком молодым полуинтеллигентом из Витебска, до глубины души уязвленным тем, что он не имел права проходить военную службу вольноопределяющимся, а был простым нижним чином, к которому все кому не лень, не говоря уж о начальстве, обращались на «ты», как говорится, тыкали. Будучи от природы обидчивым и гордым, он именно из гордости не показывал виду, что оскорблен своим положением в батарее. Его забрали в армию в первые же дни войны, так что он пережил знаменитое отступление из Восточной Пруссии, Прёйсиш-Эйлау, Августовский лес, но ничего не выслужил, кроме одной бомбардирской лычки, в то время как я, служивший по сравнению с ним, старым солдатом, как говорится, без году неделю, уже имел две нашивки и скоро буду произведен по протекции в офицеры.

Внутренне он все время кипел, но старался не подавать виду.

По отношению ко мне он принял тон старшего боевого товарища, хотя по званию был младше меня на одну лычку.

Я был единственным человеком, с которым Кац мог позволить себе обращаться как интеллигент с интеллигентом, называя меня «коллега». Обычно коллегами называли себя вольноопределяющиеся и молодые офицеры из студентов. Это штатское обращение между собой как бы выделяло их из среды кадровых военных в особую касту фронтовой интеллигенции.

Хотя и без особого удовольствия, но я принял это обращение и сам называл его коллегой. Коллега Кац. Хотя какой он был мне коллега, этот болезненно самолюбивый мнительный художник, окончивший какую-то школу живописи. Он успел уже показать мне альбом своих карандашных рисунков, щегольски растушеванных, как и полагалось провинциальному графику.

Впрочем, некоторые рисунки мне даже нравились, особенно виды захолустных улочек витебских окраин, покосившиеся бревенчатые домики с тесовыми крышами, где ютилась еврейская беднота, дощатые заборы, косые столбы керосиновых фонарей, широкие немощеные улицы с лужами, в которых лежат тощие местечковые свиньи. Во всем этом чувствовалось нечто отчасти гоголевское.

В остальном Кац был, что называется, справный солдат, если не считать его манеры ходить в расстегнутой шинели с хлястиком, висящим на одной пуговице, и как-то неодобрительно смотреть вбок своим косым глазом с небольшим бельмом, которое не спасло его от набора в армию.

Мы догоняли отступающую, а если говорить правду, бегущую нашу армию: днем где-нибудь прятались, опасаясь попасть в плен, а ночью шли по дороге в сторону Дуная, ориентируясь по звездам.

Сколько помнится, мы все время ссорились и мирились, как два каторжника, прикованные друг к другу.

Куда же нам было деваться друг от друга? Нас связывал страх попасть в руки разъездов. Солдатский телеграф

давно уже передавал, что русским пленным отрезают носы и уши. Хотя это и казалось глупой выдумкой, как и отравленные колодцы, но все-таки... Кто его знает! А вдруг правда?

...Мы ссорились по пустякам, главным образом из-за того, кто должен тащить на себе большую часть казенного имущества, состоящего из двух катушек и одного телефонного аппарата. Тащить на себе эту тяжесть было мучительно. Стараясь хоть как-нибудь уравнивать между собой проклятый груз, мы пытались разделить три неделимые тяжести на двоих. Ничего не получалось. То один из нас тащил на себе две катушки, в то время как другой тащил телефонный аппарат, ляжки которого натирали плечо, то один тащил одну катушку плюс телефонный аппарат, в то время как другой тащил на горбу другую катушку.

Мы изнемогали от усталости и начинали ненавидеть друг друга. Кроме того, нас мучил голод. Неприкосновенный запас мы съели в первые же сутки и теперь питались чем бог послал: початками кукурузы, валявшимися на дороге, сырой капустой с заброшенных огородов, а иногда, если повезло, тыквами, созревающими на камышовых крышах пустых, разграбленных деревенских хат.

Тыквы были очень красивы: громадные, голубые, оранжевые, багровые, рубчатые.

Мы нарезали их ломтями и пекли в золе наскоро разложенного костра из кукурузных стеблей, благо у Каца оказался коробок спичек.

Мы шли и шли по плоской земле Добруджи, опустошенной войной.

После первых осенних дождей погода установилась сухая, ясная, теплая, а днем даже жаркая. Настоящая золотая осень. Ночью черное небо с мириадами звезд.

В те часы, когда мы переставали ссориться, мы поверяли друг другу свои самые сокровенные мысли, чего бы, конечно, не сделали при других обстоятельствах. Но теперь

мы были как бы двумя матросами, потерпевшими кораблекрушение и выброшенными на необитаемый остров.

Я донимал его рассказами о муках неразделенной любви, а он терзал меня рассказами про какого-то витебского художника, его друга, который выставил свои полотна в Париже и прославился на всю Европу, а он, Кац, как дурак остался и теперь должен подставлять себя под немецкие пули и снаряды, и терпеть грубости от невежды фельдфебеля, и бить вшей, и не иметь возможности заниматься станковой живописью и так далее, что было мне совершенно неинтересно, потому что тогда я еще не знал, что такое станковая живопись и кто такой этот витебский художник-счастливчик, прославившийся в Париже на всю Европу. Наверное, такой же мазилка, как и Кац с его кривыми дощатыми витебскими домиками, бородатыми козами, плохо нарисованными безголовыми петухами и летающими рыбами: Кац показывал мне свою заветную тетрадь, которую таскал с собой в вещевом мешке, никогда с ним не расставаясь, даже в бою...

...Небритый подбородок, впалые щеки, поросшие волосами цвета медной проволоки, иронически искривленные губы... Все это производило на меня неприятное впечатление, но приходилось мириться.

Однажды меня поразила такая картина: на середине дороги стоял обыкновенный венский стул, ужасающе одинокий и совершенно непонятный среди безлюдной равнины, по которой мы наугад пробирались к Дунаю.

Зрелище одинокого стула сначала потрясло. Но когда через две или три версты я увидел так же одиноко стоящую среди пустынной дороги обыкновенную ножную швейную машинку «Зингер», то я понял, что и стул и машинка — это следы бегства местного населения. Об этом же свидетельствовали следы множества колес и лошадиных подков. По этим следам мы и двинулись дальше, обходя брошенные деревни из опасения наткнуться на неприятельский разъезд.

Однажды голод заставил нас завернуть в одну из таких деревень, где, судя по некоторым признакам, недавно останавливалась какая-то отступающая часть.

Мы обнаружили свежие следы костра, сломанную деревянную ложку, портянки, повешенные на плетень и забытые в спешке, а главное, несколько огрызков ржаного хлеба. Мы по-братски поделили между собой засохшие корки и уже собирались их съесть, как вдруг услышали хрюканье, доносившееся из сарайчика, возле которого мы присели.

Свинья!

Живая свинья, ее, видимо, не успели увезти с собой хозяева.

Мы приоткрыли маленькую дверцу сарайчика и увидели в лучах утреннего солнца на соломе громадную тушу чисто вымытой, хорошо ухоженной, жирной и почти розовой свиньи в несколько пудов весом. У нас слюнки потекли! Сколько отличного свиного сала!

Но как поступить со свиньей?

Мы переглянулись.

— Ну? — спросил я.

— Не знаю, — ответил Кац.

— Она слишком большая. Неизвестно, как это делается.

— А если ножом?

Мы сели верхом на свинью, навалились на ее тушу и стали делать неумелые попытки зарезать ее своими складными ножиками, предназначенными для зачистки перебитого провода.

...Мы не знали, как убивают свиней. Мы не имели понятия об анатомии этого животного: куда надо колоть, где у свиньи сердце? Слой сала оказался таким толстым, а шкура такой непробиваемой, что складными ножиками ничего нельзя было сделать. Ножики только царапали кожу, покрытую жесткой щетиной, не причиняя животному ни малейшей боли, может быть, всего лишь слегка щеко-тали.

Свинья сварливо хрюкала, пытаясь сбросить с себя навалившихся солдат.

Измучившись и не добившись никакого результата, мы с Кацем выбрались на свежий воздух из вонючего закутка, на жаркое полуденное солнце, в лучах которого все вокруг блестело желтым соломенным и кукурузным блеском, ослеплявшим глаза.

— Что будем делать?

— Надо ее просто застрелить.

Наган был только у меня. Я вынул его из кобуры и дал Кацу как более опытному солдату. Кац открыл дверцу свиного закутка, прицелился и выстрелил в белеющую во мраке тушу. Свинья дернулась и взвизгнула, но была живехонька. Видимо, пуля либо застряла в салае, либо скользнула по толстой коже, оставив лишь рубец.

Свинья захрюкала и сделала попытку выбраться из своего закутка и убежать.

— Держи ее! — крикнул я.

— Сами держите! — огрызнулся Кац, отдавая мне наган.— Эту жирную сволочь даже пуля не берет.

— Что же будем делать?

— Не знаю.

— А я знаю! — закричал я, чувствуя, что в меня опять вселился дух разрушения и убийства.— Надо ей выстрелить в ухо!

Пока Кац сидел верхом на свинье, стараясь, чтобы она не дрыгалась, я как бы в состоянии лунатизма отвернул тяжелое волосатое свиное ухо на розовой подкладке и обнаружил ушное отверстие, темную дырочку, ведущую в тайные глубины и закоулки еще живого организма свињи, вдруг внимательно посмотревшей на меня снизу вверх маленьким глазком с бесцветно-белыми ресничками альбиноса.

Я взвел курок, сунул ствол нагана в таинственное отверстие свиного уха, отвернулся и нажал гашетку, с ног до головы вздрогнув от выстрела.

Из живой свињи вдруг превратилась в мертвую, и это превращение так поразило нас, что мы вышли из свиного закутка на яркое солнце, с трудом привыкая к мысли, что совершилось убийство.

Теперь следовало вырезать из свињи кусок мяса или сала. Мы стали кромсать свиную тушу своими складными ножиками, но до мяса так и не добрались. Даже шкуру с трудом пропороли. Вырезали толстый брусок сала, а до мяса оказалось еще далеко. Мы сварили сало в ведре с водой, поставленном на костер из кукурузных стеблей. Хотя нам ужасно хотелось поскорее съесть сало, но все же мы подождали, пока оно как следует сварится в мутном кипятке, и только после этого вынули горячий шматок из ведра.

Вареное сало сделалось почти прозрачным, чуть розоватым и даже на вид таким желанным, что мы набросились на него с жадностью. Сало оказалось необыкновенно, сказочно нежным и вкусным, но у нас не имелось соли, а без соли оно было слишком пресным. Противно пресным.

Мы обшарили хату и не нашли соли. Мы бы, как говорится, отдали полцарства за щепотку соли. Увы! Пришлось есть теплое пресное сало, заедая его сухими корками ржаного хлеба.

...еще через день или два воздух немного посвежел, потянуло пресной речной сыростью, и среди волнистой равнины мы увидели степной колодец, похожий на мельничный жернов, положенный в степную траву к ногам старого, высохшего от зноя пастуха с черным лицом и высоким библейским посохом в руке. Пастух вместе со своим небольшим стадом овец на фоне выжженной степи напоминал библейскую гравюру Густава Дорэ. Не хватало лишь Ревекки, едущей на верблюде.

На этом наше совместное блуждание завершилось, так как мы увидели хвост отступающей и уже переходящей через Дунай армии и повозки беженцев, напоминающие цыганский табор.

Тут мы с облегчением расстались друг с другом, так как меня вместе с двумя катушками телефонного шнура посадил рядом с собой на козлы походной кухни знакомый еще по первой батарее повар, а Кац с телефонным аппаратом через плечо пристал к группе телефонистов.

Переехав Дунай по зыбкому понтонному мосту, заливаемому серой осенней водой, я очутился на другом берегу, в румынском городе Браилове, где, как я узнал, недавно разместился штаб нашей бригады. И вот уже я, худой и грязный, входил в кабинет особняка, занятого генерал-майором Заря-Заряницким, с еще никогда не виденным мною шикарным — в стиле модерн — письменным столом, покрытым стеклянной доской, отражавшей не военный, а городской телефонный аппарат и бронзовый письмен-

ный прибор из числа тех, какие, вероятно, бывают на столах министров или преуспевающих адвокатов.

Так как генерал был маленького роста, то его круглая, коротко остриженная серебряная головка совсем ненамного возвышалась над зеркальным пространством письменного стола.

Еле держась на ногах от усталости, недоедания и душевного потрясения пережитым, все то, что я видел теперь вокруг себя, представлялось мне как бы во сне, особенно лицо генерала, похожее на лицо Миньоны, только более грубое, а за генеральскими погонами — венецианское окно, обрамляющее уже когда-то виденный мною пейзаж: серебристые ветлы, разросшиеся по берегу Дуная, струи которого лишь кое-где просвечивали сквозь их серебристо-зеленые купы, похожие на цветную капусту и делающие всю эту призрачную картину как бы вытканной на старом французском гобелене.

Знакомый бригадный адъютант подхватил меня под локти и отвел по лестничке куда-то наверх, может быть даже на чердак, где имелась дежурная комната с раскладной офицерской койкой-многоножкой, куда я и свалился, пораженный сном внезапным, как смерть.

Кажется, мне все-таки что-то снилось, чего я потом никак не мог вспомнить, хотя и знал, что это было сновидение о притаившемся на чердаке убийце, и вместе с тем что-то грустно-любовное, связанное с незримым присутствием Ганзи, еще более недостижимой, чем всегда, и все же обнадеживающе улыбающейся улыбкой Миньоны.

Меня разбудил денщик, принесший в судках офицерский обед: суп с перловой крупой, две плоские котлеты с макаронами и на сладкое сваренный на крахмале клюквенный кисель, такой густой, что его порция представляла из себя лиловатый кубик, положенный на тарелку.

Я съел все это в одну минуту без остатка, после чего денщик дал мне умыться и сказал, что его превосходительство ждет меня у себя в кабинете.

— Там, у их превосходительства, целый военно-полевой суд, чи шо! — добавил денщик, сочувственно посмотрев на меня.

«Неужели меня будут судить за утрату казенного имущества в боевой обстановке и бегство с фронта? — холодея, подумал я. — Но ведь я оставил надоевшие мне

проклятые телефонные катушки на козлах походной кухни, а кучер обещал доставить их в батарею. Не пропали же они. Найдутся. А вдруг не найдутся?»

Я вошел в кабинет командира бригады и стал по стойке «смирно», чувствуя себя обреченным...

«Румынский фронт. Действующая армия, 916 год, 30 октября. Дорогая Миньона! Пишу Вам это письмо в человеческих условиях, в канцелярии дивизиона, куда я наконец после многих приключений во время отступления нашей армии добрался из города Браилова, где я виделся с Вашим папой в реквизированном шикарном особняке. Ваш папа принял меня весьма любезно, накормил офицерским обедом и вообще обошелся со мной, я бы даже позволил себе выразиться, по-родственному — не примите это за попытку с моей стороны втереться в Вашу семью.

Вы себе не можете представить, что я пережил за последнее время. Если нам еще суждено когда-нибудь свидеться, то я все расскажу Вам. А сейчас написать обо всем нет ни сил, ни времени.

Вы, наверное, уже читали в газетах о нашем отступлении из Южной Добруджи. Мы оставили Констанцу и закрепились на Траяновом валу, где продержались всего каких-то двое-трое суток.

Недавно в Браилове в кабинете Вашего папы целый ареопаг бригадного и даже корпусного начальства допрашивал меня как единственного, последнего свидетеля обо всех подробностях позорного бегства нашей пехоты с позиций Траянова вала.

Я доложил всю правду, и меня с миром отпустили, поблагодарив за службу. А я-то думал, что меня будут судить.

Теперь мне надо добраться до своей батареи, которая, оказывается, за Дунаем: не отошла, а стоит на позиции где-то возле развалин древнего античного города Истрии.

На прощание Ваш папа дал мне взаймы синенькую бумажку, с тем чтобы я сходил в баню, побрился, постригся и вообще привел себя в христианский вид, благо Браилов хоть и румынский город, но вполне европейский.

Когда я уже откланялся, Ваш папа вернул меня и строго сказал:

— Но имейте в виду, что я дал вам эту пятерку взаимы, и вы не забудьте ее вернуть. Денежки счет любят.

— Слушаюсь, ваше превосходительство,— сказал я и отправился, но, конечно, не в баню, а прямо в кондитерскую, расписанную внутри по стенам масляными красками разными пейзажами, жанрами, натюрмортами и мифологическими существами, как-то: русалками, наядами, нимфами и прочими полуобнаженными фигурами, некоторые даже чешуйчатые и с хвостами. Тут я так наелся пирожных и надулся шоколада, выпив его четыре чашки, что, пошатываясь, выбрался из города и перешел по плашкоутному мосту обратно в Добруджу.

Но Вы не верьте моему шутовскому тону. Мне не только что не весело, мне — ужасно! В душе у меня мрак. Пожалейте меня, если можете. Я чувствую себя убийцей, которому нет прощения. Ваш А. П.».

...По дороге в свою батарею я спал в чистенькой румынской хате, занятой под бригадную канцелярию. Я спал прямо на хорошо вымазанном глиняном полу, укрывшись шинелью, и подсунув под голову рукава этой же самой шинели, спал так крепко, что не слышал, как утром пришли писаря и начали свои занятия. Меня даже не разбудил стук ундервуда, на котором печатался приказ по бригаде о том, что младшему фейерверкеру Пчелкину и бомбардиру Кацу объявляется благодарность командования за мужество, проявленное в бою при обороне Траянова вала.

Кроме этой благодарности, отдельно, на другом ундервуде, печаталось посылаемое в штаб корпуса представление младшего фейерверкера, вольноопределяющегося первого разряда Пчелкина Александра Сергеевича к награждению знаком военного ордена четвертой степени и бомбардира Каца Исаака Яковлевича медалью четвертой степени того же военного ордена, а это значило, что меня представляют к солдатскому «Георгию» четвертой степени, а Каца к Георгиевской медали.

Кто-то открыл входную дверь, и прямоугольник жгучего солнечного света южной осени упал на мое лицо,

и я проснулся, еще не вполне понимая, где я нахожусь. Близко от своей головы я увидел дубовые ножки канцелярского стола, под которым, оказывается, я спал. Я увидел хорошо начищенные сапоги писаря, услышал стук унтервудов и только тогда сообразил, что нахожусь в бригадной полевой канцелярии.

— А вин соби спит и не чуе, шо ему дают Георгиевский крест,— произнес надо мной голос одного из писарей.

Затем тот же голос стал диктовать так называемое описание подвига, входившее составной частью в форму представления к Георгиевскому кресту.

«...за то, что,— выстукивал унтервуд,— в течение двух суток, находясь в расположении пехотных окопов, осуществлял телефонную связь наблюдательного пункта с батареей, причем неоднократно под ураганным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника выходил из окопа на открытое место и соединял перебитый телефонный провод, чем обеспечивал бесперебойную связь с батареей, ведущей огонь по наступающим цепям противника» — и т. д.

Сначала я даже не понял, что все это имеет какое-то отношение ко мне, но вдруг сознание мое прояснилось: да, это именно я под ураганным огнем, с землей, попавшей за шиворот и набившейся в рот, соединял концы перебитого провода. Да, только благодаря мне батарея могла без перерыва вести огонь, да, это я сохранил казенное имущество, не только не думая о Георгиевском кресте и о славе, а, напротив, всей своей измученной душой желая избавления от ужасов того, в чем я волей или неволей участвовал...

Теперь же в один миг все это было забыто и одно только волшебное чувство воинской славы владело мною.

Я поднялся с пола, вылез из-под стола, подобрал шинель и почувствовал себя совсем другим человеком — героем и молодцом, которого теперь очень скоро произведут в прапорщики, выдадут подъемные и обмундировочные деньги, рублей, пожалуй, полтораста, и я сразу стану стройным, щеголеватым артиллерийским офицером с солдатским Георгиевским крестиком на груди, причем я не

буду носить защитного цвета полевую фуражку, а непременно надену артиллерийскую фуражку мирного времени с черным бархатным околышем.

Разыскивая свою батарею, я шел по исковерканным войной дорогам Южной Добруджи и мурлыкал про себя известную артиллерийскую песенку с такими куплетами:

«Артиллеристом я рожден, в семье бригадной я родился, огнем шрапнельным окрещен и черным бархатом повился...»

И еще:

«Не по-граждански,— в карете, не по-пехотному — пешком, к венцу поеду на лафете с моей любимой вдвоем».

Чем ближе я подходил к батарее, тем явственнее слышались звуки ни на минуту не затухающего боя. Среди гула артиллерийской канонады я улавливал какие-то новые, грозные ноты.

Вероятно, как я теперь понимаю, это были звуки тех самых новейших немецких снарядов, окрещенных крякалками, о прибытии которых на фронт уже давно извещал солдатский телеграф.

Крякалки являлись тяжелыми снарядами двойного действия — как шрапнель и как граната. Сначала в воздухе разрывалась шрапнель, а потом на земле разрывалась граната, поражая осколками тех, кого не задели шрапнельные пули. Снаряды эти были начинены какой-то совершенно новой взрывчаткой страшной убойной силы.

Наша батарея вела отчаянный огонь. На нее наступала немецкая пехота, и уже ее цепи приблизились настолько, что батарея отбивалась прямой наводкой картечью.

Я сразу попал в этот ад.

До сих пор мне еще никогда не приходилось быть на батарее, атакованной с фронта неприятельской пехотой, приблизившейся на расстояние картечного выстрела.

Положение было отчаянное.

Груды стреляных гильз валялись под ногами. Наводчики уже не пользовались оптическими приборами, а, открыв затвор, целились по неприятельским цепям прямо на глаз, заглядывая в оружейный ствол как в подзорную трубу, и стреляли по видимой цели, не снимая с головок снарядов оловянных колпачков, так как головки уже заранее были поставлены на букву «К», то есть на картечь.

Немецкие пули как бы ударами хлыстов рассекали воздух, пролетая между нашими орудиями, со звоном ударяя в стальные щиты и отскакивая рикошетом вдоль батарейной линейки. Несколько убитых батарейцев лежали в самых невыносимых позах возле лафетов и зарядных ящиков. Один повис на оружейном колесе.

Поручик Вишинский, которого я до сих пор знал как тихого, скромного, чрезвычайно вежливого офицера, славившегося на всю бригаду своим детским личиком и маленьким росточком, без фуражки, с головой, кое-как перевязанной окровавленным бинтом, размахивая обнаженной пашкой с анненским темляком клюквенного цвета, весь покрытый кровью и пылью, в разорванной шинели, как одержимый бегал вдоль орудий, крича:

— Три патрона беглых! Картечью!

Заметив, что во втором орудии ранен наводчик, я, никому не докладываясь и ни у кого не спрашивая — да и кого там было спрашивать, кому докладывать, к кому являться? — заступил за наводчика, распахнул черно-вороненый затвор с алюминиевой рукояткой на пружине, заглянул в ствол, увидел в маленьком ярком кружке часть шоссе-ной дороги и бегущих немецких солдат с винтовками наперевес.

Вспоминая этот день, я так и не мог восстановить в памяти всю картину в целом.

...помню только, как с яростью загонял в казенную часть трехдюймовки унитарные патроны, покрытые слоем оружейного сала, кладал затвором, дергал за короткую цепочку, обшитую кожей, после чего снопы огня один

за другим вылетали из дула и снаряды тут же рвались с воем, хлеща картечью по цепям немцев, полезших на нашу батарею в своих черенаховидных касках.

Но как все теперь переменялось в моей душе!

В бою за Траянов вал я искал смерти как искупления перед человечеством. Теперь же я испытывал такой жгучий страх, мною владела такая отчаянная жажда жизни, что если и не бежал сломя голову с батареи, то лишь потому, что позади было открытое пространство, где меня могла догнать любая вражеская пуля, любой осколок, прострочить меня поперек туловища любая пулеметная очередь, косившая вокруг сухой бурьян и желатиновые цветы бес-смертника, а прижавшись к орудийному стальному щиту, было все-таки меньше шансов погибнуть от осколка или пули.

...помните, меня особенно ужасали разрывы крякалок: сначала в небе как бы из ничего возникало плотное облачко зловеще-черного цвета, из которого косо выкручивался как бы еще более черный и зловещий винт, раздавался крякающий разрыв шрапнели, и следом за ним из земли вырастал второй винтообразный клок мелинитового взрыва, и рваные осколки гранаты протягивались во все стороны со струнным звуком разбитой на куски арфы...

Плохо помню, чем этот кошмар кончился. Последнее, что осталось в памяти, это поручик Вишинский, стреляющий из своего офицерского нагана-самовзвода в ту сторону, откуда вдруг выползли немецкие каски и тесаки, а потом на батарею подоспели передки, подцепили орудия, и я успел вскочить на ствол увозимой пушки, чувствуя сквозь шинель и шаровары жжение раскаленного железа.

Армия отступила и заняла новые позиции. Наша батарея оказалась в резерве.

...я лежал в палатке разведчиков и не мог заснуть: мучили черные мысли. Ночь была ужасно холодная, темная, ветреная, дождливая. Полотно палатки трещало и надувалось.

Тот единственный человеческий страх, даже ужас, который я обычно испытывал в бою, тотчас же проходил, как только опасность исчезала. Оставалась лишь слабая тень страха, смутное воспоминание о прошедшем ужасе, странная уверенность, что больше ничего подобного уже никогда не повторится.

Теперь же, хотя я находился в резерве, то есть в безопасности, страх не только не проходил, но даже еще больше усилился.

Это был не столько страх физического уничтожения, страх телесной смерти, а и страх смерти души.

Я вдруг увидел себя, всю свою жизнь как бы издалека во всех подробностях и ужаснулся.

Я выбрался из палатки как был в одной короткой рубашке на голом теле, босой, весь покрытый гусиной кожей от провзительного холода наступающего ноября.

Моя белая фигура, выбежавшая из палатки, не удивила часового: стало быть, кому-то из землячков посреди ночи захотелось до ветру.

Ступая босыми ногами по мокрой холодной земле, я пошел к воде лимана, плоско светившегося среди непроглядной тьмы.

Когда-то, в незапамятные времена, здесь был не то греческий, не то римский город Истрия, ушедший в землю, и до войны здесь производились раскопки. Кое-где белели выкопанные куски мраморных колонн. Может быть, издали меня можно было принять за движущуюся белокаменную статую.

Ветер трепал мою рубашку и резал тело, помертвевшее от холода. Озноб бил меня. Зубы стучали. Я дошел до кромки лимана и вступил в мелкую воду, достававшую мне до колен. Я остановился и повернулся грудью к северу, откуда дул ледяной ветер. Я развязал на горле тесемки бязевой рубахи, чтобы еще шире открыть шею и верхнюю часть груди, где болтался крестильный крестик. Я задрал рубаху до подмышек, желая еще надежнее оголить тело, и без того уже горевшее от ножевых ударов дождя и норд-оста.

Я стоял спиной к лиману, который, я это знал, где-то

очень далеко сливался с морем, тем самым упоительным Черным морем, заливом Средиземного, как уверял энциклопедический словарь, морем моего детства, морем Люсгдорфа и Ланжерона, морем любви, так глупо, если не сказать преступно, проданного мною за чечевичную похлебку воображаемой воинской славы, Георгиевского креста, черного бархата офицерской артиллерийской фуражки и Миньоны — хорошенькой девушки с несколько грубоватыми чертами отцовского лица, с которой я предполагал не по-гражданскому — в карете, не по-пехотному — пешком, к венцу поехать на лафете зеленой трехдюймовки с масляным компрессором, оптическим прицельным прибором-панорамой и щитом, избитым пулями и осколками.

Теряя сознание от сжимавшего мое тело холода, испытывая удушье от северного ветра, бившего в нарочно разинутый рот и проникавшего в бронхи, еще не оправившиеся от фосгена, с упрямым злорадством, неподвижно стоял я по колено в едкой рапной воде, прижимая подбородком вздернутую рубаху.

Что это было?

Покушение на самоубийство? Меньше всего я желал смерти. Наоборот. Это была отчаянная, наивно-детская попытка избежать смерти. Никогда еще жажда жизни, любви и счастья так безумно не владела моей душой. Это был род мгновенного умопомешательства и хитрости сумасшедшего, составившего невероятный план спасения: двустороннее воспаление легких, госпиталь, эвакуация в тыл, начало чахотки, освобождение от военной службы по чистой, а там — скорый и неизбежный конец войны и возвращение в тот прелестный, казалось бы, навсегда утраченный мир юности, который я так безрассудно променял на войну.

Миньона была войной. Ганзя юностью, любовью, жизнью.

Из антихриста и убийцы я хотел опять превратиться в того гимназиста, который некогда на лестнице смотрел на тяжелые золотисто-каштановые косы, раскрутившиеся и упавшие волной из-под меховой шапочки, источающей еле слышный запах диких фиалок.

Содрогаясь всем телом, с трудом дыша, продолжал я упрямо стоять на одном месте по колено в воде и видеть во тьме ночи призрак уже оголенного дерева, согнутого в одну сторону вихрем.

В том утраченном мире, куда меня несло вместе с мотающимися ветками призрачного дерева, на обоях висели гипсовые тарелочки с лошадиными мордами и головками хороших английских изделий самой Ганзи.

Ее любили все. Она еще никого.

Призрак дерева метался на ветру. Издалека доносились раскаты артиллерийской стрельбы. За горизонтом ходили зеркальные отражения боя.

Раздирающий кашель потрясал меня. Я чувствовал, что голова моя горит.

Прилив любви принес мне как бы остатки кораблекрушения.

...Серая будничная юбка. Маленькие, но уже не детские кисти рук с наполированными ноготками. Красная шелковая рубашечка с вырезанным воротом, открывавшим шею с родинкой. Но вместо лица как бы тающее облачко, что-то общее. Без частных. Недоступное для глаза, но такое родственное моей душе. Я никогда — ни тогда, ни потом — не мог представить себе ее лицо. Оно всегда было неуловимо...

Я повернулся спиной к ветру, для того чтобы еще надежнее прохватило легкие. Почти в бессознательном состоянии я дотащился до палатки и упал на солому, втиснувшись между двумя спящими разведчиками, и положил голову на свернутые в узел гимнастерку, шаровары и сапоги. У меня едва достало сил натянуть на свое дрожащее и пылающее тело шинель и тут же я заснул мертвым сном, и проснулся, как это ни странно, совершенно здоровым и свежим, как огурчик.

Меня тряс за плечо взводный фейерверкер:

— Господин вольноопределяющийся, подъем! Батарея уходит на позиции.

Утреннее солнце, такое красное, такое воспаленное, какое бывает только холодной поздней осенью, бодро озарило окрестности, пережившие ужасную ночь.

На фронте, куда уходила наша батарея, зловеще гремело.

1980—1981

Переделкино

СОДЕРЖАНИЕ

АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ	7
ЮНОШЕСКИЙ РОМАН	229

К29 Катаев В. П. Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 7. Алмазный мой венец; Юношеский роман.— М.: Худож. лит., 1984.— 495 с.

В седьмой том вошли автобиографическая книга «Алмазный мой венец» (1975—1977) и книга о первой мировой войне «Юношеский роман» (1980—1981).

К $\frac{4702010200-441}{028(01)-84}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ КАТАЕВ

Собрание сочинений
в десяти томах

ТОМ СЕДЬМОЙ

Редактор *О. Новикова*. Художественный редактор *Е. Ененко*. Технический редактор *Е. Полонская*. Корректоры *Г. Киселева* и *О. Наренкова*

ИБ № 3863

Сдано в набор 15.03.84. Подписано к печати А07458 от 15.10.84. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл.-кр. отт. 26,04. Уч.-изд. л. 26,53. Тираж 150 000 экз. Изд. № III-1643. Заказ № 4-130. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Новобасманная, 19

Киевская книжная фабрика. 252054, ул. Воровского, 24

